Ал. Рясковская

ТОГДА, В ДОЖДЬ

Scan Kreyder - 22.02.2018 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА "ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

АЛЬФОНСАС
БЕЛЯУСКАС

ТОГДА, В ДОЖДЬ

РОМАН

Авторизованный перевод с литовского
Далии КЫЙВ

"ИЗВЕСТИЯ"

МОСКВА • 1985

ББК 84 Лит
Б 43

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ "ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета:

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Юрий Ефремов,
Игорь Захорошко, Имант Зиедонис,
Мирза Ибрагимов, Юрий Калещук,
Алим Кешоков, Юрий Киршин,
Вадим Ковский, Григорий Корабельников,
Георгий Ломидзе, Андрей Лупан,
Юстинас Марцинкявичюс, Рафаэль Мустафин,
Леонид Новиченко, Александр Овчаренко,
Борис Панкин, Вардгес Петросян,
Юрий Суровцев, Бронислав Холопов,
Иван Шамякин, Константин Щербаков,
Камиль Яшен

Художник А. ЦВЕТКОВ

Б $\frac{4702360000-028}{074(02)-85}$ — 69 — 85 подписное

© Оформление и послесловие. Издательство "Известия", 1985 г.

Alf. Bielinauskas

ТОГДА, В ДОЖДЬ

ВМЕСТО ПОСВЯЩЕНИЯ

Шел дождь –
желтели листья, под ноги кидались.
Шел дождь –
люди гибли, не изведав счастья.
Шел дождь –
рождались мы, взрослели,
страдали
и радовались – –
И
умирали,–
В дождь.

А в серой дымке капель
Уже сквозил рассвета проблеск –
Тогда,
в дождь – –

I

Ауримас! Глуоснис! — позвал меня кто-то, но это была не Соната. Я догадался сразу, едва открыл глаза, с усилием приподняв толстые щиты — веки; все было кончено. Это было еще яснее, чем час или два назад, — блаженны мертвые... А я был жив, и мне еще придется взглянуть в глаза Ийе, которая звала меня; звала откуда-то очень издалека, хотя стояла здесь же, рядом, кутаясь в зеленый шелковый халат — словно в дымку, и большими черными глазами смотрела на меня; она как будто даже сделала шаг вперед и как будто протянула ко мне руки; это было как в сказке: Ийя с простертыми руками; Ийя? Но Ийя осталась в прошлом, в сизом дыму войны; откуда она здесь? И эта кровать — откуда, эта комната? Люди, стоящие у изножья? Отчего они все смотрят на меня? И я сам — откуда? Что-то уже произошло — после того, как я выскочил из этого бара, и перед тем, как очутился здесь, на этой белой койке, что-то, чего я все еще не мог осознать. Ауримас, Глуоснис, ау!

Но это не была Соната — я видел, и не она звала меня; это была Ийя, моя белокурая Ийя, встреченная в сизом дыму войны; я и с закрытыми глазами видел ее — вот она, Ийя. Ийя из Агрыза, выплывшая из прош-

лого и сердобольно глядящая на меня; я даже чувствовал запах светлых ее волос, который щекотал мне ноздри, точно сказочный фимиам, и пробуждал воспоминания о былом, которые я воспринимал сейчас как самую подлинную реальность (ибо действительность казалась сном); и лежал я вовсе не на койке, а на схваченной жестким зазимком земле Агрыза, далекой северной станции, где по рельсам струилась стужа из льдистой сибирской тайги; струилась она и по мне — точно ток по железу; я лежал ничком, обхватив измазанный дегтем обломок льда, и ждал смерти, пытаясь представить, как она выглядит вблизи; я ничуть не боялся смерти (ведь я еще не видел Орла), по крайней мере, я думал, что не боюсь, — ну и где же знаменитая коса? А она почему-то медлила — эта смерть на рельсах, не подбиралась ближе, хоть холод все крепче скручивал меня и пальцы брякали, как спички в коробке; рядом слышался перестук колес. Поезда катили на восток, куда собирался и я, и на запад, откуда я прибыл; тум-тум-тум — стучали колеса по рельсам: тум-тум-тум — эхом отдавалось в сердце — тум-тум... Куда едешь — подальше — куда — подальше. Подальше от голода, от голодухи, от славного города Казани — поближе к людям, поближе к своим — к фронту; слышите, он хочет на фронт, он — Ауримас Глуоснис; сколько тебе лет — семнадцать; семнадцать — не берем; куда деться — не знаю, сказано, литовцев пока не берем... не знаю, не знаю; в каком направлении поезд? В Алма-Ату. В белый город на востоке. Белый хлебный город. Дальше, дальше. Тум-тум. Эхом в сердце. Колеса по сердцу. Тум-тум. Дальше. Люди, он болен. Граждане, этот парнишка болен; кто знает этого малого? Никто? Тогда... Вдруг тиф? Чума? Граждане, я вам говорю, что этот малый... Не больной я, нет, что вы; я здоров... дальше... тум-тум. Он бредит, граждане. Смотрите, весь потный. Хоть выжми. У него чума. Чума? Что вы! Я здоров — дальше... тум-тум-тум. Я здоров, не трогайте меня! Только я в Казани примерз к земле... К земле? Ну да, и если бы кто-нибудь краюшечку хлеба... Нет! Нет! Нет! Он болен. Чумой. Или тифом. Или еще чем-нибудь. Не трогайте его. Не прикасайтесь. Он заразит весь вагон, граждане, и мы не доедем до Алма-Аты. Белого хлебного города. Он... Стойте, что вы делаете. Надо вызвать врача. Нет. Нет. Нет. Некогда. Уже подогнали паровоз. Гудит. Пошел вон! Вон из вагона! Поскорей. Прочь от нас. От наших детей. От малышей. Мы жить хотим. Хотим увидеть белый город. Уходи!..

Тридцать пар рельсов, по которым идет стужа из Сибири, тридцать двойных линий стужи. Лед под головой. Пальцы как зубья бороны. Вагоны. Паровозы. Агрыз. Железнодорожный узел Агрыз; поезда на восток, поезда на запад; тридцать эшелонов в обе стороны, вперед и назад, тридцать первый — в Алма-Ату. Ау!.. Тридцать пар рельсов, проложенных над моей грудью, тридцать эшелонов, которые — словно по туннелю — идут по моему сердцу — тум-тум-тум; куда лезешь, болван? Р ё т о с е й т ы — и... к у т а ш е? Ау, человече, остановись; куда же ты лезешь; поезд! П ё и с т! Что, жить неохота? Надоело? Может, и мне надоело, болван, но я живу... живу и живу... стой, болван, стой! Назад! О, нет, я мотаю головой, только не назад, я жить хочу и поэтому назад не вернусь — ни за какие деньги; пойду на вокзал, пойду или поползу — тебе-то что; я ищу врача — вот что; не болен я ни тифом, ни чумой, и они должны повезти меня в Алма-Ату, в белый город хлебный, должны взять с собой — я же, черт побери, тоже человек и тоже хочу есть. Да, дурачок, но нельзя ведь лезть под едущие вагоны; нельзя ползать по рельсам... Мне нужен врач... Что? Врач? Дурак, подохнешь тут, между тридцатью парами стальных линий, которые проходят по сердцу, — тум-тум-тум; проносятся со стуком вагоны, пыхтят локомотивы, заливаются свистки — стонут, стонут, стонут раненые в зеленых санитарных вагонах — и они на восток, не останавливаясь, — в белый город хлебный; покачиваются на платформах орудийные стволы — точно шеи птиц, черных ночных птиц; не поглотите, птицы, эту ночь, оставьте ее мне; ползгивают на платформах танки; стукаются буфера; с дороги, с дороги, задавлю. Лягу, я лягу здесь, шепнул кто-то на ухо, — возможно, Старик, тот, что крадется за мной по пятам от самой Казани, — гнусный, поганый Старик; вот он здесь, на рельсах, — я и не знал, что он умеет так разговаривать; тихо и ласково, все равно... Все равно — все равно — все равно — катили мимо эшелоны с сотнями, тысячами эвакуированных, раненых, здоровых; тысячи смотрели из окошек вагонов на безбрежный зимний простор, и потому никто не видел одного, скорченного у рельсов на семнадцатой линии; а то, может, и видели — неизвестно; тысячи неслись на восток; и тысячи мчались на запад; земля была велика, мы малы; вот, смотрите, один там... люди, люди, смотрите...

Я вздрогнул и, кажется, очнулся; Ийи не было, не было и тех людей, которые стояли у изножья кровати;

я лежал в темной большой комнате с длинными, до пола, портьерами и раздвижной дверью из матового стекла; и вовсе не на кровати, а на широком, продавленном диване, хоть и плотно укутанный пуховым одеялом; я все еще чувствовал запах волос Ийи — он исходил от пухового одеяла, которым я был укрыт, от подушки, в которую я вцепился, — я держал ее, точно тот кусок льда в Агрызе; поглотить этот запах не могла даже сырость, занесенная снаружи, из этой ночи (ах, что-то вспоминается!); по мне обильно стекала вода. В о д а? Осторожно, боясь себя выдать, я вытянул руку и пальцами дотронулся до бедра — чуть не вскрикнул от изумления: голый! В чем мать родила лежал я здесь, под пуховым одеялом, голый, мокрый и, несмотря на вкус тины во рту, сразу понял, что это другая вода — не та, что виделась мне недавно, быть может, во сне; это был до жути нехороший сон, его и вспоминать-то не хотелось — в нем отсутствовала Ийя, и привиделся он когда-то давно; но сон этот, помимо моей воли, снова обволакивал меня всего, отметая прочь Ийю, и Агрыз с его тридцатью парами рельсов; невозможно было не видеть его! Невозможно противиться этому сну, который опять вернулся ко мне, напал на меня в час бдения, когда я четко видел окружающие предметы; Ауримас, Глуоснис, ау! Ауримас!

Глуоснис! Ау! — сквозь туман и капли воды шелестел голос — там, в этом сне; или просто кровь шумела в висках; где же ты, Глуоснис? Здесь, на постели, здесь, под периной, захотелось крикнуть, чего вам надо от меня, мне здесь так хорошо!

Но не крикнул, даже не пошевелил губами — я снова увидел его... Его, этого человека, который перевесился через стальной рельс и которому я уже ничем не мог помочь; человек перевесился через рельс, вделанный в парапет набережной, рельс, который сверкал и извивался словно змея, чей хвост скрыт в воде или в тумане; вдруг ему почудилось, будто рельс прогибается и тянет вниз, к скользким, мокрым камням, за которыми простирается черная, мертвая вода; в о д а? Холодно? — засмеялся кто-то внутри этого человека — злым, вовсе незнакомым голосом; холодно?

Вдруг я ужаснулся и до боли яростно запустил ногти в бедро; а что, если этим человеком был я? Я? Там? Ты, ты, ты — застучала кровь в висках — тоже холодная и совсем чужая; ты, ты, не отпирайся; холодно? Ха-ха-ха.

Кто-то смеялся — тот Ауримас, которого я не знал

и которого, возможно, ничуть не желал узнать; или Старик — этот сгорбленный Старик в красной выгоревшей рубашке, с трясущейся седой бородой; он уже вернулся из Агрыза и настиг меня; ха-ха...

Смех был злой, он никому не был нужен, этот смех — как и Ауримас, тот Ауримас, как и сон, который я видел наяву, как многое на этом свете; человек наклонился и пошарил руками в темноте, желая убедиться, куда же он попал; с рукавов — с самых подмышек — стекала вода... Человек отскочил как ошпаренный, но споткнулся о камень и свалился опять в ту же воду, где он только что барахтался; потом долго дергал руками, сучил ногами, пока не забрался на камень — угрюмый, покрытый слизью; ноги по-прежнему болтались в воде; Ауримас, Глуоснис, ау...

Но это не была Соната, нет — она осталась там, под балконом, против вывески БАР НЕКТАР; интересно, что он еще, этот Шапкус, выкинет...

Теперь я понял, зачем он шел сюда, на реку, этот злой человек, так властно вторгшийся в мое нутро, этот другой Ауримас; и впервые за весь этот долгий вечер все вдруг стало ясно. Конец. Полный провал, подумал я тогда, ощупал камень, на котором держался, и сам застывший как камень; смерть фантазера. Или глупца, как знать...

Смерть? Он сказал смерть — этот другой Ауримас? Тоже мне, нашел чем пугать; ха! Ведь когда я был в России... В Агрызе и в снегах Орловщины...

Я засмеялся вслух, они уставились на меня — эти трое, которые вытащили меня оттуда, куда-то привезли на газике и теперь, чертыхаясь и пыхтя, сквозь дождь вели — волоком волокли — по щебенистой дорожке через какой-то сад; ну, чего же вы уставились на меня?.. Смерть... Неужели не узнаёте... не знакомы... на фронте такое каждый день... Уж не за ней ли спешил туда, на реку, — тот Ауримас; не о ней ли подумал, еще сам того не зная, возможно, лишь смутно предчувствуя, там, в радиостудии; а уж в баре, где Шапкус... В баре? В каком баре? В баре... Вон! Долой! — снова крикнул кто-то — там, в баре; крикнул так громко, что один из мужчин (шли втроем, то и дело отпуская ругательства) даже остановился, и его рука больно сжала мое плечо; Шапкус съежился; долой!

И опять я споткнулся о камень — теперь в саду; вздрогнул; кто-то схватил меня за плечо, пытаясь поднять, я поскользнулся и пнул нечаянно по ноге;

глухо стукнуло дерево. Грикштас? — подумал я и вдруг догадался; меня ведет Йонас Грикштас, редактор с деревянной ногой — скрип-поскрип; я знал его когда-то, — так называемое шапочное знакомство; откуда он появился здесь? Оттуда, ответил я сам себе, оттуда, откуда все, — из прошлого; мы все из прошлого и являемся лишь тогда, когда меньше всего нужны; к черту! Принесло! Объявились! Спасатели!

Я чуть не застонал: они меня спасли; от чего? От кого? Можно ли спасти человека от него самого — от судьбы? И кто имеет право так обращаться с человеком — если человек того не желает, если он...

Кое-что начал я осознавать в этой ночи — в этом кошмарном сне (увы, увы!) — и с такой силой сжал кулаки, что ногти больно впились в ладони; не хотел я ничего сознавать! Ни сознавать, ни понимать, ни знать — ничего на свете; вот очнусь — и все кончится, вся эта ночь, этот дождь, эта тьма; а покамест... Я дернул плечом и вынырнул из рук Грикштаса; он остановился и, как мне почудилось, схватился за грудь; к нему кинулся какой-то человек, обнял Грикштаса; я ничего не понял. Потом мы долго стояли — как будто у двери дома, перед какими-то ступеньками, под каким-то навесом; шел дождь, и вода, булькая и журча, неслась вниз по водостоку, выплескивалась нам под ноги; какой-то человек — не тот, который поддерживал Грикштаса, а третий, плечистый, в сапогах, долго нажимал кнопку звонка; дверь не открывалась; я стоял и ждал сам не знаю чего; может, своей судьбы; вполне возможно — поскольку, как мне представилось, мной больше никто не занимался: ни Грикштас, этот редактор со скрипучей ногой, ни шофер (я догадался, что поддерживал Грикштаса его шофер), ни Гарункштис (к сожалению, тут был и Мике, я узнал его); при желании я бы мог улепетнуть куда-нибудь, вырваться из сновидения. Но тягостный дурной сон по-прежнему держал меня, душил, обхватив железными щупальцами, не давая шевельнуться, и я понял, что, увы, никуда мне от них не скрыться, от этой тройки, доставившей меня невесть куда; я узнал их! Сам того не желая, я их узнал, и теперь мне никуда никогда от них не скрыться; мало того — мне еще придется посмотреть в глаза Ийе...

Да, Ийе; Грикштасу, Гарункштису и Ийе, которая совсем недавно стояла около меня и даже как будто простирала ко мне руки; Ауримас, Глуоснис, ау!

Я повернул голову вбок и увидел раздвижную

стеклянную дверь, за которой находилась еще одна, немалых размеров, комната, а за ней — еще один, довольно широкий диван; кто-то лежал и там. Это я заметил сразу, едва лишь глянул в ту сторону, — этого человека на диване; он лежал раскинувшись, нога свешивалась вниз — как я на рельсах в Агрызе — и почему-то жевал губами; человек был в брюках и пиджаке, только, пожалуй, без сапог; рядом, спиной ко мне, стояла, кутаясь в зеленый шелковый халат, женщина и что-то ему говорила; здесь же, на столике, горела свеча; пламя колебалось, по стене метались длинные, трепетные тени; рядом со свечой лежала книга.

На миг мне почудилось, будто женщина почувствовала мой взгляд и шевельнулась; я быстро закрыл глаза; Ийя? Ты — Ауримас? — казалось, расслышал я; Ауримас останется здесь, сказал кто-то раньше, когда шел дождь; ты — Ауримас?

Ауримас, подумал я, а что, уважаемая, я-то Ауримас, да ты не Ийя... Ведь Ийя бы так не спросила, она знает, кто я — потому что Ийя... Юту на руки и — бегом. Какую Юту, Ийя? Как это — какую? Сестру. Неужели у тебя есть сестра... и куда ты бежала — в Агрыз?.. Нет, нет, дорогой человек, — что мне делать в этом Агрызе, я каунасская, никуда из Каунаса... из Таллина... Это не одно и то же, Ийя, — из Каунаса или из Таллина, я — из Каунаса, а ты — из Таллина, Ийя. Ийя Ийя Ийя. Что за странное у тебя имя — Ийя. Что за длинные пальцы. Чем ты занимаешься тут, в Агрызе? Я ищу тебя. Никто меня не ищет, Ийя, никому я не нужен. О, ты ошибаешься, — нужен! Нет, нет! Меня вышвырнули из вагона, и если бы ты не проходила мимо... Но я ведь шла. И я о том же: если бы не ты... Может, меня послала сама судьба, а? Разве ты не веришь в судьбу? Конечно, нет. Если бы она была... я даже ей, окаянной, не нужен, даже ему, Старику, и то не нужен. Меня выкинули из вагона, и если бы не ты... брр... мне холодно, и я никому не нужен... Никому? А мне? Тебе? Мне. Ты нужен мне. А если мне, значит, и судьбе... этому твоему Старику... Я тебя нашла, и ты будешь мой. Как же может быть иначе? Мы будем вместе, и нам станет теплей. И я буду тебе нужна, я знаю. Я всем нужна, Ауримас! Откуда ты знаешь мое имя? Знаю, твое имя прописано на твоих губах. И я буду нужна тебе, как и всем. Конечно, Ийя, будешь; ты будешь мне нужна; что ты делаешь, Ийя, здесь, в этом доме. Играю Шопена. Молчи, глупышка, ты играла в Таллине, я знаю... а здесь... откуда здесь взяться

роялю, здесь даже стены провоняли закисшей овчиной; тухлыми сырыми матрацами; кто они, эти люди здесь?.. Из лесов татары, с гор удмурты, со станции... солдаты из госпиталей, заключенные из лагерей... Из лагерей? Да, а что — у них есть деньги... Ну, а... этот старый пень?.. Это завстоловой Алибек, а вот фельдшер Наманжин (на столе бутылка "Особой" и целая гора блинов, да еще банка икры, пожалуйста); кто сказал, что у них есть жены? Где? Кто видел этих жен? Женщин теперь — навалом, тринадцать на дюжину; вся Россия теперь — гарем. Глазки у Алибека масленые, как и борода, — мазанул блином, осталась блестящая дорожка; и пальцы перепачканы жиром; отвисшее брюхо между широко расставленных ног булькает, как тульский самовар; он протягивает руку и гладит твои волосы — твои, Ийя, волосы, белые, как лен. Долой! Вон, вон, вон! — я вскакиваю с кровати. Молодец, литовец, ты здоров, литовец; вон! Я уезжаю с литовцем, вон! Пё-ист! Ты р ё т о с е й, Алибек, р ё т о с е й, Наманжин — вон! Мой литовец увезет меня с собой. Он возьмет меня в белый город хлебный. Алма-Ату. Там я снова буду играть на фортепиано; вон! Этот? — пухлый масленый палец ткнул в меня; этот беженец? Да ты знаешь, беженец, что Ийя никуда из Агрыза... не имеет права... знаешь? Паспорт такой, понимаешь? Или работай в прачечной, или тут... по номерам... знаешь?

Я тряхнул головой: знаю; в животе жалобно хлюпнуло. И стало жечь; он весь горел — мой несчастный мокрый живот; знаю; и грудь жжет, разрывает, терзает огненными клещами; перед глазами расплываются круги, от них раскалывается голова — знаю... Я все знаю, Ийя, — это не ты, тебя здесь нет и никогда уже не будет, потому что ты... потому что я уже не нашел тебя; больше не видел тебя в Агрызе — а бывал там не раз; не застал и Алибека, с пузом, напоминающим тульский самовар, и фельдшера Наманжина; юркая чернявая девушка, сощурив глаза, с любопытством уставилась на мою забинтованную голову и виновато улыбнулась: она не понимала по-русски. Алибек, Ийя... нет! — В дверях возникла другая женщина, много старше, с головой — это в разгар лета, — замотанной в несколько шалей, — возможно, жена того самого Алибека; я вернулся в санитарный поезд.

Тебя здесь нет, Ийя, я знаю это; может, никогда и не было, никогда и нигде — только сладкая греза подростка, мираж голодающего, жажда и бред зады-

хающегося в знойных песках бедуина; только рельсы в Агрызе, поезда, которые (ночью-днем, ночью-днем) с грохотом несутся по моему сердцу; сон в сугробах Орловщины — солдату нужны сны; здесь другое... другой сон... Юту на руки — и бегом, говоришь? Какую Юту? Сестренку. Но ведь у тебя нет сестры, Ийя, ведь...

— Ведь ты весь мокрый, мой друг... будто прямо из речки...

— Из речки?

— Из речки. Выглядишь так, будто тебя вытащили из речки. Укройся получше. И грудь, и шею, весь закутайся. Ты болен, и тебе нужно тепло.

— Из речки? — повторил я, все еще не открывая глаз; но я видел ее — эту белокурую женщину в зеленом шелковом халате; видел ее и ощущал ее запах — пряный и дурманящий; держа в своих длинных белых пальцах свечу, она снова стояла надо мной и смотрела на меня сверху.

— Из речки, — сказала она.

Нет. Не Ийя. Но я знаю ее.

— А он? — взгляд в комнату за раздвижной дверью; я уже знал, кто там лежит. Все стало мне ясно вдруг, в один ослепительный миг, за секундную вспышку — словно в моем сознании мелькнула стремительная, но яркая, растопившая мрак и ночь молния. — Ему ничего?

— Ему ничего, — ответила она; свеча у нее в руке едва заметно дрогнула — качнулись черные тени. — Он успокоился. Спит.... И ты успокойся. Спи. И ты.

— Но ты мне скажи...

— Одежда? В ванной. Сушится. Она, Ауримас, была вся мокрая.

— Из речки? — воскликнул я и почувствовал, как что-то сдавило мне горло; я не хотел этого говорить! — Из речки... — повторил я. — И он... и Мике... и Грикштас... и...

— Да, вымокли все. Все вымокли до нитки. Так сказал Йонис.

— Все?

— Все.

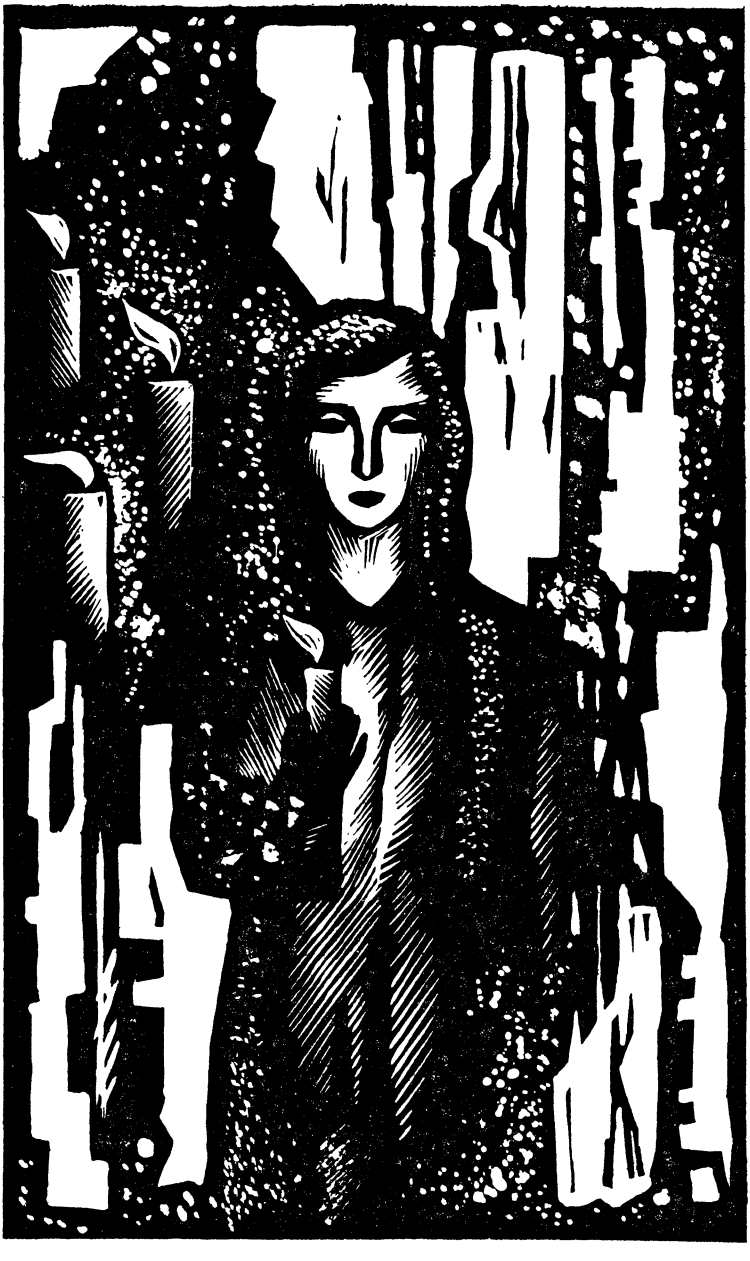
— И все из речки, да? И я... и ты... и...

— Я?

— И ты, конечно. Ты, Ийя. И ты. И если бы ты не удрала с Алибеком... с этим тульским самоваром...

— У тебя бред, Ауримас. Лихорадка. Утром придет врач, а пока...

— Врач! Ха! Я здоров! Слышишь — абсолютно здо-



ров! Они не имеют права! Они не бросят меня! Я не болен ни чумой, ни тифом, и они не имеют права меня бросать... Я найду их! Я отниму тебя! Вдребезги этот самовар! Этого Алибека!.. Я...

— Успокойся! Успокойся! Сначала ты успокойся, а уже потом... вдребезги... Потом вдребезги, если веришь, что черепки... к счастью...

— Ах, не будем обижать маленьких, — вдруг застонал я; застонал чуть ли не всем своим пылающим нутром, чувствуя, что силы опять покидают меня, теперь уже совсем... — И если я еще когда-нибудь...

Больше я ничего не произнес, только снова — уже в который раз за ночь — ощутил во рту противный привкус тины; вкус и запах; и увидел Старика, который скрюченными костлявыми пальцами тянулся к беспомощному пареньку; несчастный выпучил глаза — вот-вот вылезут из орбит; их заволокло кровью — эти красивые, голубые глаза; увидел, крикнул "мама" — и выпростал обе руки в тяжелую, жаркую, навалившуюся на грудь тьму — —

II

— Коллега, ваше приглашение?.. Где пригласительный?

Пригласительный? Правда... Вот... Пока разыскал, пока подал, перед тем взглянув кому, — прошло время. Студент с бакенбардами (видимо, с последнего курса) злыми карими глазами оглядел Ауримаса — скажите, пожалуйста, не торопится, — не слишком почтительно поднес к глазам четырехугольную бумажку, надорвал уголок и надменно процедил сквозь зубы:

— Будьте любезны вытереть ноги!

— Что, что? — удивился Ауримас, но студент с бакенбардами не был расположен вести дискуссии и равнодушно кивнул на дверь зала, вернее, показал кивком куда-то поверх входа в зал; взгляд, помимо желания Ауримаса, проследовал за кивком. ЖЕЛТОРОТЫЕ, ВЫТИРАЙТЕ НОГИ! — значилось поверх дверей, а через дверь вливались в вестибюль запахи и голоса, пиджаки, платья, лица; ЖЕЛТОРОТЫЕ, ВЫТИРАЙТЕ НОГИ! — маячили белые буквы на зеленом полотнище.

— Извольте аккредитоваться, живо! — расслышал Ауримас и повернул голову налево; на него смотрел другой студент — тощий, веснушчатый и горбоносый; в руке он держал самый настоящий березовый веник, ко-

торый, судя по всему, намеревался вручить Ауримасу; еще кучка таких же веников была свалена у стены. — Удостоверение!

— Пожалуйста, — Ауримас протянул удостоверение, которое, вместе с пригласительным билетом на сегодняшнее торжество, он получил вчера в канцелярии.

— Нет, нет, ты не получишь... пока нет...

— Чего это, дорогой друг?

— Слитка золота, чего еще!

— Но, товарищ... ты, я бы сказал, не из самых вежливых людей на свете... хотя как распорядитель ты бы должен...

— Здесь товарищей нет, ясно тебе? — главный по веникам энергично взмахнул рукой; голос сочился сквозь зубы, как сквозь опилки. — Исключительно одни коллеги. И с незапамятных времен, ясно? Неясно? Подрастешь — уяснишь... а покуда не дорос — можешь и с грязными ногами...

— Что там опять? — повысил голос обладатель бакенбард и обернулся; плечи его как будто даже затрещали при этом повороте; только что он задержал весьма миловидную девицу в пестром, как оперенье дятла, костюмчике; о Глуоснисе он забыл. — Что, с Бразилки?[1] Опять? А-а... — вспомнил. — Ну, давай ему веник!

— Ни за что! — произнес главный по веникам. — Он вовсе и не первокурсник.

— А кто же? Марсианин?

— Рабфаковец.

— Вот оно что... — со вздохом протянул обладатель бакенбард. — Светлое грядущее нации.

— Все? — спросил Ауримас.

— Еще нет, — улыбнулся студент — блеснула золотая коронка, как-то по-грустному блеснула; и все лицо его было печально, носило на себе печать преждевременного старения. — Что же, мальчик... — взглядом показал на пригласительный, который Ауримас все еще мял в руке; тот подал бумажку студенту. — Фамилия, впрочем, знакомая... Глуоснис?

— Да, — ответил Ауримас. — И что же?

— Ничего, — студент с бакенбардами окинул Ауримаса пристальным взглядом. — Что ж, это очень приятно, мальчик, — видеть тебя.

— Меня?

— Да, тебя. Видеть тебя здесь... Пропусти!

---

[1] Район трущоб в Каунасе в годы буржуазной власти.

Последнее относилось к главному по веникам, исподлобья наблюдавшему за обоими.

— Медики — направо, строители — налево, филологи...

— А рабфаковцы?

— На балконе, остолоп. Галерка. Вчера было сказано, а сегодня опять...

— У вас, распорядителей, попробуй разбери, что к чему... А коли так умны, то будьте любезны сами... управляйтесь.

— Талоны не забыл... на ботинки?

— Никак нет, — конопатый шмыгнул носом, — ведь в противном случае... ни за какие деньги... Эй, ты! Чего топчешься как пришитый? Брысь с дороги, рабфак, студенты идут... Да ты ослеп, что ли... пошевеливайся, рабфак!

Последние слова определенно относились к Ауримасу; он покачнулся — словно от удара, и будто вышел из непонятного сонного оцепенения, в котором находился, идя сюда, на торжество по поводу имматрикуляции[1]; в голову ударило едким жаром; он стиснул зубы и зашагал вверх по лестнице.

— Эй, послушай... погоди! — веснушчатый нагнал его; вид у него был слегка растерянный. — А ты правда... тот самый Глуоснис, а? Ну, тот... из президиума...

— Из президиума?

— Именно... Речи нам толкал, и вообще...

— А что — вообще?

— А то, что речи эти были дурацкие... вообще... Про войну да про войну... Уже два года прошло, а он все о том же... как заведенный... Надоело людям про войну, понятно? Нет?! Всем понятно, одному тебе — нет... Чего уставился? Ты такой же Глуоснис, как я декан на архитектурном... Адью... Чего глазеешь?

— Знаешь, коллега, — Ауримас покачал головой, — я рабфаковец. Всего-навсего. Светлое грядущее нации. Ясно?

— Послушай, птенчик... этаким тоном со старыми студиозусами...

— Пусти!

Ауримас повернулся, толкнул конопатого плечом и едва ли не бегом взмахнул на балкон.

Он шлепнулся на скамью у восьмигранной колонны, схватился ладонями за голову, зажмурился; дрожа всем телом, он что было сил старался унять внезапно

---

[1] Часть церемонии посвящения в студенты. *(Прим. перев.)*.

закипевшую в нем и рвущуюся наружу неким жарким комком ярость; досаднее всего было то, что негодовал Ауримас больше на себя, нежели на конопатого или на того, с бакенбардами; за что на них злиться? Поставили их — вот они и стоят, будто им поручено великое дело; что он, студентов не знает? Кто-кто, а он имел возможность как следует разглядеть их — когда продавал газеты ("Десять центов", "Литовские ведомости", "Эхо" и "Двадцатый век" — покупайте, покупайте, покупайте, — разносилось по Каунасу); потом спешил в подвал около библиотеки, где стоял зеленый стол с белой линией посередине и с натянутой сеткой; этот парнюга желает сыграть? Милости просим, отчего не сыграть, хотя с такими сопляками я не играю, первый сет, конечно, запросто... и второй чепуха, а третий, впрочем... Много ли книг, спрашиваешь? Немало, дружочек, нам хватает, а иногда и нас на них не хватает; что за книги? Научные, само собой, сказок тут нет... А может, и есть, но мы таких не читаем. Некогда. А "Виннету"? Ну, Карл Май, про индейцев? И про индейцев, драгоценный, мы не читаем, мы разве что старичка Маркса... И я Маркса, очень даже... И Маркса, и "Виннету"... Ты Маркса? Ага, мне давал дядя Костас... он всякие приносил... пока не сварился в стеклянной каше... Призрак бродит по Европе... призрак коммунизма... и еще — добром не добудем мы ничего, мы... Эй, эй, потише, ты, агитатор... в наше время за язык... Чья подача — твоя или моя? Ну, еще один, последний, меня ждут... Кто? Любопытный ты, братец. Кто еще, как не розан душистый... А ты уже завел? Я? Кого это? Ну, неужели, тебя не ждет... никакой розан? Никто меня не ждет... Только, может, бабушка... а девушки... мне до них дела нет... Подаю!

В ушах будто отдалось цоканье мячика; Ауримас тряхнул головой и, сам не зная почему, вздохнул. Знает, насмотрелся, — слава богу; не это ли знакомство и привело его сюда? Это или не это, скорее, не это, но не все ли равно? Он здесь — и все; будешь работать? — не буду, хватит с меня, пойду учиться, хочу... Мало ли чего он хочет, какой-то Ауримас Глуоснис; комсомолец, активист, выдвиженец; мало ли чего, ведь не обо всем можно говорить во весь голос, не обо всем и не со всеми; есть, знаете ли, в сердце человеческом потайной уголок... Нет, нет, об этом и мечтать нельзя, ведь... Ведь мечты о б э т о м так призрачны, так зыбки — малейшее дуновение, и тут же развеются, как дым, растают на лету, не достигнув небесной лазури; мечты эти сродни стеклянным шарам, которые они, подростки, тайком выдували на заводе, куда их

брал с собой иногда дядя Костас; шары были самые доподлинные и на солнце переливались всеми цветами радуги, но достаточно было капнуть на них водой — всего лишь одной капелькой, — и это великолепие обращалось в горстку сизого порошка, которую походя уносил с собой ветер; еще у этих шариков был хвостик, этакая ахиллесова пята, — тонкий стеклянный завиток, отломишь его, разрушится и весь шар, точно как от водяной капли; сделать шар было куда легче, чем донести его до дома; в этом и была вся суть игры. Нечто подобное происходило и с грезами, которые белой паутиной опутали Ауримаса — белой стеклянной паутиной, — попробуй коснись ее пальцем... нет, нет, не надо! Он поднял голову и оглянулся, не подслушал ли кто его мысли; нет, никто; он снова опустил голову. Сюда, люди добрые, именно сюда стремился он все эти долгие годы, сюда, где в подвале, рядом с потемневшей от времени медной табличкой Б И Б Л И О Т Е К А, стоял зеленый стол; где горами высились книги, и все — научные; сюда, в это здание, которое содрогается от тысяч шагов, от множества голосов, сюда, к этим людям, которые столь неучтиво — без всякой радости — встретили Глуосниса, некоего Глуосниса; ЖЕЛТОРОТЫЕ, ВЫТИРАЙТЕ НОГИ! Вытрем, непременно, хоть вы и не даете мне веника; мы знаем, куда идем; мы, безусловно, вытрем ноги, уважаемые коллеги, и с к л ю ч и т е л ь н о т о л ь к о к о л л е г и; вытрем ноги, умоем лица, пригладим волосы (Ауримас всей пятерней откинул упавший на глаза чуб), мы будем выполнять все, чего потребует от нас этот дом, — ибо мы уже здесь, мы — такие-разэдакие, кто учился, да не доучился, начал, да не кончил, мы — дети войны, подкидыши, изнанки жизни; мы... рабфак, светлое грядущее нации... чтоб вам пусто было... Вам, вам, коллеги, и с к л ю ч и т е л ь н о вам... а мы повременим... у нас еще есть кое-какие дела в этой юдоли слез и, если обстоятельства сложатся благоприятным для нас образом... если только эти обстоятельства...

Он снова поднял глаза и огляделся — на этот раз более внимательно, надеясь высмотреть хоть кого-нибудь из знакомых; знакомых не оказалось, хотя — до чего же это странно — все лица он как будто уже видел раньше; речи им толкал, и вообще — улыбнулся невольно; ну, братец, пожалуй, еще один сет; ЖЕЛТОРОТЫЕ, ВЫТИРАЙТЕ НОГИ! Пожалуйста, охотно; мы — охотно, мы — с удовольствием, тем более что это совершенно необходимо — вытирать ноги, причесы-

ваться, гладить брюки — и без того порыжевшие ввиду их преклонного возраста; все что угодно — поскольку это решено, поскольку я уже здесь, с вами, на торжественном акте имматрикуляции, и не украдкой затесался в толпу студентов, озираясь поминутно, не заметил ли сторож — не нужны ему такие игроки в пинг-понг, — а открыто, с пригласительным в кармане, как и все остальные, и не как гость, черт возьми, и не п р е з и д и у м, а самый настоящий, полноправный хозяин этого зала; слышишь, ты — министр по веникам? Не слышишь — и не надо, мне до тебя дела нет; я здесь — хотите вы того или не хотите; я уже здесь, и я знаю, что после этого торжества будут другие, а после них... многое еще будет, коллеги, м о и м и л е й ш и е к о л л е г и, — много торжественных собраний, вечеров, танцев и лекций; ЖЕЛТОРОТЫЕ, ВЫТИРАЙТЕ НОГИ! Вытрем, о да, мы вытрем ноги. Есть в этом призыве нечто оскорбительное, вызывающее, но все это с лихвой покрывается одним: призыв этот относится к некоему Ауримасу Глуоснису с Крантялиса — ура, ура, ура! — и ко многим другим — с Аллеи Свободы или с Дубовой горы; и прочувствованный возглас ректора: да будет вами горда наша старушка alma mater, юные наши коллеги, как гордится своими детьми любящая мать, — тоже относится к некоему Глуоснису, как и ко многим другим... и, возможно, даже больше к Глуоснису, нежели к остальным; о, пока он пришел сюда...

Но это уже были бы воспоминания, и опять-таки не слишком веселые, — он тряхнул головой, будто пытаясь что-то выбросить оттуда; ему даже почудился звон наподобие колокольного — так отозвалась эта костяная, обтянутая сухой кожей коробка; в висках зашумело; и снова Ауримас зажмурился от терпкого дурманящего чувства, нахлынувшего на него.

— Коллега, а вам... не тесно тебе, коллега?..

— Нет, — Ауримас повернулся на голос; это был белобрысый паренек с длинной шеей, на костлявых плечах болтался серый суконный пиджак, из кармашка у лацкана выглядывала зеленая расческа; Ауримас догадался, что навалился на кого-то плечом. — Мне здесь даже слишком просторно, дружок. Но обещаю не толкаться.

И этого он уже где-то видел, этого паренька в поношенном суконном пиджачке, скроенном где-нибудь под Любавасом или в Жемайтии, да еще с тканой лентой песочного цвета с национальным орнаментом, повязанной под острым, поросшим редкими белесыми во-

лосками подбородком; где-то — возможно, в студенческом политкружке, где Ауримас рассказывал о комсомоле (и о войне, да, о войне), а возможно, еще где-нибудь... Коллеги, это же... Глуоснис! Да, Ауримас Глуоснис, он самый (Ауримас покачал головой, почему-то она была тяжелая, как подсолнух); тот самый Ауримас Глуоснис, который столько говорил о войне, хоть вам это пришлось не по нраву; но ведь эта война была как-никак, была на самом дела; и как будто не такая уж чепуховая; теперь вы узнаете, что вас просвещал лектор, не окончивший даже гимназии, — вот кто; рабфак — светлое грядущее нации; послушай, спрячь свои гляделки, уважаемый, — вовсе я не пьян! Ну, не ел ничего, ни крошки, с самого утра во рту маковой росинки не было, понимаешь? Ничего не было... хоть мог бы навернуть в свое удовольствие, по горло, до отвала и как там еще; мог — держи карман! "У Глуоснисов в именье чахнут мышки, дохнут кошки" — так, кажется, приговаривает бабушка, которая во всех и всяких науках смыслит не больше, чем овца в шахматах, зато знает, что в доме даже мыши передохли! "Мыши передохли, Ауримас, кошки и те разбежались, ничего с самого утра нету, Ауримас". Ну и не надо, я сыт. Писаниной-то? Писаниной, бабушка, писаниной, испишу страничку и уже сыт, а если когда-нибудь и две... Дурень ты, Ауримас, вот кто ты. Напрасно ты меня пилишь, забыл, что ли, как я, когда мать померла... Ой, помню, помню, как забыть... Не заработай я летом на книги и штаны, не видать бы мне зимой гимназии как своих ушей... пока другие валялись на пляже, шастали по кустам, я... А брюки-то тебе из моей юбки... забыл... как покупные изорвал, а я свою юбку раскроила и... когда... Ну, пошло поехало... помнишь, не помнишь... кажется, я уже не в том возрасте, бабуля... прости, мне пора в город... Погоди, хоть хлеба... тминного чаю... правда, без сахара... Чаю? Водички? Это я и в городе получу, бабушка... А теперь — пока! До свиданья, дорогая! До скорой встречи! Ну, Ауримас... я ему как человеку, а он... скажи хоть, когда придешь, а то... Когда приду? Скоро. Когда снова зацветет сирень, ясно, бабуня? Пусть снова зацветет сирень, и я вернусь к вам, — сказал поэт, а сегодня у меня торжественное собрание. А есть там дадут? Дадут, дадут, сыру с медом, вина из королевских подвалов; прощай! Ну тебя, ты еще издеваться, ладно... ты еще у меня... Прощай, прощай — Ауримас уже во дворе; прощай, прощай — уже в зале; прощай, бабуня, до скорой встречи; жалоб-

но и глухо, этаким ворчанием; возроптал, окаянный; голова вроде бы уже не разламывается, это хорошо, только тяжела она сверх меры — ну точь-в-точь ведро, полное свинца; прощай... Ты прости-прощай — он грустно улыбнулся; прощай — подмигнул сам себе; а возможно, и тому, другому, кто засел у него внутри и что есть силы хорохорится не только перед другими, но и перед ним самим, тому, другому Ауримасу, который — нечего греха таить! — и привел его сюда, в этот зал, бросив на Крантялисе и бабушку, и ее пустой чай; тому, другому, который, как спущенная с привязи гончая, беснуется и на всякого ощеривает пасть; пустой желудок делал его еще злее... Ауримас чувствовал, что ведет себя гнусно, но не в силах был что-либо изменить; не позволял тот, другой человек, который жил в нем; что-то внутри него восстало против него же и вынуждало поступать не так, как казалось, было бы лучше, а совершенно наоборот, наперекор и разуму, и здравому смыслу. Что-то с ним произошло, определенно что-то произошло, а он вовсе не собирался противиться; он чувствовал, что это тревожное состояние, которое с каждым днем, даже с каждым часом все глубже проникает в его нутро, — желанно и необходимо; он давно тосковал по такому состоянию, ждал его; все, чем он жил до сих пор, все старое, будничное, привычное — вдруг перестало удовлетворять его, этого нового Ауримаса, хоть старый и сопротивлялся ему, изо всех сил цеплялся за шаткие обломки логики; то, что было уже известно и изведано, яростно отторгало от себя, а влекли его и манили — точно сладкая приманка муху — неведомые, не испробованные прежде дела; возможно, так влекут к себе моряка берега неисследованных континентов. Быть может, его берега находились здесь, в этом зале, быть может, в ином месте — это покажет время, одно ясно — они лежат не там, где вчера. Нет, виноват он, тот другой Ауримас, который таился в нем давно, но которого он прежде как следует не знал; это он, дьявол, увел его от учрежденческого стола и рявкнул: хватит, ухожу, мой путь ясен... Это ему, новому Ауримасу, ясен, а прежнему... Прежний возмущался, буйствовал, чуть ли не рвал на себе волосы — то-то хорошо обошелся с бабушкой, то-то ласково; можно подумать, что она тебе враг... Это утро, надо полагать, не долго будет помнить, а без бабушки... Без бабушки, Ауримас, ты бы нипочем не отважился бросить службу с неплохим окладом (если не деньгами, то хоть продуктовыми карточками) и

опять засесть за книжки — после пятилетнего перерыва; нипочем не решился бы пойти на это — ты, выдвиженец, — без своей, живущей на Крантялисе, тощей, сгорбленной, но все еще с живыми, зоркими глазами и совсем не седой бабушкой, ее обшитого толем домика ("...у Глуоснисов в именье") и трех полосок картошки рядом; хоть раз ты подумал об этом? Увы, мой друг, в таких делах у тебя явно не хватает фантазии — подумать о своем ближнем; ты засел здесь, на галерке, чем-то недовольный, хмурый, злой — пуп земли, начало и конец вселенной; будто тебе не двадцать лет — такой ты серый, мятый, как тряпка, глаза вприщурку, — если и улыбнешься ни с того ни с сего, значит, тот постарался, прежний Ауримас, который засел в тебе и поддерживает этот теплящийся огонек; даже слов с трибуны — а держит речь какой-то декан — и то не слышишь; урчит в животе? Ну и что же, Ауримас, пускай себе урчит — тебе предлагали хлеба и чаю, забыл? Пускай себе урчит, Ауримас, — а ты не слушай, возьми себя в руки и ничего не слушай: умел хлопнуть дверью и уйти из дома — сумей преспокойно высидеть здесь до конца и обдумать свое поведение. Что-то рокочет? Нет, это шумит в голове; пусть шумит! Пусть шумит в голове, а ты сиди, ведь изменить что-либо ты не в силах, братец... Воля, выдержка, упорство?.. Интересно, что он ел на завтрак, этот оратор? Ветчину, омлет, голландский сыр? Или, может быть, паштет из печенки? Там, где ты работал до сих пор, всегда бывала тушеная печенка с луком... Я ее каждый день... Дурак! Ну и дурак же ты, Ауримас, какое тебе дело до деканьих завтраков, ты покамест не декан, не доцент, не профессор и даже не студент — ты рабфаковец — сиживал в президиуме, а теперь рабфаковец — светлое грядущее нации — gaudeamus igitur! А это еще что? Gaudeamus! Они поют "Gaudeamus", как в старое время, они...

Gaudeamus, gaudeamus — со всех сторон грянули голоса, задребезжали стекла, замигали лампы—gaudeamus; это пение ему не раз доводилось слушать — когда-то, в детстве, знал он и слова gaudeamus; они звенели в ушах, гудели набатом, словно гимн земли обетованной — земли, на которую ему воспрещалось ступить, — далекой земли студенчества; черта с два! Она здесь, эта земля, она с ним, в этом зале, на балконе, в гардеробе, буфете (запахло, черт, печенкой), за кулисами этой сцены — всюду, где сегодня есть люди; и даже в том вестибюле с вениками и нахальными блюстителями порядка — тоже его земля, его, Ауримаса Глуос-

ниса; уже никогда и никто ее... Никогда и никто слышите вы? Никогда и никто, хоть и урчит в животе, выворачивает все внутренности наизнанку, хоть кружится голова и рябит в глазах; а еще... эта грудь... закололо в груди, к дождю, значит... одна пуля приголубила... Что, доктор? Не болит, нет, все зажило; и никаких болей; кто же будет за меня учиться, доктор? Кто — за меня работать? На каком поприще? На любом. Главное — на важном. У меня важное дело, доктор, и если обращать внимание на всякие чепуховые царапины... Вот видите, ничего страшного, спасибо вам, доктор; к сожалению, там не было курортов, в снежных степях; в болотах; не было и здесь, знаю — но я был т а м; приходилось ли вам когда-нибудь ползти по болоту? Э-э... мне... А мне приходилось; и по болоту, и по насту, и по сугробам, а в Казани, например... Нет, бои там не шли, тыл, но и там я был; пол заляпан илом, вода чуть ли не по щиколотку, в дверь задувает север; война; и там была война, дорогой доктор, а нам хотелось спать — как и в мирное время, и лечь было негде — только на этот грязный, скользкий пол; ударило минус сорок, вскочили — не тут-то было, одежда примерзла к полу; ну и веселье, веселей не выдумаешь — живьем примерзли; потом Агрыз... И к черту все эти комиссии, все станции, лужи, сугробы — сгинуло все — сегодня ни следа не осталось, а есть только зал, эти люди, партер, президиум, сцена, балкон; только это gaudeamus, от которого раскалывается голова; жребий брошен, Ауримас, alea jacta est[1] — в свое время ты прилично знал латынь; если бабушка не перестанет ворчать...

Тут Ауримас запнулся, осекся — не слова, которых он не произнес, а мысли — глупы, донельзя идиотичны, ниже самого жалкого, рабфаковского уровня... Ну, что он ей сделает? Завяжет рот? Выгонит из дома? Смех! Кто запретит ей говорить то, что ей угодно и когда ей угодно? Во всяком случае, это будет не он, не Ауримас, ведь старуха... ведь как тут, милый друг, ни крути, как ни верти, а во всем городе она одна у него и осталась — без нее ни крыши над головой, ни жидкой похлебки не видать; о Сонате покамест лучше не думать... Тогда — о ком же? Ни о ком — gaudeamus, не думать ни о ком и ни о чем, Ауримас, ты поступил, как считал нужным, сам выбрал себе дорогу в жизни, никто не неволил; а раз уж выбрал...

---

[1] Жребий брошен (шаг сделан) *(лат.)*.

Вон там, гляньте-ка, Раудис — тот, из прокуратуры; неужели и он учится — сам товарищ прокурор и поет... gaudeamus? Ну, да, конечно, сам товарищ прокурор, учиться никогда не поздно; распевает, а может, только разевает рот этот прокурор; Ауримасу даже почудилось, что Раудис издали кивнул ему; и он еще улыбнулся, точно этакому дружку-приятелю, с которым, можно подумать, не одна кружка пива выпита; ну, если уж сам прокурор... А на сцене, там... ректор, проректор. Грикштас — вроде бы он, редактор газеты, сидит, опустив голову — черная, густая, словно войлок, шевелюра; что ж, с Грикштасом мы как будто... Правда, редко, не отрицаю, но нет и надобности в частых с ним встречах, а больше... впрочем, и об этом тоже лучше не думать... gaudeamus!

Gaudeamus, gaudeamus — Ауримас поднял глаза, — если здесь сам Раудис; gaudeamus — если Грикштас; gaudeamus, gaudeamus — запел; громко, неожиданно для самого себя, перекрывая соседей, словно перечеркивая те минуты слабости, которые только что одолевали его; gaudeamus gaudeamus gaudeamus; все будет хорошо! Ну и что же, если он рабфаковец, светлое грядущее нации — это очень даже хорошо, слышите, вы, с бакенбардами и веснушками; в ы, и с к л ю ч и т е л ь н о к о л л е г и; надо — и буду; будет Раудис, будет Грикштас, буду и я — кто нам запретит; захочу — и буду; буду, буду и буду; о, как я буду вгрызаться в гранит науки, глотать книгу за книгой, на коленках, на брюхе поползу за знаниями — как ползал по болоту; ну и пусть его урчит в животе, пусть раскалывается голова, ноет грудь — пусть в кармане сиротливо жмется один-единственный и последний рубль, за который в киоске разве что одну папироску и купишь — я пою! Я, Ауримас Глуоснис, пою вместе со всеми, пою студенческий гимн — gaudeamus gaudeamus — как и вы; я буду ходить на лекции — как и вы, стану бегать на танцы — как и вы, толпиться в очереди за стипендией — как вы, сидеть в читальном зале... и усатый сторож уже никогда — о, никогда! — не выставит меня из того подвала, где по-прежнему стоит зеленый стол с белой чертой; не отгонит от двери с медной табличкой БИБЛИОТЕКА, потому что я буду свой, наш, потому что... потому что слишком долог был путь, приведший некоего Ауримаса Глуосниса сюда... потому что...

— ...перо или смерть? — воскликнул Старик, хватая мальчика за полы одежды.

— Перо, — ответил тот. — Перо синей птицы...

— Gaudeamus, gaudeamus, — распевал он, — быть может, еще громче остальных, выпятив грудь; он пел для себя одного — для того, другого Аурамаса; кто-то заметил, всмотрелся (Раудис?), кто-то отодвинулся, кто-то нахмурился — а, Гарункштис, что жил за туннелем, из четвертой Каунасской; они встретились в студотделе и перебросились парой слов; Гарункштис изучает литературу — второй или третий год; и еще, говорят, работает в газете; Мике Гарункштис — литературу, а я — все подряд, по два класса в год, буду зубрить до потери пульса, ничего не поделаешь; эх, братец, хочешь — приходи на лекцию, самую настоящую, — на филфак, в большую аудиторию; слыхал про такого — Вимбутас? Профессор, да, да, профессор. Не слыхал? Ну, знаешь... Я тебе не к тому говорю, что профессорская дочка Маргарита — кино, Голливуд, и при этом, не скрою, гм, гм... весьма ценит некоего Гарункштиса, а к тому я тебе... Ну, пойми ты — старик водился с Вайжгантасом, с Креве пиво пил — мало тебе? С самим Винцасом Креве, чурбан ты этакий... ну тебя; по крайней мере узнаешь, что такое литература... Знаешь? Ишь ты, сколько знаешь, а идешь на рабфак... зачем учиться, если и так все знаешь? Если бы я столько знал... ну, вижу, вижу, веселый ты человек... оптимист... пойдем, я ставлю пиво, у меня был выплатной... Что-что? Выплатной, дубина ты стоеросовая, глушь уездная, не знаешь, что такое в ы п л а т н о й день... когда платят гонорары... худо-бедно, а платят, и по такому случаю...

— Мещане... — процедил, скривив губы, Мике и толкнул Аурамаса кулаком в бок; произнес он это вроде бы негромко, но зато столь четко, что прослышали по меньшей мере три ряда. — Обломки буржуазии. Моральные пигмеи.

— Кто, кто?

— Обломки, мой друг. Мрачное прошлое.

— Послушай, чижик... С какой стати...

— Коллеги, внимание! Вы на торжестве, коллеги!

— Это вам не хлев!

— Не хутор!

— Да замолчите вы! — взмолился паренек в суконном пиджаке с расческой в кармашке; он подозрительно косился на Аурамаса, хоть тот все это время и рта не раскрыл; к плечу паренька жалась девушка лет шестнадцати с ярко-синими глазами; не повернув головы, она украдкой глянула на Аурамаса — глаза блес-

нули, словно окропленные дождем; хрупкую шею обрамлял белый, по-деревенски связанный нитяной воротничок; казалось, они оба ждали, что Ауримас наведет здесь порядок — речи когда-то им толкал и вообще... — Если уж сегодня вы так... Правда, Мике, может, потом... — Ауримас отвернулся от них. — Уж потерпи как-нибудь...

— Терпеть? Зачем? — воскликнул Мике, теперь уже почти вслух. — Они тут будут горланить всякие подозрительные гимны, а мы... как барышни-гимназистки... "потом", "потом"... А чья теперь власть, как вы считаете... вроде бы советская, а? Вроде бы новая? Власть новая, гимны старые — на что это похоже? Разрешите мне спросить вас, дамы, барышни и господа, — на что это похоже? Вам, может, покажется, что так и надо?

Мике вскочил со стула, по-солдатски прищелкнул каблуками, браво повернулся, зацепился за ножку стула голенищем трофейного сапога (сапоги были великоваты ему, но отменной коричневой кожи и до блеска начищенные; Мике отвалил за них чуть ли не две тысячи), хлопнуло сиденье, и он ушел, не удосужившись закрыть за собой дверь; потянуло прохладой.

— Вот босяк, — сокрушенно вздохнул кто-то. — Настоящая шпана.

— А с виду вроде из нашенских...

— При чем тут вид!

— Коллеги, потише, Silentium, silentium! Молчание!

— Это по-каковски, а?

— Прикрой музыку, цыц! — не выдержал и Ауримас; его душил стыд, непонятный стыд — будто именно он был виноват во всем этом бессмысленном споре, разгоревшемся в голубоватом сумраке галерки; он, не кто-нибудь; и верно — не заговори с ним Гарункштис... — Кончай, дай людям слушать.

— А это что еще такое... чижик... — раздраженно прозвучал чей-то низкий, хрипловатый голос, определенно знакомый Ауримасу; это был коренастый, широкоплечий человек с усиками "под Эдди Нельсона" и белым платочком в кармане пиджака — сразу узнаешь "вечного студента"; возможно, он играл в джазе или поднимал штангу, потому что усики эти Ауримас явно где-то видел; где-нибудь на танцах или еще где-то; видел Ауримас прежде и девушек, плотно, словно наседки, прижавшихся к этому Нельсону с обеих сторон: стриженную под мальчика брюнетку в полосатом костюме и блондинку в красном шелковом платье,

обе, словно сговорились, переглянулись и одновременно пожали плечами.

— Ах, простите, прекрасные дамы, — Ауримас залился багровым румянцем. — Как вы могли видеть, мне бросили перчатку... а я... несчастный бедный рыцарь...

— Вытирай ноги, желторотый!

— Silentium! Silentium!

— Дайте же наконец послушать!

— В первый раз, что ли?

— А мне интересно... что он там...

— Райские кущи! Новичкам — без билетов.

— И комсомольцам.

— А аристократии? Не забывайте их превосходительства...

— Их превосходительствам по пригласительным билетикам. Соизвольте, милостивый государь синьор Бобялис, провести в преисподней восемнадцатый год своего студенчества...

— Ишь ты, чижик... Да откуда ты взялся? Назад... под веник... живо!

— Представитель... тсс... представитель выступает... — зашикала, зашептала и за спиной у "вечного студента" переглянулась с подружкой брюнетка в полосатом костюме; та поправила волосы рукой — таким быстрым, знакомым движением; знакомым? Ауримас уже видел такие волосы, схваченные голубой лентой, хоть и не мог припомнить где; эти движения рук — быстрые и непременно притягивающие взгляд; Ийя? Почему Ийя, какая Ийя? Это же вздор — Ийя; он подался вперед; мираж; ее нет и никогда не будет. ("Это же Даубарас — вдруг расслышал он и даже вздрогнул; "выступает представитель...") Даубарас — ну конечно же — представитель! Высокий, статный, в черном костюме, белой сорочке, на лацкане красный депутатский значок — Даубарас выглядел старше, чем был на самом деле (Ауримас знал, что Даубарасу тридцать лет); опершись руками о стол — и не руками, а лишь кончиками пальцев — белейших и словно приклеенных к зеленому сукну (это придавало ему изысканно-интеллигентный вид), непринужденно откинув голову, он без спешки, со знанием дела, не повышая голоса, бросал в зал слова — и не раскидывал их как попало, а метил куда-то сюда, в первые ряды, где сидели гости, где находилась профессура и администрация, — выкладывал по одному, по два, будто карты на стол;

говорить он умел. Но сегодня Ауримасу почему-то вовсе не хотелось слышать, о чем говорит Даубарас; ни Даубарас, ни кто-либо вообще; взгляд упорно возвращался к сидящему впереди Эдди Нельсону и этой как будто знакомой девушке; развернув могучие плечи, обтянутые черным пиджаком, "вечный" торжественно восседал между блондинкой и ее подругой, заняв своей массивной фигурой чуть ли не два места; девушки примостились с обеих сторон, как тонкие свечки у святого образа; Ауримас перевел дыхание и отвернулся. Нет, оно не вернется, это обманчивое мгновение, Ийя; и не надо, пусть; первоначальное любопытство уже угасло, снова всей тяжестью навалилась усталость; он уже не радовался этому дню — такому долгожданному и желанному, хоть и не выявил еще причины своего разочарования; просто всего этого было слишком много для него. Он все еще чувствовал, как где-то в глубине — на большой или на малой — теплится старая, пронесенная сквозь годы злоба на что-то, чему трудно подобрать название, а может, на кого-то — на того, другого Ауримаса, который мешал ему быть таким, каким он видел себя в минуты мечтаний, — здоровым, крепким, жизнерадостным, не знающим страха и сомнения; выступление Даубараса пробудило в нем позабытые было сомнения; да еще этот Нельсон с накладными плечами; да еще Раудис; да Грикштас — там, за столом; п р е з и д и у м. Ауримас снова почувствовал себя крохотным, совсем ничтожным и ненужным здесь — в этом зале; gaudeamus, слышь ты, — gaudeamus igitur; к черту; он привстал и бесшумно, словно тень, выскользнул в коридор.

— О, товарищ из президиума! — встретил его знакомый, будто процеженный сквозь опилки, голос; это был все тот же конопатый, распоряжавшийся вениками; теперь он, закинув руки за спину, пригнув побычьи голову, без дела ошивался по вестибюлю и со скуки разглядывал проходящих мимо девушек. — Уважаемому товарищу не понравилось? Или считаешь, что твои проповеди были лучше?.. Все война да война... ни разу о футболе... или о Фрейде... или о девчонках... А может, ты поставил бы мне пиво?.. И вообще...

— И вообще: катись ко всем чертям!.. — Ауримас подошел к конопатому совсем близко; кулаки сами собой сжались. — И как можно быстрей... Верхом на венике... А ну!

И тут он увидел Сонату — —

III

Увидел и обмер, спохватившись, что чуть было не смазал по физиономии конопатого; я знал, что Соната ничего не поймет — или попросту не захочет ничего понять, и все равно подошел к ней, точно провинившийся детсадовец к воспитательнице; чувствовал, что сегодняшняя встреча особой радости не сулит. Соната, я опять подвел тебя, я один и никто другой, но как же тебе все объяснить? Я не мог прийти. Я писал. Ты не знаешь, чем я занимался, а я писал; но если и узнаешь, простить не сможешь; с тебя станется даже высмеять меня, Соната, но я не мог иначе...

— ...перо? — переспросил Старик, будто не веря своим ушам, и выпустил мальчика и даже ковырнул засаленным пальцем у себя в черном ухе: не ослышался ли он? — Перо, говоришь? Что же, бери его. На!

Старик сунул руку за пазуху и неторопливо извлек оттуда старинного образца коричневый пистолет — с рукояткой слоновой кости и толстым, довольно длинным стволом; мальчик как-то видел такую штуку в музее.

— Ну, возьми, чего же ты ждешь?

— Это не перо, — мальчик невольно отступил назад. — Это вовсе не перо. Оно не такое. Это...

— Ха! — осклабился Старик. — Ишь чего захотел — перо! А знаешь, любезный, что еще никому не доводилось взять его в руки? Ни единому человеку. Оно священное. Заговоренное... Человек и дотронуться до него не смеет... ведь тот, кому достанется...

"...Солдату жаль снов, солдату жаль снов", — писал я; несколько дней кряду писал; я писал, а он, тот Ауримас, из угла равнодушно наблюдал за мной; и он притих, погрустнел, отчего-то явно повесил нос; до меня ему словно дела не было, ничуть; экзамены были позади, удостоверение в кармане; голова легка, как бочонок, из которого вылили воду, — даты, цифры, правила — все, чем эта голова была нафарширована до экзаменов; чего-то я уже добился, хотя этого было до смешного мало, какую-то дверь приоткрыл — на самую узенькую щелочку; куда она введет меня? Куда-то, в какой-то новый мир; кто говорил, будто все это не для меня? Кто-то и когда-то — тот другой Ауримас; теперь помолчи-ка, дружище! Я писал, Соната, и ничего больше в моем мире не существовало — ни реки, где плещется август месяц, ни товарищей, ни старой бабушки, ни тебя, Соната, ты не сердись; хоть ты, возможно, и была,

да я тебя не видел; солнце успело описать круг над рекой и опустилось за сизым бором, а я все еще сидел за шатким круглым столом и писал, и все не мог выкроить время подумать о тебе, Соната; а вдруг я все это время думал о тебе? Соната Соната Соната — шуршала ручка, подаренная мне тобою; А у р и м а с у в д е н ь р о ж д е н и я — С о н а т а — было выгравировано там, пальцы чувствовали остроту букв на гладкой поверхности ручки; чувствовали тебя; Соната Соната Соната — шептали буквы, но я не различал их голоса, как и остальных звуков за окном; я весь был здесь, в тесной, оклеенной старыми, ободранными обоями каморке, посреди которой стоял непропорционально большой круглый стол; здесь сидел я и писал; я был один не только в этой комнате, но и во всем мире: посторонним вход воспрещен! Всем, всем — даже Сонате, которая подарила мне эту ручку (где же сейчас Соната, мелькнуло в голове); ручка отменная, из нержавеющей стали, с иридиевым острием — пишешь и не чувствуешь пера, великолепие. Даже бабушка, которой я, как ни совестно признаваться, почему-то избегаю, а возможно, стесняюсь; сейчас старой нет, ушла в город — за хлебом или еще за чем-нибудь: что достанет, то и принесет — по карточкам получит, по студенческой и старушечьей карточкам; а вернется — первым делом растопит плиту, поставит кастрюли, наколет дров на завтра — и лишь после того отворит дощатую, оклеенную такими же цветастыми обоями дверку в комнату, где засел я, ее внук, ее горе — п и с а т е л ь Аурим ас, бросивший работу (какие там были карточки!) и корпящий снова над книжками; да в его ли годы... П и с а т е л ь! Слово это в устах старухи звучало чуть ли не ругательством — особенно когда кончались деньги или карточки (зачастую и то и другое сразу). Писатель — может, оно и ничего, не моего ума дело, только для того ведь денег надо; а пока... Ах да не морочь ты мне голову, дай мне работать, умоляю! Работать? Разве это работа — только бумагу изводишь, торчишь ночи напролет — в чахотку вгонишь себя... а толку-то, господи... Толку? Почему от всего должен быть толк? Мне нравится писать, вот я и... Ты! Толстой, этот самый Толстой, говорят, графом был, поместьем владел — ему и карты в руки, пускай себе пишет... а мы... в нашем именье... у Глуоснисов в именье мыши дохнут, Аурим ас; неужто допустишь, чтобы я одна весь век... своим горбом... Нет, что ты, конечно, — я еще буду зарабатывать, увидишь... "Мартин Иден"... Она не читала,

само собой, хотя книги она любила; не надо ей никакого Мартина! Ей тридцать рублей надо — отоварить карточки на подсолнечное масло, а еще принесли счет за электричество — задарма и его не дают, даже п и с а т е л я м, а еще... Хватит! Хватит, хватит! — зажимаю ладонями уши, чтобы не слышать больше; что я могу сделать, ведь была война, ведь... Война была для всех, качает головой бабка и глядит на меня печальными, вовсе не сердитыми глазами и знай качает головой, и для тебя, и для Гаучаса... а видишь, он-то опять на фабрику поступил... Хватит! Хватит, хватит! — грохнул я ручкой; Соната Соната Соната — выгравировано там; но я уже не смотрю на металлическую ручку, вскакиваю со стула и принимаюсь быстро ходить по комнате — взад-вперед, взад-вперед... И молчу; хочется что-то сказать — все поставить на свое место, — а нечего, и я молчу; старуха, черт подери, кругом права. Она права, но прав и я, и если я тут ничем не могу помочь, то лучше уж... Лучше? По-твоему — лучше? Может, лучше было бы уйти из дома, найти комнату в городе, снять... что-то делать... что? Да хотя бы давать уроки — языка, истории, географии, хотя бы... Уроки, вдруг захотелось высмеять самого себя, кому они нужны, уроки твои, если можно за год пройти два класса — да еще стипендия, а всякие курсы, рабфаки... Одно из двух — учиться или работать, одно из двух... учиться! Черпать знания. Утолять голод. Швырять книги в утробу тому, другому Ауримасу, пусть пожирает, пусть давится, пусть... Читать, читать, читать — все, что попадет под руку; пока не потемнеет в глазах, пока не закружится голова — читать! И, может быть, вечерами, когда выучишь уроки, прочитаешь все, что положено, когда все лягут и погасят свет... и когда по крыше забарабанит тягучий, монотонный осенний дождь... Писатель! Проболтался как-то старухе. Кем же ты будешь, когда отучишься? Может, писателем. Писателем? Писателем... Хотя как знать, может, у меня нет таких способностей... дайте мне стать человеком! Дайте заниматься тем, чем я хочу, а как мы что назовем — не слишком и важно; я же у других ничего не прошу... Разве только покоя, да, покоя я, конечно, прошу, потому что без него — как и без авторучки; дайте человеку работать! Как работать? Как видите! Дайте человеку побыть наедине с собой, с тем Ауримасом, который, кстати, что-то мне говорит — что-то сердитое и нелицеприятное; не одобряет моего поведения... Работать, работать, работать, дайте мне работать! Дайте быть. Прос-

то — быть. Быть тем, кто я есть. Тем, чего жду. Чем живу. Быть вместе со всеми — с грузчиками, обрезчиками паркета, солдатами — добрыми старыми друзьями солдатами — с теми, что пришли в сугробы Орловщины, с теми, что черными комьями пали на ослепительно белый бархат, и с тем, другим Ауримасом, — тогда он не думал писать; а может, уже думал, не знаю; просто все было не до того; быть, дайте мне быть с ними со всеми — с теми, кто остался, и с теми, которых, увы, больше нет, — вечная им память; посидеть здесь за этим столом, — так, как сиживают у братской могилы; дайте мне побыть одному, чтобы никто не видел, дайте побыть один на один с собственными мыслями, потолковать с другим Ауримасом, который вместе со всеми пришел в бескрайние эти снега; дайте мне до боли сжать в пальцах металлическую ручку с гравировкой Соната и писать, писать, писать, пока я этого хочу, пока за мыслью мчится мысль и пока он, другой Ауримас, издалека одобрительно кивает мне головой; счастье, что перо отличное, нержавеющей стали и бесшумно скользит по бумажному листу; бумаги у меня хватит. Тут она, бумага эта, — рукой подать: через улицу, за огородом дяденьки Гаучаса; теперь снова днем и ночью, не переставая, гудят станки бумажной фабрики, обращая дерево в бумагу; дядя Матас носит ее мне; "министерская, особая", с гордостью говорит он, другой покамест никакой нет; правда, эту бумагу надо нарезать, но это, право, сущие пустяки; иногда дяденька Гаучас делает это сам. С виду он такой нескладный, этот дядя Гаучас: длинный, сутулый, ходит на согнутых ногах; говорит, нет забора, который бы он мимоходом, шутки ради не оседлал — это в молодости; теперь дядя Гаучас — лучший рольщик фабрики, без него не обходится ни одно собрание в дощатом бараке, где разместился клуб; играет немецкий джаз-оркестр. Военнопленные играют, выкликая: Моника! Моника! — а Матас Гаучас произносит речи; все они начинаются словами: когда я был в России... И я там был, вот и нашлось бы о чем поговорить; писатель? Слушай, не морочь ты мне голову, Вероника (это Гаучас бабушке), пусть пишет... бумаги много... фабрика под боком... Ты думаешь, Матаушас? У каждого человека, Вероника, своя гора. Повыше, пониже, а своя... И пока не взойдешь на нее, не увидишь ее высоты... Гора? Ну, а дальше, Матаушас? Взойдешь на нее... А дальше... другая гора, Вероника... а за ней... Полно тебе, Матаушас, — гора да гора... ты нынче что-то... С горы

дальше видно, Вероника... другие горы видны... Другие? Такое-то дело, Вероника: кто чего стоит... вот когда я, например, был в России...

Потом молчание. Молчат оба; я будто слышу это их молчание.

А сам-то написал бы, а,Матаушас? Ты ведь в школу ходил.

Я? Ходил, это конечно... а насчет всякой там писанины, гм... где у вас топор, а? Дай лучинок наколю...

Трах! Трах! — машет топором Гаучас, стоя на полусогнутых ногах; я пишу. Все новые и новые листы ложатся под стальную ручку, и все новые, яростно скомканные, летят под стол; солдату жаль снов, солдату нужны сны — мысли все об одном и том же, о чем бы ни писал, о чем бы ни задумался; солдату жаль снов; это Гаучас так сказал; тут нет ничего особенного. Дяденька Гаучас, страшно перед атакой? Нет, Ауримас, не страшно, но когда со сна — жалко, что сон не досмотрен... Какой сон? Да уж какой у кого; мне все больше детишки снятся... А жена?.. Она — реже, все детки, Неман, пристань... угреешься, а тут вдруг... ур-ра-а-а!.. Холодно не холодно — ур-ра-а-а, зимой, летом; по правде, ничего особенного, да жаль, когда сон перебьют... Сон... Только сон? Конечно. Сон — это хорошо, когда нет ничего другого, когда все далеко... ну, ладно, хватит тебе сосать пакость эту — никотин; молод еще, дай докурю сам...

Солдату жаль снов, солдату жаль снов — выводила стальная ручка, едва слышно шелестела бумага; Соната Соната Соната — шуршало между пальцами; Ауримасу в день рождения — Соната; она ждала меня у себя дома, в центре города, в квартире с зелеными коврами; как обычно, на столе перед ней тарелка с орехами, а еще, может быть, зеркало, она любит смотреться в зеркало; а еще, может быть, роман; между прочим, в данный момент она в моих мыслях отсутствовала — если можешь, прости; и она, и дядя Гаучас, что возвращается сейчас берегом Немана с фабрики, и даже бабушка, которая волочет громоздкий куль с чурками, одолевая крутой косогор; солдату жаль снов! Он, только он один, передо мной — солдат, роющий себе укрытие в белом снегу — крохотный черный муравей на белом волнистом фоне; я видел его издалека — словно с вышки, словно с самолета — дядю Матаса и себя; потом настала ночь. И не ночь, а лишь вечер, и не настал он, а подплыл, скользя, словно исполинский серый корабль; подплыл и уткнулся про-

смоленным носом в окопы; злобный седой январь костлявыми пальцами зимы принялся швырять не слежавшийся еще степной снег; снег голубел и взвивался над землей, точно одеяло над бьющимся в судорогах больным; где-то уже поджидало утро. Покамест ночь, хотя будет и утро — такое же студеное и седое, обозначенное лишь редкими, медленно тающими в удушливом тумане звездами; будет и день — безусловно; и весна, и лето; но тогда была зима, струился вечер и должна была надвинуться ночь; солдат уже видел ее, и я тоже видел ее, эту ночь, и солдата, закутанного в вечер, словно в шаль; я с закрытыми глазами видел эти бескрайние снежные равнины, их медленно поглощала ночь; видел тучи, людей, опрокинутые телеги, полевые кухни, орудия, винтовки, торчащие среди сугробов вздутые животы палых лошадей — будто черные осколки этой ночи, — и опять солдата — Гаучаса или себя; Гаучаса, Гаучаса, ну конечно же — долговязого, слегка кривоногого, с заиндевевшими жесткими усами; с винтовкой между обмоток — дулом кверху, будто целится в самый зенит; где-то там — в бездонной вышине, поверх тучи — едва слышно зудел самолет; винтовка была на страже, хоть Гаучас спал в окопчике, — я видел; склонив голову на плечо, свесив вниз сивые усы, он дремал и отчего-то все хмурил брови, на которых сверкали белые снежные крупинки; солдат отдыхал после дневных трудов — целый день мы рыли этот снег, устраивая себе окопы; он устал и теперь отдыхал, обратив дуло винтовки прямо в небо, и сквозь сон дергал бровями, словно по ним ползала какая-нибудь козявка; снежные крупинки дрожали на оледеневших ресницах, как росинки на траве; война тоже работа, Аурис, и от нее тоже устают, как и от всякой другой; военному человеку, учти, тоже надо отдохнуть, — кажется, так сказал дядя Гаучас, так или как-нибудь в этом духе; вот как сурово обындевевшее его лицо — лицо солдата Гаучаса, дяди Матаса, брови дергаются, и не брови вовсе, а все та же забота, та же тощая бездомная кошка проползает по солдатскому лицу, ни на миг не покидая его — ни во сне, ни на отдыхе, — эта посеянная войной душевная тревога. И мое лицо таково — я знаю, хоть я чуть ли не втрое моложе; я тоже солдат и точно так же коченею в этом белом снегу; стыну и держу винтовку дулом вверх; у меня тоже свои счеты с небесами; вдруг мне становится страшно. Страшно, поскольку все это для меня непривычно, и неожиданно вдруг — он смеется! Гаучас вскидывает

голову, скалит в улыбке зубы и громко хохочет — ха-ха-ха — звонко и яростно, как гром, — прямо в лицо этой ночи, стуже, тучам и небу, куда нацелено дуло его винтовки; в лицо смерти; и даже взмахивает рукой, отгоняя кого-то — брысь, подлая, вон отсюда, — сгинь, пропади, прочь с моих глаз, — гонит он от себя эту тощую бешеную кошку, свою назойливую тревогу; ха-ха-ха гонит прочь — брысь, брысь, даже открывает глаза — они белы и тускло поблескивают — прочь, — мечутся лунные блики — морозная вспышка — прочь; мне становится жутко. Жутко, хотя Гаучас снова затихает, опускает голову вниз; хотя широко и открыто улыбается — самому себе; жутко, потому что... Потому что я думал, что дядю Матаса знаю, а выяснилось, что нет, так как я вовсе не знал, что он смеется сквозь сон и что скрежещет зубами; так как он спит и в то же время будто не спит, он и здесь, и не здесь — где-то в другом месте, где я никогда не бывал, а может, бывал, но боюсь признаться даже самому себе; что-то он бурчит себе под нос — что-то понятное ему одному да и нужное, пожалуй, лишь ему самому — нипочем не разгадать, что именно; что-то он видит там, вдалеке, в безбрежной ночи, видит своими раскрытыми, помутневшими глазами или сквозь сомкнутые веки; что именно — под силу ли мне это знать? Не мне? Тогда кому же? Неправда, о нет, я знаю; я знаю, что видит он в этом мимолетном зимнем сновидении, в этих просторах, — солдату нужны сны... Они помогают выжить; нужна улыбка — пусть хотя бы сквозь сон, украдкой; как молодеет, проясняется его лицо... каким дышит покоем... Что же увидел он там, в черной ночной мгле, что-нибудь отрадное, светлое; родной дом? Да, конечно же дом; Гаучас видит дом, и я — дом; наши дома рядом; что же еще может сниться солдату в такую студеную ночь? Что он увидел? Какие-то лица, которых не было днем, улыбки, простертые руки — и рассмеялся прямо в глаза войне; может, снилась ему жена, явилась из далекой юной поры; или не эта женщина, а совсем другая, любовь, растаявшая в потоке дней, как угадать; но, может быть, я знаю, чую, может быть... Дети — он увидел детей, ведь так улыбается Гаучас, когда видит своих крохотных пушистых воробушков, когда они, порхая, спешат ему навстречу; Римасу щелчок, Нелли леденец, Лаймису дырку от бублика... Вот и сейчас они — я видел воочию — белоголовые и босые мчались навстречу солдату с поникшими обындевевшими усами, летели во весь опор, вприпрыжку через

сугробы, на ветру развевались еще теплые, пахнущие сном рубашонки; они неслись, почти не касаясь ногами земли, реяли в воздухе, точно радужные, лучезарные ангелочки младенческих грез, их руки были простерты — будто в погоне за облачком или звездой; ни мороза они не боялись, ни ветра, ни пуль (взз, взз — пели те) — и плыли, вытянув руки перед собой, над снегами, не глядя по сторонам, словно три белых, поднятых из гнезда голубенка — батя, батюшка, батяня — вернулся — — Да уж вернулся, родные мои, вернулся — раздиралось в улыбке промерзшее солдатское лицо; тревоги ни следа — сгинула голодная кошка; глаза сверкали двумя звездами, лицо сияло, голос лился свободно и мирно; я, я, родные, вернулся — — Жив? — Цел, невредим, а то как же, сами видите, и жив и здоров — хоть и стреляли, окаянные, целились, миллионы пуль охотились, миллионы штыков набрасывались, хоть леденело лицо и сердце коченело под шинелью, хоть — — Ко мне, ко мне, родные, спешите — скорей летите сквозь снег, сквозь ветер, сквозь иней, а я вам гостинцев — кому щелчок, кому леденец, кому дырку от бублика, — только скорее, скорее сюда — по снегам, по лесам, по озерам,— сквозь огонь и воду — сквозь широкий белый фронт — сквозь небо, звезды и облака — холодные высокие облака — скорей ко мне; спешите, пока я здесь, пока не сразил меня миллион пуль и пока мое сердце не пронзил миллион штыков, пока — — Навещайте, навещайте меня здесь, в окопах, — будьте со мной — всегда — все — всюду — ведь мне — ведь солдату — нужны сны — всегда нужны — всегда жаль — жаль снов — ура-урра-урраа — —

Потом я поднял голову и с удивлением обнаружил, что снова настал вечер и пора было вставать из-за стола, идти в город, где меня ждала Соната, сидя перед тарелочкой с орехами, — все то время, пока я находился там, в снегу; солдат свернул цигарку, глубоко затянулся — он кончил рассказывать, я — писать; захотелось закурить и мне; солдат ни о чем другом не сожалел — только о недосмотренном сне; но рассказ свой он закончил, крепко сжал винтовку, рукавицей смахнул со ствола иней, поправил ушанку, съехавшую на глаза, поднялся и, стараясь не отставать от других, с винтовкой наперевес, как и все остальные, двинулся по сугробам вперед; и ему было почти все равно, только жаль было, что так быстро оборвался сон; понимаете, солдатам всегда жаль снов — им нужны сны; в конце концов, и сна этого не было жаль, поскольку он был заключен в этой стопке бумаги, которую я придвинул

к себе и, как-то без прежнего внимания, перебирал; ничего не было жаль и мне; я оттолкнул исписанные листы как можно дальше от себя и поднялся из-за стола.

И увидал окно, багровое солнце, что садилось, точно птица, на сизый бор, и бабушку, мелькнувшую за окном — громоздкая ноша за плечами; такую щупленькую, сухую, тоже вроде щепки; больно кольнуло сердце, я почувствовал себя кругом виноватым, вскочил, бросил папиросу и помчался во двор, норовя хоть чуточку помочь ей; но Гаучас опередил меня, схватил куль с чурками, раскачал, как артиллерийский снаряд, и метнул к сарайчику; я вернулся в дом.

"Третий день все за столом да за столом", — расслышал бабушкин голос. "Только-то? Вот когда я был в России..." — "И на что ты столько бумаги приволок, Матаушас?.."

Солдату жаль снов! Солдату жаль снов!

Я как будто и не слышал, о чем разговаривают бабушка и дядя Матас, не замечал, как они издалека поглядывают на меня, — а я, сам не свой, растерянный, чем-то ошарашенный и в то же время радостный, с глупой улыбкой топтался на пороге и крутил пуговицу от пиджака, которая и так болталась на ниточке; я был здесь и в то же время отсутствовал, как и тот солдат; я все еще жил тем впечатлением, которое принес с собой из каморки с шатким круглым столом, из бескрайних степных просторов, где в рыхлом снегу, тесно прижавшись друг к другу, сидели мы с Гаучасом, поставив винтовки стоймя, мы дули на закоченевшие руки сквозь промерзшие рукавицы; с Гаучасом или с кем-нибудь другим, это неважно; согреться не удавалось, стужа ледяными пальцами шарила у меня за пазухой, нащупывала опухшие, отечные бронхи; и все равно клонило в сон, волнами накатывала дремота, дурманила, убаюкивала, голова никла к земле, окаменевшей от стужи; и все равно над землей реяли сны, сплетали свою голубую паутину поверх окопов, ласкали лица, обволакивали, зачаровывали, и все равно — — И дяденьку Гаучаса я видел, будто сквозь сон, и бабушку, и двор, и щепки; и голоса доносились до меня сквозь снежную пелену, сквозь те, далекие, снега: голоса неестественные, неземные. Я оглянулся. Дядя Матас. Он стоял рядом со мной. Кажется, у меня вышло... Что, бумага вышла, кончилась? Нет, нет, я написал, вышло... Валяй, валяй, еще притащу... Эх, дяденька Матас, не понимаешь... нужны ли сны солда-

ту? Сны? Солдату? Ну, когда я был в России... Нет, нет, нет, не говори, дядя Матас, помолчи, ничегошеньки ты не говори, я знаю! Я сам, дяденька Матас, знаю, у каждого своя гора; и ты лучше не говори, ты уже все высказал — там, на листах бумаги, которые лежат на круглом, шатком столе; ты здесь, на Крантялисе, в доме, ты вернулся, потому что знал, чего хочешь, — хоть искали тебя миллионы пуль, нацеливались миллионы штыков; ты здесь, дядя Матас, и я здесь. Нужны, нужны, нужны! Солдату нужны сны, — сам того не ожидая, я подскочил к Гаучасу, приподнялся на цыпочки (ух, и высоченный же он!) и чмокнул его в щеку, потом схватил бабушку под мышки, подбросил ее кверху, покружил и поставил на пол — старушка яростно замахала руками, точно отгоняя ос; я кинулся в комнату, сгреб свежеисписанные листки и — на улицу; Гаучас с бабушкой только плечами пожали.

Что-то он задумал, этот другой Ауримас, который таился во мне столько лет в ожидании, когда пробьет его час; этот вырвавшийся от Старика мальчуган; что-то он должен был совершить — сегодня или никогда; Соната? Подождет, хоть это и невежливо — так обращаться с ней; пусть немного обождет — тот, другой Ауримас, и не столько ждал — много-много лет — тот мальчик; Соната обождет, пока я сбегаю на почту и отправлю это письмо — сегодня или никогда: ВИЛЬНЮС, РЕДАКЦИЯ, НА КОНКУРС; Соната, я думаю, поймет. И простит; может быть, простит; не стану же я терпеть и тянуть, пока все перегорит, пока вновь одолеют сомнения и будут разъедать, точно ржа железо; так уже было — так будет еще — возможно, сегодня или завтра; сегодня! ВИЛЬНЮС, РЕДАКЦИЯ, НА КОНКУРС — выведу на конверте; НОВЕЛЛЫ НА КОНКУРС; Соната обождет, скорей, скорей! ВИЛЬНЮС, РЕДАКЦИЯ, НА КОНКУРС, СОЛДАТУ ЖАЛЬ СНОВ — — Соната обождет; поймет не поймет — обождет; ты будешь ждать, Соната, ладно? Ты всегда будешь меня ждать, ладно? СОЛДАТУ ЖАЛЬ СНОВ — — Я уже на тропке между картофельных грядок, я уже на шоссе — нету попутной, нету; и автобуса тоже — всего один в час; к тому же нерегулярно — часто портится; и потом... Сунул руку в карман, ощупью пересчитываю мелочь: двадцать... сорок... восемьдесят три; сорок — простое письмо, шестьдесят — заказное, да еще конверт... хватит! На билет не останется, а на письмо хватит... должно хватить,

или... Или опять придет Старик, и схватит мальчика за отвороты курточки, и станет трясти, таскать, и будет хохотать в лицо холодным бесчувственным смехом и, возможно, направит пистолет — сверкающий медью и подмигивающий пустыми глазницами; или — настанет завтрашний день и опять принесет с собой сомнения, которые разъедают, как ржа железо или стыд — глаза; Старик спустит курок — тугой, латунный, — и эти листы, которые в данный момент в нагрудном кармане держит некто Ауримас Глуоснис — писатель Глуоснис, — канут в вечность вместе со множеством других невесть когда и неведомо кем исписанных, и уже никто, никто на свете не узнает, какими безбрежными, открытыми всем ветрам и пустынными были степные снега, пока не пришла туда пехотная рота Матаса Гаучаса, когда я был в России; и никто не увидит бредущего по этим снегам солдата и не увидит его снов; все это забудется и уйдет в небытие...

IV

— Ты здесь? — спросила она небрежно и отвернулась к девушке, с которой разговаривала, той самой брюнетке в полосатом, которую Ауримас, казалось, только что видел на балконе возле "вечного студента"; уму непостижимо, как она успела появиться здесь, подумалось: Эдди Нельсон остался один с той, белокурой. Ийя, — он вздохнул, снова вспомнив это имя. Ему нравилось это имя — Ийя, безвольное сочетание гласных; имя, растаявшее в далекой дымке, образ, уплывший с туманом; от всего этого веяло далеким, но сладостным теплом.

— Здесь, — ответил он.

— Я искала тебя, бесстыдник.

Он поднял глаза — и сразу же Ийя исчезла — это имя, это лицо; рядом стояла брюнетка в полосатом; надушенным платочком она обмахивала лицо; ее глаза горели любопытством.

— Кто ищет, тот найдет, Соната, — Ауримас покосился на брюнетку. — Есть такая песня...

— Лучше скажи, где ты пропадал?

— На рыбалке, — ответил он и почему-то даже не улыбнулся; подружка в полосатом прыснула в платочек. — Золотую рыбку ловил.

— Поймалась?

— Как будто.

— Ты мне зубы не заговаривай, — Соната метнула в его сторону убийственный взгляд, это она умела. — Не нравятся мне твои золотые рыбки. Больно часто ловишь.

— Сцена объяснения? — Ауримас нахмурился и опять взглянул на полосатую студентку; та как ни в чем не бывало прижимала уголок платка к темной родинке на подбородке; родинка, кстати, ей шла. — В программе вроде бы не значится...

— Почему? Значится! Мама очень недовольна.

— Мама?

— В субботу был ее день рождения, Ауримас.

— В субботу? Вчера?

— А ты не пришел...

— Но я не знал, когда у твоей мамочки день рождения!

— Красота, правда? — Соната повернулась к подружке в полосатом; ее губы едва заметно дрожали от злости. — Он не знал! Как тебе нравится все это, Марго?

— Придется привыкать, — пожала та плечами.

— Ни за что на свете! — Соната опять сверкнула очами; своими большими, зеленоватыми очами. — Ни за что, Ауримас. Мы с тобой еще поговорим.

— Только не сегодня... только не здесь... — протянул он и подмигнул приятельнице Сонаты, этой Марго; это опять было из песни.

— Ты еще у меня попоешь!

— Что ж, кажется, мы с тобой...

— Помолчи же ты! — она прикрыла ему рот ладошкой. — Ни слова больше! И ни на шаг от меня, слышишь? В наказание будешь приглашать меня весь вечер...

— Ну что ж, если в наказание...

— Меня одну... целый вечер! И на других — даже не глядеть!

Она подняла палец и кокетливо погрозила им; Марго улыбнулась ей, потом Ауримасу и понимающе отвела глаза.

— Ты что, пришла только на танцы? — спросил Ауримас, слегка помедлив. — Вечер начался давно.

— Господи, чего я тут не видела? — Соната тряхнула головой; на гладкой, изящно оголенной шее подпрыгнули бусы. — И без того целыми днями только и слышишь что всякие поучения... наставления... прямо тошнит...

— О, если на то пошло... если тошнит... лучшего места, чем танцзал, не придумаешь...

Марго подавила смех, прикрыв рот платочком; Соната сердито топнула ногой.

— Знаешь что, Ауримас... Совесть надо иметь!

Она часто-часто заморгала — вот-вот заплачет, и отвернулась; и Ауримасу стало не по себе. Он понял, что пересолил, а теперь — как вернуться в привычную колею; при чем тут Соната? При чем тут она, если у него раскалывается голова, сосет под ложечкой, а уж настроение — хуже некуда, к тому же неизвестно отчего; если вспомнилась Ийя, и он невольно в своих мыслях поставил их рядом — ее и Сонату; дурацкая, бессмысленная затея; Соната Соната Соната — шуршала ручка; отшуршала, все, лежит-полеживает на столе в комнате с цветастыми обоями — колпачок завинчен, перо отдыхает; Ийя Ийя Ийя — проплывает в мглистой дымке лицо, змеятся льняные волосы, переливается бирюзовая лента; бирюзовая? Неужели и там была лента, неужели тогда тоже?.. Нет, нет, не было — ничего не было тогда: ни ленты, ни зала, ни Сонаты... Разве могу я сказать тебе, что солдату жаль снов, — и потому я не пришел к тебе, что Ийя... ведь Ийя — возможно, тоже сон, как и многое из той поры — когда я был в России; там, на далекой станции Агрыз... Нет, нет, не поймет; он не смеет даже хотеть, чтобы Соната все поняла. Ийя; и бирюзовая лента, которой никогда не было у той, и это движение рук... Не то. Совсем не то, Ауримас, ты бредишь. Не болен — а бредишь; все, мил человек, не то и не то; тебя обошли — не дали веника? Чтобы вытереть ноги, как положено только первокурсникам. Дали и отняли; президиум; речи нам толкал и вообще; что, черт подери, вообще? При чем тут Соната? При чем? Этот... Нельсон расселся, точно граф, между двух красоток, одна из которых Марго, а другая — так поразительно похожа на Ийю... и что они находят в этом чучеле на вате... а Гарункштис с его сапожищами... хоть в музей трофеев войны сдавай... и, прошу прощения, Даубарас... Все, решительно все раздражало его сегодня, даже Даубарас, которого он не видел чуть ли не целый год; старинный знакомец Даубарас, снова появившийся в Каунасе — представитель Даубарас, — сегодня раздражал его не меньше, чем пустота, которая разверзлась в нем самом — после того, как он стремглав примчался на почту и в самый большой ящик кинул письмо в редакцию, — то письмо; он словно кинулся туда сам, весь уместился в этом ящике; теперь он был голоден, зол и опустошен, а тут еще эта Марго...

— Иду, иду! — она уловила сердитый взгляд Аури-

маса. — Все понятно, — повернулась она к Сонате. — Мне тоже надо разыскать своего, ну, Гарункштиса...

— Мике?

— Да, литератора... Такова наша доля — гоняться за ветром... и, как говорит мой папочка...

— За ветром?

— Ага... все, мы, Соната...

— Я ни за кем не гоняюсь, — сказала Соната.

— И я — ни за кем... — пожала плечами Марго. — Но приглядеть за нашими ребятами, Соната...

— Ты как хочешь, а я — не гоняюсь, — Соната выпятила губы; они дрожали. — Неужели тебе еще неясно, Марго?

— Ясно, ясно, дорогуша, — Марго приподняла руки, словно обороняясь. — Ах, мне все насквозь ясно, Соната.

Она пристально глянула на Ауримаса, слегка задумалась, ни с того ни с сего улыбнулась — себе самой или Ауримасу, — только не Сонате, нет, потом — руки в боки — повернулась и по-птичьи легко унеслась по коридору в зал; там уже гремела музыка.

— Ну, касатка, — проводил ее Ауримас взглядом. — Ох, была бы ты такая...

— Какая? — содрогнулась Соната, пронзив его своим зеленым взглядом. — Какая, Ауримас?

— Да вот такая... попроще...

— Я сущая овца, Ауримас. Другая бы на моем месте и не так с тобой сегодня... а я... Я овечка, и ты это знаешь, не то бы...

— Пойдем в зал. Музыка.

— Английский вальс?

— Танго. "Ла Компарсита".

— Это твое танго.

— Мое. И поэтому я приглашаю тебя. Только ты больше не сердись, ладно? Плохое настроение губит красоту. А я хочу, чтобы ты всегда была красивой.

— Хочешь?

— Ну конечно! Да ты и так красивая, Соната.

— Красивая овца?

— Ты сама знаешь, кто ты.

— Дай-ка зеркальце.

Ауримас подал ей зеркальце; Соната деловито глянула, пригладила пальцем брови; поправила ожерелье, одернула платье — опять новое, светло-голубое с зеленым отливом, взяла под руку Ауримаса и первая вошла в зал.

В залах, где устраивались танцы, Соната чувствова-

ла себя как дома, а то и еще лучше (хоть ей не было и восемнадцати); Ауримасу порой казалось, что все эти залы существуют только для нее одной, стоило ей появиться, и в зале начинал сиять каждый уголок; такой партнершей можно было гордиться. Она и сама отлично знала, чего стоит — студентка-медичка Соната; высокая, статная, розовощекая, с волосами то густо-каштановыми, то отливающими золотом (цвет волос у нее менялся в зависимости от освещения), пышущая здоровьем, прелестная в своей юной женственности; несколько студентов поклонились ей. Соната едва заметно улыбнулась — всем сразу, беззаботно тряхнула головой, отвечая на приветствие, и тут же положила руку Ауримасу на плечо, тем самым давая понять, что до остальных ей и дела нет; она так же, как и Ауримас, любила это танго, хотя и обожала английский вальс. Танцевала она великолепно, в этом мог убедиться всякий, кому удавалось ее "отбить". Ауримас же довольно беспечно шаркал подошвами по навощенному паркету, подскакивал, словно цапля, а несколько раз вовсе не попал в такт; Соната удивленно посмотрела на него: она любила все делать старательно и хорошо, тем более танцевать...

— Ауримас, мы же танцуем...

— Я просто устал, — ответил он, когда танец кончился, и они сели на лавку у стены. — Всю ночь работал.

— Ночь? И как же ты работал... ночью?

— Я ведь тебе говорил: ловил золотую рыбку.

— Ничего смешного, Ауримас. Где ты был вчера? Мама ждала. И я тоже.

— Я писал, Соната.

— Целый день?

— Целый день. И еще ночь.

— Даже ночь?

— Даже.

— И что же ты писал... ночью?.. — спросила она, широко раскрыв зеленоватые глаза. — Любовное письмо? Мне?

— Себе, — Ауримас отвел глаза. — Любовное письмо себе самому. Длинное-предлинное... Поговорим о чем-нибудь другом, Соната.

Не поймет, незаметно вздохнул он, где ей понять, этой красотке, — ведь это не английский вальс, не танго и не фокстрот; Соната тут ничего не поймет, хоть она по-своему и умна и даже, может быть, хитра; иногда чересчур хитра — эта юная Соната, которой нет и восемнадцати; Ийя бы так не спросила: что ты писал,

а если бы и спросила... Довольно! — он прикусил губу; да что это с тобой сегодня, — Ийя; какая еще Ийя? почему? ведь ее нет больше; это Соната с волосами скорее густо-каштановыми, чем золотистыми, Соната — прехорошенькая медичка Соната; в ее глазах сверкает зелененький вопросительный знак — зелененький, дрожащий — что ты писал? — будто осколок, отбитый от зеленой люстры; сказать? Да ведь не поймет, а если... а если она не поймет, стоит ли сыпать соль на раны, — если она...

— Я написал новеллу, — неожиданно для себя выпалил он; чуть не запнулся на слове новеллу. — В пять страниц.

— Ты?

— Я. А что в этом особенного? Я!

(Проболтался, застучало в висках, похвастался; а ведь решил... Ведь ты обещал! Ты, а не я! — закричал кто-то у него внутри — другой Ауримас; он даже вздрогнул — что, если Соната... Нет, нет, откуда ей слышать; ты, черт, обещал, а я... хвастун... Никому, нет, никому на свете, ведь конкурс закрытый, ведь еще неизвестно, что там... все эти заскоки, эта пелена перед глазами... хотя... Хотя это была вовсе не та новелла, а совсем другая — Ауримас написал ее как бы по инерции, возвратившись с почты; он все еще был в разбеге и не мог остановиться, точно пущенный по наклонной плоскости шар; бабушка спала, погасив огонь и завесив окна — как в войну, а его сон не брал — как пилота перед вылетом на ответственное задание, перед Атлантикой; у каждого, наверное, своя Атлантика, которую надлежит покорить, — большая или малая; своя гора: какая ни есть, а своя; что-то он совершил — только что, недавно — и поэтому сон его не брал; что-то очень важное и нужное — для того, нового Ауримаса, которому приспичило покорить свою гору; а прежний Ауримас снова сел за стол и погрузился в думы; спросишь — он, пожалуй, и не ответит, о чем думал; думал, и все; размышлял; и что писал — целую ночь — писал писал писал; чувствовал, верил, знал — и сам боялся этого слова: удалось; что-то ему удалось — не то перелететь через Атлантику, не то лишь взлететь над землей — но удалось; солдату нужны сны... солдату сны, писателю грезы; писателю? Ох! Если бы Соната поняла...)

— В пять страниц, — повторил он и удивился своему голосу; но, может, это произнес тот, другой, который тогда...

— За ночь — пять страниц?

Не поняла, подумал он с грустью, конечно, где ей понять; он сказал:

— Новелла не должна быть длинной.

— Новелла?

— Ну да... ты что — не знаешь? Я ведь пишу.

— Ты мне ничего не говорил.

— Говорил. Только ты забыла. Теперь знай.

— Что пишешь?

— Что трудно с такими, Соната. Очень трудно. Знай. Это камень на шее. Всегда и всюду — камень.

— Камень?

— Для них... самих... А для остальных... для их друзей и близких...

— Говори, говори.

— Я и говорю, Соната... Что я сказал?

— Что камень...

— Да... Остальным это еще тяжелей, Соната. Да понятно ли тебе?

— Понятно.

— Не очень-то. Ну, тем, кто любит... Кто надеется и ждет.

— Ждать всегда тяжело, Ауримас.

— Это еще тяжелей: ждать неизвестно чего.

— Эге, милый мой, что-то ты здесь...

— Я просто несу вздор, Соната. И пишу. А ведь это, в конце концов, одно и то же.

— Нет, нет, нет! — она быстро схватила его за руку. — Вовсе не вздор! Хоть я и не понимаю. Зато знаю — это не вздор. Это, может быть, очень даже серьезно, но...

Соната сжала его пальцы, будто изо всех сил старалась вернуть его на землю из неких заоблачных высей, где он сейчас парил; она, к сожалению, не желала, а, может быть, была не в состоянии туда забраться.

—А ты не пиши, — она встревоженно заморгала глазами. — Лучше не пиши совсем!

— Соната, но ведь...

— Ты сам сказал, что это тяжело... камень...

— Вот как — и ты тоже!..

— Почему — тоже? Почему, Ауримас, — и я тоже? Я ведь для твоего же блага... мы бы с тобой и без этого писания...

— Это мне уже говорили, Соната, — Ауримас старался не видеть ее лица. — И тоже, думаю, для моего блага...

— Ты не согласился...

— Как видишь — нет. Кто однажды привязал себе на шею этот камешек... тот уже навсегда...

— Странный ты, Ауримас, — Соната вздохнула и повела плечами. — Правда странный. Потанцуем?

— Пойдем.

Он танцевал с ней английский вальс, обняв ее за плечи, а сам хмуро поглядывал по сторонам, будто выискивал кого-то; девушка молчала. И она, казалось Ауримасу, о чем-то думала, о чем-то своем, затаенном, вперив взгляд в какую-то невидимую точку в дальнем углу зала; ее щеки слегка подрагивали. Вдруг она остановилась и приблизила губы к его уху; обдало жаром.

— Обещай мне, Ауримас, — проговорила она скороговоркой. — Дай мне слово. Сейчас же.

— Какое слово, Соната?

— Что не будешь писать. Никогда и ничего... даже писем, если так...

Ее голос дрожал, и губы — самые их уголки; рука Ауримаса слегка соскользнула по ее плечу вниз — дрожало и плечо.

— Соната... неужели ты это — серьезно?

— Конечно, — отвечала она. — Если так... если тебе безразлично... если тебе все безразлично... даже я... и...

— Безразлично?

— Да... Ты сегодня и не видишь меня. Я для тебя не существую. Совсем.

— Ну, знаешь...

— Знаю, знаю! — Соната покачала головой. — Ты меня не любишь и бежишь от меня за стол, писать.

— Разумные речи, Соната. Хоть и с чужого голоса...

— С чужого?..

— По крайней мере, раньше ты так не рассуждала... так разумно.

— Ладно! Что тебе дает эта писанина? Чего хорошего?

— Понятно, ничего вещественного, ощутимого... покамест...

— Ты будешь получать стипендию?

— Стипендию? Конечно, но...

— Потом зарплату. Я знаю — ты будешь получать зарплату. Как все. Сначала, может, небольшую, но потом... Мама говорит, у тебя есть голова на плечах, а если будет еще и диплом...

— Покамест я всего-навсего рабфаковец, Соната.

— Подумаешь, — она дернула плечиком. — Я на это не обращаю внимания. Если ты собираешься когда-нибудь...

— Опять! Собираюсь! Как я могу "собираться", Соната, если... Бабка — та меня вот-вот из дому выгонит... Конечно, ты права, Соната, — сочинительством сыт не будешь... и все-таки... — он чуть сжал ей плечо.— Я, Соната, все равно буду...

— Все равно?

— Да, — он резко взмахнул рукой. — И давай, Соната, не будем об этом.

Но ей хотелось продолжить разговор. Она взяла опущенную руку Ауримаса и сама положила ее к себе на плечо; потом заглянула ему в глаза, будто искала в них ответа — разгадки той тайны, которую Ауримас старательно оберегал от нее.

— Говоришь, давай не будем, — медленно повторила она, не сводя с Ауримаса влажно трепещущих зеленоватых глаз. — Ладно. Но ведь можно и по-другому! Если бы ты только захотел и прекратил упрямиться... вовсе мы не такие уж дети и не такие беспомощные...

— Я ведь только начинаю учиться, Соната.

— Мама поможет. Моя мама. Пока учимся.

— Нам рано об этом говорить, Соната. Тебе — неполных восемнадцать лет, а я...

— А ты боишься сковать себя по рукам и ногам, да?

— Нет, я просто говорю, что...

— Рано, да? — она многозначительно улыбнулась. — По-твоему, слишком рано. Смотри, милый, как бы не было поздно...

— Пугаешь?

— Я? Что ты... Пойдем сядем, музыка кончилась. Или нет. Обождем фокстрота... здесь... Давай обождем. Сейчас опять заиграют.

Они подождали, потом снова стали танцевать, и каждый думал о своем; говорить было не о чем. И снова Ауримас смотрел поверх ее плеча, будто кого-то выискивая в зале, и снова сбивался с такта, но Соната молчала. И она уже не так прилежно переставляла ноги, как раньше, и двигалась чуть ли не через силу: второй аккордеон часто фальшивил; Ауримас подумал, что оба они ждут не дождутся, когда кончится танец. Начинается, мелькнуло в голове, когда он скользнул взглядом по колышущимся в ритме танца людским плечам; или кончается; кончается? И тут он опять заметил студентку в полосатом костюме, Марго; запрокинув голову так, что ее ровно подстриженные волосы касались плеч, она танцевала со студентом в бакенбардах — видимо, так и не разыскала Мике; очутившись рядом с Ауримасом и Сонатой, Марго улыбнулась. "Мне?" —

изумился Ауримас и спутал шаг; Соната метнула быстрый, гневный взгляд, а Марго опять улыбнулась, оказавшись рядом с Ауримасом; не нашелся Мике — словно просигналили ее бойкие, озорные глаза; Ауримас кивнул ей. Наконец музыка умолкла; Марго удалилась — унеслась — в угол зала, где ее ждала белокурая подруга; теперь Ауримас видел только голубую ленту, мелькнувшую в скопище лиц, голов; он повернулся к Сонате.

— Нравится? — спросила она и прищурилась.

— Танец?

— Золотая рыбка.

— Что, что... что ты, Соната...

— Меня зовут Соната, да-да... я была, есть и буду Соната... и пока я рядом, мой друг, изволь смотреть на меня... А если будешь ловить полосатых рыбок... или тех, с голубыми бантиками...

— Ну и дурочка ты у меня. Потрясающая дурочка. Неужели ты думаешь, что меня интересуют все эти полосатые кофточки-юбочки, голубые ленточки...

Но он не договорил, ощутив внезапно, что Соната не слушает его — а ведь сама затеяла этот разговор; по ее лицу пробежала холодная дрожь. И глаза вдруг полыхнули зеленым холодом, что-то поспешно спрятав, затаив; Ауримасу сделалось не по себе. Он пригляделся к Сонате, потом проследил направление ее взгляда — поверх мелькающих лиц вперед — и увидел, кого заметила она первая; увидел и зажмурился, будто в глаза ему ударил слишком сильный, слепящий свет.

V

Нет, они не были знакомы. Это я понял сразу, едва лишь Даубарас, пробившись сквозь толпу, остановился около нас и подал мне руку; Сонату он заметил чуть позже.

— Здорово, здорово, дружище, — бодро заговорил он и энергично затряс мою руку. — Представь же меня своей даме сердца.

Почему же Соната так смотрела на него, подумалось невольно, когда она чинно подала руку Даубарасу — и не руку даже, а лишь длинные, белые пальцы — вспыхнул рубиновый перстенек, подарок к окончанию гимназии; у меня в голове не укладывалось, как можно делать дочерям такие дорогие подарки, но мне было известно, что это подарок матери и что Соната персте-

нек очень любит; мысленно я дал себе слово когда-нибудь подарить ей еще один. Но это были планы на далекое будущее, мечты, о которых лучше не заикаться; сейчас Соната знакомилась с Даубарасом, напустив на себя столь холодный и неприступный вид, что можно было подумать, будто она делает огромное одолжение, протягивая руку представителю из Вильнюса, самому Даубарасу; в этот миг она мне снова нравилась, юная Соната, и если бы я не увидел... Но я увидел эту немую, но выразительную игру в ее зеленоватых, слегка удивленных глазах, игру, которой она встретила Даубараса, — издалека, через головы других; было в этой игре нечто мне неизвестное и ничуть не свойственное Сонате, той девушке, которую я знавал до сих пор, — в этом вдруг посерьезневшем лице и все вобравшем в себя взоре зеленоватых глаз; возможно, так вышло потому, что Даубарас вдруг неожиданно прервал наш разговор, а может, и нет, не потому; раздумывать об этом тоже некогда.

Даубарас... Я зачем-то уставился на ослепительно белые манжеты, выглядывающие из-под рукавов черного, отменно сшитого пиджака; в глаза ему я старался не смотреть, сам не знаю почему. Представитель Казис Даубарас; когда мы с ним виделись? О, давно, я вскинул глаза и соскользнул вниз по крахмальной груди — точно по снежной горке, где наверху чернела небольшая изящная "бабочка"; давно не видались... последний раз — тогда, в дождь... в дождь? Ну да, шел дождь — в сорок четвертом; шел дождь и гремел гром, а вы... а ты... Ты, Ауримас, вышел раньше, помнишь — играли свадьбу; ты ушел и вернулся в комнату близ своей службы; было темно, и шел дождь, хлестал вовсю, дождь дождь дождь; где-то стреляли — не то в Старом городе, не то в Алексотасе, грохотало — тут же, прямо над головой; кто-то что-то говорил — запугивал или успокаивал, надо бы вспомнить; ты пришел, еле-еле приплелся и камнем рухнул на диван, тот самый, на котором всего неделю назад лежал немецкий майор ветеринарной службы (вступив вместе со всей ротой в Каунас, ты нашел на столе еще теплую яичницу); рухнул и сразу же уснул тяжелым сном выдохшегося человека; а через два квартала отсюда, близ фуникулера, в другой квартире другого сбежавшего немца...

Эй, полно, полно, — кулак сам собой сжался, полно — Даубарас здесь; неужели ты не рад видеть его? Он выпустил твою руку, стиснув ее так, что косточки затрещали, и теперь здоровался с Сонатой; а она...

О, Соната верна себе, разве я не знаю; и она знает себе цену, ей такое не в новинку; ишь как спокойно, даже, пожалуй, высокомерно — любуйтесь все! — протягивает она свою руку (ах, что за вздор!), будто, здороваясь, она делает величайшее одолжение Даубарасу — самому Даубарасу; а он — ах ты, господи! — берет эту руку за самые кончики пальцев, бережно, словно рука сделана из воска, и так преувеличенно учтиво склоняет голову и улыбается такой покровительственной улыбкой, что можно подумать, будто здесь английский губернатор приветствует принцессу Сиама; я громко потянул носом.

— А ну-ка, юноша, выше голову, — от Даубараса не укрылось мое движение, он выпустил руку Сонаты и повернулся ко мне; Соната ладонью поправила прическу. — Наш край цветет, как говорит поэт, и впору ль нам грустить? Рад снова видеть тебя, Ауримас! Молодец!

Он говорит это не мне — Сонате, да и смотрит больше на нее, чем на меня, хотя Соната, судя по всему, отважно выдерживает взгляд его карих, настойчивых глаз, — я и не знал, что она способна на такое; оказывается, способна; стоит и как ни в чем не бывало прихорашивается, будто на всем белом свете нет ничего важнее аккуратной прически; пожалуйста, пожалуйста, любуйтесь на здоровье, — словно говорило ее серьезное и такое красивое лицо, разрумянившееся от танца; красивое, да вот... Да вот только ледок этот в ее зеленоватых глазах, это столь неожиданное для меня равнодушие... и этот Даубарас... с его взглядом — напротив, так хорошо знакомым мне...

— А ведь я, честно говоря, уж и не чаял тебя встретить, — перебил он мои размышления (и в самое время, потому что я вздумал что-то сказать Сонате — и, вполне возможно, — не самое приятное). — Мне говорили, что со службы ты уволился, хотя мотивы твоего ухода мне как-то, знаешь, не совсем ясны.

— Я рабфаковец.

— Кто-кто? Не расслышал...

— Слушатель подготовительных рабоче-крестьянских курсов. При университете. Без всяких мотивов...

— Без всяких?

— Абсолютно.

Даубарас неодобрительно покачал головой.

— Без всяких? — переспросил он. — Зачем же тогда со скандалом... с хлопаньем дверей, если без всяких мотивов...

— Дверью я не хлопал.

— Ну, поспешил... Погорячился. А куда спешил — что, горит?

— Просто боялся опоздать на экзамены... А откладывать еще на год... или рассчитывать на блаженное "когда-нибудь"...

— Состариться боишься? — Даубарас подмигнул Сонате; та сделала вид, что не заметила; это придало мне храбрости.

— Боялся. И не я один. Вот и Питлюс в Вильнюсе тоже... и Юозайтис...

— Питлюс! — Даубарас выставил вперед подбородок — этим плавным, знакомым мне движением. — Ты на Питлюса не смотри, Питлюс у нас талант. Перспективный. Правда, и хлещет он будь здоров, но уж когда садится работать... Редактора друг дружке готовы глотку перегрызть из-за его творений — очерков этих, — с руками рвут, из кожи вон лезут, чтобы к себе залучить... Да он держится. Почуял, лихой скакун, вольное поле... грива дыбом — и поминай как звали... Еще бы — звезда есть звезда... Впрочем, что же это мы — ведь с нами дама... А вы что изучаете, коллега?

Он снова обратился к Сонате, как будто меня здесь не было; я отвернулся. Но и стоя боком к нему, я чувствовал, как его взгляд, быстрый и беззаботный, несколько раз щекотнул меня; возможно, от него усилилась резь под ложечкой. Я пожалел, что явился сюда, на торжественную имматрикуляцию, пожалел, а сам, хоть убей, не знал, что еще мог бы я делать, чем бы занялся; сочинять не тянуло. Как-то вдруг, ни с того ни с сего, погасло пламя, которое целую неделю сжигало меня; погасло вместе с отправкой письма в Вильнюс; то, что я писал, возвратившись с почты, было не более как остывший пепел былого горения. И виной тому, что я чувствовал себя вконец измотанным, выдохшимся, был нынешний вечер, и, возможно, Даубарас; он единым махом сорвал завесу с прошлого, и оно нахлынуло вместе со всеми старыми воспоминаниями, как прорвавший плотину паводок. Я вновь увидел себя, маленького взъерошенного мальчонку, уносимого течением, и его, Даубараса, стоящего на берегу; он держал над головой черный зонт, на нем был серый пуловер, шерстяной берет; вот он машет мне рукой и выкрикивает что-то издалека, наверное, по обыкновению, поучает; может, показывает доску, что плывет неподалеку, — чтобы я схватился за нее, или видит, как меня спешит подобрать лодка; к сожалению, ничего этого я не

увидел. Передо мной был лишь Питлюс, еще один прибывший в Каунас представитель — Питлюс, и он разъяснял мне, как это будет скверно, если мы все в один прекрасный день уволимся с работы и ударимся в учебу — пусть из самых лучших побуждений, и был еще Даубарас, который одобрительно кивал, слушая эти доводы; "Питлюс может, Питлюс — это звезда"; сначала Питлюс, потом Даубарас; этот, брат ты мой, талант, ну а ты, не взыщи...

— Что же мы тут стоим, как колонны? — я встрепенулся от этого вопроса, а Даубарас продолжал: — Помоему, тут должен быть буфет... А в буфете там, смею надеяться, окажется и пиво... С позволения нашей уважаемой спутницы...

— Уж лучше самогон, — хрипло проговорил я. — Стакан самогона уважаемой нашей спутнице. Помоему, он тоже может здесь оказаться.

— Ауримас! — взорвалась она. — Хотя бы при людях...

— Ого! — заметил я. — Наконец я снова слышу эти ласкающие сердце звуки, которые весь вечер приводят меня в восторг...

— Подожди, — Соната грозно посмотрела — о, эти злые зеленые огоньки. — Ты, Ауримас, подожди!.. — В голосе ее послышалась дрожь. — И не то еще будет...

— Да ну?

— Увидишь!

— Тогда прости меня, раба недостойного...

Я даже зажмурился, прекрасно отдавая себе отчет, что пересолил, но не было у меня нынче сил держать себя в руках; я потупился и первым повернул туда, где находился буфет. Знакомый запах тушеной печенки явился для меня тяжким испытанием; нутро взвыло, как старый граммофон; услышали? Даубарас? Нет, похоже, что нет; он шел сзади, благовоспитанно пропустив нас с Сонатой вперед, как и подобает представителю, опекуну бедных студентов; Соната опять почему-то сердито взглянула на меня.

Мы сели за столик.

— Э, нет! — протестующе остановил меня Даубарас, видя, что моя рука безотчетно скользнула в карман и нащупала там единственный, да и тот одолженный, рубль.— Нет и нет, голубчик! — он погрозил длинным белым пальцем. — Что мы пьем?

Эти слова относились к Сонате, так же как и предупредительный, весь внимание, взгляд его карих глаз; куда уж мне до него...

— Или едим... — брякнул я.

— И едим, разумеется! Студент всегда голоден, — Даубарас кивнул головой. — Пьем и едим — чин чином. Уже ради одних прекрасных воспоминаний о прошлом мне полагалось бы...

— Вы... о чем? — насторожился я.

— Не о тебе, не бойся, — он посмотрел на Сонату, которая беззаботно разглядывала зал. — О былых студенческих днях. Gaudeamus igitur — пока не угодил за решетку...

— Вы сидели в тюрьме? — полюбопытствовала Соната; мне и в голову не приходило, что она слушает его так внимательно.

— Довелось, — Даубарас улыбнулся.

— И долго?

— Как следует.

— Вы такой молодой!

Принесли пиво. Даубарас заказал еще печенья и лимонаду, потом достал кошелек и заплатил...

— Да что же это я, старый склеротик! — спохватился он. — А поесть? Официант, подождите! По отбивной на каждого. По самой большой, — он опять повернулся к нам; лицо его и впрямь выглядело смущенным. — Обожаю, знаете ли, холодные отбивные. Еще с войны...

— Отбивные... с войны?.. — протянула Соната.

— Представьте себе — отбивные. Именно холодные отбивные.

Он опять улыбнулся — то ли нам, то ли сам себе, я не разобрал, и взялся за отбивную; я смотрел, как энергично работают его челюсти под выбритой до синевы кожей, как старательно жует он жесткое, темное мясо; потом он выпил пива; на губах осталась пена, она еще больше подчеркивала красивый изгиб рта, его сочность; от всего облика Даубараса веяло здоровьем, молодостью и мужеством. Я-то его знал, можете не сомневаться; и знал, пожалуй, лучше, чем кто-либо из присутствующих; и в то же время я отдавал себе отчет, что до конца, полностью я не постиг его; это мне и мешало быть искренним, непринужденным, естественным; а тут еще и Соната... Даубарас явно произвел на нее впечатление — я уловил и это; на нее не мог не подействовать его настойчивый, волевой взгляд, выражение высокого достоинства на лице, его манеры, учтивое обращение... И я вновь ощутил давнее превосходство Даубараса, которое физически угнетало меня, как взваленная на спину свинцовая глыба — давило к земле; и это чувство вновь напомнило мне, что

он позволил мне тогда выиграть; сам не знаю почему, едва лишь увидев его, я ощутил полное свое ничтожество, мизерность, почувствовал себя жалкой былинкой у дороги, прахом, серым камешком — пинайте кому не лень. Он всегда был мужчиной, этот Даубарас, он был широкоплечим, статным, на нем всегда отлично сидел костюм, и он всегда улыбался — снисходительно-высокомерно, будто заранее знал все, что ему скажут; а я, мальчишка, тощий, взъерошенный, бледный и пришибленный, который хоть и может сыграть в пинг-понг, да... что в этом толку... Словом, я сидел как на иголках, хоть Даубарас и прикидывался откровенным и беспечным — именно прикидывался, поскольку в его понимающих глазах я прочел если не презрение, то, по крайней мере, укор; трудно было понять, чем я заслужил такое отношение; я тоже отхлебнул пива.

— Итак, учимся... — снова заговорил он после того, как дожевал свой кусок и аккуратно вытер платком губы; Соната, изящно придерживая печеньице двумя пальцами, молча ела. — Что ж, по сути дела, правильно... если не вдаваться в подробности... Социализму нужны образованные люди... А дальше что?

— В каком смысле дальше?

— Курсы — это только средняя школа. И никакой специальности...

— А, — я покраснел. — Дальше — видно будет...

— Стало быть... мечтаем?.. — Даубарас провел пальцем по стеклу бокала. — Витаем в облаках?

— В облаках? Нет, зачем же...

— Не в облаках? Неужели еще выше?

— Наоборот — ниже. На земле я, всегда на земле. Да вам это, наверное, не так уж интересно.

— Почему? — Даубарас пожал плечами. — Все мы, дружок, одним миром мазаны, да все по-разному. Я это к тому, что надо бы что-нибудь более определенное... после курсов... ведь ты не красна девица... инженерное дело или, скажем, экономика...

— Или медицина...

— Или медицина, — кивнул Даубарас; он не понял иронии; да и откуда ему было понять — сегодня я острил из рук вон плохо; просто хотелось чем-нибудь досадить Сонате. — Или медицина... Раз уж отбился от общественной работы... то есть с гуманитарными науками расстался... раз уж меняешь профиль, то, по крайней мере, на что-нибудь существенное... в духе времени...

— Ясно!

— Ничегошеньки тебе не ясно, милый друг. Ни капельки... Учти, я тебе добра желаю...

У меня защипало в горле.

— Знаю! — воскликнул я. — Вы уже говорили мне это... что не по мне это... что талант — это другое дело... помните, тогда... в тайге... — Я словно захлебнулся этими своими словами.

— Что ты, что ты! — Даубарас махнул рукой. — Говорил... Мало ли что... Кто мог знать тогда, какие откроются возможности, какие способности обнаружатся у каждого из нас? Этого бы и сам Маркс не предугадал...

— Но вы говорили...

— Стоит ли теперь вспоминать все это...

— Кое-что не мешало бы... хотя бы это "не по мне"...

Я снова захлебнулся, теперь уже по-настоящему, и закашлялся, как-то по-старчески, содрогаясь всем телом; Соната резко повернулась ко мне; глаза у нее были широко раскрыты, в них стоял страх.

— Не по тебе? — спросила она. — Что не по тебе? О чем это вы тут...

— О, это секрет! — игриво улыбнулся Даубарас. — Большущий мужской секрет... — он побарабанил пальцами по столу; пальцы были белые, длинные, с опрятными, ухоженными ногтями; я поспешил спрятать свои руки под стол. — Правда, Чехов был врачом, а Майронис... священником... Главное, Ауримас, это то, что оттуда нет пути назад.

— Вы это... по себе?

— Нет пути... — повторил Даубарас и еще побарабанил пальцами, теперь уже не так сильно; Соната недоуменно глянула на меня.

— О чем вы говорите?

— О любви, моя милая, — ответил я и отпил большой глоток из бокала. — О Тристане и Изольде. О верности, которая в наше время — редкость. Довольна?

— Тобой — нет.

— Ох, поищи себе получше.

— Спасибо за умный совет, — Соната тряхнула кудрями; они волнами упали на ее округлые плечи. — Непременно воспользуюсь, хоть и не думаю, что тебе оттого будет лучше... А покамест я иду в зал, понял? Танцевать. Вдруг кто-нибудь да сжалится над моей молодостью и пригласит на английский вальс... А подслушивать ваши секреты...

— Однако, коллега, — высокопарно обратился к ней Даубарас, — вы еще не допили свой бокал...

— Я не пью пива, — Соната холодно произнесла эти слова, в глазах ее промелькнули две зеленоватые вспышки. — А лимонада не хочу.

— О, шампанского тут, к сожалению...

— Нет, нет! — она замотала головой. — Ничего мне не надо. Совсем ничего. Спасибо вам. Спасибо.

Она встала и удалилась, четко постукивая каблучками о паркет; сидящие за столиками проводили ее до самой двери откровенно любопытными взглядами; и Даубарас — тоже.

— И где же ты такую откопал? — спросил он простодушно, будто напрочь позабыл, о чем мы с ним только что беседовали. — Ах, хороша, черт возьми! И небось себе на уме. Такие всегда себе на уме.

— Какие? — чуть было не спросил я, но не решился, взял бокал и выпил его залпом. Я понимал, что с моей стороны было не очень-то порядочно не пойти с Сонатой в зал; я даже не сделал попытки ее удержать; но оцепенение, сковавшее меня еще там, на балконе, продолжалось, и оно вынуждало меня поступать наперекор своему рассудку и желанию; тот, другой Аурамас — я снова ощутил его присутствие; снова заметил в себе былое негодование, вовсе не нужное мне, застарелое, давнее, которое я, видимо, все еще влачил с собой и которое, — правда, безуспешно, — пытался подавить весь нынешний вечер; эта давняя ярость была жива, она все еще теплилась под серой золой сознания — то затухая, слабея, то вновь взметаясь неистовым пламенем; встреча с Даубарасом как бы плеснула керосину на теплящиеся уголья. "Что ему надо? — думал я, двигая перед собой пивной бокал; он был граненый и тяжелый. — И где он ошивался все это время?" Я и сам удивился такому вопросу — где? Тебе-то что за дело, милейший, где я был, ты по мне не соскучился, а уж я по тебе — и подавно; и не ошивался; занятия, стажировка, практика — не твоего ума дело, где да как; я — из других сфер, милейший, и лучше не спрашивай, где да что я поделываю; я представитель, а ты рабфак, понял? Ну, мы, конечно, знакомы, не спорю, — да какая разница; ты в моем представлении все тот же шустрый продавец газет, у которого я купил "Эхо" — там, в подвале, у библиотеки, и который попросился на один сет в пинг-понг — тот первый сет; да, ты его выиграл, братец, да сам же и испугался; ни с того ни с сего обыграл меня, Дауба-

раса, и, понятное дело, перепугался... Ну что ж, ничего, ничего, сказал он, Даубарас, и положил тебе руку на плечо — тяжелую, точно свинцовая глыба; ты и сейчас ее чувствуешь; я позволил тебе — тогда, в тот первый раз, — позволил выиграть; так что, милый мой, это уж слишком... ты для меня все тот же, дружочек, съежившийся и пришибленный — выигрываешь ты или проигрываешь. — Пусть такой, но будьте уверены, это ничуть не тревожит меня, не моего ума дело все эти ваши сферы. Зато мои — не про вашу честь... не про вашу, Даубарас... Представитель Даубарас чувствует себя здесь, в дешевом студенческом буфете, явно не в своей тарелке, а тем более в гомонящем, бурлящем зале, где надо прокладывать себе дорогу локтями; хорошо ему бывает лишь там, в президиуме, за столом с зеленым сукном, рядом с ректором и прочим начальством; куда же нам... И не забывай; в жизни все поделено и распределено — ты слышишь, дружок, и каждый, надо полагать, получает то, чего он стоит или что может взять; Даубарас может больше. И убиваться по этому поводу, думаю, не надо — каждому свое, по Сеньке и шапка; то есть по Казису Даубарасу; разве не хватит с тебя и того, что мы оба снова сидим за одним столом и даже пьем пиво; пьем и беседуем: мы оба — вдвоем; двое таких знакомых и в то же время совсем незнакомых людей; платит, по обыкновению, Даубарас.

— Еще? — спрашивает он и, не ожидая ответа, подзывает официанта, помахивая зеленой бумажкой.

И это мне не понравилось — что платит Даубарас; это еще раз подчеркнуло его извечное превосходство, которое всегда угнетало меня и вынуждало выискивать в себе какую-нибудь существующую или мнимую вину; найти ее, как я заметил, бывало нелегко, а сегодня тем паче, после такой ночи, такого дня и вечера; это прямо-таки бесило меня. Я мрачно затряс головой.

— Нет. Я только хотел спросить...

— Спросить? Ради бога, изволь...

— И вы ответите честно?

— Можешь не сомневаться. Разве я когда-нибудь...

— Нет, что вы! — я перебил его; я не хотел этих слов. — Вообще-то я здесь посторонний... И, как знать, может, и права не имею спрашивать... Но меня давно мучает... не дает покоя...

— Что же тебе не дает покоя?

— Почему вы бросили Еву?

— Еву?

— Да.

Мне показалось, будто в его глазах мелькнул испуг, в холодных, спокойных глазах Даубараса; тусклая искорка едва вспыхнула, как тотчас угасла; пожалуй, не надо было спрашивать, мелькнуло у меня; это и нагло, и глупо, и бестактно — спрашивать о Еве; слишком по-мальчишески — так, знаете, безапелляционно; но дело сделано: почему вы бросили Еву; да, quod feci, feci...[1] Это опять же его слова — quod feci, feci; глубоко же въелся в меня этот пинг-понг — обезьянничаю; кое-чему я правда у него научился, не спорю; теперь я буду ждать ответа... Буду, потому что Ева... потому что Даубарас... Я даже напрягся весь в ожидании ответа, застыл камнем — до такой степени важно мне было узнать, что он ответит; мне казалось, что этого ждали все находившиеся в буфете, — что ответит мне Даубарас; и они, по-моему, примолкли в ожидании, беззвучно шевеля губами.

— Еву? — расслышал я немного погодя, откуда-то издалека. — Еву... Я ее не бросал.

Они разговаривали, эти люди в буфете, что-то болтали, склоняясь над своими бокалами и быстро-быстро шевеля губами; они даже размахивали руками; и выкликали — громко, на весь зал; отчего же мне представлялось, что все они молча наблюдают за нами?

— Не бросали?

— Разумеется, нет.

— Вы живете с ней?

— Нет... но...

Даубарас окинул меня медленным испытывающим взглядом; удивление исчезло из его глаз — тот тусклый свет, мелькнувший всего миг назад, с т р а х; там снова было спокойствие, которое имело такую силу надо мной, так сковывало мою волю; увы, мы были знакомы, тут уж я ничего не мог поделать. И он это знал, Казис Даубарас, — что я боюсь его и что ничего не могу поделать; он представитель, я рабфак; при желании он мог бы предложить партию в пинг-понг, как уже предложил пива, а больше... Остается только удивляться, как ты, милейший, затеял весь этот разговор — ты, здесь, да еще сегодня, — после столь долгой нашей разлуки; да кто ты, в конце концов, такой, а? Как, по-твоему, для слушателя подготовительных курсов не дерзковато ли?

---

[1] Что сделано — сделано *(лат.)*.

— Не живете? Тогда — как же?..

Будто обухом по голове, правда? "Как же?" Разве это не касалось одного Даубараса, исключительно лично его? Или и его, Глуосниса? "Как же?" Да так, дружочек: Даубараса не донимали расспросами даже тогда, когда направляли учиться; не интересовались; послали и все, пока уймутся разговоры; а ведь знали, ведь...

"Как же?"

Да так: не твоего ума дело, друг любезный; нос не дорос спрашивать о таких делах, — я, казалось, своими ушами слышал, как он произносит это, хотя губы его были по-прежнему плотно сжаты — как и в тот раз, когда он, бросив гостей в доме близ фуникулера, ворвался ко мне; когда приволок с собой Еву; толкнул дверь, глянул и помчался вниз; гулко стукнула парадная дверь... а назавтра... когда мы встретились... неужели, сказал он, неужели, братец ты мой, это правда, что ты ее... Дальше и думать не хотелось, все было шиворот-навыворот и никаким объяснениям не поддавалось, потому что с Евой меня ничто не связывало, но в ту свадебную ночь Ева, оставив и его, Даубараса, и всех гостей... Нет, нет, это слишком далеко от нынешнего дня — и опять же нереально и зыбко; да весь этот разговор я, пожалуй...

— Как, ты не знаешь? — Даубарас вздохнул и придвинул ближе к себе бокал. — Ничего не знаешь? Мы разошлись.

— Это знаю.

— Тогда в чем дело? Развелись, и все.

Все? К чему эта ложь, Даубарас, ведь я знаю: не все. Что, так вот и поставим точку и предадим все забвению — мы с тобой, такие знакомые и такие незнакомые, мы с тобой такие...

— То-то и оно, я слышал...

— Что ты слышал?

— Что ребенок... малыш...

— Ребенок? — Даубарас нахмурился и оттолкнул от себя бокал; тот стукнулся о тарелку. — Какой еще ребенок? Ты что-то путаешь, мил человек.

— Нет же, — промямлил я. — Не путаю. Тот, о котором Ева... который должен был...

— А-а... — Даубарас снова вздохнул. — Он не родился.

— Не родился?

— Нет, представь себе. В психбольнице нет родиль-

ного отделения, Ауримас... Ты же понимаешь, дети больных матерей...

— Матерей?

— Да уж, не отцов, разумеется... — улыбнулся Даубарас; его улыбка была печальна, как и его голос. — При чем тут отец... если именно мать... Медицина не допускает... Не имеет права... — он снова нахмурился и склонился над столом; мне вдруг почудилось, что Даубарас изрядно состарился — за эти несколько лет, пока мы с ним не виделись; ему тоже, надо полагать, приходилось нелегко. — Это трудная тема, дружок. И для меня труднее, чем для кого-либо. Ты бы мог это сообразить.

— Я стараюсь понять, но... я не знал...

— Ладно уж, ладно... не злиться же мне на тебя... если уж тогда не злился... в ту ночь...

— Тогда было не за что...

— Ну, а теперь — тем более. Мы с тобой старые знакомые... товарищи... А между старыми друзьями..

— Конечно, я зря...

— Брось! Наболело — я понимаю. У тебя небось тоже не райское житье... Ведь зачем встречаются люди — чтобы поговорить, излить душу... Давай лучше выпьем еще пива. Основательно, по-мужски... как когда-то собирались... Официант, два портера... а то и все четыре... прямо из бочки!

Мы опять о чем-то заговорили — не припомню, о чем именно; кажется, Даубарас рассказывал о Москве и о школе, в которой учился; видно было, что он охотно беседует об учебе, Москве, своих товарищах, с которыми он возобновил знакомство, о новых друзьях; гораздо охотнее, чем о том давнем лете, той ночи, чем о Еве; то-то дружочек, одни иностранцы, сплошь иностранцы в этой школе — не всякого туда направят; наука не обуза — за год поднаторел в английском; I can read English only with the help of a dictionary[1], все начинают с этого; но это уже больше, чем ничего, мой друг; в Каунасе? Не-а, в Каунасе он работать не собирается, Каунас для него только эпизод, его ждет не дождется центр, сам товарищ... э... товарищ просил быть поблизости, чтобы в любой момент можно было проконсультироваться, — не отказывать же? Творчество? Да, дружок, тут ты угодил в самую точку — это важнее всего... Но опять-таки — всегда ли мы можем

[1] Я читаю по-английски только с помощью словаря *(англ.)*.

выбрать себе путь? И право на выбор у нас есть далеко не всегда (он пристально глянул на меня); и, понятно, не у всех... вот у него, например... К сожалению, мы еще не построили общества, которое было бы в состоянии удовлетворить все потребности личности... А по сути дела, как товарищ... э... товарищ решит, так оно и будет, я солдат... какой мне окоп народ...

Солдату нужны сны — вдруг вспомнилось; нужны, нужны, нужны; и Гаучасу, и мне... и... и, возможно, Даубарасу — вот ведь как разумно он рассуждает, и представителю Даубарасу, я знаю, — хоть он и скрывает свои желания за темной завесой насупленных бровей, нависших над проницательными карими глазами; за всеми этими красивыми словами; хоть он и распространяется больше о своем знаменитом товарище, чем о себе самом, — ему жаль снов!

— А роман? — вдруг спросил я. — Вы все время собирались... И Грикштас мне когда-то...

— Грикштас? — Даубарас сразу отчего-то сник. — Разве Грикштас — пример? Вздумал поэтом стать, но... прости меня, даже приличным журналистом и то... Ты видишься с ним?

— Куда мне... с суконным рылом...

— Ошибаешься, голубчик, — Даубарас медленно оглядел меня; по-моему, он слегка воспрянул духом, когда разговор пошел по новому руслу. — Журналист бы из тебя получился. И вполне, быть может, сносный. Я это чую, голубчик.

— Да, но ведь я...

— Знаю, знаю: писатель! — Даубарас улыбнулся. — Чистое искусство. Сновидения.

— Сновидения?

— О да — иллюзии. И почет, почет, почет!

— Ой, что вы!.. — я испугался. — Но я... все равно...

— Все равно?.. Ты — все равно... И пятый, десятый — все равно... всем вам — все равно!.. А работать кто будет? Пахать, сеять, печь хлеб? Строить заводы? Кто бандитов будет ловить?

— Конечно, если понадобится...

— Все хотят поверху летать... Хотят лавров... а лебеду дергать... делать черную работу, будничную, но для социализма жизненно необходимую... ищи дураков...

— Простите, а как же вы... — сорвалось у меня. — Тоже не очень-то насчет лебеды... и Питлюс, который тоже ушел из кадров, и...

— Я? У меня, Ауримас, орбита...

— Ясно, ясно — другая...

— Поверь, Ауримас, иногда я горько сожалею об этом...

— О чем? О том, что у вас — другая орбита?

— Что не могу, как все... Как ты или любой другой...

— Вы могли бы вернуться... из этой школы... но по-другому. На другую работу. Вернулись бы, засели бы за книгу. И этот ваш товарищ одобрил бы, если бы вы... серьезно...

— Это особый разговор, Ауримас, — Даубарас сдвинул брови. — Я уже сказал: какие окопы назначат, в таких и буду... Тебя это не должно было бы интересовать.

— Меня интересует роман.

— Роман?

— Или повесть, не знаю... Та, о которой вы рассказывали еще до войны...

— Не припомню что-то...

— И там, в тылу... Когда встретились... ну, в лесу...

— А-а... — Даубарас заулыбался, закивал головой. — Роман все тот же... Только сюжет его, друг мой, слегка изменился. Жизнь внесла коррективы... И если позволят условия... если подует попутный ветер... можно надеяться... Но об этом никто... даже товарищ... э... товарищ...

— Значит, уже скоро...

— О-о! — Даубарас усмехнулся, совсем, как мне почудилось, невесело. — Ты и впрямь репортер: скоро, дорогие товарищи, мы получим первый советский... А я, к сожалению, этого сказать не могу. Не решаюсь. Работаешь урывками — только во вред делу. А создать достойный народа памятник...

— Памятник?

— Каждая книга должна быть памятником народу. Большим, вечным памятником.

Больше он ничего не сказал, поднял бокал и неторопливо отпил несколько глотков; отхлебнул и я. И вдруг почувствовал, что больше говорить об этом не хочу; ничуть не желаю говорить с Даубарасом о б э т о м, не хочу вводить его в тот край светлых грез, где я прожил столько дней подряд; в мой с Гаучасом край; солдату жаль снов... Ведь эти сны — его, солдатские, сны — светлые, земные сны, они принадлежат ему и никому больше... ни Питлюсу... ни Даубарасу... Да, да, да — ни Казису Даубарасу, хоть он и создает памятник народу; это сны Ауримаса Глуосниса, рабфаковца, который

расстался со службой, где хорошие карточки, и полуголодный заявился сюда; полуголодный, но свободный и знающий, чего хочет... чего он хочет...

Я отпил еще пива и поставил бокал на стол; Даубарас как будто еще что-то произнес, я не прислушивался — стукнул пустым бокалом о стол, — это вышло как-то уж очень громко — Даубарас отодвинулся.

— Слушай, Ауримас, что с тобой происходит? — расслышал я не то сквозь дым, не то сквозь туман — сквозь приторную, зыбкую пелену — приглушенные, затухающие голоса; худо тебе, голубчик, пойдем отсюда — скучно — ну, портер — ну, пиво! — кого с ног валит, а кого — — Пиво как пиво, не пойду — спасибо — пиво — хотя я правда не привык — интересно мне все, что творится вокруг — памятник народу — чертовски даже интересно — памятник... ну, ты, дружок, совсем... мраморный или бронзовый, а то, говорю, может, золотой — exegi monument... Monumentum, знаю я латынь, поверь — exegi mo... Чертовски даже интересно, товарищ... э... Даубарас... памятник... Соната, ты слышала — памятник... Нет? Как так нет — танцует — с кем — с Нельсоном — с Эдди Нельсоном — самые роскошные усы в Каунасе — с этим из ковбойских фильмов — ты, братец, впрямь — только где совесть? — а с кем — с Алибеком — Ийя с Алибеком, а Соната с Нельсоном, ура — ура, ура, иду — не студент, а прямо-таки скотина — рабфак, светлое грядущее нации — что — понюхал пробку и пошел махать руками — желторотый — вытирайте ноги — человек солидный не может даже — —

— Здесь, здесь, — потом расслышал я и почувствовал у себя в ладони теплую женскую руку; а, Марго; откуда? оттуда, откуда все мы; Марго; я увидел улицу, тусклые, одинаковые, расплывающиеся в желтоватом тумане фонари, стекло, выпученное, словно гигантский глаз, огонек папиросы в зубах у шофера, мигающие фары машины, а потом и Марго с Даубарасом, — разумеется, его, кого же больше, его, с широкими черными плечами, словно гора, загородившего мне все, что делалось впереди, — а потому еще реку, деревья, лестницу, снова Даубараса и Марго, присевшую сбоку от меня, — и все такие тихие, как в немом довоенном фильме; бабушка, Гаучас, зал, Соната — все-все — снова где-то далеко отсюда — от нас и от меня — за ре-

кой, деревьями и мраком — там, где тот Ауримас, — где Ийя — где бумага и эта ручка...

— Здесь... она живет здесь...

— Ийя? — я не узнал своего голоса.

— ...и такой ночной экспромт... если только они не спят... Сюрприз... В общем, Казис, вы сами...

— Казис?..

Я опять не узнал своего голоса, хотя слово "Казис" выкрикнул еще громче, чем "Ийя"; не расслышал и Даубарас.

— Нет, нет! — он энергично замотал головой; метнулись черные волосы. — Вы шутите... сейчас, когда... Нет, нет и нет! Только к вам... к нашему доброму, старому профессору... а туда... это было бы...

— Но вы сказали... — рука Марго у меня в ладони трепыхнулась мышонком. — Вы, Казис, сами хотели...

— Хотел? Это раньше, — плечи Даубараса снова заслонили все стекло передо мной. — Очень давно, Марго. А теперь — давайте не будить малышей.

— Малышей?

— Да. Пусть спят. Пусть они спят, они, Маргарита... Поедем!

"О чем вы говорите? Скажите, что это вы тут говорите?" — хотелось крикнуть мне, но вспомнилась Соната, ее чуть навыкате зеленоватые глаза, Даубарас, издалека, поверх людских голов глядящий на нас, пиво, загадочные слова Марго, — и я ничего не сказал, только отшвырнул ее руку от себя и молча уставился в знобящую сентябрьскую ночь.

VI

И здесь было смутно и неправдоподобно — в доме профессора Вимбутаса; предметы вертелись и мелькали перед глазами, убегая цепочкой, как огни в довоенной кинорекламе, а лица расплывались в сизоватой, настоянной на дыму мгле; какой-то старичок — это и был Вимбутас — рысцой пробежал мимо нас, комкая что-то в руках, свернул в коридор; профессор был без пиджака, отчетливо бросался в глаза высокий лоб мыслителя, неряшливо падающие на уши седые космы, толстые стекла очков, водруженных над крупным горбатым носом; а комкал он в руке жилет; у двери, меж мутно размытых стекол, маячили такие же зыбкие, неправдоподобные человеческие фигуры и хлопали в такт танцу. "Бенис, сердце; Бенис, печень, Бенис! — увивалась сзади сухонькая и белая, как одуванчик,

профессорша, и ее завертело в этот сизовато-палевый туман, пропитавший всю квартиру Вимбутасов. — Валокардин, Бенис, твои капли". Кружились столы, стулья, окна, книжные полки, кружились картины, и над книгами, стоящими на полках с однообразием кирпичных штабелей, кружились развешанные по стенам деревянные божества; гулко побрякивая, вертелись тарелки, вилки, ножи, кружилась разнообразная снедь — поодаль, на длинном столе, накрытом белой скатертью; кружились и мы с Марго, чей теплый кулачок я словно еще ощущал у себя в ладони, несмотря на то, что она обеими руками держала плащ Даубараса, пытаясь повесить его на крюк вешалки, и на меня не обращала ни малейшего внимания; один лишь Мике (этот, конечно, тут как тут!) глазел с любопытством, спиной привалившись к книжным корешкам с золотым тиснением, причем вид у него был донельзя сосредоточенный, будто занимался он невесть каким важным делом, — а он всего лишь смотрел по сторонам да посасывал папиросу; но можно было подумать, что его прямо-таки пригвоздили к этим книгам, вот он и не вертится вместе с остальными; голубыми полосами стлался дым.

— Недомерки, — Мике пихнул меня кулаком в бок, когда я обошел Даубараса и протолкнулся поближе. — Моральные лилипуты. Хорошо бы динамиту...

Он уже "набрался", этот Мике из-за туннеля,— может, тоже пива, как и мы, а может, еще чего-нибудь; вместе со столами кружились графины, бутылки и рюмки.

— Доставил к вам товарища.... гм... товарища... — залопотал я, почему-то не смея вымолвить фамилию Даубараса, она застревала в гортани. — Ему так хотелось... гм... хотелось...

— Не заливай, — Мике выплюнул папиросу и швырнул ее в угол — под ноги деревянным скульптурам. — Сейчас как схлестнется с папашей!

— С Вимбутасом?

— Увидишь. Думаешь, ему правда плохо?..

Он оттолкнулся — рывком оторвался — от книг и приблизился к Даубарасу, тяжело шаркая желтыми сапогами по паркету, — планки чуть не прогибались; на нем был неуклюжий грубошерстный свитер со стоячим воротом, застегнутым сбоку на две пуговицы.

— Servus, — тряхнул он руку Даубараса, которую тот, учтиво поклонившись, первым протянул Мике, — представитель Казис Даубарас. — Рад видеть вас

в обществе умственных пролетариев. Спасибо тебе, Марго, за идейную поддержку.

— Ради бога, — Марго и не обернулась. — Пожалуйста, Казис. Папа сейчас придет. Вперед, прошу вас, в гостиную.

Тут тоже все выглядело слишком неправдоподобно — как в книгах, можно подумать, что ты по какой-нибудь нелепой случайности сам оказался в книге, — никем не написанной, а лишь увиденной во сне — бывают и такие; и здесь люди и предметы вились волчками, правда все вокруг стола, за которым они и сидели; дребезжа, завывал патефон. Позабытый всеми на белом свете, допотопный "Одеон" царапал иглой круг за кругом, особенно зудяще тянул он звук "зиииии", будто некую сухую жилу, но никто не останавливал, не переводил головку в прежнее положение; все были поглощены собой. Стучали ножи и вилки, звякали рюмки, жужжали, гудели голоса, точно потревоженный среди зимы улей, — все разом, и все голоса, а заодно и твои собственные мысли, тонули в едином, всепоглощающем сумбуре. "Matricula acta! Acta, любезный коллега: matricula acta est[1], — дудел в ухо усатый гражданин в старомодном буром сюртуке. — В двадцать пятый раз собираемся по этому случаю у нашего драгоценного, нашего незаменимого завкафедрой, у горячо любимого всеми профессора Вимбутаса (он сейчас придет!) — чем не юбилей?" И он, этот усатый дяденька, выглядел неправдоподобным, тоже из книги — увиденной во сне или когда-то давно прочитанной; или с картины, не разберешь; юбилей? — вполне возможно, я не знаю, простите, не знаю, — не то юбилей, не то не юбилей, киваю на всякий случай, что-то звякает, словно треснула, обломилась льдинка; может, и юбилей, я выпрямляюсь весь, вытягиваю шею, слушаю: звяканья не слышно; да, да, я молод, мне нельзя пить, и вы, уважаемый господин, лучше разбираетесь — юбилей это или не юбилей; я и не думаю оспаривать, что вы, я непьющий, вот именно; стопроцентный непьющий, уважаемый. "Не только Вимбутас, но и я тоже был знаком с Вайжгантасом, и с Вайжгантасом и с Биржишками, а как же. И с Балисом Сруогой тоже, и с Гербачяускасом, и даже с Креве — не только Вимбутас, — хоть он и пил пиво с Креве, а потом "здрасте" ему не говорил, после того, как тот с немцами... Вимбутас просто проходил как

[1] Записано, совершено *(лат.)*.

будто мимо телеграфного столба — уж я-то знаю, сам видел... Мы с Вимбутасом старые знакомые... самые близкие... правда, он знавал Басанавичюса, но это уж, любезный коллега... Ладно? Сомневаюсь, что так уж "ладно": все-таки Креве — это Креве, и не подать руки — не знаю... а вообще-то я со времен Виленского сейма не занимаюсь политикой... и газет не читаю, дорогой коллега, но... если... если если если..." — усатый продолжает разглагольствовать, ужас до чего разговорчивый тип, размахивает руками, вертится — вместе со всем столом — и орет, а все равно голос тонет в общем разноголосом гаме, если если если — то вниз, то вверх скачет острый лоснящийся подбородок — ни дать ни взять алебарда; он же с картины, этот тип, ясно, с картины — я видел его на картине с конями и алебардами... Это плохо, коллега дорогой, что не подал руки, но с другой стороны, если...

Юбилей, конечно, юбилей; не зря гости Вимбутаса в галстуках-бабочках и с белыми платочками в кармашках пиджаков — надо же, расстарались; и Даубарас в "бабочке", умора; и о чем они там шепчутся с Марго, не пожимает ли он ей руку; нет, о чем совещаются — там, на другом конце стола; а все-таки, кажется, пожимает; послушай, а тебе-то что, мозгляк; он представитель, а ты рабфаковец; представитель товарищ Даубарас — рабфаковец Глуоснис; п и с а т е л ь Глуоснис, чуете!

— Мой милый мальчик...

А это что — бакенбарды; господи, опять тот, в бакенбардах; нет, другой.

— Разрешите, мой милый мальчик, я сяду рядом...

Он не ждет ответа, он садится на стул, этот человек с узкими губами и жидкими волосами, накрывающими лоб блестящим пепельным веером, садится и придвигает себе рюмку.

— Шапкус. Вы знакомы с мадемуазель Маргаритой?

— Марго?

— Это уже на манер французских романов, мой милый мальчик. Читайте лучше Горького.

Он даже огляделся по сторонам, сам довольный своим остроумием, но, обнаружив, что никто его не слышал — разорвись бомба, и то не услышали бы, — принялся за салат.

Он тоже был с картины, с большой групповой картины в коридоре центрального университетского здания — над столом пинг-понга и табличкой БИБЛИОТЕКА; доцент Шапкус, который помимо всего прочего

еще пописывает стихи — строит модели микромира; если вы, мой милый мальчик, на самом деле любите литературу...

– Любит? Это не то слово, доцент. Он творит сам

— Творит?

Это Даубарас, представитель Казис Даубарас, — перестал шептаться с Марго, кивает головой, потихоньку разглядывая нас с Шапкусом; Марго скрывается за дверью; возвращается, разводит руками ("Не отвечает, телефон не отвечает, Казис...").

— Мой давний приятель Глуоснис творит сам, и, знаете, доцент, с точки зрения текущего момента...

— Ага, — Шапкус взглянул на меня; глаза у него были узкие, напряженные, как и губы. — Выходит, я не ошибся. Еще одна бессмысленная жертва на вечном алтаре муз...

— Как это скверно! — воскликнул кто-то. — Отвратительно!

Это я, господи боже мой, это я подал голос, хотя звучал он словно издалека — из самой глубины этой большущей, похожей на зал комнаты, где меня как бы и не было; из зыбкого, дрожащего марева; или это тот самый, другой Ауримас, который постоянно был начеку, таился во мне и ждал своего часа, вертелся вместе с книгами, людьми, бутылками и столами; ну, быть беде.

— От-вра-ти-тель-но...

Слова эти относились к Даубарасу — к нему одному, поскольку он снова — черт его тянул за язык — завел тот же разговор, начатый им в буфете, завел и продолжил, словно мстя за то, что я напомнил о Еве; в этом мире каждый из нас что-нибудь да припоминает своему ближнему, и если мы станем из-за этого...

— Мой милый мальчик, – Шапкус резко выпрямился и замахал платочком, надушенным, как у дамы, — только что он жеманно провел этим же платочком по своим узким губам. — Хочу — молчу, хочу — кричу, а захочу — захохочу! Так в наше время рассуждает молодежь, на какое-либо уважение старшим нынче рассчитывать не приходится. Я сказал...

Он отвернулся и что-то прошептал сидевшей рядом Марго, та рассыпалась — ха-ха-ха — звонким хохотом; Даубарас незаметно подтолкнул меня локтем в бок.

— Перехватил, дружище, — недовольным голосом заметил он. — Доцент Шапкус в моих планах — фигура важная.

— Не знаю я ваших планов.

— Спроси хоть у него.

Я вскинул голову и увидел Гарункштиса; развалившись на противоположном краю стола, он глубокомысленно разглядывал разинутую щучью пасть на блюде; его брови двигались. Марго, осенило меня; это она — "ха-ха-ха" с Шапкусом? Ладно... Я тоже... тоже... Возьму и выберу хотя бы молчаливую девушку с такими ясными голубыми глазами; откуда здесь это дитя? Школьница небось, ну конечно, с белым воротничком; где я видел похожую девочку? И почему она смотрит так внимательно на меня, держа в руке вилку, на которой подрагивает весь в мелких капельках грибок, что хочет она сказать мне? И почему ее глаза словно обрызганы дождем? "Откуда ты, детка?" — чуть было не спросил я, но воздержался — и правильно сделал, так как вспомнил, где я видел ее — на торжественном собрании в честь новичков — имматрикуляции; она и тогда, сидя рядом с пареньком в деревенского кроя пиджачке, поглядывала на нас с Мике; понравились или как?

Я придвинулся ближе к ней.

— Давно бы так, — бойко заметила Марго.

— Что — давно?

— Разглядеть, какие глаза.

— Глаза?

— Какие прекрасные глазки у моей сестрицы.

— Сестрицы?

— Ну, почти. Ее зовут Марта.

— Немецкое имя — Марта.

— Не все ли равно тебе — какое?

— Вообще-то все равно.

— Вот видишь.

И она отвернулась от нас, разбитная Марго; я собрался с духом.

— Нравится?

— Праздник? — уточнила девушка.

— Да нет, грибы... вот эти, маринованные... Осторожно, они живые! Они шевелятся!

— Что вы, — она смущенно посмотрела на меня и положила вилку с наколотым грибком на тарелку. — А я вас видела...

— Меня?

— Вы так хорошо выступали...

— Я?

— На слете... Во Дворце пионеров...

— А вы... пионерка? То есть были...

— Что вы! — девушка недоуменно отпрянула; ее

щеки заалели. — Я никогда не была пионеркой... А вожатой — вот пришлось...

— Марта уже учительница, — Марго вовремя вспомнила о нас. — В этом году кончила гимназию...

— Такая молоденькая...

— Подумаешь! — Марго улыбнулась. — У нас в семье все способные. Особенно женщины, учти это. Марта кончила гимназию и осталась в ней работать.

— В Каунасе? — недоверчиво спросил я.

— Что вы! — девушка покраснела еще больше. — В деревне. Ну, в уезде... Когда наш комсорг решил поступать в университет... на филологию... Но... почему вы так смотрите на меня?

— Я?

— Вы. Так страшно.

— Страшно?

— Нет, я не боюсь... Только вы не смотрите, хорошо?

Она опустила глаза, взяла вилку и попыталась снова поддеть все тот же грибок; гриб был скользкий и не давался, Марта настигла его и довольно сердито пронзила вилкой; я почему-то зажмурился.

"Глаза! — улыбнулся я, опять ощутив то марево, в котором утопала комната и все предметы. — Ты только погляди, что за глаза у этой деревенской девушки... А впрочем, глаза как глаза. Обыкновенные девичьи глаза..."

Я отвернулся и опять увидел Даубараса — представителя Даубараса, беседующего с Шапкусом; голос у него был молодой и звонкий, ничуть не тронутый усталостью.

— Сколько же мы не видались? — спрашивал он Шапкуса. — Ну, после того, как мне... по вполне понятным причинам... довелось...

— О, не знаю, понятия не имею. — Шапкус пожал плечами. — Время летит... нас не спрашивает... Что нам остается? Нам остается... опыт... Полезная вещь для прозаиков. — Шапкус с нескрываемым любопытством глянул на Даубараса.

— Увы, для бывших, доцент.

— Это уж как вам захочется.

— Никто этого не спрашивает — как захочется. Общество, доцент, не знает жалости и заботится не об интересах отдельного индивида, а о своих собственных. Ну, а индивид — пассажир в эшелоне эпохи...

— И зачастую — безбилетный.

— Вот именно. Случайный.

Даубарас не спеша закурил, перед тем постучав мундштуком о коробку "Казбека"; поплыли друг за другом белые колечки дыма; глаза были полуприкрыты, и нельзя было сказать, что его приводило в восторг общество Шапкуса и весь этот вечер, хоть он и старался держаться спокойно; уж я-то его знал!

"Пассажир? — мысленно воскликнул я, так как меня все еще тянуло поспорить; я все время молча спорил, едва лишь завидел Даубараса там, в зале, едва услышал его голос; и мой поход к Марго, и это зыблющееся перед глазами марево, — все это было продолжением нашего старого спора. — Случайный? Куда же ты подевал Еву?"

Пожалуй, мысли эти вовсе не так уж глупы, особенно если облечь их в словесную форму. Но слышал их только я один, поскольку даже губы мои не шевельнулись; взгляд задерживался на полуопущенных веках Даубараса — загораживающих глаза, точно щиты, сквозь которые не пробьешься; он выпустил еще одно колечко дыма.

— Одну из ваших новелл мы даже премировали! — воскликнул Шапкус, разлепив свои тонкие губы; в голосе его было что-то суховатое, худосочное. — Я, кстати, дал все пять баллов... но повлиять на общее решение вряд ли мог... Это было... позвольте... когда же это было, вы не подскажете мне?

— Не трудитесь, доцент... — нахмурился Даубарас и загасил папиросу о пепельницу; у меня создалось впечатление, что он и впрямь не хочет об этом говорить. — Тогда шел фильм с Жанеттой Макдональд.

— Помню, помню! Хотя, откровенно говоря, я не склонен... считать кино настоящим искусством...

— И я тоже, но не все ли равно... Ваше здоровье!

Он чокнулся со мной (вспомнил-таки!), потом с Шапкусом, плавно повел рюмкой в сторону Марго (Мике дремал, свесив свою кудлатую голову ей на плечо), залпом осушил рюмку и задумчиво, сосредоточенно стал разглядывать ее против света, — рюмка была изящная, сложного узора, настоящий богемский хрусталь; Даубарас бережно поставил ее на стол.

Шапкус налил еще.

— Вспомнил, — сказал он.

— Что именно? — Даубарас нехотя обернулся.

— Сколько лет прошло. Ровно семь.

— Значит, в тридцать девятом...

— Тот самый конкурс?

— Да нет, фильм.

— А! Он все еще стоит у вас перед глазами?

— А что?

— Н-да... если бы не председатель жюри... думаю...

— К чему все это, доцент, — Даубарас махнул рукой.

— Отчего же не поговорить!

— Стоит ли? За это время все перевернулось вверх тормашками. Вся бочка, которую мы привыкли именовать миром, опрокинулась вверх дном. И, разумеется, вместе со всем своим содержимым. Правда, Ауримас?

Он снова замолк, на этот раз — надолго. Закурил. Стал пускать колечки — три подряд. И все три с усмешкой развеял рукой; дымная струйка метнулась ко мне.

— Между прочим, я тут разбирал на кафедре документы и наткнулся, — Шапкус снова обратился к нему, — на тот лист, знаете...

— Какой лист?

— Экзаменационный лист... когда тот же Вимбутас срезал вас...

— А-а... когда это было... вспомнили-таки... — Даубарас почему-то пристально посмотрел на меня. — Я не мог согласиться с его взглядами.

— Сущий начетчик...

— Иными словами — консерватор.

— И по сей день он тот же...

— Ой ли...

— Зверствует... Пользуясь благосклонностью Грикштасов...

— Грикштас? — Даубарас покосился на меня; я сделал вид, будто ничего не слышал. — А кто он такой? Редактор, и не более того. Крыса бумажная... Калека, обиженный судьбой...

— Не скажите. Поговаривают, профессор будет его научным руководителем. Тогда увидите... Hannibal ad portas[1]. Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sor tem...[2] — услышал я и окончательно протрезвел; я увидел профессора — после необъяснимо долгого отсутствия он снова появился в комнате — без пиджака, со встрепанными волосами, с воздетыми кверху руками — точно изваяние; не обращая внимания ни на что происходящее вокруг, в упоении от звучания собственного голоса, он чеканил латинские

---

[1] Ганнибал уже у ворот *(лат.)*.

[2] Что за причина тому, Меценат, что какую бы долю... *(лат.)*. — начальная строка I сатиры Книги первой "Сатир" Квинта Горация Флакка. Г о р а ц и й. Сочинения. М., Изд-во "Худ. литература", 1970, с. 245.

стихи, встав у противоположного края стола, да так властно и громко, что не слышать было невозможно; брови Даубараса поползли вниз. Конечно, он мог сердиться на профессора, во всяком случае, у него были на то причины; вполне возможно, что он и был сердит; но Мике... А Мике, казалось, очнулся от звонкой латыни, словно она была обращена к нему, и, оторвав голову от плеча Марго, разъяренно замахал руками; Марго удерживала его за полы пиджака.

— Лилипуты... лилипуты!.. — рявкнул он, свирепо глядя на Шапкуса — через стол, уставленный паштетами и салатами. — Тролли скандинавские!..

Я невольно улыбнулся обширным познаниям Мике, но тот и не глядел в мою сторону; пристыженно зажав ладонью рот, он попятился в коридор; Марго прямо-таки вытолкала его.

— Quid causae est, merito quin illis Juppiter ambas, iratus buccas inflet...[1]

— А тогда... в сороковом... когда вы на редакторском посту... — продолжал свое Шапкус. Вимбутас читал латинские стихи, вперив взгляд в потолок, под которым мимо двух красивейших хрустальных люстр плыл призрачно-палевый дымок, кто-то его слушал, кто-то ел, громко чавкая; кто-то — уж не юная ли сестрица Марго? — украдкой гляделся в зеркальце, приладив его под столом, — кому-то она хотела понравиться.

— Ну что ж... — профессор кивнул в сторону рюмок, даже не кивнул — холодно повел глазами; я понял его. — Побеседовали... да посетовали... по старинному литовскому обычаю...

Сожалеет, да, он сожалеет, Даубарас, что приехал сюда, где, судя по всему, никто и не старается уделить представителю внимание, которого он достоин, — разве что Шапкус; но Шапкус... Он, как нарочно, зажимал Даубараса все дальше в угол, на самый край стола и, помахивая надушенным платочком (апчхи, чихал усатый увалень в буром сюртуке), сыпал такими словечками, которые у кого угодно отобьют аппетит; неужели ему невдомек, что Даубарас ему не сосед и не приятель, что вращается он в таких сферах, где и великие выглядят малыми, а уж кто-нибудь вроде меня... Но Шапкуса это, судя по всему, не волнует; вот он под-

---

[1] После этого как не надуть и Юпитеру губы,
Как не воскликнуть ему во гневе своем справедливом...
(*лат.* . Г о р а ц и й. Сочинения. М., Изд-во "Худ. литература", 1970, с. 245.

нес рюмку ко рту, пригубил и поставил обратно на стол и снова принялся обмахиваться платочком.

— И замечание обнаружил, — продолжал он, теснясь все ближе к Даубарасу. — Ввиду неявки на повторную сдачу экзамена студента отделения литовского языка и литературы Даубараса....

— Повторную сдачу? Откуда — неявки? — Даубарас криво усмехнулся. — Из Москвы? Или из леса? Там было не до того...

— А ему-то что? А когда вы ему послали свою, редакторскую, карточку, он... в корзину — при всем честном народе... когда...

— Меня это ничуть не волнует, товарищ Шапкус, — перебил его Даубарас и довольно строго стукнул рюмкой о стол. — Если вам когда-нибудь вздумается устроить вечер воспоминаний, я с великим удовольствием... но сегодня... здесь...

— Не волнует? Человек искусства — и не волнует?

— Представьте себе.

— Позвольте мне усомниться в вашей искренности.

— А мне в вашей...

— Напрасно...

— Пуганая ворона... — Даубарас стрельнул глазами в мою сторону. — Да, да, пал смертью храбрых... в неравной схватке с ветхозаветными фолиантами...

— Полно, полно, дорогой друг! Не прибедняйтесь. Вы бы еще многим могли преподать урок отменного литературного стиля... истинно народного, вполне добротного стиля... И если есть в человеке этот окаянный огонек... если он уже из материнской утробы принес с собой этот непоседливый дьявольский ген, который впоследствии... при наличии благоприятных психофизических условий...

— Дьявольский ген? Почему же — дьявольский? — полюбопытствовал Даубарас, радуясь, что разговор перекинулся на другое. — Вы, я полагаю, до войны распространялись больше о божественном, чем о дьявольском.

— Но ведь жизнь и меня научила кое-чему!

— Не просто научила, — Даубарас негромко засмеялся, — а прямо переучила: от пылкого восхваления католических добродетелей до славословия дьявольскому началу.

— Что ж. — Шапкус пожал плечами, плоскими, как и все в его облике. — Если понимать прогресс как неумолимое стремление к глобальной истине... как фосфоресцирующие пунктиры мысли во всеобъемлющем

мраке... Может быть... если даже Маркса в свое время...

— О Марксе в другой раз...

— Молчу... молчу... Маркс, уважаемый, ваш гегемон... вам и карты в руки... Но что касается чувства времени, понимания духа времени — отдайте должное и мне. Дело в конкретности фактов и психофизическом строе индивида. Уважаемый товарищ, мы по-разному понимали прогресс — мы, молодые преподаватели, носители культурных традиций, складывавшихся веками, и вы, еще более молодые, студенты, носившие под мышкой тома Маркса...

— Понимали! А теперь?

— Жизнь, видите ли, учит уму-разуму своих подопечных... во всяком случае, подводит к мысли, что каждый должен сам нести свой крест... и если я остался в Литве... никуда не уехал... если добровольно пошел трудиться на ниве народного образования... Словом, судите сами...

— Понятно... — Даубарас нахмурился, в углах рта обозначились складки. — Вы думаете, лучшего завкафедрой, чем вы...

— Отнюдь! Если бы коллега Вимбутас захотел... если бы он пожелал хотя бы минимально ориентироваться в пространстве и времени... может, и он бы, несмотря на ощутимое бремя лет...

— Конечно, конечно, — Даубарас придвинул к себе рюмку и подмигнул Шапкусу. — Довольно удобное мышление, вполне отвечающее вашим психофизическим качествам. Но я не скажу. Ничего. Нарочно. — Взгляд его скользнул на другой край стола, где по-прежнему рокотал профессорский голос; по-моему, уже чуть хрипловатый. — Вы не подскажите мне, сколько сатир накатал этот Гораций? Как любознательному студенту... хотя бы приблизительно...

— Отчего же приблизительно? В первой книге — десять, во второй — восемь... Но эти уже с диалогами, да еще "Послания"... этих у него, слава богу...

— Послания?

— Послания поэта. Epistulae. Их двадцать два...

— Тогда давайте выпьем, — Даубарас покачал головой и посмотрел на часы. — Пока наш старик не прекратит свои декламации...

— Уважаемый товарищ, — улыбнулся Шапкус, — если вы надеетесь, что этот человек когда-либо что-либо прекратит.... при его-то энергии и фантазии...

— Всему приходит конец.

— Вы уверены в этом?

— Абсолютно.

После этих слов Даубарас решительно поднял рюмку и еще раз чокнулся с Шапкусом — как-то слишком звонко, словно подчеркивал, что они давние заговорщики; обо мне они в самом деле забыли — точно о каком-нибудь случайном, лишнем предмете; мне стало обидно.

— Sit ius liceatque... — снова донеслось до моего слуха — откуда-то издалека. — Sit ius... sit...

Вдруг слова эти потонули в общем гаме, исчезли, словно их и не было; я увидал, я не расслышал — именно увидал, как внезапно умолк этот человек с растрепанными, ниспадающими до плеч космами живого пророка, с распростертыми руками — Вимбутас, и как резко схватился рукой за белую ткань сорочки на груди; Шапкус крикнул:

— Дальше!

— Что дальше? — подхватил еще кто-то, словно эхо; может, это был сам Вимбутас, не знаю. — Что дальше, коллега?

— Что возглашает Гораций — дальше! В этом суть! Вы слышите — суть!

Я и не подозревал, что Шапкус так проворен, — до того стремительно соскочил он со своего стула и вспрыгнул на соседний, напрочь позабыв о Даубарасе; глаза его блестели стеклянным блеском.

— Sit ius liceatque perire poetis!.. — громко воскликнул Шапкус, поднимая кверху очень тонкую руку в облегающем желтом рукаве; он почти касался люстры.

Sit ius liceatque perire poetis:
invitum qui servat, idem facit occidenti;
nec semel hoc facit, nec si retractus erit, iam
fiet homo et ponet famosae mortis amorem...[1]

— Вот глупости... ну что за глупости!.. — услышал я и сообразил, что стою у другого края стола, рядом с профессором Вимбутасом, который обеими руками держался за спинку стула и весь трясся, точно в силь-

---

[1] Не будем лишать поэта права на гибель!
Разве не все равно, что спасти, что убить против воли?
Это не в первый уж раз он ищет блистательной смерти,—
Вытащишь, кинется вновь: ему уж не быть человеком *(лат.)*.
Квинт Гораций Флакк. Наука поэзии. Перевод М. Гаспарова. Гораций. Сочинения. М., Изд-во "Худ. литература", 1970, с. 395.

ном ознобе; "Бенис, капли, отдохнуть, Бенис",— шелестела белоголовая Вимбутене — легкая, как пух одуванчика; не отдавая себе отчета в том, что происходит — что все это значит, — я встал и, держа в руке уже пустую рюмку, побрел в этом дрожащем опаловом мареве...

VII

Потом опять кто-то тронул меня за плечо; perire; это была Марго; я знал, что означает это слово — полатыни в свое время успевал неплохо; perire; потому и выкрикнул — вместе с профессором Вимбутасом; а может, это воскликнул он один, я только подхватил за ним; perire; это было глупо даже для пьяных... Но и это уже было позади — Марго тронула меня за плечо; Вимбутас ел, повязав под жилистой шеей салфетку; он чавкал и не обращал внимания на гостей, которые развлекались кто во что горазд: танцевали, закусывали, бессмысленно глазели в окно — снаружи уже плыла мглистая ночь ранней осени; Мике уже клюет носом, шептала она, приподнимаясь на цыпочки и дыша ему в ухо пряным теплом; а что, если и ты... в соседней комнате, а... Спать? Здесь? Я встряхнулся и посмотрел на дверь, за которую (кое-что я как будто припомнил) двое студентов недавно вывели Мике (выволокли самым непочтительным образом) и у которой, поправляя галстук тонкими пожелтевшими пальцами, маячил доцент Шапкус ("Лилипут, тролль, попробуй только сунуться к Марго..." — шипел Мике, терзая на себе пиджак и кидаясь к Шапкусу); где же, скажите на милость, Даубарас?

— Препроводил, — объявил Шапкус, втискиваясь между Марго и мной; весь он был странно уплощенным и походил на пожелтевшую доску, дряблые щеки тряслись, на меня он смотреть избегал непонятно почему. — Разве можно ему, государственному деятелю, оставаться тут и наблюдать этакие эксцессы... когда студент второго курса...

— Ну, хватит, хватит! — заторопилась Марго и зачем-то взяла меня за локоть. — Разве вы не видели, что он пьян в стельку, наш студент второго курса?

— Пьян? Разве это оправдание, коллега? И в пьяном виде нельзя распускать язык. И, разумеется, руки!

— Мне было бы бесконечно жаль, доцент, если бы представитель только из-за этого...

— Отбыл? — Шапкус ехидно улыбнулся.

— Это мои гости, доцент, — сказала Марго. — Я их привезла: Ауримаса и товарища из центра...

— Ваше благородное сердце преисполнено любви к ближнему. — Шапкус томно прикрыл глаза, вытянул руку, взял пальчики Марго и поднес их к своим губам — благоговейно, словно верующий — четки. Но она по-прежнему другой рукой держала меня под руку, будто грелась. — Только вот по отношению ко мне вы...

— Мы не одни, доцент. Коллега Глуоснис... — Марго повернулась ко мне, — в этом доме впервые... и еще, не приведи бог, подумает, что между нами, доцент...

— Ну, конечно, конечно, — Шапкус нехотя выпустил ее руку; Марго подмигнула мне; очевидно, комедия эта ей нравилась. — Мне очень приятно... то есть, я хочу сказать... соперников становится все больше... А вы, милый мальчик, сдается мне, добрые знакомые... с товарищем представителем?..

— С Даубарасом? Отчасти, — ответил я довольно невразумительно.

— Как тебе повезло! — воскликнула Марго; ее глаза лучились.

— Повезло?

— Ведь не каждый может этим похвастать... И он, понятно, не с каждым будет... Ух, посватался бы он ко мне... я бы не раздумывая...

— Не раздумывая? — переспросил я, осторожно освобождая свой локоть от ее ладони.

— Ни минутки. Такие мужчины, коллега Глуоснис, бесценное сокровище. И если бы я была с ним ближе знакома... ну, хотя бы как ты...

Она тихонько засмеялась.

"Как-никак, ты называешь его по имени, — думал я, глядя на пикантную родинку у нее на подбородке. — И звонила кому-то по его просьбе... Ты неплохо знаешь его, Маргарита..."

— Я готов вам помочь, — сказал я, не совсем четко сознавая, зачем я это говорю, — возможно, хотелось положить конец этой беседе — вновь и вновь о Даубарасе, словно нет на свете ничего более важного.

— Ах, ты прелесть! — улыбнулась она и опять взяла меня под руку; Шапкус поджал губы. — Папочке ты понравился.

— Понравился? — украдкой бросил взгляд на противоположный край стола; Вимбутаса там не было, салфетка была брошена прямо на тарелку. — А почему?

— Ты рассказывал ему о Гаучасе. О каком-то солдате Гаучасе, не помнишь? И даже обещал когда-нибудь

привести этого солдата сюда. Не каждый в один прыжок одолевает метровую изгородь, Аурис. Папе это понравилось.

— Ерунда какая-то, — я прикрыл ладонью глаза, свет показался мне слишком ярким, режущим. — Чтобы я профессору...

Perire... sit ius liceatque perire poetis... солдат? Гаучас? При чем здесь Гаучас, солдат, о котором я вдруг позабыл, ведь если бы не забыл, я бы, возможно, ни ногой в этот дом...

Я стиснул зубы, когда подумалось, что не пристало говорить о Гаучасе в этом доме, при застолье с винегретами и наливками; это попахивало предательством; я содрогнулся.

— Мой милый мальчик, — услышал я тем временем голос и вовсе сник: хватит, хватит с меня! — Мой милый мальчик, — то, что одному может показаться полнейшей ерундой, для другого явится целым откровением... Вот вы с папашей Вимбутасом беседовали о солдате... который смеялся над смертью... А ведь это, на мой взгляд, весьма и весьма глупо — смеяться над смертью... Именно, милый мой мальчик, над собой смеемся...

Шапкус говорил и дальше; обеими руками он упирался в спинку стула, взгляд его горящих глаз был устремлен на нас, но я весьма смутно соображал, о чем он толковал; освободив свой локоть от теплой ладошки Марго, я притулился к стене и растерянно смотрел на эту девушку, а сам все думал, что же это я наплел ее папаше и, разумеется, когда, — распорядок нынешнего вечера или ночи (ночи, ну конечно же ночи!) был довольно сумбурный; да если я еще с той девчушкой... Это окончательно отрезвило меня — когда я вспомнил, что болтал и с нею — той щупленькой девушкой в облегающем голубом платье, с ослепительно белым, ручной вязки воротничком вокруг изящной, стройной шеи; и преследовал же меня взгляд ее словно обрызганных дождем глаз — стоило мне лишь отвернуться или подойти к Вимбутасу или Марго; вдруг я даже собирался ее поцеловать, кто знает, а может, просто нес всякий вздор, — ее здесь уже не было; я повернулся к Шапкусу.

— Видите ли, — продолжал он, полемизируя непонятно с кем (неужели со мной? Да ведь я как будто ничего ему не сказал; а вдруг...) — Вот и учиться вас, комсомольцев, направляют другие... самим вам, оче-

видно, и в голову бы не пришло — учиться... наука так и осталась бы для вас terra incognita...[1]

— Предположим, не для всех, товарищ доцент, — услышал я свой голос; о, наконец-то! — Обобщения всегда в какой-то мере хромают.

— Бывают и исключения, мой друг.

Я говорю о правиле.

— О каком правиле? — Шапкус посмотрел на Марго — будто она была виновата в моем упрямстве. — Что за правило, мой мальчик? Какие, скажем, мотивы привели в университет вас?

— Покамест я еще...

— Ну, на курсы?

— По-моему, желание учиться.

— И только?

— Это так понятно, что разъяснять это...

— Беречь слова, мальчик, похвальное дело, но сейчас, когда я спрашиваю...

— Хочется узнать кое-что...

— Вертится ли Земля? — Шапкус оживился. — Круглая ли она?

— Нет, — ответил я. — Хочется узнать, в какую сторону она вертится... И почему вертится — тоже, — продолжал я. — Это чертовски важно знать — почему.

— Но это слишком высокие материи, мой милый мальчик. — Шапкус отпрянул. — За пределами обсуждаемых нами ценностей. А для бедных литераторов... — он беспомощно развел руками.

— Для меня, товарищ доцент, все это очень важно. Даже этот вечер.

— Вечер?

— Да. И ваши речи.

— Ну, знаете... — Шапкус насмешливо склонил голову набок. — Вы с нашим профессором — два сапога пара... Да, да, с профессором Вимбутасом...

— Оставьте папу в покое, — поспешно проговорила Марго и наморщила лоб; это ей не шло.

— Слушаюсь, покорно слушаюсь... — Шапкус виновато вздохнул и обежал взглядом весь стол. Да, да! Не забывайте, милейший Шапкус, вы всего лишь преподаватель, но это ничего не значит, хоть вы и старший преподаватель, все равно кое-кто на ваше место... Хотя-бы будущий муж науки Ионас Грикштас... милостью достопочтенного профессора... и всяческими протекциями... — он зыркнул на меня глазами, потом на Марго.

---

[1] Неведомая земля *(лат.)*

— Давайте не будем о Грикштасе тоже, — Марго потупилась.

— Уж не оттого ли, что ты с его женушкой, с этой белокурой принцессой... водишься...

— Нет, — улыбнулась Марго. — Просто это не относится к нашей теме, доцент Шапкус. Вы, насколько мне известно, человек четких воззрений, целенаправленный.

— Ух, Маргарита, бесценная ты моя! — Шапкус прижал к груди свою желтоватую ладонь в тонких синих жилках. — Мы же просто созданы друг для друга... А если шутки в сторону, мой милый мальчик, — он снова обрел серьезный тон, нахмурил свой плоский лоб, — то неужели вы полагаете, что у нас, у старших, никогда не возникало желания узнать: п о ч е м у? И мы были в вашем возрасте... — он вздохнул. — И тоже расправляли крылья для высокого полета...

— А теперь... — протянула Марго деланно-печальным голосом.

— ...Теперь мы уже знаем, что на подобные вопросы никто и никогда не ответит... Корни иррационального не в мистике и не в агностицизме, как пытается кое-кто доказать, — они уходят в самый строй вещей, а при нашем практическом мышлении он всегда будет выглядеть в той или иной мере алогичным. И посему ответить на вопрос п о ч е м у даже люди, нюхнувшие философии и психопедагогики...

— Я и не жду ответа, — невольно махнул я рукой. — Я сам ищу его.

— Сам? Бога — сам? Логоса?

— Я атеист, товарищ доцент, — улыбнулся я, чувствуя, что Шапкус, увы и ах, вовсе не так силен в этом споре, как хочет казаться, — хоть он и нюхнул философии или этой, как ее, психопедагогики. — И не верю ни во что готовое. Ни в бога, ни в черта, ни в их детей. Я до всего должен дойти свои умом, во всем удостовериться сам.

Шапкус порывался еще что-то возразить, но лишь скривил губы и умолк, вытирая ладонью свой плоский, взмокший лоб, напоминающий треснувший пополам бурый лист; я ликовал. Впервые за весь сегодняшний вечер я ощутил, что могу занять какое-то место в этом новом мире, куда привела меня судьба, и если она будет хотя бы мало-мальски благосклонна ко мне...

Но и Шапкус уже воспрянул.

— Вы еще так молоды, мой милый мальчик, — проговорил он, внимательно глядя на меня. — И критерии у вас сомнительные... Их еще должна будет проверить история.

— Она уже сказала свое слово.

— То, что было, — только прелюдия. А сама симфония... аллегро и модерато, уважаемый... вся та музыка...

— Сыграем ее, товарищ доцент, полностью!

— А ноты? Где они, уважаемый?

— Напишем!

— Вы-то?

— Напишем.

Марго, как я заметил, улыбнулась и ободряюще подмигнула мне; на лице ее снова появилось выражение отзывчивого внимания, хотя в разговор она не вступала, а лишь слушала; может, ей нравилось, что я так свободно разговариваю с доцентом, который, надо полагать, немало крови попортил студентам; я делал вид, что это не стоит мне никакого труда. И верно! Для нее Шапкус и доцент, и как будто друг дома, а что касается меня... Ни сват ни брат — преподавать он мне не будет, и вижу я его, может, в первый и последний раз.

Мне показалось, что Шапкус молчит очень уж долго.

— Да, — наконец проговорил он и снова потер ладонью свой плоский лоб. — Бессмыслица. Тотальная зверская злоба, дорогой товарищ Даубарас...

"Это он — Даубарасу!.. — дошло до меня. — Все еще Даубарасу, будто меня здесь и нет. И почему они все, чтоб им лопнуть, разговаривают только с Даубарасом?"

— Как это понять?

— Вот как: начало всегда предельно наивно... — он окинул меня высокомерным взглядом, словно удивляясь, что я все еще здесь. — Начало — это не конец, дорогие мои. И даже не середина.

— Очень уж туманно сказано.

— Все, о чем вы рассуждаете, покамест находится на эмбриональной стадии развития... когда нет не только петушка с золотым гребешком, но даже и цыпленка... а вы... а они... они говорят так, будто тысячелетиями только и делают, что властвуют над галактиками... да что там тысячелетия — вечность...

— Вечность или нет, а все же... И зачем пускаться в сравнения? Не властвовали — значит, придет такая пора, когда... невзирая ни на что...

— Будете властвовать? О! Бог в помочь! — Шапкус опять заулыбался — кому-то прямо перед собой, этим бесконечным галактикам. — Властвуйте, маэстро, — и землей, и галактиками. Только, сделайте милость, — без нас. Да, да, нас — увольте!

— Боитесь? — спросил я.

— Что вы! Стройте, возводите свой мир, господа, да

будьте любезны — оставьте мне мой мир, в котором властвовать буду я один. Орудуйте в своих галактиках на здоровье, только, умоляю вас, не троньте моей звезды! Ибо она — моя, это непреложно! Моя и только моя. Я, господа, поэт, и без своей звезды... — он грустно развел руками. — А главное, уважаемые господа: намереваясь сравнять небо с землей, прежде всего наведите порядок в себе самих. Завоюйте какое-то моральное право на власть, на господство. И поймите меня правильно: можно выиграть все и в то же время остаться нищим. Можно иметь и танки, и самолеты, и автоматы. И не какие-нибудь бумажные, как болтали до войны, а самые настоящие, добротной стали, которые отменно попадают в цель. Можно владеть обширными землями и при случае прихватить еще. Настроить казарм, лагерей, аэродромов, мастерских. Что за государство без всего этого? В конце концов, тюрьмы и то нужны: для убийц и воров. Но человека, настоящего человека, нельзя сотворить вовек. Нельзя! За всю историю человечества вам не создать его. Никогда, уважаемые господа. Человека не создать и не создать искусства: подлинного, невымышленного, не замешенного на политике... Ибо если можно научить человека стрелять или махать молотом, то возвысить индивида до его звезды... до высот истинного интеллекта... что вы, господа! Ведь для этого не нужна грубая сила колосса или напористость дешевого оратора... — он воинственно глянул на меня (вспомнил-таки!) и высоко задрал подбородок. — Для этого, господа, нужна в высшей степени сильная внутренняя потребность в культуре... многовековые исторические традиции, от которых, само собой разумеется, и должен начаться сегодняшний день нации... Таким образом, чтобы создать социальную общность людей, которая зиждется не на вульгарных утробных маршах, а на подлинно духовном интеллекте, следует располагать помимо всего и...

Ого! Он разошелся как полагается, до испарины на лбу, говорит с воодушевлением, точно с кафедры, — широко размахивая сухими, пожелтевшими руками, соединяя их на впалом животе, прикрытом черным пиджаком английской шерсти: и спор он ведет уже не с Даубарасом — я это вижу; и конечно же не с Вимбутасом или беднягой Мике; он читает лекцию мне, рабфаковцу Глуоснису, и ни в чем не повинной Марго, которая и без того, надо полагать, немало их наслушалась — ишь как озорно строит она кому-то глазки; но кому? И пусть строит, только пусть остается здесь, около ме-

ня, не хочу оставаться в одиночестве — по крайней мере, пока Шапкус не кончит; ага, выдохся, платочком отирает пот со лба; настал мой черед.

— А почему вы считаете, — заговорил я, — что у нас ее нет... этой самой потребности в культуре? Народ, кажется, не сегодня возник на свете. Если мы будем исходить из его многовекового опыта...

— Народ!..— горестно воскликнул Шапкус.— Масса!.. Неужели вы полагаете, что масса, а не вдохновенная творческая личность создала "Сикстинскую мадонну"? "Девятую симфонию"? Написала "Идиота"?

— Не настолько я наивен, товарищ доцент.

— И то ладно, мой милый мальчик: наивным уши рвут. В конце концов, что такое народ? Модное словечко, не более того. Нация — да, а народ... Сама этимология указывает здесь на то, что это категория скорее материальная, чем духовная... так называли себя темные, дремучие славяне в восточных болотах... Литвины... испокон веков тяготели к ратным сообществам... Но дело не в этом. Потребность в подлинной культуре, уважаемые, заложена вовсе не там, где ее ищете вы, — в лучшем случае это мутная поверхность источника, — а в жизнеспособных, сугубо разграниченных духовных устремлениях высокоразвитых интеллектов... в духовном вольном общении... то есть, уважаемые господа, в самых сокровенных глубинах, которых вы... никогда...

— Мы? — вырвалось у меня. — Кто это — мы?

— Да хотя бы и ты с Даубарасом. Или с Гарункштисом. С миллионами таких, кого я позволю себе обобщить одним словом — die Masse[1]. В данном случае, быть может, и оправдано это слово — народ. Но только в данном, ни в каком ином.

Да, разошелся, ничего не скажешь; похоже, что он, этот уплощенный, с отливающим желтизной лицом индивид всерьез считает, что мы какие-то твари болотные; и если не все из его речи до меня дошло, то это еще не значит, что...

— Жаль, — сокрушенно ответил ему я, — жаль, что нет с нами товарища Даубараса. То-то бы он обрадовался...

— Думаю, ему это было бы интересно.

— Интересно? Что вы, товарищ доцент...

— Мой милый мальчик, — Шапкус склонил голову набок и улыбнулся — мгновенно и скорбно. — Мой ми-

---

[1] Масса *(нем.)*.

лый мальчик, — повторил он, строго отчеканивая каждое слово. — Неужели ты считаешь, что монополия на власть дает заодно и талант? Что Даубарас создаст вам литературу? Товарищ представитель Казис Даубарас? ("Маэстро Даубарас..." — улыбнулся кто-то вместо меня.) Старина Фрейд, думается мне, был стократ прав, утверждая, что стремление к власти и славе, друзья мои, всегда было тем непреложным духовным стимулом, который, увы...

Дальше я уже не слышал, так как почувствовал, как меня взяли за локоть; я и не предполагал, что профессор так силен. Но это был он, профессор, выплывший к нам из тумана, — в жилете без галстука, его седые космы еще больше растрепались; профессор держал в руке рюмку.

— Перестань, Маргарита, — бросил он не причастной к беседе Марго, а не Шапкусу и не мне. — Дай познакомиться. Вимбутас. Гроза первокурсников Вимбутас.

— Папа! Вы же с Глуоснисом и так...

— Неважно! Гроза Бенедиктас Вимбутас... Звучит?! — он приподнял рюмку повыше. — Коллега литератор?

— Собираюсь... — робко промямлил я. — Хотелось бы...

— Беги отсюда, юноша... беги от иллюзий... если еще можешь, то беги... Ведь сухим из воды, как ты знаешь...

Он чокнулся со мной, да так лихо, что напиток выплеснулся через край, профессор выпил оставшуюся часть ("Бенис, сердце! Печень!.. Осторожно, Бенис!" — услышал я), резко повернулся и пошел к остальным; с меня было предостаточно всего, что здесь творилось; я поставил полную рюмку на стол и глянул себе под ноги.

— Вы говорите — народ... Это же сущая интеллектуальная бессмыслица, мой милый мальчик... коль скоро нашей интеллигенции далеко до общего уровня эпохи... если мы все еще, словно barbari in media civitate[1]. Ибо культура, как нас учил еще старина Шпенглер, есть либо абсолютный интеллектуальный медиум, либо абсолютный интеллектуальный вакуум — смотря какое влияние... Но... да вы не слышите меня, мой милый мальчик?.. Вам плохо, скажите же, Глуоснис? Маргарита, ангел мой, взгляните на вашего юного гостя...

---

[1] **Варвары среди цивилизованных** *(лат.)*

— Нет, что вы! — расслышал я собственный голос, до странного хриплый и неприветливый. — Что вы... Мне очень даже хорошо... Пропадите вы пропадом!

— Ну, это вы... я бы сказал...

— Про-па-ди-те... — просипел я своим пересохшим горлом и направился к двери; "пропа..." — прошептал я мысленно и довольно грубо оттолкнул подбежавшую ко мне Марго; деревянные божества качнулись на коридорной стене. — Все-превсе... ведь...

— ...ибо тот, кому достанется...

— Что? — Ауримас остановился как вкопанный; шумели деревья, под ногами шуршала сухая трава, в лицо веяло холодом; ночная тьма и та как бы ощущалась физически — словно песок, ветер или вода. — Что ты говоришь? С кем разговариваешь? И кто ты такой?

— Разговариваю я с тобой, а кто я такой... мы же знакомы... — отвечал тот же голос, — только знай... тот, кому достанется... учти, тот всегда...

Дохнул ветер, сорвал с дерева лист и швырнул его мне в лицо; я зажмурился; т о т, к о м у д о с т а н е т с я... — по-прежнему звучало в ушах — что? — перо синей птицы, — но откуда-то совсем издалека — из детства; деревья шумели, трава шуршала, ночной ветер, точно невидимое существо, мокрыми холодными пальцами щупал горло; т о т, к о м у д о с т а н е т с я, а сквозь ветви, точно сквозь насупленные брови, поглядывал бледный, неприветливый месяц — смотрел, хмурил свое многоопытное чело и подмигивал злобным оком Старика...

VIII

Проснулся он вмиг, будто его ожгло пламенем, и сразу же — ладонь ко лбу; влажно; сколько же он спал? Наверное, долго, так как в окно било солнце — в маленькое, засиженное мухами окошко, наполовину прикрытое жидкой марлевой занавеской; в кухне было тихо. Ушла, подумал Ауримас о бабушке и проснулся окончательно; но тут же снова сжал ладонями виски — ломило, кололо; вся голова гудела, перед

глазами стлалась пелена, в ушах отдавались те же слова — т о т, к о м у д о с т а н е т с я; это была сущая нелепица, засела в голове и никак не уйдет — т о т, к о м у д о с т а н е т с я; ч т о? п е р о с и н е й п т и ц ы; оттолкнулся от топчана, на котором лежал, и босиком подбежал к тазику с водой, окунул голову. Он опять засиделся допоздна над учебником, а поскольку он не мог похвастать, что курс физики усваивается им на лету, то учебник он потихоньку отложил и принялся писать; поначалу просто так — что пришло в голову; и вдруг он четко осознал, что написанное им оказалось рассказом, — и тут смертельная усталость подкосила его, и лишь теперь он с трудом от нее избавляется; а надо поторапливаться. Правда, на этот раз не в университет, а на собрание городской секции молодых писателей. Принять! Уже одно это слово способно внушить страх, а уж Мике Гарункштис не поскупился на слова, расписывая, до чего это важный и решающий шаг; о, если бы всех так легко и просто принимали... "Но ты не дрейфь", — добавил он после того, как изложил, что он читал, когда обсуждали его самого, какие задавали вопросы. "Не боги горшки обжигают..." Боги или не боги, не в этом дело; сегодня читать придется Ауримасу, а не Мике или еще кому-либо, и если т а м не оценят... он и себе самому боялся признаться — что же будет, если не оценят, хотя Мике и тут обещал свою поддержку: ты учти, со мной считаются; а если еще и Грикштас придет... "Грикштас? — спросил Ауримас. — А ему зачем туда ходить — редактору?" — "Проверяет, как я работаю... за что зарплату у него получаю..." — "Проверяет?" — "Шуток не понимаешь... с какой стати ему проверять Гарункштиса? Мы с ним... Просто он пишет о прозе молодых, ну и.... Между прочим, тебя он знает..." — "Полагалось бы", — ответил я. "И Даубараса... этого представителя..." — "Важничает?" — "Просто говорит".

И то, что на собрании будет Грикштас, редактор городской газеты, еще пуще усиливало страх, который не покидал сегодня Ауримаса с самого момента пробуждения; почему-то не хотелось ему, чтобы Грикштас услышал его чтение — т о т с а м ы й рассказ, который он послал на конкурс; тот или не тот; как и все начинающие, Ауримас больше всего боялся знакомых и, как всякий начинающий, испытывал сильное смущение, словно, занимаясь сочинительством, он с каждым исписанным листом снимает с себя что-нибудь из одежды и бросает куда-то в угол, а, закончив писать, оста-

ется нагим, как библейский Адам; и будто каждый кому не лень может видеть его наготу. Наготу и родимые пятна на животе и плечах, родимые пятна, которые принято скрывать от постороннего взгляда; человек знакомый эти пятна заметит, пожалуй, еще быстрее. Словом, ему все еще казалось, что, занимаясь сочинением рассказов, он чем-то обижает тех, кто не пишет, не умеет или не может писать; да, ему представлялось, что он обкрадывает их; в то же время знакомые, привыкшие видеть его занятым другим делом, могли счесть его сочинительство пустым времяпрепровождением. Со скандалом... хлопать дверью... — даже вспоминать не хотелось эти слова, слова Даубараса; может, их и не было вовсе, как и многого из того, что иной раз мерещится человеку; а если и было, то...

Он осмотрелся в кухне и принялся с грохотом двигать кастрюли, будто пытался развеять одолевшие его мысли, которые были отнюдь не самыми веселыми, какими могли бы быть в такой день; потом он наскоро что-то проглотил и едва ли не бегом выбежал из дома. Спешил, хотя и сам не знал почему, — собрание только через два часа; может, не хотел докладывать бабушке, куда направляется, — все равно не поймет; а может, его просто-напросто подстегивали все те же мысли, которые роились у него в голове нынче утром. Шел прямиком по горе, тропинками, чтобы сократить путь и к тому же избегнуть встреч со знакомыми, которые от нечего делать могут спросить: "Куда идешь?" Вообще-то какое им дело? Все, чем он жил последние несколько недель — от самого решения бросить работу с карточками и до конкурса, до нынешней ночи, — принадлежало лишь ему, Ауримасу, и никому больше; это его безмолвная радость, заветная тайна, сокровенное табу, придающее его жизни новый смысл, и нечего говорить об этом с каждым встречным-поперечным, да не каждый и поймет.

Ночью шел дождь, и рыжая глина крупными комьями липла к подошвам — еле ноги волочишь; жидкая грязь разбрызгивалась в разные стороны; но все это как будто мало занимало Ауримаса; т о т, к о м у д о с т а н е т с я... — вертелась в голове нелепая, никому не нужная мысль; ч т о? п е р о с и н е й п т и ц ы; что за бессмысленные сны! Словно наяву видел он Старика и мальчика, стоящих друг против друга; кто кого — глазами, словами; у Старика старомодный пистолет — выстрелит не выстрелит — и борода, которую он то и дело встряхивает, как сказочный чародей скатерть-са-

мобранку: столик, накройся! Накройся, столик, для Вимбутаса, Шапкуса, Сонаты; а для него... Ночь напролет прошатался он тогда один-одинешенек по Дубовой роще, пререкаясь со Стариком и защищая от него мальчика; целую ночь — под ветром и дождем, в листопад, споря с Шапкусом, Вимбутасом и самим собой; Даубарас и Гарункштис как бы выпадали из этого ночного спора, и точно так же — те, с их вениками и усами под Эдди Нельсона; как и Соната, которую он вспомнил лишь под утро, когда рассвело и он снова отворил скрипучую калитку "именья" Глуоснисов; вспомнил и бабушку, а она как раз и шла ему навстречу — с корзинкой картошки, накопанной только что в огороде.

— Ох и раненько ты сегодня, Ауримас... — покачала она головой, глядя на восток, где поверх сизого края облака выглядывало желтым подсолнухом робкое осеннее солнце. — Гаучас, видела я, уже с ночной смены пришел.

— И молодец, что пришел, — буркнул Ауримас и прошмыгнул мимо бабушки в комнату; после посещения профессорской квартиры особенно бросалась в глаза бедность, которая так и глядела из каждого угла; Ауримас избегал смотреть по сторонам, будто чувствуя некую свою вину.

Он рухнул на старый скрипучий диван и мутным взглядом обвел комнату, обдумывая, что же сказать бабушке, которая, безусловно, вот-вот явится сюда и начнет расспрашивать, где пропадал всю ночь да с кем; ну, конечно — вот и она!..

— Счет... за электричество...

— Электричество? — Ауримас взглянул на листок бумаги, который старушка положила на стол. — А-а... так много?

— Да ведь сколько нагорает... ночами-то все палишь да палишь...

— Виноват, — сокрушенно опустил голову Ауримас. — Сознаюсь. Да только насчет злата-серебра...

Он перевернул обе руки ладонями кверху и огорченно посмотрел на бабушку; он даже распахнул на себе пиждак, чтобы показать, насколько он пуст; бабушка молча отвернулась.

— На танцах деньги не раздают, Ауримас, — помолчав, заговорила она. — Деньги — их заработать надо. И в старое время так было, и сейчас. Всегда.

— А письма нет?

— Какого письма?

— Из Вильнюса. Из редакции. Я им послал там одну штуковину...

— Послал? Теперь жди, пока рак на горе свистнет, — бабушка тяжело вздохнула. — Думаешь, разлетелись, только и ждут, когда ты им пришлешь свою "штуковину". А то своих писак у них уж и нету... А если и примут, то какой в этом прок для дома-то...

— Если примут, то и заплатят. Это — обязательно. Всем платят, если печатают.

— За небольшим, значит, дело стало — если напечатают! Ты бы, голубчик, не по редакциям бегал, а...

— На работу мне сейчас нельзя. Пока не кончил курсы...

— "Курсы"! — бабушка раздраженно махнула рукой. — И после курсов не в генералы... Приходила Соната.

— Соната?

— Ну, эта, знаешь... Я бы на твоем месте... эх, Ауримас...

Она умолкла и долгим вопрошающим взглядом смотрела на него; их глаза встретились.

— Ясно, — Ауримас вздохнул. — Она уже успела и тут...

— Успела? Ты о чем это?

— О чем! Нажаловаться тебе успела...

— Да на что ей жаловаться? Отец с матерью есть, дом есть... сама что маков цвет... Жениться тебе надо, Ауримас. Девушка она хоть и молоденькая, зато какие родители... а она — единственная...

— Я тоже единственный, — улыбнулся Ауримас.

— Радуйся, что нашлась такая.

Она снова выждала, давая Ауримасу возможность ответить; как будто выложила все.

— Когда приходила? — спросил он, чтобы что-нибудь спросить. — Вчера мы виделись.

— Ну вот... Надо бы тебе как-то...

— Мне? — Ауримас покраснел. — Мне это ни к чему, бабуня...

Он взволнованно поднялся и подошел к окну. Но и спиной он чувствовал устремленный на него взгляд — будто нож в спину, слышал прерывистое, частое дыхание бабушки. Она ждала. Ей надо было дождаться ответа; ее Ауримас не так уж плох, как некоторые считают (например, Райла, завмаг), хоть и дал стрекача в свое время — в Россию; побывал там и Гаучас, ну и что же. Кто еще наколет ей дров, кто как не долговязый

Матаушас; с кем побеседуешь долгими осенними вечерами, когда нет Ауримаса; да не так он и плох, внучок ее, и часто с нею бывает ласков. А уж ребенком-то, когда не знал ни писаний этих, ни университетов, ни комитетов с хорошими карточками... и когда продавал газеты... и позднее... Позднее бабушка заменила всех и вся, раздумывал Ауримас, глядя на буреющие осенние огороды, за которыми извивался серый, чуть позлащенный солнцем хребет Немана, — отца, мать, бабку, а когда была еще мама... Когда была мама — ярче солнце светило и звезды не были ледяными; все тогда было прозрачным и ясным — когда еще была мама; даже черствая краюшка хлеба к обеду могла насытить всех — когда была мама; теплые руки гладили лоб — и отирали слезы, отводили страх, а вечерами, когда всходила луна и наползал от реки туман, те же руки со всех сторон заботливо подтыкали одеяло — чтобы не дуло, а губы едва-едва касались щеки — спокойной ночи; одеяло было ветхое, с провалами между свалявшимися комками ваты, но от материнских рук становилось теплей; спокойной ночи, спи спокойно — шевелились ласковые, теплые губы; спи спокойно — отдавалось и сейчас, но откуда-то из неведомой дали — от того давнего "мама"; звякнул колокольчик — тоже издалека, из детства, донесся слабый аромат ягод и молока — вовсе невесть откуда; сейчас он с трудом поверил бы, что мама б ы л а здесь — так близко, как сейчас бабушка, а то и еще ближе; ближе, ближе — ну, конечно же; м а м а; он с трудом перевел дыхание.

— Да что с тобой, детка?

Ауримас обомлел — д е т к а; медленно обернулся — бабушка; мать никогда не говорила — детка, она как будто и слова такого не знала; она называла его по имени и гладила пальцами по лицу — влажными теплыми пальцами; иногда, возможно, журила его; этого Ауримас не помнит; она была всегда усталая, вечно кашляла, вытирая платочком лоб; ее глаза блестели, будто в несказанном изумлении; щеки пламенели и подрагивали; высокий, чистый лоб, задорно выбиваясь из аккуратно сколотой шпильками прически, обрамляли черные, блестящие завитки; она была красивая и живая, м а м а, главное — живая; фотография, что висит на стене, походит на нее не больше, чем фотоснимок неба — на само небо, а фотографическое изображение земли — на саму землю, а то и еще меньше; да при чем здесь фотография...

Но бабушка не уходила, она ждала, стояла и смо-

трела на Ауримаса своим кротким, безмолвным взглядом; что тревожит, детка?

— Все, — ответил Ауримас довольно вяло и подумал: медлить нельзя. — Все, бабуня... Все тревожит, а больше всего...

— Знаю, знаю!.. —старая замахала руками. Фотография, слабый отблеск той, кого больше нет, да к тому же слишком уж состарившейся; неужели и она, мама, была бы такая? Нет, она —нет —Ауримас прикрыл глаза —никогда... "Поездить бы тебе, Ауримас... вот подрастешь — и поездишь... и на север, и на юг, по всему белу свету... только не оставайся здесь — тут такие сквозняки... эх, и мне бы с тобой..." Виновата, ох, виновата Анелюшка... ей бы тогда...

— Не будем судить мертвых, бабуня...

— Чего уж там... Что с них возьмешь, правда... Ну, а мы? Мы-то с тобой чем виноваты? Вышла бы она тогда за Гаучаса...

— Вышла бы — не вышла бы... Поздно гадать, бабуня.

— То-то и оно, что поздно... А возьми я палку... когда эти "артисты"... удержала бы вовремя...

Я кивнул — знаю; только ты не говори, ни о чем больше не напоминай... отец умер, когда стояла черная ночь и когда... нет, нет, мама ни при чем — ей еще до отца приглянулся чернявый бойкий стеклодув, сезонный рабочий, что странствовал по литовским, латвийским, мазурским стеклозаводам; и если он снова объявился именно тогда, когда отец ушел в ту ночь, из которой больше не вернулся — ни трезвым, ни пьяным, никаким; если... Кто жалуется, — дяденька Гаучас такой добрый, он всегда приносил конфеты, сажал меня к себе на колени и угощал, и, кажется, он любил наколоть дровишек; а еще больше любил посидеть на кухне, за небольшим белым столиком (ноги чуть ли не упирались в дверь, а за дверью была комнатенка, где на том же самом, уже тогда скрипучем диване лежал я), да поглядеть на мою маму; мне шел пятый год, и я не понимал, отчего молодые мужчины так старательно рассматривают молодых женщин, словно дети цирковую афишу, отчего смотрят да еще вздыхают, сворачивая цигарки в палец толщиной; потом снова наезжала бригада — из Латвии или с Мазурского поозерья, где, говорят, воды больше, чем земли, и снова возникал стеклодув Костас, который приносил с собой гитару с голубым бантом и целую корзину со сладкими и горькими напитками; тогда я узнал, какой хороший,

молодой голос у моей матери; уходил Костас не скоро. Потом бригада опять приехала, но уже без Костаса; мать ушла на завод, а вернулась, вытирая углом платка глаза; появился дяденька Гаучас (он был уже к тому времени женат) с конфетами; мать выставила его за дверь. После этого я долго не видел Гаучаса, а стеклодува Костаса не увидел больше никогда; бабушка, опасливо озираясь, не слышит ли мать, шепталась с соседками, что "артист" опрокинул на себя расплавленное стекло и живьем спекся; царство ему небесное... А мне было жаль стеклодува Костаса, он так замечательно играл на гитаре, а еще пуще жаль было мамы, которая перед сном, как и прежде, приходила подоткнуть мое одеяло; помню, у нее дрожали руки, а щеки подрагивали и с каждым днем все больше бледнели; дома вечно чего-нибудь недоставало — дров, одежды, картошки и конечно же денег; жуткое слово "безработица" не сходило с маминых уст, со страхом произносил его и сам дяденька Гаучас, когда он снова, правда гораздо реже, стал наведываться к нам; беседовал, помнится, больше с бабушкой, чем с матерью, которая сидела в углу кухни и, будто нарочно, назло Гаучасу, разглядывала фотокарточки все того же Костаса (отца она вроде бы совсем позабыла); однажды Гаучас велел мне одеваться и идти с ним. Мы шли долго и почти не разговаривали, пока не вышли к району Шанчяй; там Гаучас долго с кем-то совещался, кивая на меня и на дом по ту сторону изгороди; ЧАЙНАЯ — было написано там черными корявыми буквами; хрипел патефон; Гаучас грубовато пихнул человека кулаком в бок и щелкнул пальцами у себя под подбородком; собеседник его разводил руками и неуклюже пятился, натыкаясь на раскиданные всюду доски, потом сплюнул себе под ноги и повел меня во двор...

Все это пронеслось сегодня утром, как ускоренный немой фильм, где люди мечутся, разевают рты, нелепо размахивают руками; одна лишь мать в этом фильме все проделывала не спеша, точно в жизни; м а м а; бабушки там как будто вовсе и не было; не участвуя в фильме, она стояла в комнате, перед Ауримасом, и ждала, что он скажет; но что он мог ей сказать? Фильм старый, пленка рвется, кадры наползают один на другой, сбиваются в кучу, путаются, и трудно проследить путь к нынешнему дню; а сказать что-то надо.

— Одна приходила? — спросил он, чтобы нарушить затянувшееся неприятное молчание; странно, что он снова спросил о Сонате.

— Девушка-то? Нет, не одна: с дородным таким господином... шляпа что горшок...

— Лейшис?

— Называл и фамилию, да я...

— Это, бабушка, Лейшис. Валерий Лейшис. Он один в такой шляпе. Сонатин папаша. Чего им надо?

— Вроде бы ничего, — бабушка задорно глянула на Ауримаса. — На смотрины приходили. Тебя спрашивали.

— Испугались небось?

— Что ты... Чего им бояться?

— Мало ли чего... — Ауримас обвел взглядом комнату. — Чего угодно...

— Ну, детка... болтаешь ты не дело... будто они из господ!..

— Из господ или из мужиков, а лучше бы... к нам в "именье"...

— И поглядели... что такого... не мы одни так... — она поднесла ладонь к глазам. — Целыми днями маюсь одна, света божьего не вижу, а ты...

— Прости, бабуня, я не хотел...

— Хотел не хотел, а...

— Что она сказала? — Ауримас поспешил заговорить о другом; хорош, нечего сказать — бабку до слез... — Жаловалась?

— Зачем ей жаловаться... — бабушка опустила руку. — Дайте, говорит, матушка... я...

— Да ну!

— Эка невидаль — картошку чистить помогла.

— Картошку? Соната?

— А то нет! Небось не безрукая!.. Захотела оладий — пусть чистит. Поплескала пальчиками в тазу и... Пусть уважит свекровь... ведь муженька заполучит не какого-нибудь — писателя!..

— Не надо, бабуня... Ну и как, понравились?..

— Мои оладьи да чтобы не нравились! Сколько было масла, все до капельки...

— Я не про оладьи, а про папашу... Как тебе Лейшис?

— Лейшис? А при чем тут он? Я тебе про барышню, про Сонату.

— А я тебе про папашу, — усмехнулся Ауримас. — Тебе нравятся толстые, знаю... Я бы на твоем месте постарался для такого гостя... При шляпе как-никак... Другого такого во всем Каунасе не сыщешь... Конечно, Гаучас может обидеться...

— И дурень же ты, Ауримас! Олух царя небесного! — бабка даже ногой притопнула. — Я тебе дело говорю, а

ты... А за меня не беспокойся, о себе я позабочусь, тебя не спрошусь. А пока — шагом марш за щепками, чай вскипятим. Вода в Немане, слава богу, покамест без карточек...

Со всех ног бросился он во двор; он был рад, что прекратился этот тягостный разговор —и о матери, и о Сонате — особенно о Сонате; нагрянула! Пожаловала, дамочка, на розыски да папашу прихватила для смелости; зачем все это? Странно, что вчера, в университете, она ни словом не обмолвилась о своем посещении, будто это ее личное дело; Марго помешала? Или Даубарас? А вдруг они обе — Соната и бабушка, старая и молодая, — решили действовать заодно? Это было бы вовсе скверно, подумал Ауримас, такой священный союз, что остается только ноги уносить... Ну, а пока...

Он подмигнул —тому, другому Ауримасу, который спешил управиться со щепками, торопливо глотал чай и с нетерпением дожидался, когда бабушка выйдет из комнаты, — чтобы можно было снова взяться за авторучку; он уже видел на столе аккуратную стопку добротной "министерской" бумаги — надо полагать, ее опять доставил Гаучас; ура заботливому соседу! А если Вимбутас считает, что... и если этот самый Шапкус, доцент кислых щей...

Ауримас сел за стол и придвинул к себе бумагу; перо как бы само по себе побежало по листу, будто стосковавшийся по раздолью конь; Соната Соната Соната — шелестело под пальцами, изящная ручка, золотое перо, иридиевый наконечник; приходила Соната — зачем — — Больше он ни о чем не думал —даже о сне, который, казалось бы, должен валить с ног. Соната —электричество — счет; беги отсюда, юноша, —выводило перо — вовсе не то, чего хотелось ему, Ауримасу; он по-прежнему был опустошен и сух, как колодец жарким летом, и все еще не мог опомниться после минувшей ночи и всей этой недели; солдату жаль снов... Одних лишь снов, думал он, без всякой надобности изводя великолепную "министерскую" бумагу; одни лишь сны нужны и ему, тому Ауримасу; сны и мечты; а голова склонялась все ниже над столом, никла, утыкалась в бумаги; перо чертило размашистые, изогнутые линии, причудливые цветы, над которыми реяло слово: Соната; Ауримасу в день рождения — Соната; кто-то заглянул в дверь — как будто тот, другой Ауримас; на редкость изможденный и угрюмый; беги отсюда, братец, беги — Старик, мучительно знакомый и в то же время такой чужой, —если еще можешь,

беги; не могу; почему; мне нужны сны; сны; вы слышите, люди добрые, сны ему подавай — лишь тот, кому достанется — —

IX

Вошел, и дух захватило; дух захватило от гомона, что стоял в длинной комнате с двойной двустворчатой дверью; в глубине комнаты стоял старинный облупленный столик красного дерева; скрипел даже сам по себе, без чьего-либо прикосновения. И пол ветхий — давно не вощеный, но некогда великолепный паркет (Ауримас сразу подметил); при каждом шаге планки хлопали, как разболтавшиеся басы старого ксилофона, а стулья — можно было подумать, они собраны со всего Каунаса, настолько они были пестрыми и разнокалиберными: черные и вишневые, широкие и совсем узкие, с высокими и короткими спинками, с подлокотниками и без; и на этих стульях сидели со значительным выражением лица юноши в длинных мешковатых пиджаках или в толстых вязаных свитерах домашней шерсти; было тут и несколько девиц, весьма рассеянно озиравшихся по сторонам; все из одного общежития, мелькнуло у Ауримаса, да еще и причесаться не успели.

Мике не лгал — Грикштас действительно находился здесь, у самой двери; с неуклюже выставленной вперед больной ногой и пристроенной рядом со стулом палкой он напоминал путника, присевшего отдохнуть; Ауримас поспешил отвести глаза. Ему уже ничего не хотелось, и он подумал, что напрасно сюда пришел; беги отсюда, юноша, — мелькнуло в голове, эти слова, он чувствовал, засели в нем с того самого вечера; бежать? куда? Вот сидит Грикштас, и ты не хочешь видеть его — почему? ни его, ни Шапкуса, никого — ведь и Шапкус торчит где-нибудь здесь, поблизости — с точки зрения имманентной теории, уважаемые; и Шапкус, и Матуйза, и Страздаускас — все светила; да, маститых тут, пожалуй, даже больше — лысых и седовласых, — да, их больше, чем молодых, хотя тебе-то все равно — беги отсюда, юноша; не побегу; тогда садись, не закрывай перспективу; какую; обожаю, знаете ли, в воскресный день поглазеть в окно; там улыбаются — кто? там поправляют волосы — пальцами, не расческой; садитесь, садитесь же, не стойте столбами; беги... Silentium, коллеги, тишина, сейчас наш новый друг прочтет свою новеллу, честь имею сообщить собравшимся...

Ауримас оглянулся, словно ища поддержки, и опять увидел Грикштаса, с вытянутой вперед ногой-

протезом; взгляд редактора был устремлен в потолок, будто там что-нибудь написано, — знакомый взгляд; губы едва заметно шевелились. И помещение шевелилось, мельтешили лица, хотя глаза — любопытные, блестящие, полные ожидания, — наведены на Глуосниса, такого-сякого, на него одного, стулья дружно скрипнули; Ауримас достал написанное.

Видимо, он волновался, этот новенький, так как листочки свои доставал очень уж суетливо, второпях выдирал из-за пазухи, будто они приросли; один лист соскользнул на пол — плавно лег, прежде чем он успел подойти к столику красного дерева и прежде чем столик заскрипел; девушка, поправлявшая пятерней волосы, наклонилась, подобрала листок у себя под ногами, протянула ему и, не таясь, окатила его взглядом, как водой; ему стало стыдно. И не оттого, что уронил листок, а оттого, что прежде чем подать листок ему, девушка (крупная и широколицая) подняла этот узкий и длинный обрезок над головой и помахала им; то была страница, разрезанная вдоль пополам: так нарезал гербовые прошения Казис Даубарас в те стародавние времена, когда они только познакомились (он уверял, что это модно), но сейчас небось никто уже так не делал, в том числе и сам Даубарас; у Ауримаса упало сердце.

Не стоило, право, не стоило сюда ходить: встречают как в цирке — только и ждут, когда начнешь глотать лезвия; эх, не до цирка ему сейчас... Право, дружище, некогда, смотри, сколько глаз, отравленных любопытством стрел, вот-вот вонзятся в тебя; сколько ушей — бездонных мешков — ловят каждый звук, ждут не дождутся, чтобы это разузнать да другим передать, а сколько ртов готово разверзнуться, чтобы разнести тебя на все корки — едва лишь закончишь чтение; подкашиваются ноги, деревенеет язык, в горле пересохло, жжет, столик дрожит без всякого к нему прикосновения; а он, Ауримас, стоит один против всех, стоит целую вечность — как изваяние, как знак вопроса, неподвижный, как соляной столб, и в то же время готовый взорваться — от неимоверного жара, который сжигает, испепеляет его всего, стоит возмущенный и вместе с тем перепуганный, растревоженный до малейшей своей клетки, стоит и мнет в руках листочки — так по-дурацки разрезанные — мнет, мнет... Пора начинать... Он набрал полные легкие воздуха и шумно выдохнул — получилось театрально и напыщенно, а главное — все это было, сотни раз было — заблестели оживленно

глаза, эти стрелы, копья, приготовились к атаке; листки зашуршали громче, выдавая полное замешательство их обладателя; кровь прилила к лицу — ах, этот румянец новичков, в глазах зарябило; это был предел. Беги отсюда, юноша, расслышал он и еще раз огляделся по сторонам, словно перед восхождением на эшафот; а, они еще здесь? Все ждут еще? А если ждут, значит, ничто его уже не спасет...

Солдату жаль снов, солдату нужны сны... — услышал он голос, доносящийся откуда-то издалека — из сновидения или из детства, такой знакомый и привычный, и сам поразился — так читать мог лишь тот, прежний Ауримас, что маячил где-то поблизости; Глуоснис снова оглянулся; тишина пугала его, он снова заставил губы шевелиться; он, это читает он сам... Но отчего его голос звучит как чужой, отчего он не повинуется ему, и голос, и глаза — словно засыпанные песком, вот и опять потеряли строку; и его взгляд, наспех брошенный в зал, — тяжелый, словно камень, и тоже чужой (от него одного, казалось, закряхтел, заныл старый столик красного дерева); Ауримас исправил ударение и опять увидел перед собой молниеносно вспыхнувшую кривую усмешку... Судилище, чем не судилище, над ним, парнишкой с Крантялиса, вздумавшим постранствовать по северу и по югу, по всему белу свету; над этим Глуоснисом, — смотрите, что за провинция! Пальцы, приводившие в порядок волосы, лежали на коленях, округлость которых наглядно проступала сквозь прозрачный розовый шелк; нога покачивалась, словно вскидывая нечто невидимое, да еще улыбка... Вдруг ему пришло в голову, что она, эта грузная, пышноволосая блондинка, только и ждет, когда он снова уронит листок... "Солдату жаль снов, солдату жаль снов..." — пальцы непроизвольно сжали листки покрепче, и Ауримас почувствовал, что читает все сначала — громко, будто ловит на лету слова, которые разбегаются, норовя упорхнуть с исписанных страниц; взгляд Ауримаса скользнул куда-то вдаль... Ауримас все еще не смел поглядеть в тот угол, где сидел Шапкус, а с ним Матуйза, Страздаускас — далекие, недосягаемые светила. Как можно строже он продолжал, шелестнув исписанными полосками: "Так пели снега Орловщины, когда мы с Гаучасом (назовем его Солдатом) явились сюда..."; не смотреть, нет, хоть ты и снова уставилась на меня — и чего, скажи, пожалуйста, ты тут не видела, э, нет, не дождешься, больше не уроню, держу надежно; и зачем ты покачиваешь своей округлой розовой ногой — туф-

ли показываешь? Хороши туфельки, что правда, то правда, — лакированные, но меня все это ничуть не интересует — ни нога, ни твои глаза... напрасно поедаешь меня взглядом... "Был вечер, и солдаты окапывались в снегу. Окапывались медленно, не спеша, лопатки со стуком дробили мерзлую землю, скрежетали о снег; люди выполняли тяжелую работу, которую им навязала война. А ноша их и без того была тяжела — вещмешки возвышались над снежными сугробами, словно черные, оголенные ветром кочки; руки едва удерживали лопаты; чуть ли не трое суток подряд шла рота сюда, к этим снегам, чтобы на рассвете зайти немцам в тыл и прорвать фронт. Прорыв этот должен был стать окном в Литву, чье дыхание уже можно было ощутить как дальнее дуновение весны, и, может, оттого Солдат, согнувшись в три погибели, подставив спину ветру, дробил и крушил лопатой смерзшийся оледенелый снег, кромсал и колол его, исходя тихой, священной яростью, словно лишь от него одного зависел исход завтрашнего боя; боя, который должен был подвести роту еще на несколько сот метров ближе к дому. Иногда он переставал долбить мерзлоту, брал лопату за середину черенка и оглядывал гору снега и мерзлой земли перед собой — как сеятель пашню, а иногда он встряхивался или расправлял плечи; сквозь шинель прорывалась наружу тусклая дымка пара, сочилась, застывала и падала белым инеем вниз — как цветочная пыльца; жарило сорок по Цельсию, а шинели, как утверждал Гаучас, годились разве что для мая месяца — ленд-лиз из Флориды; спины курились, как сырые крестьянские печи, пальцы коченели, лица отливали синевой и покрывались изморосью, и не было конца этой работе, которую взвалила ему на плечи война; а окно надо было прорубить — орловское окно в Литву... Потом пришла ночь, звенящая, голубая, — как ожидание, как солдатская надежда, и Гаучас..."

В зале все еще стоял шумок, но уже не такой сильный, и копья глаз уже не так остро вонзались в его лицо; постепенно он и вовсе позабыл обо всем этом. Правда, чувствовал, что читает скверно, не своим, срывающимся голосом (поскрипывание стульев), и, словно моля о прощении, взглянул на собравшихся; пышнотелая белокурая девушка мгновенно перехватила его взгляд и ободряюще похлопала круглыми кукольными глазами — вся она, широколицая, с большими коленками, выглядывающими из-под натянутого платья; где же Грикштас, подумалось, не вижу Грикштаса — и

опять запнулся на середине фразы, потерял и Солдата — там, в сугробах Орловщины; белокурая снова расплылась в улыбке, в которой было что-то откровенное и обжигающее. Читай, читай, нечего зевать, подтолкнул его локтем Мике Гарункштис — он как председательствующий сидел рядом; в этом, конечно, был резон; Ауримас нахмурил лоб и, больше не отрывая глаз от исписанных бумажных полосок, ровным голосом дочитал новеллу до конца. Кто-то захлопал — она самая; кто-то вяло махнул рукой и вынул из кармана сигареты; кто-то громко зевнул; обсуждение началось.

Э, нет, эти косматые парни и девушки — все как из одного общежития, где забывают причесываться, — они вовсе не были такими сонными и безразличными, как показалось вначале; вопросы посыпались как из рога изобилия, причем все сразу — точно развязали мешок; Ауримас с трудом успевал следить за лицами — а ведь большинство были незнакомые, — они сменяли друг друга, как на экране; и ведь надо было отвечать. Он запнулся и стал заикаться, стоило какому-то юноше поинтересоваться, сколько классов окончил Ауримас, — в голосе было что-то знакомое; а ведь Ауримас кончил гимназию; не успел ответить — новые вопросики: откуда он, что писал, почему пишет, зачем пишет, где печатается — в каком журнале, под чьим руководством делал первые шаги в литературе, — все больше о нем самом, а не о его произведении, которое снова заняло свое место в кармане; потом вспомнили и о новелле: зачем солдаты шли на Орел, что они там делали, знает ли автор Гаучаса лично; знает; тогда понятно, почему он так подробно описан, чуть ли не протокольно; а разве это плохо — то, что протокольно? Для нашего гостя, уважаемые коллеги, милицейский протокол будет чуть ли не самой совершенной классикой — при таком отношении к искусству; но ведь существуют сотни пишущих, не ведающих, что такое искусство; это для них terra incognita, уважаемые; почитал бы уважаемый гость, скажем, Вальцеля... Кого, кого? Валь-це-ля, Вальцеля... да еще Тэна, Кафку, Ремарка — в особенности Ремарка, если пишешь о войне; можно и Толстого, но этот все-таки чересчур славянин; Серафимович? Прошу прощения, не имею чести, хотя где-нибудь такой, может, и существует; поляк? Русский? Господи, да откуда мне, несчастному студиозусу, знать их всех, этих великих русских писателей, тем более что фамилии у них зачастую то польские, то еврейские. Говорите — Ремарк? Но это же сахарный сироп, уважаемые, марме-

лад, ну, а Джойс... Джойс — о войне? Что вы, коллеги, хватайте Когана, "Западноевропейскую литературу", две книжки, тридцать пять рублей; в библиотеке, может, и не найдется; хотя эти джойсовские герои... и вообще психоаналитический метод самоанализа... Ромен Роллан? Говорите, Цвирка предлагает Ромена Роллана, ха; вот именно, его "Мастер и сыновья", вы знаете... Зато Шопенгауэр и Ницше поистине достойны внимания интеллектуального человека нашей эпохи... и еще Достоевский, пожалуйста, — раз уж нужны русские... Европа признает... я уже не говорю, уважаемые, о таком признанном, маститом старце, как Кнут Гамсун... Шапкус — это доцент Шапкус, конечно; как это я сразу не узнал; и не глядя вижу его блестящие, словно глянцевый бурый лист, налипшие на лоб волосы, приталенный черный пиджак, чуть презрительную улыбку всезнающего человека на плоском желтоватом лице, слегка подрагивающую шнурочком тонких губ; вспоминаю этот тенорок, переходящий в фальцет, который столь рьяно просвещал меня в доме у профессора Вимбутаса; perire; Марго хлопала большими карими глазами и все поглядывала на дверь, куда удалился только что Даубарас, а возможно, на телефон, кто ее знает; профессор, прочь отшвырнув свой жилет, буйствовал вместе со студентами и читал им Горация; стучали ножи и вилки, звенели рюмки; стлался по комнате призрачный опаловый туман — приплывал из коридоров с книжными полками и деревянными божествами со скорбно поникшими головами, — и все было смутно, недостоверно, будто извлечено из неких археологических глубин, и в то же время правдиво, поскольку происходило в Каунасе, в доме у старых дубов, и видел я это собственными глазами; нечто подобное творилось и сейчас... Ему бы следовало почитать Гамсуна. Нет, нет, коллеги, да что вы, этого тролля, этого отвергнутого людьми и судьбой морального урода; ваш марксистский уровень, к сожалению, покамест... Это Мике, ясно, председательствующий Гарункштис, которого в тот раз студенты увели проспаться — силком утащили. Шапкус сволочь, успел крикнуть он, лилипут и тролль скандинавский; не хватало еще, чтобы учиться у коллаборационистов... Нет, вы не путайте день и ночь, уважаемые товарищи, будьте столь любезны: многое сейчас осуждается, а мир стоит, и Земля, дорогие друзья, вращается вокруг Солнца, — Шапкус выглянул из своего угла — мирного созвездия безмятежных папиросных огоньков; об

одном прошу вас: не смешивайте, друзья мои, субъекта с объектом, демиурга с массой, — это уводит в сторону от самой сути познания; в искусстве, да будет вам известно, всегда побеждают отверженные; всегда? О нет, маэстро, нет и нет, уважаемый товарищ доцент, Гарункштис с этим ни за что не согласится, председательствующий на этом собрании Мике Гарункштис, пусть хоть земля перевернется; если мы все пойдем на поводу у таких рассуждений... то никогда... Не согласны, уважаемый, — это ваше дело, но зачем же так кричать, тут глухих нет. — Ошибаетесь, еще как есть — и глухие, и слепые, и даже вовсе глухонемые (Мике почему-то покосился на Ауримаса); а побеждают, коллеги, всюду одни и те же — те, кто побеждает; но если мы начнем учиться у коллаборационистов... моральных лилипутов... или троллей скандинавских... товарищ Грикштас, по-моему, согласится с этим и скажет то же самое... Но, может, по данному вопросу стоило бы высказаться более глубоко, товарищ Гарункштис (здесь, он здесь! — почему-то обрадовался я; Грикштас здесь, я даже вижу его палку), и получше подготовиться; по моему скромному убеждению, при каждом удобном случае следует подчеркнуть наши основные принципы понимания поэтики... (ишь ты, какой самостоятельный! что ж, он тут председательствующий) я считаю... Но послушайте, уважаемые, это же интеллектуальная бессмыслица (Ауримас насторожился); это чистейшей воды интеллектуальная бессмыслица — рассказ, прочитанный гостем; уже сама по себе основа этого сочинения одиозна (Шапкус выступил на середину зала и широко развел руками), его генезис и замысел (сцепил руки на животе)... откуда эта безысходная мрачность?.. И чему, уважаемые товарищи, призваны служить все те слова, которые мы тут слышали... что говорят они интроспективной испокон веков литовской душе?.. Политика, уважаемые, не наша сфера, и, однако, внутренняя психогеноструктура вышеупомянутого сочинения... нарушена публицистической конъюнктурой... не говоря уже об интрологике или характерах, которые, мягко выражаясь... Впрочем, о таких вещах, по-моему, еще просто рано говорить... Мике тоже поднялся и так же, как и Шапкус, развел руками — никто не засмеялся; но он еще выставил вперед ногу, обутую в умопомрачительный сапог... Кое-чему он все же в университете научился. Не скажите; уж коли на то пошло, то наиболее примечательным в сочинении дебютанта я считаю именно содержание, этот идейный сплав

мышления, и этому, я бы сказал, остальные наши молодые (да и не только молодые, перебил Грикштас) могли бы поучиться у нашего нового коллеги... однако... дорогой Ауримас, скажу напрямик, откровенно... внутренняя психология и искусство построения характеров (Шапкус снисходительно кивнул головой) ... этой высшей литературной математикой ты пока, к сожалению, не очень-то... да и откуда, уважаемые коллеги, взяться психологии, если сам стиль... если — опять-таки будем откровенны, — если коллега Глуоснис теории и через марлю не нюхал и, как тысячи других детей рабочих... Ну и что же, если не нюхал!.. Шапкус вернулся в угол, из которого выходил, в свое созвездие (вспыхивали огоньки, вился дымок). Стиль, уважаемые друзья, главное — это стиль; stylos, stilus, le style, der Stil, the style; стиль — это переход объекта в субъект и внешняя дигрессия — кто же это сказал: le style c'est l'homme[1], уважаемые; эпоха, растворенная в самом содержании логоса; Вальцель, которого некоторые здесь столь уместно цитировали, в свое время писал, что... Вот и опять Вальцель; ничего не поделаешь — не взывать же всем к одному лишь Белинскому... даже не отрицая его роли непонятого мученика... итак: принцип взаимопроникновения искусств — утверждал Оскар Вальцель...

Вальцель, Джойс, Бергсон, Кьеркегор, Гамсун, Шпенглер, Ницше, Шопенгауэр, Жид — вертелась словесная карусель — интеллектуальная бессмыслица, беги отсюда, юноша, сенс — нонсенс — сенс — вновь застучало в висках, как и тогда, у Вимбутасов; одиозен и генезис, и замысел — неужели вам неясно? Ясно, теории и не нюхал, а что до высшей литературной математики — тут он ни в зуб ногой... беги отсюда, юноша... пока не поздно — уноси ноги, не то...

Потом Ауримас вновь увидел Грикштаса; ему не хотелось, чтобы тот его защищал, ничуть не хотелось; а Грикштас и не собирался вступаться — поднялся, взял свою палку и заковылял к выходу, — зал вдруг сделался пустым... Аурис опять поймал на себе настойчивый взгляд, о котором было позабыл, — тот, из первого ряда; говори, дружок, говори — ободрял Аурималса этот взгляд, — говори, пока не поздно; а рядом с ней... Бакен-барды!.. И этот здесь; что у него общего с писателями? Значит, что-то есть, раз он тут, — не моего ума дело; и как это я раньше его не приметила?.. Сегод-

[1] Стиль — это человек *(франц.)*

ня он выглядел еще более старообразным, чем на торжестве по поводу начала нового учебного года, хотя и не таким унылым; подбородок ездит вверх-вниз, шевелятся довольно мясистые губы; так — зевает! Он зевает — этот джентльмен с квадратными, точно грубо вытесанными из дерева щеками (некоторое изящество придавали лицу все те же пепельные бакенбарды); искрой вспыхнула золотая коронка; рабфак, светлое грядущее нации... Это очень мило, мальчик, ч т о ж, м о й м а л ь ч и к, — взгляд вернулся к Шапкусу: мой милый мальчик, не только эти слова делали их похожими, а что-то еще; что — этого я пока не знал; девица вовсе подалась вперед, рот до ушей: защищайся, объясни, отрази; полные, трепетные и блестящие губы; столик застонал — без малейшего прикосновения... Может, товарищи — —

Он говорил, хотя впоследствии не помнил, что именно; возможно, опять о Гаучасе — пожалуй, все-таки о нем — о Гаучасе и о солдатах, поглощенных рытьем окопов; или о себе: был, видел, з н а ю; ну и что же, что был, что видел, ч т о з н а е ш ь — литература скидок не делает; ей, уважаемые товарищи, важен один лишь трансцендентный результат творческого акта, тот самый литературный оргазм (прошу прощения, дамы и барышни), без которого душа индивида останется неоплодотворенной... ибо, потрудитесь вспомнить, коллеги литераторы, что тот же Вальцель... Да хватит уж, отчаянно взмолился чей-то голос, пора по домам, нельзя же все сразу; горек хлеб литератора, братцы вы мои; горек-то горек, да каждый за ним тянется; даже, скажите на милость, ломовые извозчики, прачки, о да; ну, друг любезный, что-то ты нынче! Ого-го, одному отпущено, и с лихвой, а у другого только прорехи в штанах; голосуй, Мике; принять — отклонить — отложить; примем, что ли? отложить; да делайте что хотите, мне-то что — я медик; кишки играют марш; три часа — не многовато ли мы тут сидим по столь скромному случаю; отложить; пора кончать! Ауримас, прости, понимаешь, меня Марго — —

Потом Ауримас снова услышал стон шаткого столика красного дерева — протяжный и жалобный — и догадался, что это встал он сам; то есть встает; народ расходился, шумно двигая стулья — эту разнокалиберную смесь, собранную со всего Каунаса; кости ломило, как от битья, давило грудь, к горлу подкатывала давняя, неизлитая ярость. Но досадовать можно было разве что на себя одного. Он просчитался, этот Ауримас

Глуоснис, писатель с Крантялиса; писатель; нечего было сюда идти... или надо было убраться... как только они... Он недодумал до конца — пахнуло духами; Розмари, прошелестело у самого его уха, шелохнулись пышные волосы, бедняжка поэтесса Розмари; в горестях своих, дружочек, мы беспредельно одиноки, — и помедлила, ожидая не то слез, не то ответа; она продолжала говорить; потом поспешила за кем-то — не то за доцентом Шапкусом, не то за этим самым, с бакенбардами... что ж, мальчик; ну их!

Забренчали ключи — надо уходить; у дверей, свесив усы на блестящие пуговицы кителя, топтался сторож.

— Ну как? — спросил он, глядя Ауримасу в глаза; сторож — в глаза; Ауримас отвернулся.

— Да так, что будьте здоровы... — он пожал сторожу руку. — И никогда не прите в писатели... вот что. Даже если вам златые горы... ни в какую...

— Я-то? — Старик заморгал глазами. — Да я, барин... я насчет грамоты... писанины всякой...

— Давай будем как люди, папаша... — Ауримас потрепал его по плечу; зачем он это сделал — трудно объяснить. — Чтобы все как у людей, ясно?.. Неужели нет? Тогда скажи, нет ли у тебя случайно чего-нибудь целебного... согревающего...

— А-а... — Старик осклабился; от него разило перегаром. — Писателя да не уважить! А как насчет этого самого... — он щелкнул пальцами.

— Увы, папаша... — Сокрушенно вздохнул Ауримас. — Откуда? Меня раздолбали, дед. — Он хлопнул дверью и бегом пустился вниз по лестнице, к черным металлическим воротам.

Только здесь, на улице, он заметил, что солнца давно нет, а по небу плывут набрякшие, совсем осенние тучи. Они неслись над кладбищем, точно огромные черные гробы, едва не задевая за вершины деревьев, гремя жестью на кровле татарской мечети, несли с собой стужу и тоску. Ауримас ежился под ними, крохотный и согбенный, словно мизерный человечек с картины Чюрлениса "Смерть" — растерянный и перепуганный: не удариться бы о днище этих гробов.

X

Соната была дома. Она сидела на диване, женственно поджав под себя ноги, и читала; рядом, на столике, по обыкновению, стояла глубокая красная тарелка с орехами.

— Угощайся, — сказала она, кивком предлагая сесть около себя. — Стариков нет, они в гостинице, можно сообразить что-нибудь интересное. Кстати, ты знаешь...

Ауримас насторожился.

— Папа ведь последнее время с мамой... Этот товарищ из центра, ты не представляешь...

— Даубарас?

— Ага, он... тебя это удивляет?

— Как сказать, — Ауримас пожал плечами. — Я и не знал, что он снова здесь.

— Здесь. Оказывается, он мамин знакомый еще по эвакуации... Папе показалось, что он неравнодушен к маме...

— Даубарас?

— Именно. Ведь он — ничего... А мама тоже не лыком шита, она и попеть любит, и повеселиться... ну, а папа...

— Твой папа мог бы приискать себе работу, вот что... А не сидеть под маминым крылышком и сочинять всякий бред.

— Ах, если бы это и был только бред... — Соната вздохнула и изящным движением головы откинула волосы назад; она печально улыбнулась, но не сразу, а чуть помедлив после произнесенных ею слов; большие зеленоватые глаза словно утратили привычное для них выражение жизнерадостного любопытства, которое делало столь привлекательным ее круглое личико. — Если бы это, Ауримас, был только бред...

— А разве что-нибудь... серьезное? — Ауримас присел на диван; он еще был во власти впечатлений того собрания — первого собрания, на котором он читал свое сочинение; видимо, оно уже никогда не повторится — то настроение; к сожалению, чувство, которое довелось тогда изведать некоему Ауримасу Глуоснису, было отнюдь не из приятных. И зря он направился сразу после собрания к Сонате; да только больше идти было некуда; хоть и у Сонаты в доме...

— Серьезное? — она поджала губы, явно уязвленная равнодушным отношением Ауримаса к такой сногсшибательной новости. — Вам, мужчинам, подавай сразу мировую войну... А то, что мама с папой вторые сутки не разговаривают, то...

— Уехал... он?

— Ты о Даубарасе? Нет. Сегодня он на пленуме. Хочешь повидаться?

Ауримас покачал головой. Еще чего не хватало —

встречаться с Даубарасом, после того как... Его удивлял тон, который взяла Соната, говоря о Даубарасе; все это выглядело как продолжение вечера в честь начала учебного года; а продолжать его, особенно сегодня, у него не было ни малейшей охоты, тем более ссориться с Сонатой; он предложил:

— Давай куда-нибудь пойдем.

— А куда?

— Выпить.

— У тебя в голове помутилось, Ауримас. Неужели ты не знаешь, что мой будущий муж никогда...

— Ну, тогда потанцевать.

— Вот это замечательно!

— Одевайся. Нечего торчать в комнате. Тем более сегодня.

— Сегодня?

— Сегодня, в воскресенье, семнадцатого сентября...

— Даты ты еще помнишь, — насмешливо глянула она ему в глаза. — А дорожку ко мнé, увы, не всегда. Ну, мы еще когда-нибудь об этом с тобой... потолкуем...

— Сдаюсь без боя. Собирайся.

— А ты... — она, точно как тот сторож, прищелкнула двумя пальцами, намекая на деньги.

Ауримас нахмурился.

— Знакомых, — промямлил он, — слава тебе, господи...

— Знакомых?

— Раздобудем у кого-нибудь пропуск... по-студенчески...

— Раньше тебе присылали приглашения.

— Раньше, говорят, и вода в Паланге мокрее была.

— Скажешь тоже...

Соната лениво спустила ноги с дивана; они были округлые, теплые, под голубым халатом проступали упругие колени. Ауримас с трудом удержался, чтобы не протянуть руку и не погладить их; обычно Соната допускала это.

— Что смотришь? — она победоносно улыбалась.— Нравлюсь?

— Нравишься.

— Разрешается поцеловать. Как следует.

— Как следует?..

— Да... Знаешь, папа говорит, Даубарас с мамой... в номере-люксе... правда, я ни капельки не верю...

— Даубарас?

Ауримас опустил вниз руки, которыми было потянулся к девушке: опять этот Даубарас...

Полагалось бы расспросить, что да как, почему, — ему вовсе не безразлично было все, что происходит в доме у Сонаты, как-никак это была гавань, где Ауримас чувствовал себя почти в безопасности; но, оказывается, и здесь... Нет, сегодня его мало занимало, что скажет ему Соната — как да почему; сегодня он слышал лишь одно — Даубарас, Даубарас, Даубарас, а слышать это ему вовсе не хотелось, и не потому, что о нем говорила Соната (хотя — не слишком ли часто это имя у нее на устах), а потому что сегодня, в воскресенье, семнадцатого сентября, состоялось собрание, на котором обсуждали его новеллу; Ауримасу ничуть не хотелось, чтобы об этом обсуждении узнал его старый знакомец Казис Даубарас; ведь если восстановить в памяти тот вечер...

Он съежился, вспомнив имматрикуляцию: и встречу с Даубарасом после двухлетнего перерыва, и ощущение свинцовой руки у себя на плече; итак, учимся, а дальше что? Дальше — видно будет... Ну, конечно, видно; а все-таки после курсов... надо бы что-нибудь более определенное... инженерное дело или экономику... нынче, братец, все хотят высоко летать, что правда, то правда, и лавров желают — хотя бы и Грикштас; вздумал — в поэты, да... а ты его видишь? нет; журналист бы из тебя вышел; ну, репортер; все хотят высокого полета, а работать изо дня в день... Да, да, конечно, и ему нелегко, этому самому Даубарасу, да что поделаешь — судьба играет им как мячиком, хочется всерьез заняться творчеством, а руки не доходят; раз уж товарищ... э... товарищ так нуждается в его поддержке; наскоками работаешь, ничего, кроме вреда... а создать достойный народа памятник...

Вдруг Ауримас крепко стиснул зубы и до боли сжал кулаки — смеет ли он так думать о Даубарасе; ведь тогда, в войну, тот же Даубарас... Виновато все оно, собрание, весь этот шум и треск; принять, отклонить, отложить; Шапкус и эта интеллектуальная бессмыслица; Вальцель, Джойс, Бергсон, Ницше; отложить; беги отсюда, юноша; бедняжка поэтесса Розмари; может быть, уважаемые, когда-нибудь вы и набьете брюхо, но культура — сей массовый интеллектуальный менталитет — навеки останется для вас tabyla rasa...[1] terra incognita... Sit venia verbo...[2] уважаемые... ибо мало иметь власть, надо еще... и

---

[1] Чистая доска *(лат.)*

[2] С позволения сказать *(лат.)*.

зачем этот Гаучас шел в Россию? Зачем зачем зачем — колотилась кровь в висках; Соната передернула плечами и отвернулась; зачем, в конце концов, он шел сюда, к Сонате — неужели затем, чтобы опять слушать про Даубараса, который, право же, тут ни при чем; хотя тогда они с Шапкусом...

— Ты что, нездоров? — услышал он голос Сонаты и словно вернулся в эту комнату, откуда его увели воспоминания, в комнату, где стоял диван, столик с орехами и Соната, с ее пристальным взглядом зеленоватых глаз. — Тогда нам незачем уходить.

— Нет, мы пойдем, — упорствовал Ауримас. — Пойдем куда-нибудь. Обязательно.

— Поцелуй меня.

Он обнял ее и поцеловал — как это повелось у них последнее время; Соната сияла; она лучезарно улыбалась, бойко откинула назад волосы, скользнула к шкафу, достала оттуда какие-то вещи и, придерживая одной рукой слабо застегнутый халат, убежала в ванную. Вернулась она уже в платье, аккуратно причесанная, смочив духами брови (у нее была такая странная причуда: надушенные брови); теперь это была Соната, которая знала себе цену, Соната, у которой в любом танцзале поклонников — хоть отбавляй; и найдутся среди них такие, у которых в кармане диплом врача или инженера; но она дарит своей дружбой одного лишь Глуосниса, который работал в горкоме, а теперь учится на рабфаке; такого вот взъерошенного, с невзрачным, чуть пасмурным лицом, с вечно расстегнутым воротом сорочки — Ауримаса с Крантялиса; говорят, у него способности, и что-то он пописывает; хорошо бы как-нибудь при случае почитать. Соната знала, что женщина должна интересоваться, чем занимается ее друг, когда он не с ней, — даже в том случае, если в занятиях его она ни бельмеса не смыслит; уроки литературы ей всегда были в тягость, а сочинительство стихов или прочей дребедени представлялось ей чем-то вроде игры, правил которой она не знала да и не очень-то хотела знать; если кто-то в нее играет, значит, есть в этой игре какой-то смысл; конечно, романы про любовь — совсем другое дело. Так размышляла она, спускаясь по лестнице под руку с Ауримасом; размышляла и улыбалась лукавой женской улыбкой — вполне взрослая женщина; Ауримас переступал рядом и безо всяких мыслей переставлял ноги по ступенькам из искусственного мрамора; если что и занимало его в данную минуту, то единственно — пропуск, где его раздобыть?

И опять-таки выручила Соната, — порывшись в ридикюле, она извлекла оттуда мятый червонец, отложенный, может, на "черный" день; Ауримас возмутился.

— Я прошу... — умоляюще произнесла Соната. — Не все ли равно. Могу и я один раз... Почему всегда только ты... мне даже совестно...

— Почему совестно?

— Оба мы студенты.. Ну же!..

Ауримас пожал плечами и ничего не ответил — в конце концов, не все ли равно, кто берет билеты на танцы, они с Сонатой друзья, а у друзей... Он подождал, пока Соната причешется перед большим зеркалом в вестибюле, и, чуть поотстав, как подобает галантному кавалеру, провел ее в зал; навстречу выплыла мелодия английского вальса.

Возвращались поздно ("Ай, — пискнула Соната, — и влетит же нам с тобой!"), и не домой, откуда уходили, а прямиком в гостиницу, где в распоряжении родителей Сонаты имелся (для служебных нужд) целый двухкомнатный номер; в гостиной еще горел свет. Это они заметили с улицы, проходя под окнами; Ауримас нахмурил лоб, как обычно размышляя, как быть дальше; Соната, напротив, выглядела беззаботной и веселой — она знала, что с Ауримасом можно задерживаться сколько угодно, с Ауримасом мама позволяет, потому что Ауримас...

— А, и молодежь уже здесь! — всплеснула руками Лейшене и в то же время откинула назад пышные вьющиеся волосы — совсем так же, как это делала Соната; и оголенные руки, четко обозначившись на черном фоне бархатной безрукавки, как и у Сонаты, были округлыми и женственно сдобными; все в ней так напоминало Сонату — и руки, и лицо, и грудь; Лейшене, разумеется, была крупнее, оттого выглядела и более броско; и ноги ее, изящные, точеные, тоже были покрупнее, чем у дочери; они покоились, удобно вытянутые, в кресле около круглого столика, где валялась целая связка ключей. — Может, нам скажут, где в наше время люди блуждают до полуночи?

— Мы гуляли, — поспешил ответить Ауримас. Он знал, что Сонате меньше попадет, если говорить будет он, а не она; что касается Сонаты, тут мать была твердо убеждена, что та чересчур юна и не знает жизни (а он, Ауримас, стало быть, знает); отец, которого Ауримас заметил только теперь, когда осмотрелся, ежился в широком кресле у двери и угрюмо (или напыщенно, трудно разобрать) смотрел в пол; он был в черном

выходном костюме с платочком в кармашке пиджака; Лейшисы-старшие выглядели так, будто только что вернулись со скучного собрания.

— Гуляли... да ведь дождик... гуляли они...

Лейшис был не слишком речист; создавалось даже впечатление, что разговаривать он поленивается; это относилось, впрочем, и к остальным занятиям; и к мыслительному процессу; Ауримас частенько видел его около портье — Лейшис посиживал на стуле и подозрительно поглядывал сквозь стеклянную гостиничную дверь на снующих взад-вперед постояльцев, — иногда он напоминал уходящим, что надо оставлять ключ; на его лице — розовом, круглом, тщательно выбритом, словно было написано: боюсь шелохнуться, как бы не переутомиться; это подтверждал и взгляд, и скептическая, скорбная улыбка непонятого мудреца.

— Никакого дождика, папа, — оживилась Соната. — Давно кончился.

— Как это — кончился, вон какие мокрые, — Лейшис уставился на нас, и это кое-что да значило; глазки его недобро сверкнули в электрическом свете. — А если воспаление легких схватите или там... плеврит... мало ли...

Ауримасу все это было не в диковинку — и "мало ли", и "плеврит"; он прекрасно знал, что для Лейшиса не было слова страшнее плеврита, поскольку однажды у него кололо в боку и врачи сказали, что вполне возможно — плеврит, сухой или мокрый, — надо обследоваться; жена, однако же, утверждала, что колотье в боку — от долгого лежания в постели по утрам (сама она вставала по-деревенски — с петухами) и от слишком холодного пива; а то и просто от лени или от мнительности, — ведь он считает, что у нее нет других дел, кроме как скалить зубы с молодыми постояльцами гостиницы или с сотрудниками; Ауримас в эти дела не вмешивался; с него и Сонаты было достаточно.

— Мы же не старики... — бойко ответила Соната и кинула на стол сумочку; настроение у нее было хоть куда, и было ясно, что отцовские упреки не омрачат ей жизни. — А это что? — она изумленно воззрилась на коробку конфет рядом со связкой ключей, прямо посередине столика. — Гости, да, мам? Из Вильнюса?

— Соната... — Ауримас пожал плечами.

— А что?

— Перестань! — Лейшене сразу же метнула взгляд на мужа и хлопнула ладонью по столику; ключи подпрыгнули кверху. — Сколько можно!

— Да мало ли...

— На сегодня хватит, — повторила она более спокойно и взглянула на Ауримаса; глаза у нее тоже были зеленые, как и у Сонаты, только чуть позлее и не такие бойкие. — Прекрати. Давайте поужинаем.

Она встала и нажала розовую кнопку около двери; жест этой вытянутой к стене руки снова напомнил Ауримасу Сонату — по-спортивному подтянутую и бодрую, настороженную, как готовая к прыжку лосиха; снедаемый ревностью, измученный плевритом Лейшис, при своем напыщенном выражении лица унтер-офицера сметоновской[1] армии, рядом с ней и впрямь смахивал на пожилого швейцара гостиницы.

— Пожалуйста, товарищ директор! — Словно из-под земли выросла молодая, цветущая буфетчица; ее щеки были румяны, грудь с трудом умещалась в блузке; она, как и Соната, бросила взгляд на шоколадный набор.

— Что у нас сегодня на ужин?

— Карбонады, фасоль, кофе...

— Икра есть?

— Поищем.

— Сардины? Или шпроты?

— Я посмотрю, товарищ директор.

— И, будьте любезны, масло, булочки... Отбивные — тоже, но, пожалуйста, поскорей... Теплые?

— Горячие... ведь мы для правительственного номера, знаете...

— Знаю, знаю. Принеси. И еще... — Лейшене заколебалась. — Нет, не надо. Хватит пива. Слышишь, — она хлопнула мужа ладонью по плечу, — пива дадут. Детям — ни капли.

— Ауримасу можно, — заступилась за друга Соната.

— Ты разрешаешь? — Лейшене ухмыльнулась. — Ну, с твоего разрешения...

— Ах, мамочка, не придирайся, — Соната надула губы. — Я знаю, что говорю: сегодня Ауримасу можно. Сегодня он заслужил.

— На танцах? Мне говорили.

— Быстро тебе докладывают, мамочка.

— А как же — ведь самим вам некогда даже зайти и предупредить!..

— Мы хотели, но... — Соната как бы невзначай покосилась на коробку, лежащую на столике; Лейшене покраснела; это делало ее еще более моложавой.

— Вот как! Когда-нибудь еще мы с тобой об этом...

---

[1] Буржуазной.

— Он был на собрании, мама, — Ауримас. Там его ругали, ты понимаешь!

— Ругали? — Лейшене пожала плечами. — И за что же? Разве он директор гостиницы? Материально ответственное лицо?..— она повернулась к мужу.—Или завскладом?

— Ауримас — писатель, мама. А писательская доля, сама знаешь...

Конечно, Соната говорила с чужих слов — услышала где-нибудь в коридоре, в перерыве между лекциями, а то и на танцах; Ауримас — тот избегал слова "писатель"; непривычно звучало оно в устах Сонаты, и все же Ауримаса оно не покоробило; он даже был благодарен ей за крохи внимания к тому, что сейчас было так важно для него; Соната определенно менялась.

Принесли ужин; все сели; Лейшис, понятно, старался держаться подальше от жены, Соната же теснилась ближе к Ауримасу, вот и получилось, что трое сгрудились на одном краю стола, а хозяйка сидела напротив в одиночестве; пиво, тем не менее, поставили около нее.

— Молодец, Ируся, уважаешь меня,—шутливо заметила хозяйка и переставила бутылки на середину стола.— Ладно уж, давай-ка принеси... знаешь, из фондов...

Цветущей, пышной Ирусе не требовались подробные разъяснения; в мгновение ока была внесена пузатая бутыль шампанского.

— Надо же, по какому случаю? — Лейшис выпучил глаза, явно повеселев. — Может, ради, так сказать...

Он возвел очи к потолку (наверху размещались правительственные номера) и даже ткнул туда пальцем, потом многозначительно поджал губы и с достоинством опустил голову; Лейшене метнула в его сторону грозный взгляд.

— Сперва подумай, чем на хлеб зарабатываешь, Валериан, — произнесла она чересчур назидательно, — а потом и говори. И держи свои чувства при себе... А выпить мы можем хотя бы и потому, что в кои-то веки явился к нам опять Ауримас... С тех пор, как стал студентом (повысили, подумал Ауримас), он вроде бы подзабыл, что есть у него друзья и под этим кровом... Даже когда выдался не совсем простой случай, он и то не выкроил времени заглянуть...

— Я уже поставила ему на вид, — Соната поспешила обратить разговор в шутку. — Зачем же опять...

— Надо же, Леонора... ты все...

— А может, я именно с Ауримасом хотела в тот день чокнуться? Как со свойским парнем... Или мне нельзя? Неужели мне с одним старьем, таким вот, как ты, а, дед?

— Ну, мамочка! — умоляюще протянула Соната. — Очень тебя прошу...

— Проси, проси! Но не думай — мамаша еще покамест не древняя старуха. Ведь мне и сорока нет. Может, и я чего-нибудь да стою...

Она рассмеялась тихим смехом; Ауримас и Соната переглянулись.

— Мама! — повторила Соната. — Ну хотя бы сегодня... здесь...

— Почему же!.. Чужих здесь нет! — Лейшене подняла бокал и широко улыбнулась, повернувшись лицом к Ауримасу. — Ты, Ауримас, особенно не слушай, что она городит... Соната эта... Любить — люби, а слушать — ни к чему это... мужчина не должен быть под башмаком... Давайте лучше выпьем... Могу я себя иногда побаловать...

Они чокнулись, выпили. Соната наморщила носик и, даже не пригубив, поставила бокал на скатерть — ей не нравилось; Лейшис — тот осушил свою порцию залпом — как прохладительный напиток — и тут же до краев наполнил бокал снова; и он, как Лейшене, решил себя сегодня "побаловать"; как знать, вдруг и его жизненный путь не устлан розами.

— Надо же, писатель, — повернулся он к Ауримасу, перед тем покосившись на жену. — А платят-то вам как, аккордно или от...

— Да никак... — Ауримасу не хотелось просвещать Лейшиса. — При чем тут деньги...

— Надо же!.. Неужто все эти люди... святым духом...

— Если и платят, — терпеливо принялся втолковывать Ауримас, — то больше тычками, подзатыльниками... отбивные там, знаете ли, не очень-то пышные...

— Надо же...

— Ауримас, папе это... чуждо... — Соната склонила голову набок.

— Но когда-нибудь да заплатят? — поинтересовалась Лейшене; было видно, что тема эта ее в какой-то степени интересовала. Она уже отпила полбокала и ждала, когда ей подольют еще; Ауримас встал и наполнил ее бокал; она поблагодарила кокетливой улыбкой моложавой тещи. — Заплатят? Такие вещи как-никак надо знать. Мы здесь почти родственники, так что не стесняйся.

— Откровенно говоря... — Ауримас задумался. — Если начистоту, то... я не знаю... Покамест я ничего не знаю... Хочется писать, тянет меня, но... словом, ничего я не могу обещать... вы не подумайте, что я... ну, в общем, не знаю я ничего!

"Чего им надо от меня? — Думал он, поддевая вилкой мелкую, коричнево-золотистую, необычайно вкусную рыбешку, целую коробку таких рыбок к нему только что придвинула Соната; он порядком проголодался. — Пытают, тянут жилы!" То, что они завели разговор о его денежных делах, напомнило ему о посещении Сонатой Крантялиса; с папашей; на разведку?

Он чуть было не прыснул в кулак — до того смехотворным представилось ему это слово — смотрины; это было бы невежливо, тем более что опять подала голос Лейшене.

— Писатели и в войну не сидели без гроша, — уверенно рассуждала она. — Мне тут рассказывали — в армии им сразу звездочки... паек особый... кого на фронт или в партизаны, а писателей... Ну, а насчет одежды или еще там...

Даубарас. Он самый. Ей тут рассказывали... Знаете, уважаемые товарищи, что кому звездочки и паек, а кому и пулю в лоб... И говорят, если кто и протянет до пятидесяти...

Но спорить вслух почему-то не хотелось, да он и не считал себя вправе толковать об этих делах с Лейшисами; к тому же его интересовала совсем другая сторона вопроса. И то, что Даубарас (он, кто же еще) именно так говорил Лейшене о писателях, Ауримаса сильно покоробило; правда, ему было известно, что Даубарас привык иронически высказываться о литераторах, иногда — добродушно-снисходительно: так относится к пациентам врач, больной той же болезнью; к тому же к пациентам такого сорта, которые как бы симулируют свое заболевание; в глаза им не скажешь, ну, а за глаза...

Ладно, хватит об этом, довольно; понятие надо иметь, но, может, не обо всем — как и знание, Ауримас; иной раз бывает лучше, если поменьше знать да понимать, друг мой Ауримас; а вот и они! Они — это отбивные, только что их внесла и водрузила посреди стола Ируся; желудок свело судорогой; Ауримас склонился над тарелкой. Ели и Соната с матерью, правда не так жадно; они аккуратно развернули салфетки и положили их к себе на колени, как и полагалось в большом ресторане, вилкой и ножом орудовали бесшумно; один Лейшис угощался сплошь шампанским, даже не глядя на еду; он уже побывал и в подвале, и в буфете, и на складе, и, покуда Лейшене занималась с приезжими из Вильнюса (то есть с этим окаянным вертихвостом Даубарасом, чтоб ему ни дна ни

покрышки; это было задолго до появления молодежи), он тоже не терял времени даром...

— Надо же, — он потирал руки, прикидывая, можно ли позволить себе еще налить, когда в бутылке — кот наплакал. — Знавал я, значит, одного — Чижаускас фамилия... В Плунге, еще в мирное время... смутьян такой и в газеты писал... насчет цен да самогона... да кто кого дубиной огреет... И надо же, узнали, что все это он списывал у других... в одной газете прочтет, в другую напишет... Завели на него дело, он и прыгнул с насыпи... где электростанция...

— Папа! Ты же раньше рассказывал, будто Чижаускас повесился, — перебила его Соната, которая любила точность — А теперь...

— Утопился! — Лейшис тряхнул головой. — Зачем ему вешаться, детка, веревка денег стоит. Есть нечего было... говорят, последний пиджак продал, ну и... Трудная она, жизнь писательская. Коли уж с насыпи сигать...

Он налил себе пива, шампанское все же оставил жене.

— Ауримас такое не сделает, — уверенно проговорила Соната.

— Скажешь... участь людская...

— Ауримас — не сделает! — Соната взглянула на отца с упреком. — Для чего же тогда вы?

Лейшисы невольно переглянулись — впервые за весь нынешний вечер.

— Мы? — Лейшене медленно поставила на стол бокал с шампанским, который только что наполнила сама. — Мы, Соната?

— Ведь вы нам поможете, правда? Вы обещаете нам помочь? — в глазах у Сонаты вспыхнули зеленые искорки; Ауримас словно окаменел. — Ну, пока Ауримас... пока мы учимся... Ведь и вы не меньше заинтересованы, чтобы ваша дочь была счастлива, и когда у родителей такие возможности, такое положение...

Ого! Вот так Соната! Ауримас густо покраснел и со стуком положил вилку и нож; узнаю! Я узнаю тебя, Соната, и смелая же ты, твоя смелость даже страшит меня; не оттого ли иногда я задумываюсь, какой же ты станешь лет этак через двадцать или больше; хотя достаточно и того, что есть сейчас; эх, если бы...

Если бы сгинуть, раствориться; ничего не скажешь, приперли к стенке... ничего подобного никогда...

Выручила Лейшене.

— Что за рассуждения, доченька, — она изумленно взглянула на Сонату, точно видела ее впервые в жиз-

ни. — Сразу видно, рано тебя выпустили из гимназии. Еще бы — в шестнадцать лет! Лучше расскажи, как твои успехи в учебе. Был коллоквиум по анатомии? Говорят, в этом году в анатомичке...

Ауримас облегченно вздохнул: наконец-то! Наконец-то заговорили о другом! Соната, не слишком довольная этим, что-то невнятно буркнула насчет коллоквиума и зачем-то добавила, что у них на курсе совсем нет красивых молодых людей, а самый симпатичный — руководитель практических работ по патанатомии Швегжда; она болтала про патанатома Швегжду и краем глаза косилась на Ауримаса — как он отнесется к ее рассказу; Ауримас пил кофе. Ему было обидно, что он не пошел домой — раньше, пока не стемнело, теперь ему придется оставаться здесь, у Лейшисов, комкать эту дурацкую салфетку и слушать не менее дурацкие речи; знавал, значит, одного... Шукаускас фамилия... А Глуосниса, часом, не слыхивал, некоего, значит, Глуосниса. Хватит с меня, поняли? и радостей, и печалей — всего на свете; на сегодня хватит, и даже слишком. Он встал и поблагодарил за ужин.

Соната вопросительно посмотрела на мать, этот взгляд для Ауримаса тоже был не новость.

— Пятьдесят восьмой, — сказала Лейшене.

— Тридцать девятый лучше.

— В тридцать девятом управляющий трестом.

— А в четырнадцатом?

— Инспектор из Москвы. Веди в пятьдесят восьмой. Или нет, обожди... в этот, около правительственного... хотя, может, сегодня... Так появляться... Ну, тогда уж...

— Я сама, сама! — засуетилась Соната и схватила со столика ключи. — Там все в порядке?

— Убрано, убрано... постель свежая... ночевала оперная солистка из Вильнюса... Если попахивает самую малость духами "Красный мак", не взыщи, Ауримас...

— Духами? — Соната наморщила нос. — Духами оперной солистки...

— Проветривали целый день, дурочка ты,— свысока улыбнулась Лейшене.— Веди, веди... скоро час ночи...

Соната схватила Ауримаса за руку и едва ли не силком потащила на второй этаж. Она опять повеселела, как всегда, когда они оставались вдвоем, ей нравилось, что она может сама, без чьей-либо помощи, услужить Ауримасу; она тут же распахнула настежь окно, перестелила постель, взбила подушки, на которых красовались новые наволочки; управившись с этим занятием, она протянула руки Ауримасу.

— Спокойной ночи,— сказал Ауримас, в мыслях своих он был далеко.

— И только? — спросила она.

— Что?

— Я думала, мы поговорим... Вот видишь, взяла и сказала маме все... пусть не думает, что от нас так легко избавиться... тем более что она может... есть на что...

— Ах, потом, Соната, — вздохнул Ауримас; он вдруг почувствовал себя безмерно усталым. — Неужели тебе ни до чего больше дела нет, только бы...

— Как — ни до чего, — возразила она и подарила ему лучезарную, манящую улыбку. — Например, меня интересует, кто поцелует меня на ночь.

— Патанатом Швегжда, — ответил Ауримас. — Самый симпатичный у вас. А то и Даубарас...

Соната сняла свои руки с его плеч и потрясенно отпрянула.

— Даубарас! — повторила она. — Ты говоришь — Даубарас? А почему бы и нет... он, между прочим, очень даже ничего...

Она повернулась и ушла, оскорбленная; да еще дверью хлопнула; по коридору прокатилось эхо.

Ауримас немного постоял, выжидая, когда смолкнет эхо, потом зачем-то глянул в зеркало, где чуть наклонно отражалась вся комната — кровать, письменный стол, абажуры, — по-стариковски сдвинул брови и тоже вышел в коридор.

XI

Откровенно говоря, так бывало часто — мы гуляли или допоздна пропадали на танцах, я провожал Сонату домой, она предлагала зайти посидеть, потом я собирался домой, на Крантялис, да так и не уходил, Лейшисы не отпускали: до "поместья" Глуоснисов неблизко, к тому же путь лежит через глинистые косогоры, поросшие кустарниками, через прибрежные луга и пустыри,— да там не только пальто или костюма, там и головы лишиться можно; бывало, и шальной выстрел грянет; ночлег в гостинице был сущим спасением для комсомольского активиста, безоружного, не имеющего пристанища в городе, а уж роскошь просто неслыханная — я бы и мечтать не смел, чтобы гостиничные горничные стелили м н е чистое белье, нет, вы только подумайте! И тем не менее, оставаясь на ночь у Лейшисов, я всегда чувствовал себя так, словно угодил за решетку, в

одиночную камеру, — несмотря на свежее белье, чистоту и уют, письменный стол, ковры, ослепительно белый кафель в ванной, картины на стенах; впечатление это усугублялось и тем, что Соната иногда запирала меня со стороны коридора на ключ — неужели затем, чтобы не сбежал или чтобы меня не похитили? — для нее я, очевидно, был в некотором роде сокровищем; сегодня она не сочла нужным это сделать. То, что она забыла запереть меня или хотя бы оставить ключ, чтобы я мог закрыться изнутри, опять-таки свидетельствовало о том, что бедняжка не на шутку рассердилась; любопытно, что она скажет утром, когда хочешь не хочешь придется сойтись за столом в номере у Лейшисов (а ведь это выглядит весьма по-семейному — эти утренние примирительные встречи и кофе вчетвером); или вдруг завтра этого не будет?

Не будет, не будет, подумал я, мрачно озираясь в пустом, пропахшем паркетной мастикой коридоре; утром меня здесь не будет, прощай, Соната, меня ждет бабушка; домой. Домой, на Крантялис, хоть там и нет мягкой постели, белоснежной наволочки; нет там и туалетной комнаты, выложенной ослепительно белым кафелем; нет ковров; но нет и пытливых взглядов этой бравой троицы по утрам, — будто после очередной ночевки в гостинице я должен подписать некий вексель — возможно, обещать жениться на Сонате; там, у бабушки, нет и администратора, который готов в любой момент услужливо вручить ключи от номера Лейшисов, — разумеется, перед тем понимающе заглянуть в глаза, — нет и портье, подчеркнуто старательно придерживающего дверь, когда я вхожу (еще бы — будущий Лейшихин зять!); до чего все это осточертело!

Я повернул к лестнице.

— Алло, Глуоснис! Стой! — услышал я и похолодел. — Какими судьбами, дружище?

Я оглянулся и увидел Даубараса: с небольшим желтым чемоданчиком он выходил из "правительственного" номера; на его лице я заметил некоторое смущение.

— Я? — пожал я плечами. —С луны свалился. Да через трубу!

— Что ж, если это — государственная тайна... — он поправил на голове шляпу, которая слегка сползала ему на лоб.

— Навещал друзей.

— В гостинице?

— Именно. Разве в гостинице не бывает друзей?

— А-а... — протянул он. — В самом деле, почему бы нет? — он взглянул на меня — по-моему, чересчур уж пристально и лукаво; меня передернуло. — А теперь куда?

— Домой.

— На Крантялис? Автобусы ведь уже не ходят.

— А мы пешочком.

— Не боишься?

— Чего мне бояться? — я пожал плечами. — Всего пугаться — этак и носа на улицу не высунешь...

— Скажите, какой храбрый... Сразу видно — непуганый! — Даубарас бросил взгляд на лестничную площадку — там было окно, а за ним непроглядная, чернильная тьма. — Повезло же тебе сегодня. Я с машиной.

— Вы в Вильнюс? Ночью?

— В срочном порядке. Должен реферировать для товарища... э-э... Заседание...

— Заседание? Какое заседание?

— Да комиссии этой самой, знаешь... — Он толчком открыл дверь; портье издали поклонился нам обоим (я знал: обоим!). — А вот и наша карета... Ну, садись, садись, поближе ко мне. Не так уж часто нам, чиновникам, выпадает счастье с такими, знаешь ли, знаменитостями...

— Что вы, товарищ Даубарас, — я не понимаю...

— Ладно уж, ладно, — Даубарас похлопал меня по плечу и закрыл дверцу: шофер в гимнастерке что-то крикнул водителю ближней машины, забрался на сиденье и включил зажигание; мысленно я помахал рукой Сонате. И пусть, думал я, утреннего объяснения не будет. Это, конечно, невежливо, но так лучше. Ведь мы, слава богу, покамест не женаты. Мамаше привет!

Я мельком глянул на окна номера-люкс, будто впрямь надеялся увидеть там Сонату или самое Лейшене; света в окнах уже не было; темнотой зияли и остальные окна — кругом была ночь; машина катила по темной мокрой аллее.

— Все не веришь? — спросил Даубарас и повернулся всем корпусом ко мне. — Будет подтверждение черным по белому. Следи за прессой.

— Я что-то не понимаю, к чему вы это...

— Премию ты получил, дружище.

— Премию? — я вцепился в подлокотники. — Какую премию? За что?

— Чудак... — он подался еще ближе ко мне. — Ты что, не знаешь, за что дают литературные премии?

Я почувствовал, как кровь прилила к лицу.

— Но я... Есть другие...

— Другие — в другой раз...

— Нет, вы... что вы...

— Я? — Даубарас вынул изо рта сигарету; его зубы блеснули в темноте. — Я? При чем тут я, дружище?

— Потому что вы... старше и опытней... и вообще...

— Ах, вот о чем ты!.. — Даубарас снова зажал губами сигарету, затянулся. — Забавно рассуждаешь! Неужели мне сейчас — на конкурс?.. У меня, Ауримас, и без того работы выше головы, и потом, что сказал бы товарищ... э... товарищ... Ты победил, ты и пляши! Честно говоря, жюри и не думает, что это классика и даже — как сказал бы тот самый доцент — сочиненьице не совсем кондиционное... и все же... несмотря на все пороки молодости... путем тайного голосования... четыре против трех...

Лишь теперь я как будто все понял; как будто все, потому что... да ведь это он обо мне, Даубарас! Он говорит обо мне, об Ауримасе Глуоснисе, которого знает настолько близко, что не станет разыгрывать его таким пошлым образом; эти шуточки иной раз — ого... Вспомнилось собрание, и я до боли стиснул зубы; да ведь вчера вечером они меня там...

— Но конкурс ведь закрытый! — воскликнул я, отбросив всякую надежду.

— Ну, закрытый, ну и что? — миролюбиво отвечал Даубарас. — И что же, если закрытый? Кому не положено знать, тот и не узнает, а нам можно... Словом, если я говорю, то можешь верить... Ведь если мы не поддержим нашу молодежь... наш комсомол...

— Это просто сказка! — воскликнул я, плохо вслушиваясь в то, что говорил Даубарас. — Товарищ Даубарас, вы мне сказки рассказываете!

— О, нет! На сей раз сущая правда, товарищ писатель... — он сделал упор на слово п и с а т е л ь; и я (удивительное дело) не уловил в его голосе никакой иронии. — И логика тут простая: сегодня мы поддержим молодежь, а завтра эта молодежь поддержит нас. Иного пути нет. Если бы ты хорошенько все обдумал...

Он не договорил: шофер резко затормозил; нас сильно качнуло вперед. Чуть было не наскочили на другой автомобиль, который ехал в темноте впереди нас.

— Они? — Даубарас резким движением рванул дверцу; голос дрожал, как натянутая струна, сигарета исчезла в горсти.

— Нет, — ответили из передней машины. — Дорога перекрыта.

— Дорога? Да так можно и на пулю напороться...—

Огонек снова разгорелся. И голос снова был его, Даубараса, только начальственно-раздраженный. — Днем надо было поинтересоваться... перекрыта или не перекрыта... Что же теперь — обратно?

Шофер кивнул и вопросительно посмотрел на Аурималса; тот вышел из машины.

— До свиданья, — негромко произнес он.

— Счастливо... извини, ладно?..

— Что вы! Мне тут близенько! Спасибо, что подвезли.

— Что касается премии, пока держи язык за зубами, слышишь? Пока не опубликуют сообщение, понял? Ты знай, а другие... Незачем понапрасну да раньше времени будоражить любопытных, завистников, всяких... Зависть — зверь свирепый...

— Да что вы, товарищ Даубарас!.. Я все еще как-то не очень...

— Понимаю, понимаю: не говори гоп, пока не перескочишь! А пока — наберись терпения...

— Да я вовсе не...

Машина взревела и развернулась, обдав Аурималса грязью; он отскочил в сторону.

— В добрый час.

Кажется, лил дождь, кажется, выл ветер; жесткие ветки кустарника стегали по лицу, под ногами хлюпали лужи, фонтаном взметалась жидкая грязь; о н и, кто они — бились слова на ветру; о н и; но Аурималс не об этом думал — его занимало лишь то, что он услышал от Даубараса, эта прекрасная, упоительная сказка, которую ему поведал некто Казис Даубарас — представитель центра Даубарас — и которая, конечно, исчезнет, как только кончится ночь, уляжется ветер, прекратится дождь; развеется, растает, как многое до сих пор; но которая сейчас поднимала его над разбухшей глиной и лужами, над черными кустарниками и ночью, над этим словом о н и; поднимала и несла на мощных крыльях радости — вдаль; в безбрежную даль, куда не заглядывал еще никто из рода Глуоснисов, — на север и на юг — по всему белу свету — вот бы и мне с тобой — —

— Мама! — он остановился. — Мамочка! — крикнул. — Мы трогаемся в путь! Едем! Уже едем! Ма-а-ма-а!

Эхо метнулось и пропало, подхваченное ветром, эхо окутанного тьмою голоса; впиталось в ночь, дождь и глину; а хотелось орать, вопить — нагнать эхо, нагнать и вернуть обратно; и радостно было ощущать себя смелым и способным вопить среди ночи; а этот, значит, Чижаускас...

Ауримас громко захохотал и что было сил — пусть слышат соседи — стал молотить в запертую на все засовы дверь "именья" Глуоснисов.

XII

Потом дни были как сон: ясный, светлый, расшитый белыми цветами, — подумать только: он — п р е м и ю; комиссия уже решила, а Даубарас это знает, вот и говорит, но ему, Ауримасу, покамест лучше держать язык за зубами; жуть берет, когда думаешь, это я, Ауримас, п о л у ч у п р е м и ю — ведь столько было пишущих в одном только Каунасе, а уж на всю Литву-голубушку... Но Даубарас прямо так и сказал — сам Даубарас, представитель, а он как-никак сидит по правую руку товарища... э... товарища и оттого возложил на государственный алтарь свой литературный дар (с каким он шиком резал пополам листы, вспомнил Ауримас, да с каким блеском читал написанное на этих продолговатых, испещренных черными чернилами полосках на литературном вечере в гимназии!), — а ведь у него, да будет вам известно, не только литературный дар; и раз уж Даубарас говорит... Что-то он сказал, что-то еще — он явно что-то говорил, но Ауримас и не силился припомнить, что именно; сон продолжался, это светлое, все в белых цветах поле, по которому он гулял — точно реял на крыльях — такой-сякой Глуоснис, — и изумленно сам себе улыбался; даже нелепо было все знать и чувствовать, что другие ни в коей мере не подозревают того, что з н а е т он, Ауримас, и что скоро станет известно всем — когда появится сообщение в газете; Даубарас, друг любезный, не соврет. Ауримас вспомнил, как там, в России, в лесном бараке, у него стащили военный билет и хлебные карточки и как три недели его трепала лихорадка — скорее всего от голода; потом явился Даубарас — представитель Даубарас (посещение литовских бригад в лесах) — и увидел, как Ауримас истощен; "братец, ты ли это?"; недолго думая порылся в своем московском чемодане, вынул оттуда и подал Ауримасу целую банку топленого масла и балык, завернутый в фольгу, — целое богатство; и новую полосатую сорочку (та, что была на Ауримасе, расползалась в клочья), где все пуговицы были на месте; Ауримас чуть не разрыдался. И сейчас, в полном одиночестве, он едва не плакал в безмолвной своей радости, от которой его так и распирало, от тайны, известной ему одному, тайны, в которую он не мог

посвятить никого, даже Гарункштиса, не говоря уже о Сонате и Лейшисах, не смел и не хотел; о бабушке не могло быть и речи. Все равно не поймет, только зудеть станет еще пуще, а то и заподозрит, что он приврал, лишь бы отвертеться от домашней повинности, бремя которой месяцами влачит она одна; думаете, она не знает, что молодежь нынче только и знает что издеваться над старым человеком... Вот и она, раздумывал Ауримас, понятия не имеет о том, что ему дадут премию и он принесет эти пять тысяч... Подумать только — пять тысяч, хотя Ауримасу до них вроде бы и дела нет, — невероятно, но так; он принесет денежки и выложит старушенции на стол — покупай, матушка, поросенка, перестань меня пилить, перебьемся и без карточек, ты понимаешь, я смогу учиться, кончать по два класса в год, а дальше... Дальше видно будет, — кажется, он так и сказал Даубарасу; вдруг и правда не боги горшки обжигают и даже такой-сякой Глуоснис...

Тут Ауримас вспомнил собрание и приуныл, но ненадолго — ну его! Пусть и они узнают — эти отклонить и отложить, Вальцель, Пруст, Джойс, Ремарк; знавал, значит, одного, Чижаускас фамилия... Ну, Лейшис, тот обалдеет, когда узнает о премии, эта новость прямо-таки смоет с его лица покровительственную отечески-снисходительную улыбочку — таким он всегда выходит навстречу Ауримасу; как же, стал бы я ночевать в гостинице, если бы не километраж до Крантялиса, да если бы не...

Нет, он ни разу не нарвался, ему никогда не приставляли дуло к виску, хотя другим... Кому что, а ему, например, — письма, где какие-то "волки" грозят расплатой, если он со своей писаниной, ну... Что за "писанина", где? Всего один-единственный раз выступил на собрании и читал, да и то потом разорвал на мелкие кусочки свое детище; неужели достаточно и одного раза? Выходит, да, достаточно, если зашевелились, настаивают. "Кто себя самое и свое перо отдаст оккупанту... нация не простит..." Черта с два! Это Гаучас, что ли, — оккупант? Солдаты в сугробах Орловщины? Или девушки и парни освобожденного города, вместе с которыми он восстанавливал мост, туннель, водопровод — все, что взорвали гитлеровцы? И охранял покой города. Шел дождь, валил снег, трещали морозы, а они по ночам прочесывали затхлые улочки Старого города, ежась в плохоньких пальтишках, в руках у кого палка, у кого и автомат; стой, кто идет — стрелять буду!

Стреляли те, другие, и письма слали они же; убитых накрывали кумачом и по Аллее Свободы провожали на кладбище; вечная слава героям... Или, может, оккупанты они — крестьяне, которым дали землю, или, скажем, рабочие, чьи заскорузлые руки кладут на стройке кирпич к кирпичу? Черта с два!

Что ж, Ауримас, размышлял он, внимательно изучая черную бумажную штору на окне, которую он обычно опускал вечером; стало быть, не зря старались, недаром... Если завыла волчья стая, едва почуяв этого самого Глуосниса — писателя Глуосниса, — воображаю, как они зарычат, когда узнают о премии... Это "Солдат", а ведь у него есть еще; не пропадать же целыми вечерами у Сонаты! У человека в жизни, представьте вы себе, есть цель и повыше, несмотря на то, что один, значит, Чижаускас... Э, нет, еще рано — рано предлагать другие, ведь рассылать по газетам — искушать судьбу, которая вот-вот... не спугнуть бы! Пресса, друг мой Ауримас, это не конкурс, это ценность покрепче, там нужен солидный опыт, нужно имя, да к тому же еще и связи... да, разлюбезный друг Глуоснис, — связи — это уж Мике почувствовал на собственной шкуре: если бы не добрые знакомые — никаких бы тебе переводов или корректур... и, понятное дело, никаких заработков...

— А Даубарас? — вдруг пожал плечами Мике, когда Ауримас поделился с ним своими сомнениями. — На что тогда товарищ из центра Даубарас? Мораль читать?

На том разговор и кончился. Можно было, конечно, послать какой-нибудь рассказ Даубарасу и попросить, чтобы тот передал в редакцию — он сам; Даубараса там знают; но Ауримас не захотел; он и с закрытыми глазами видит гладкое, чисто выбритое лицо Даубараса в момент, когда тот вскрывает конверт с письмом Глуосниса; ясно, ясно, пописываем... А как насчет черной, будничной работы... Нет, только не Даубарасу, — хотя тот и снял с себя рубашку, и совсем, заметьте, новую, хотя он и знает Ауримаса куда лучше, чем кто-либо; книга должна быть памятником народу... Ишь ты! Это относится не к нему, не к Глуоснису, а ведь и он жаждет совершить что-нибудь прекрасное, чтобы всем нравилось; памятник народу, очевидно, воздвигнут другие — те, которые... А он, Ауримас, будет сочинять рассказы — короткие истории, грустные и веселые, подслушанные в коридоре или в поезде, а может, и пережитые им самим; он станет писать то, что знает и что сумеет; будет писать днем и ночью, дома и

на курсах; и, вполне возможно, — у Сонаты, запершись на ключ в гостиничном номере; он будет писать и будет читать на собраниях, как бы ни выли голодные волки, и будет посылать в газеты, хоть никто и не просит; писать, читать, посылать — ведь теперь у него такая работа, и этого нипочем не понять ни Сонате, ни тем более Лейшисам... да и бабушке...

— Эко... масло вышло, — ворчала она, капая из бутылки на сковородку, где в мутной водице плавало несколько чешуек мелко настриженной картошки. — А без масла. Ауримас...

Бутылку она долго держала опрокинутой над сковородкой, гораздо дольше обычного, да еще сжимала горлышко пальцами, чтобы выдавить остатки из матовой, словно обмазанной мылом стекляшки; Ауримас избегал встретиться с ней взглядом.

Он еще больше помрачнел, и хотя бабушка ничего после этого не произнесла, Ауримас чуял, как в грезу опять вторгается действительность — просачивается сквозь все окна и двери; как-никак есть надо каждый день. И разговаривать с бабушкой — пусть даже о чем-то постороннем, и видеть, как все пуще хмурится ее озабоченное лицо, как тускнеют, угасают глаза; не свести концов с концами. И виноват он, двадцатилетний байбак, который сел на шею старой бабке; писатель; на премию, видите ли, нацелился... То ли будет, то ли нет, хоть Даубарас и обещал; после дождичка в четверг... А если Даубарас просто пошутил, думалось ему теперь, и невозможно было смотреть в глаза ни бабушке, ни Гарункштису, ни Гаучасу, который наведывался к Глуоснисам, как в былые времена, о чем-то шептался с бабушкой, оба с тревогой глядели на него, точно на больного, которому уже не помочь; да чем тут поможешь, мил человек, если Даубарас просто пошутил, а он, дурак, поверил его шуткам, поверил этой байке для взрослых; этой прилипчивой, обволакивающей, дурманящей сказке.

И все равно Ауримас верил этим словам Даубараса — где-то глубоко, в самом потаенном уголке сердца; верил в этот слепящий пестроцветный сон, просто сил не было отказаться от него — Солдату нужны сны, писателю — мечты, потому что... Трудно сказать, что случилось бы, если бы не во что стало верить, — не стало бы снов, даже самые бодрые слова Мике (у него, кажется, опять был выплатной день) немногое могли изменить. Позабыв все на свете, Ауримас чуть ли не бегом мчался в читальный зал и листал газеты —

вдруг? Ничего там не было; впрочем, как же — Черчилль, ООН, кулацкий саботаж; о конкурсе же — ни слова, хотя все сроки давно вышли; была и внушительная, на всю страницу статья об искусстве...

— А, дружище рабфак! — услышал он и увидел его — хлыща в бакенбардах; Ауримас обмер — до того знакомым показался этот голос; студент отрастил пепельного цвета вислые усы, которые еще больше старили его. И весь он был сгорбленный, понурый. — Светлое грядущее нации!

Поутру, около одиннадцати, полупустой читальный зал был словно заполнен сумраком и мягкой сыростью, которую источали увешанные глиняными испарителями радиаторы; голос, как почудилось Аурамасу, внес ветер и стужу.

— Стало быть — культуру в быт? Вырабатываем самосознание?

Без лишних церемоний студент плюхнулся на стул рядом.

— Читаю, — Ауримас нехотя оторвался от газеты; статья была интересная, хотя речь в ней шла о том, что происходило далеко от Каунаса и очень уж высоко, там, где воздвигаются памятники. — А чем плохо?

Он поднес ближе к лицу газету, закрепленную на светло-желтой планке; он даже отодвинулся, нимало не интересуясь ответом; не взыщите, но тратить на вас время...

— Почему же... — обладатель бакенбард пожал плечами и оглянулся, точно кого-то высматривая. — Очень даже хорошо. Усердие поощрялось во все времена.

— Вот и займись, почитай.

— Мне-то зачем? Я агиток не пишу.

— Агиток?

— А ты как думал?.. Литературой эту вашу белиберду не назовешь.

Вот как! Ауримас взглянул на него: ну, конечно, тот самый: лицо точно обструганное, нос острый, пухлые губы. Бакенбарды смыкаются с вислыми усами. Очень мило, мальчик, — зевнет он. Тогда мы еще кое-что увидим. Зуб. Тот, золотой...

А покамест...

— Ты-то... кто будешь? — спросил Ауримас.

— Не все ли равно тебе.

— По-моему, я тебя видел при писателях.

— Это тоже не столь важно.

— Я вот к чему: сам-то ты что написал — уж больно скор всех хаять.

— Во всяком случае, не агитки, будь спокоен.

— Тогда письма небось?

Выскочило неожиданно — Ауримас ужаснулся; письма — почему письма?

— Письма? — Обладатель бакенбард сверкнул глазами, холодными, как и его голос. — С чего ты взял?

— Тебе это подходит.

— Что именно?

— Письма строчить.

— Какие письма? — переспросили бакенбарды; голос дрожал — Заговариваешься, мой мальчик...

"Что ж, мальчик..."

— Струсил?

— Я? Чего мне трусить?

— Выходит, есть чего — ишь напугался... Глаза выпучил. А я, между прочим, не привык спорить с утра...

И отвернулся, давая понять, что бакенбарды его больше не интересуют. И усы тоже. И тон, которым все говорилось. Еще чего! Это тебе не торжество с новичками, милейший, — будь это собрание сегодня, я послал бы такого распорядителя ко всем чертям; вошли во вкус! Нынче все равны; и если ты, усач, будешь цепляться... Поверх газеты он глянул на студента, который продолжал сидеть на прежнем месте и, медленно постукивая пальцами по столу, холодными глазами смотрел на стену перед собой; взгляд Аурамаса словно пробудил его ото сна.

— А хочешь? — спросил он, медленно поворачиваясь, уже без этого своего постукивания пальцами по столу. — Хочешь стать человеком?

— Человеком?

— Знаю, хочешь.

Он придвинул свой стул ближе; Ауримас положил на стол газету — опахало из желтой рукояти, со статьей, которая его интересовала; другие опахала повисли на полке близ двери; там ютился тощий, как гвоздь, библиотекарь — издалека блестели пуговицы его кителя; на студента с Ауримасом он не обращал внимания.

— Знаешь?

— Ты им не нужен.

Так и есть: он... Совершенно точно. Письма писал он, усатый, в бакенбардах; это его короткие фразы-обрубки...

— Нация не простит.

— Постой, кому это я не нужен?

— Большевикам. Даубарасу. Даубарасу и Грикштасу. И, понятное дело, Гарункштису этому.

— Гарункштису?

— Вот именно, закадычному другу Гарункштису. Тому самому, кто на небезызвестном углу Аллеи Свободы...

— Каком еще углу?

— Где окошечки все в решеточках, вот на каком углу Не понятно? Там, куда вы хотите весь наш на род...

— Гарункштис?

— Нация вам не простит.

"Нация вам..."

— И учти, мы так не с каждым...

— Вы?

— Мы.

— Кто это — мы?

— Не дошло еще? Неужели?

— Дошло.

— Тогда не спрашивай. Не старайся знать слишком много. Это вредно.

— И вы со всеми — так?.. — Ауримас закусил губу. — Именно вы? Со всей Литвой?

— С такими, как ты, мальчик, разговор может быть один и только один.

Мальчик, сплошь да рядом — мальчик. Мой милый мальчик... Шапкус! Черт подери, настоящий Шапкус!

Ауримас медленно оглядел собеседника.

— Чего уставился? — спросил тот и поднялся; сверкнул золотой коронкой. — Покупать собрался?

— Мне такого и даром не надо, — ответил Ауримас и тоже встал. Сдавило горло. — На дороге найду — не подберу.

— Ох, мальчик!.. Сказал бы я... ох, сказал бы кое-что... ты бы, как собачка... сейчас же...

— Говори!

— Нет уж, не тебе... и не здесь...

— Да кому хочешь! А ну-ка!..

— Я думал, ты человек мыслящий... литовец... а ты...

— А я?

— Такой же большевик, как и все остальные...

— И горжусь этим.

— Гордишься? Тем, что ты — как остальные? Как все...

— Ага!

— Тем, что ты — как Гарункштис? Или — как Даубарас? Казис Даубарас?

— Ну и что же?

— А то, что это тебе не по зубам, мой мальчик... Даубарас — в нем что-то есть... не отнимешь... а ты — рабфаковец с Крантялиса... и больше ничего... Светлое грядущее нации...

— Замолчи! Слышишь? Заткнись, а то...

Кто-то закричал, да так громко, что Ауримас съежился и обомлел — от ярости, которая ударила в голову горячей волной; он оглянулся — кто это заорал и заскрипел зубами — так заскрипел, будто вывихнул челюсть? Что-то надо было делать, что? Он снова оглянулся, увидел студента с бакенбардами — тот пятился к двери, увидел подшивку газет на соседнем столике; в глазах потемнело...

— Вот скоты! Ну разве не скоты?! — Он расслышал гулкий стук и одновременно — голос и сразу заметил библиотекаря: тот стоял рядом и гневно смотрел на него; это был все тот же сухопарый старичок в кителе с блестящими пуговицами, в черных сатиновых нарукавниках. — Милицию из-за вас вызывать, да? Скоты...

— Милицию? — Ауримас смотрел на газетную подшивку, которая, разметав свои страницы, словно мертвая птица с распластанными крыльями, валялась у двери; почему-то валялась она у двери; рядом испуганно жалась горстка студенток. — Какую милицию? Зачем?

— Порядок навести, вот зачем!.. Чтоб у нас из читального зала пьяных... сколько работаю, ни разу таких мерзавцев...

— Не надо, — пробормотал Ауримас, сообразив наконец, в чем дело; его сжигал стыд — не потому, что швыряться подшивками неприлично, а потому, что он не понял раньше... как он не понял ничего раньше — ведь письмо, которое он получил вчера... этот голубой, мятый конверт... можно не сомневаться...

А того уже не было, хлыща с бакенбардами, ни в гардеробе, ни в коридоре, ни на главной лестнице, под которой, как в стародавние времена, играли в пинг-понг: цок-цок-цок; "Эй, парень, сыграем!" — чуть было не крикнул Ауримас, но вовремя удержался; мальчуган протянул шарик другому, более рослому, кивнул: "Твоя подача!" — и с поднятой красной ракеткой отступил назад к стене, где, небрежно кинутый и позабытый, валялся желтый школьный портфель; Глуоснис двинулся дальше — —

— Говоришь, бакенбарды, — насупился Мике Гарункштис, когда они встретились. — И, говоришь, подбородок крутой... по-твоему, один в поле сер воробей... Из-за этого, братец мой, шебаршиться... Другое дело — секция... Я вчера целый бой принял...

— Бой? Где?

— В правлении.

— Что за бой?

— Самый что ни на есть. И все-таки приняли...

— Приняли?.. Кого?..

— Балда! Тебя, вот кого. Ты принят в секцию, старик. В секцию молодых писателей...

— Принят?.. А как же... тогда...

— Стоит помнить всякое! — Мике усмехнулся. — Когда ел, а когда отрыжка!.. То, старик, было тогда, а теперь — это теперь. По-твоему, я, Гарункштис, потерплю, чтобы нашего настоящего друга... комсомольца... Словом, с тебя пол-литра! Не сейчас, так от премии...

— От премии? От какой премии? И ты туда же!

— Ну, не суетись, — Гарункштис похлопал его по плечу — по-отечески, почти как Даубарас, с нескрываемым превосходством. — Не прикидывайся Иванушкой-дурачком. Гарункштис знает все. Ты и понятия не имеешь, сколько я всего знаю...

Он повернулся (сапоги сверкнули зеркально) и побежал на лестницу, по которой, расцветая улыбкой спускалась Марго. Ауримас поспешил к выходу.

Он брел по пасмурной улице, утопающей в промозглом, сыром тумане; он размахивал обшарпанным портфельчиком гимназических времен (бабушка отыскала на чердаке) и думал, куда бы сегодня податься после курсов — на Крантялис или все-таки к Сонате; не прельщал его обед за столом с салфетками у Лейшисов, не привлекал и столь знакомый, смиренный, безнадежный, как сама старость, жест бабушкиных рук, которым она выразительней, чем словами, опять ответит на его немой вопрос: что на обед; потом она присядет в углу кухни на низенькую скамеечку (нахохлится на ней по-куриному), будет смотреть на него и растирать, знай растирать ладонями свои источенные ревматизмом колени; он думал, хмурился и проклинал свой желудок, где словно рокотали и завывали органные трубы; шел, помахивая портфелем, клял свой желудок и опять волей-неволей помышлял о премии, которая теперь — о, ангельская простота! — вовсе не представлялась ему такой незаслуженной и далекой...

XIII

— Глуоснис! Кто здесь Глуоснис? В прокуратуру!

Голос разнесся по длинному коридору, забивая остальные звуки, — мощный голос инспектора по кадрам: слово "В прокуратуру" он выговаривал подчеркнуто четко, раскатывая "р"; вызывающе благообразный облик инспектора показывал, что повторять свои слова дважды он не намерен; это был пожилой человек, немало повидавший на своем веку, а уж студентов он принял и выпустил видимо-невидимо. Повестка в прокуратуру ничего приятного не сулила, это было ясно кому угодно; принесли ее на большой перемене, как раз когда все готовились к контрольной по алгебре; Ауримаса в аудитории не было, и листок начал гулять по рукам, пока его не разглядел весь курс; было чему дивиться. Глуоснис? Ауримас? Литератор, что ли? Да ведь он на курсы пришел прямо из горкома комсомола, а там, говорят, он всех направо и налево учил высокой морали; разве у таких бывают какие-нибудь дела с прокуратурой? Выходит, да, бывают, если им носят такие бумажки, если... Тут вошел Ауримас, и разговоры прекратились; ему подали повестку; некоторые курсанты потупились, словно сами в чем-то провинились, а староста группы, который в недалеком прошлом батрачил на кулака, медленно покачал головой — как усталая коняга, которую ничем не удивишь; у девушек глаза зажглись любопытством: дрогнет ли у Глуосниса рука, принявшая повестку, не отразится ли волнение у него на лице, — женщины всегда женщины; Ауримаса — в прокуратуру? А так славно танцует; неужели заберут? Забавно, что он натворил? Ничего себе, такое не каждый день увидишь; слыхал, старик, Глуосниса, этого сочинителя, — в прокуратуру?..

Ауримас взял повестку безмятежно, как бы шутя; первое, что он подумал: пошутить решили однокашники; как, что? Прокуратура? Нашли время шутки шутить — перед контрольной по алгебре, не могли придумать что-нибудь позанятнее... Он еще раз взглянул на листок, поднес его ближе к глазам — и вдруг почувствовал, как заливается краской: он узнал этот росчерк и печать тоже; понял, что краснеет, и отвел глаза, посмотрел в окно, будто там искал слова, которые полагалось произнести в данную минуту; ребята и девушки сбились в кучку, ждали; на курсе вроде бы секретов... не водилось — какие уж тут секреты; но не было и слов для такой минуты; Глуоснис стоял и

смотрел в окно, лихорадочно прикидывая, для чего это он вдруг понадобился т а м; товарищи ждали, он молчал. Он все еще не знал, что им сказать, и молчал, словно в самом деле за ним водились какие-то грешки; а еще говорят: кто прав, тот не боится... Он, конечно, не боится, это, уверяю вас, не то слово — бояться; но как знать, в состоянии ли кто-нибудь спокойно держать в руках такую бумажку — с подписью и печатью; бок о бок с храбрым, видимо, всегда маячит трус — топчется, подстерегает и ждет своего часа. Дождался! Чего им еще от меня надо? И не столько их, курсантов-однокашников, побаивался я в этот миг, сколько себя самого — прежнего Ауримаса; что ж, достукался, злорадствовал он, выглядывая оттуда, где блуждали мои растерянные глаза, — из скверика у Военного музея; дождался, тебя приглашают на свиданьице; рандеву! Желаем удачи! Счастливо и не дрейфь! Да не трясись ты! — словно подбадривали белые стены музея, как нарочно озаренные солнцем; только не трясись — пожелтелые уже клены; ну, счастливо и не дрейфь — памятник Даукантасу в скверике, эта бронзовая совесть Литвы; счастливо, счастливо — пламенеет здание женской гимназии на горе — о, эти обагренные осенним солнцем окна, — недавно мы с Сонатой опять там танцевали; город рычал и содрогался, точно огромный зверь в дымчатой шкуре, дома дрожали, гудел рой студентов-филологов — их было не так уж много, все уместились на одном этаже; Витас? Где Витас? — выкрикнули там, хлопала дверь, громыхали парты, точно по ним катила телега, визжали девчонки; где Витас? Тут! К декану! Витаса — к декану, меня — к прокурору; счастливенько... Я все видел и слышал (по-моему, все), но ничего не мог сказать им, моим товарищам, — то ли слов не находил, то ли утратил дар речи, онемел — такое случалось; торчал как пень и косился на окна, как настоящий преступник; а тот Ауримас из скверика глумливо строил мне рожи; теперь он восседал на чугунной пушке у центрального входа и, понятное дело, потешался вовсю; я зажал повестку в руке, резко повернулся и с улыбочкой, хоть и не знал, кому она и зачем, направился к лестнице; сокурсники, ни слова не проронив, расступились, чтобы дать мне пройти.

Потом час на длинной, дощатой, с вытертым до блеска сиденьем скамье в коридоре светло-бурого цвета; час глухого мучительного молчания; повестку он подал одутловатой, неряшливо размалеванной се-

кретарше, которая печатала указательным пальцем на разболтанной, дребезжащей, облупленной машинке; шаткий столик на трех ножках, казалось, вот-вот рассыплется от ударов секретарского пальца; не утруждая себя глубокими наблюдениями, можно было понять, что учреждение существует на государственную дотацию и не намерено ошеломлять посетителя роскошью своего убранства. И это в свою очередь внушало почтение к двум солдатским шеренгам комнат по обе стороны сумрачного и сырого коридора, — уж им-то, вне всякого сомнения, полностью чужды алчность или мелкая суета простых смертных; кесарево — кесарю...

Он вспомнил, что не спросил, зачем его вызвали, и опять открыл дверь в комнату, где помещалась размалеванная девица; секретарша перестала печатать и, застыв с поднятым над клавиатурой перстом, повернула к Ауримасу свое аляповато накрашенное лицо; помимо всего, она была еще и злюка.

— Все теперь ни при чем, гражданин, — осадила она его, хотя Ауримас спрашивал вовсе не об этом. — А правду знает только товарищ Раудис. Ожидайте там, — она показала глазами на коридор; Ауримас вернулся на скамью.

Только сейчас он обратил внимание, какой это был длинный коридор и как низко над головой нависал потолок, — это был рукав, в котором, с опущенными головами, заложив руки за спину, бесшумно, словно тени, маячили люди; а вдруг это были тени тех, оставшихся на улице; длинный, низкий коридор, проплесневевший, как старый картофельный мешок; топили здесь, по всей вероятности, тоже параграфами да пунктами кодексов; его уже познабливало; сама обстановка тут способна кого угодно придавить к земле, обнажить его жалкость; а тут еще эти двери... Все до единой без табличек, помечены только номерами, отворяются беззвучно, как в сновидении; Ауримасу даже подумалось: уж не снится ли ему все? Смутное это чувство не покидало его, пока он шел по коридору до самого темного, глубокого угла, где он и остался; к сожалению, это была явь, и он сам, как никогда трезво, отдавал себе в этом отчет; уши помимо его желания ловили каждый звук.

— Говорят тебе: записывай, — расслышал он и увидел, как мимо прошли две официантки с Крантялиса; Ауримас поспешил отвернуться. — Все надо записывать: когда пил, где да с кем... все в тетрадку... сколько когда спиртного заказывал...

— А бес его знает сколько... Приходит тогда.. здрасте...

— Ладно — потом!

— И целоваться лез... облизывался, как кот на...

— Потом, потом...

Женщины прошли мимо, даже не глянув на него, — уф, пронесло; зато пристал коренастый, упитанный здоровяк в кепке; подошел, прищурился и слегка поизучал Ауримаса, потом пристроился рядом.

— С мясокомбината, ага? — доверительно зашептал он. — По колбасному?

— Что, что? — встрепенулся Ауримас. — Что вы, дяденька...

— Тихо, тихо... не пой... мне-то что... все тут по колбасному... — он кивнул на остальных, бесшумно скользящих по коридору. — Самое громкое дело в Каунасе... Как, по-твоему, выкрутится Длинный? Ну, Будя...

— Будя? Почем я знаю... при чем тут я...

— А я — при чем? — засуетился крепыш. — Я ведь тоже — ни при чем... Отсюда еще вырвешься... а уж оттуда... амба! Раз уж сама Москва зацепила... слишком жирно хапал голубчик, да все себе одному...

Ауримас собрался что-то сказать в ответ, но дверь распахнулась — на этот раз с жалобным скрипом, — появилось грубо размалеванное лицо секретарши.

— Глуоснис! Ауримас Глуоснис — есть?

Ауримас встал со скамьи.

— Тс! — вскочил и здоровяк; вцепился ему в локоть. — Как рыба, понял? Нем как рыба! Как водица! Ясно? Расколешься — Длинный попомнит... Будя друзей не оставит... велел передать!

Ауримас выдернул руку из потных ладоней человека в кепке и бросился в приемную; секретарша не глядя махнула рукой на ближнюю дверь, которая была услужливо распахнута, — тоже бурая, но обитая дерматином; в глубине, за большим бурым столом, сидел в коричневом кителе Раудис и, загораживая ладонью трубку, разговаривал по телефону; Ауримаса он словно не заметил.

— Садитесь! Садитесь! — Он положил трубку, вытер тыльной стороной ладони лоб и закивал, было похоже, что телефонный разговор оказался не из приятных. — Чего стоите? — он кивнул на стул напротив. — Фамилия? Имя? Год рождения? Место? Не работы, а рождения... Партийность? Беспартийный? Комсомолец! Судимости есть? Нет судимостей? Родственники за границей?.. Последнее место работы...

Он спрашивал таким голосом, словно никогда в жизни в глаза не видывал этого самого Ауримаса Глуосниса и даже имени такого не слыхал; взгляда он его не удостоил, все его внимание было сосредоточено на листке бумаги, куда он заносил данные: имя, фамилия, к судебной ответственности не привлекался — будто в жизни не было ничего более важного; если бы я его не знал... Но я знал его, и это было хуже всего; я узнал его, и конечно же он меня тоже, хотя и не подает виду; ведь мы уже встречались — правда, не в Каунасе; неужели он забыл; нет, он не мог забыть; он — председатель избирательного участка, там, недалеко от Любавараса, в лесах, председатель товарищ Раудис; тогда он как будто не интересовался ни моим батюшкой, ни дедушкой, ни тем более остальными, вовсе почтенными предками; называл меня "товарищ уполномоченный" (я был направлен от горкома партии, что удостоверялось особым письмом) и принял с распростертыми объятиями, как желанного брата, — участок был трудный; потом он отвел меня в соседнюю комнатушку, достал из кармана солдатскую флягу и налил спирту — целых полстакана; я выпил — и сам не понимаю, как не сомлел; даже не захмелел — удивительно; мороз жарил — тридцать ниже нуля, топили скверно; вокруг заливались собаки, выл ветер; трещали не то жерди в заборах, не то выстрелы; порой в сумраке мимо окна проплывал отряд вооруженных людей...

Нет, было непохоже, чтобы товарищ Раудис собирался удариться в воспоминания о былых февральских днях; выборы закончились, и товарищ уполномоченный (как значилось в командировочном удостоверении) положительно оценил работу председателя избирательного участка; правда, Раудис тогда не был прокурором, а был всего-навсего рядовым следователем; кадры растут быстро. Вырастал и перечень сведений о неком Ауримасе Глуоснисе; сосредоточенно щурясь, едва ли не до половины окуная в чернильницу толстую коричневую ручку, воссоздавал сейчас этот список прокурор; он вполголоса задавал вопросы, я отвечал — тоже негромко, словно боялся развеять туманную завесу, которая — я уже видел — выросла между нами; прокурор исписал одну страницу и потянулся за следующей, чего-чего, а бумаги тут хватало.

— Гражданин Глуоснис, — произнес он, когда с анкетой было покончено, — теперь будьте любезны ответить на мои вопросы. Отвечайте четко, прямо и полностью. Умолчание не в счет. Или да, или нет. Да — нет.

Обстоятельства уточните в том случае, если я попрошу. Понятно?

— Слушаю...

— Я спрашиваю, понятно ли вам?

— Как будто...

— Значит, да, — он что-то пометил на листке бумаги. — Вы студент?

— Учусь на курсах.

— Да или нет?

— Как вам сказать... Вообще вроде бы студент... но, с другой стороны...

— Это мне ничего не говорит. Отвечайте прямо, четко и полностью. Да или нет? Итак...

— Да.

— Или, может быть, нет?

— Студент... курсант...

— Та-ак, — Раудис не спеша записал; перо скрипело. — А до университета... до курсов этих... работали в горкоме комсомола?

— Да.

— Уволены?

— Нет.

— Сами ушли? По собственному желанию?

— Да.

— Хорошо. — Раудис поднял голову и наконец — наконец-то! — окинул меня взглядом; наши глаза встретились, где-то близ этой призрачной завесы, — потрясенные мои и бесстрастные его. — Хорошо, — повторил он. — Хорошо.

— А если бы уволили? — полюбопытствовал я. — Тогда — плохо?

— Это не в нашей компетенции, — он уже не смотрел на меня. — Потрудитесь отвечать на вопросы: да или нет, да или нет. И все. А решать будем мы, уважаемый... Итак, уважаемый Ауримас Глуоснис, вы обвиняетесь в том, что...

— Обвиняюсь?

— Не перебивайте... Обвиняетесь в том, что, будучи работником аппарата горкома комсомола, злоупотребили своим служебным положением, а именно: выдали справку Жебрене Иоанне Бонифациевне, год рождения тысяча восемьсот...

— Жебрене? Какой Жебрене? Вы же знаете, товарищ Раудис...

— Опять! Не перебивайте! Вы в прокуратуре, уважаемый. — Раудис постучал карандашом по столу; это постукивание вышло гораздо громче, чем мог ожидать

Ауримас, возможно, даже сам Раудис; прокурор шмыгнул носом и снова склонился над бумагами. — Скажите, почему вы ей выдали справку?

— Не знаю...

— Не знаете?

— Не знаю, что за справка...

— Справка Жебрене... итак?

Он опять стукнул — теперь потише; Ауримас наморщил лоб. Какая-нибудь ошибка, что-то здесь напутано, что-то приплетено, что-то, возможно, приврано, а что-то, очень может быть, и верно; он мучительно, напряженно думал и никак не мог сообразить, в чем тут дело.

— Жебрене? — он пожал плечами. — Не помню я такой комсомолки... тысяча восемьсот... какого-то года рождения...

— Шутить будем потом, уважаемый, — остановил его Раудис; его голос был сухим и бесцветным, как и глаза, на что Ауримас, откровенно говоря, не сразу обратил внимание; такого небось не просто вывести из себя. — Когда уйдем из этого кабинета. А сейчас — да или нет... да или нет...

— Но я так и не знаю, чего от меня хотят!

— Сейчас узнаете. Справка, выданная вами некой Жебрене...

— Хоть покажите мне ее!

— Справку? — Раудис нахмурился. — Можно. Хотя заранее предупреждаю, что это не входит в полномочия госпрокуратуры...

— Что — не входит?

— Демонстрация вещественных доказательств обвиняемому. Я вам называю факт, а вы его либо подтверждаете либо отрицаете... Либо отрицаете... — повторил он. — Итак...

Ауримас взял лист, который ему подал Раудис; рука дрожала; Ауримас мысленно выругал себя и украдкой глянул на прокурора — тот едва заметно улыбнулся; а что, если и голос выдаст?.. Голос тоже дрожит, понятное дело, хоть Ауримас и старается держаться независимо и не мямлить; но румянец — вот проклятье! — как всегда, разлился по лицу, будто Ауримас и впрямь в чем-то замешан; а он все еще не понимает, чего добивается от него этот человек; справка? Жебрене? Какой такой Жебрене? На комсомольской работе, слава богу... справок этих, бумажек... не одну и не две... и если дело только в этом...

— Подпись ваша? — услышал он и очнулся.

— Кажется, моя... хотя...

— Ваша или не ваша?

— Моя.

— Ее сын комсомолец? Этой самой Жебрене?

— Тут написано. Он погиб.

— Вы в этом уверены?

— Это факт. Когда мы разбирали дела комсомольцев сорокового года... тех, кто погиб в гестаповских застенках, мы...

— Вы наверняка знаете, что Жебрис погиб?

— Своими глазами не видел, я ведь был далеко, но... Мы вовсе не просто принимаем такие решения... гражданин прокурор. — Ауримас тоже взял казенный, официальный тон, если Раудису этого хотелось... — Все подкреплено документами.

— Документами?

— Да. Совершенно точно. У нас были показания двух комсомольцев, которые по чистой случайности, по счастливой случайности...

— Итак, он погиб, этот Жебрис? — прокурор опять язвительно улыбнулся. — Да или нет? Да или нет?.. У вас есть доказательства?

— Здесь — нет, но я думаю... в архивах горкома...

— Да или нет? Погиб?

— Насколько я помню это дело...

— Отвечайте прямо, четко и полностью.

— Ладно. Комсомолец Жебрис погиб в тот день, когда...

Тут Раудис не утерпел и раздраженно замахал длинным синим карандашом, точно отгоняя прочь эти слова; Ауримас замолчал и впился в него глазами.

— Комсомолец Жебрис... — протянул Раудис страдальческим голосом, как будто у него что-то болело, может быть, живот, который он прижимал к краю стола, а то и зуб. — Нет такого комсомольца, вот что. Нет и, кажется, не было. Был приспособленец Жебрис, вступивший в комсомол накануне войны, исключительно ради стипендии и в целях маскировки... Но давайте ближе к делу. Насколько я понял, вам известно, что бывший комсомолец, впоследствии государственный преступник Жебрис...

— Что он сделал?

— Не перебивайте... Сейчас узнаете... А пока будьте любезны как можно более четко отвечать на вопросы... это очень важно... Значит, вы, гражданин Глуоснис, уверены, что Повилас Жебрис погиб в гестаповском застенке? Уверены? Я лично — позволю себе высказать

свое презренное мнение — считаю, что это не так, а следовательно, берусь утверждать, что Жебрис жив. Таким образом, один из нас говорит неправду. Иными словами, лжет. Как по-вашему, кто именно?

— По моему, это вы.

— Я?

— Да. Я так считаю, потому... потому что...

— Потому что? — прокурор придвинулся ближе.

И тут Ауримас осекся на полуслове — такое бывало с ним когда-то давно; запнулся и стал заикаться, точно поперхнулся; как и тогда, в детстве; они били, колотили, лупили — там, за туннелем; они — Васька, Юзька и Яська — трое хулиганов из Верхних Шанцчяй; троица героев; потом пинали ногами — черными коваными сапогами; за что; все за то же, за красивые глаза, балда; поддай дай дай; кровь хлынула носом, из ушей — жаркая алая кровь; тошнило; на снегу валялись вытряхнутые из порфеля книги — алгебра, геометрия, основы обществоведения; все еще молчит; поддай дай дай; руки сами соскользнули с лица и упали в снег; как тряпки, ненужные, отбитые по плечи руки; дай; взлаяла собака; хватит, ребята, хватит, молодцы, околеет еще; и пусть; хватит; собака лизала руки, лицо, уши — взъерошенная, рыжая псина; лизала и смотрела на луну, которая выплыла из-за Панемунского бора, — красота; луна повисла на кромке леса, точно на зубьях пилы, — красота; снег с серебряным отливом, как на рождественской открытке, — красота, да и только; ослепительно прекрасно было кругом и ничуть не холодно, хоть и деревенели ноги, а язык не ворочался во рту — словно полено, хоть...

— Вы так думаете?

— Да, — ответил Ауримас, поражаясь собственному голосу; так же было и тогда, в детстве, когда он объявился дома; собака исчезла — добрейшая рыжая псина, луна все еще светила; бабушка отворила дверь...

— Определенно?

"Что ты делаешь? — кровь прилила к лицу, как это было с ним и тогда, там, за туннелем. — Как ты можешь... Забыл, где находишься? С кем разговариваешь? Зачем сюда пришел? Дурак, дурак, дурак..."

Он съежился, словно в ожидании удара; поддай дай дай, казалось, вот-вот услышит; он будто лишился языка — как в тот раз, когда вернулся оттуда, с горы; но удар не последовал; он напряг все свое внимание и искоса взглянул на Раудиса; тот прищурился и закусил губу.

Крепится, мелькнуло у Ауримаса, я бы не мог... если бы мне такое ляпнули...

— Вы сказали, — услышал он голос и вытаращил глаза; удара все не было; и никакой луны; через окно, помещенное высоко под потолком и монастырски узкое, внутрь скользнул бледный луч — холодная, запоздалая осенняя улыбка. — Вы сказали, что я, государственный прокурор... если не ослышался...

И тут Ауримас вспомнил. Отчетливо вспомнил седую, всклокоченную старуху с трясущейся головой, чем-то — видимо, просто своей старостью — она напоминала его бабушку; было уже после шести, его ждала Соната — около "Трех богатырей"; он, понятно, опаздывал и торопился уложить в шкаф папки с делами — завтра бюро; торопился и проглядел, когда же она вошла, эта женщина, — ветхая, как и его бабка; возникла незаметно, словно призрак, даже не скрипнув дверью, вплыла, точно дымка, и, прежде чем Ауримас успел оглянуться и пройти на середину комнаты, бухнулась на колени и — как страшно — обхватила его цепкими руками за ноги; это было до того неожиданно, словно сюда, на третий этаж, хлынула через окна вода — просто так, ни с того ни с сего, или стряслось нечто еще более ужасное; он отскочил как ужаленный... Но старуха гналась за ним, валилась на колени и что-то бормотала: сын, сын, стреляли, стреляли, сын, голод, смерть; она бормотала и сухими, как деревяшки, коленями стукала об пол — бум бум бум; сын — бум, голод — бум, помру — бум; вдруг его рука ощутила холодную жесткость... Он остолбенел от ужаса и отвращения — старуха целовала ему руку — ужас, ужас! — он шарахнулся; старуха споткнулась о ковер и упала, приплюснув лицо к полу. Ауримас кинулся поднимать ее, она не давалась, упиралась изо всех сил, потом схватила его за руку и снова — ужас, ужас! — потянула ее к своим сухим, шелестящим губам; Ауримас растерялся. Раздумывать было некогда, старуха ни на миг не отпускала его, ползала на коленях и все норовила лобызнуть его в руку, едва только он пытался взять ее за плечи и как-то поднять на ноги; из всей бестолковой старухиной болтовни он в конце концов разобрал, что ее сын, комсомолец, погиб и она осталась без куска хлеба; глядя на ее иссохшие, жилистые руки, горячечные побелевшие глаза, разметавшиеся по плечам грязно-седые космы, слыша стук деревяшек-коленей о пол, можно было поверить, что так оно и есть; эта женщина могла быть помешанной... А если

так, то помешательством своим ей нетрудно было заразить и других — этой неистребимой назойливостью; надо было что-то делать. Избавиться от этой старухи, пока он не ударил ее, пока не унизил свое мужское достоинство и свою совесть; спасайся, Ауримас! Ему удалось высвободить руку и подбежать к двери; секретарши уже не было; он сел за машинку и как умел отстукал эту справку, которую сейчас показывал ему Раудис, — справку о том, что ее, Жебрене, сын Повилас действительно был комсомольцем и погиб от руки гитлеровских палачей; старуха ждала на пороге, окаменевшая, словно гипсовая статуя, лишь блуждали ее глаза да клацали зубы; старуха внушала одновременно жалость и страх — трудно определить, что больше; Ауримас торопился... Когда он дописал справку, старуха как будто совсем успокоилась — по крайней мере, так показалось Ауримасу, — но едва он скрипнул стулом, вставая из-за стола, она опять сгребла его за руку, да так сильно, что едва не упала на него; ударило кислым, затхлым и еще чем-то, от чего спирало дыхание; Ауримас закашлялся, закрыл лицо ладонями и бегом вбежал в кабинет, а когда опомнился, сообразил, что не зарегистрировал справку (он и сейчас обратил внимание, что на справке есть дата, а номера нет), но старухи уже не было, адрес ее, разумеется... Не знал он адреса, не успел спросить, он вспомнил, что живет Жебрене где-то на периферии и что ей грозит голодная смерть, — вполне возможно, что так оно и было; справка ей в какой-то мере... В Москву, в Москву за хлебом дуй! Туда, где твой ублюдок! — всплыл в памяти бабушкин рассказ, — когда она при немцах пошла за хлебом в пекарню; пекарь Райла теперь завбазой и, говорят, профсоюзными делами заворачивает, товарищ господин пекарь Райла; может, и бабушка так же тянула к нему руки... тогда... Нет, это совсем не то — мать комсомольца тогда и вдруг сейчас все это... день и ночь; и старуху эту, видимо, такой сделала война... фашисты... ведь сын погиб...

Но до самого вечера, и на следующий день, и после все мучил какой-то гнусный осадок, словно он совершил что-то непоправимое, а возможно, и глупое; предчувствие? Может, и так, хотя Ауримасу тогда ничего подобного и в голову не пришло; даже с закрытыми глазами он видел эту женщину, ощущал этот закисший, безнадежный старческий запах, от нее разило, как от заплесневелого картофельного погреба, как от гроба, сбитого из отсыревших досок; это была жизнь и в то же

время умирание; и если бы он не помог этой старушке...

Знает ли он, этот человек, прокурор? Понимает ли? Куда там! Листает дело, постукивает карандашом — ручку положил, писать-то нечего, к тому же — "что написано пером...". Справка как справка, как сотни других, ей подобных, выданных в ту пору, — людям надо было жить; доказывать, что они живут; и те, мертвые, должны были засвидетельствовать свое местонахождение; неужели Раудис этого не знает? Ему да не знать! Но он знает и правило: ничего не принимай на веру; не верь никому — ни брату, ни сестре, ни отцу, ни матери родной — такие нынче времена; верь только самому себе, а если и себе не веришь... Она ползала на коленях, эта старуха, на коленях, как перед епископом, и хватала его за руки — ужас, ужас; эта женщина годилась ему в матери, в бабки — настолько она была ветха, тщедушна, старушка с перекошенным лицом, содрогающаяся от рыданий; пальцы Ауримаса еще горели от ее слез, которые сползали по дряблым щекам; он и сам едва не расплакался; было в этом что-то необычное, не такое, как всегда. Жебрис, Жебрис, Жебрис — сверлило в памяти сейчас, год или полтора спустя; что-то он выискивал в запутанной картотеке мозга, что-то тоже непростое, не всегдашнее; он ничего там не выискал — сплошная неразбериха, непонятный сизый хаос; фамилия как фамилия, дело как дело — с отзывами и свидетельскими показаниями, с постановлением бюро, подписями и печатью...

Потом это забылось, как забывается многое, старуха больше не появлялась, жизнь шла своим чередом, хотя долго еще Ауримас, стоило ему завидеть у себя в кабинете пожилого человека, безотчетно прятал руки за спину; потом он ушел с этой работы — не из-за случая со старухой, вовсе нет — он поступил на курсы, он будет учиться и писать, писать, писать... Ведь Даубарас ему сказал...

Но это уже совсем иное, оно мешает сосредоточиться; Раудис молча листал дело, словно отыскивал там конец нити, за который можно ухватиться и извлечь на свет божий нечто необыкновенное; на лбу залегли две глубокие складки — две параллельные линии, которым никогда не сойтись; так текли их мысли. Ауримас как будто тоже листал его — Свое д е л о, — листал до звона в разгоряченной голове, пытаясь не пропустить ни страницы; но, в отличие от Раудиса, он видел там не улики, а сплошное оправдание; вдруг ему пришло в голову, что Раудис, вполне возможно, поступил бы точ-

но так же на его месте; прокурор тоже человек, так что полегче, уважаемый...

И правда, Ауримас почувствовал себя гораздо увереннее; теперь, по крайней мере, он знал, зачем его вызвали, он услышал, в чем его подозревают; по пункту такому-то статьи такой-то Уголовного кодекса гражданин Глуоснис...

...— Я слушаю...

— Вам предъявляется обвинение в том, что, злоупотребляя своим служебным положением...

— Я не виноват! И вы, товарищ Раудис, это понимаете не хуже меня. Неужели вы думаете...

— Не виноват? В наше время все не виноваты, уважаемый. — Раудис отодвинул дело и устремил на меня взгляд бесцветных, ничего приятного не сулящих глаз; да еще лоб нахмурил — эти две складки; тут вам не избирательный участок, уважаемый, казалось, говорили они, тут не тридцать градусов по Цельсию, нет и того одиночества, не видно вооруженных отрядов по опушкам, нет товарищей; это — прокуратура, уважаемый...— А как там на самом деле, скажет только прокурор... Итак, вы утверждаете, что этот человек...

— Комсомолец Повилас Жебрис...

— Нет такого комсомольца, гражданин Глуоснис! — прокурор взмахнул рукой. — Зарубите себе на носу: нет. Нет и не будет, никогда.

— Потому что он погиб... Гестаповцы...

— Перестаньте! — Раудис поднялся и как-то свысока глянул на меня; взглядом тяжелым, как чугунный брус. — Помолчите для собственного же блага, вот что я вам советую!

Он наклонился над столом, выдвинул ящик и вынул оттуда еще какой-то листок; справку, выданную мною год или полтора назад, он прямо-таки вырвал у меня из рук.

— Полюбуйтесь! — он придвинул ко мне листок; это была фотография. — Узнаете? Нет? Полагалось бы узнать, уважаемый. Поскольку, по нашим сведениям, не далее как в минувший вторник вы встречались с этим субъектом... в студенческой читальне...

Теперь уже я отчаянно схватил фотографию. Он! Прищурившись, с наглой ухмылкой на меня глядел тот самый студент в бакенбардах, с которым я разговаривал, хоть и не знал его фамилии; правда, здесь он был без бакенбард, без усов, шевелюра весьма артистично зачесана набок — этакий Дон Валентино; я потрясенно взглянул на Раудиса.

— Но это же...

— Это Повилас Жебрис, — прокурор опустил фотографию на стол, чуть откинулся и сложил руки на животе; он как будто был вполне доволен впечатлением, которое на меня произвела фотография. — И если вы полагаете, что встречаетесь с покойником, то смею заметить, вы сильно заблуждаетесь. Можно изменить и фамилию, уважаемый, и имя, и даже внешность, но нрав... натуру... Этот тип нас всех переживет, а пенсия, которую выхлопотала его маменька...

— Пенсия?

— А как же! — Раудис кивнул. — Вы же выдали справку...

— Но...— тут я догадался, зачем меня вызвали. — Если...

— Говорите, — кивнул Раудис.

— Их вели на расстрел...

— Ну и что же?

— Всех девятерых...

— Дальше, дальше...

— Двоим удалось бежать... тем, кто потом давал показания. По ним стреляли, но им удалось скрыться... чудо... или кусты помогли... Потом эти двое...

— А он, этот...— Радиус показал глазами на фотографию. — Жебрис... не бежал?

— Нет, не бежал. В то утро они были расстреляны. Все семеро. Были оглашены имена...

— Оглашены? Какая прелесть!

— Что тут "прелестного"?..

— Вы так это говорите: "оглашены"...

— Не понимаю, — я пожал плечами; возмущала эта издевка в голосе Раудиса, да что поделаешь. — Люди читали объявления, там были названы семь фамилий расстрелянных... Кстати, одно такое объявление приложено к делу, и, когда выносилось решение...

— Приложено к делу? — Раудис улыбнулся уголками губ. — Документ, так сказать? Ну, а как по-вашему, не могло случиться (в подробности вдаваться не станем), что каратели казнили только шестерых... что одного оставили... до поры до времени... а потом, за определенные заслуги...

— Освободили?

— Именно... С тем, чтобы изловил тех, двоих...

— Но они ничего такого не показали... наоборот, они утверждали, что в тюрьме Повилас Жебрис держался достойно, был хорошим товарищем, и, говорят, он даже передачи...

— Покажут! — перебил Раудис. — Уж они-то покажут, эти двое. Когда надо будет... Когда опять увидят Жебриса...

— Но это же... это...

— То-то и оно, что э т о, гражданин. Это — статья, пункт "г". Означенная Жебрене, прямо скажем, не только получала пенсию за якобы погибшего сына, но и... Исходя из данного документа, можно заключить, что один Жебрис погиб, зато появился другой, который... Но в данный момент нас интересуют только пенсионные делишки, иными словами — финансы, гражданин Глуоснис, а финансы по нашим временам, как вам должно быть неплохо известно...

Он стал мне объяснять, что значит каждый рубль для страны, чья экономика жестоко подорвана войной, и все это была истина; ораторствовать он умел — это я заметил еще тогда, в командировке, как-никак целую неделю мы трудились вместе; он толковал, опершись локтями о стол, а на столе лежало дело; м о е д е л о; и я безотчетно кивал в такт его словам; у него был крутой подбородок, как у истинного оратора, и я мог видеть, как ходит вверх-вниз кадык под выбритой досиня кожей его шеи; забавно ерзал этот кадык, ничуть не по-прокурорски; потом Раудис снова взглянул на меня — невразумительный взгляд бесцветных глаз, и спросил, да как же это я, комсомолец, боец дивизии, ответработник, выдал справку этой Жебрене ("На каком основании, уважаемый?"); а может, это правда, будто... гм... А? Нет? Он не берется утверждать, обвинения всегда требуют доказательств, фактов, но, может быть, Глуоснис и сам кое-что припомнит... Взятку? С ума сойти — взятку! Мне, Аурримасу Глуоснису, — взятку! Могла предложить? Это страшнее всего, что мог надумать Раудис, — уже за одно это можно было возненавидеть его; я даже вскочил со стула, на котором просидел все то время, пока он разглагольствовал, я возмущенно замахал руками; Раудис подался назад, но успел-таки ткнуть карандашом в фотографию Жебриса.

Ч т о ж, м о й м а л ь ч и к, доигрался? — казалось, слышал я. — В ы с л у ж и л с я? — и внезапно я осознал всю обреченность своего положения. Надо было что-то говорить, немедленно, сейчас же, — как-то опровергнуть страшное подозрение, задушить его в зародыше, пока оно не пустило корни; затоптать эту ложь. Но говорить становилось все трудней; слова застревали в гортани, душили; поддай дай дай — по-

драгивало в подсознании, точно отдаленный — подлинный или воображаемый — гром; з а ч т о; з а т о с а м о е; з а к р а с и в ы е г л а з а, б а л д а... Это его, прежнего Ауримаса, тщедушного паренька с окраины, окоченевшего от стужи, тузили они — Васька, Юзька да Яська; мальчонку, который затравленно, из прошлого глянул на меня; теперь его били з а т о с а м о е, з а к р а с и в ы е г л а з а, то есть ни за что — но зато гораздо больней; а может, за то, что хотел помочь старушке, помочь человеку; помочь!

Кое-как я взял себя в руки и как умел стал рассказывать Раудису о приходе старой Жебрене — как бухалась на колени, на паркетный пол, посреди комнаты, про слезы, как цеплялась за руки (о том, что она изловчилась и облобызала мою руку, я рассказал, зажмурившись, сгорая от стыда); Раудис записывал; он опять сидел за столом, чуть наискосок от меня, как-то на три четверти оборота, и, сжимая свою каштановую ручку, быстро строчил по бумаге; к сожалению, я не мог разобрать, что он записывал, но писал он сосредоточенно, не перебивая меня, плотно сжав губы, посапывая; порой он, правда, встряхивал головой, точно отгонял муху, иногда что-то бурчал себе под нос, гм, гм, — расслышал бы я, если бы прислушался; но я не слушал, а говорил сам, говорил словно заведенный, будто в страхе, что опять начну заикаться или, чего доброго, вовсе лишусь языка; з а ч т о; з а т о с а м о е; з а к р а с и в ы е г л а з а — вертелась пластинка; я говорил, вскакивая со стула, и даже сам кинулся на колени, чтобы показать, как это делала она, старуха, и как я от нее пятился, но, упав на паркет, я больно ушибся и словно очнулся — что же это я, зачем, перед кем? До меня вдруг дошло, с кем я объясняюсь! — дошло вдруг, и я замолчал; на лбу выступила испарина; я вытер лоб рукавом.

— Вода там, — произнес Раудис, ткнув ручкой в угол. — Налейте себе, если хотите.

Я опустил глаза. Знобило от стыда — как раньше от недостатка воздуха; я физически явственно чувствовал краску у себя на лице, она сжигала кожу, и я опять задрожал, униженный собственным бессилием; з а ч т о; з а т о с а м о е; то самое? Если бы он знал, этот человек, вдруг мелькнуло в мыслях, если бы он знал, как в эвакуации... Да этот Глуоснис спасал чуть ли не всю горкомовскую кассу: двенадцать тысяч казенных и три рубля своих; доводилось ли вам пробовать конину? Не было случая? А у меня вот, пред-

ставьте себе, был — хотя я больше люблю смотреть на лошадей; хлеб кончился, деньги вышли — трешка на шестерых парней из Каунаса, сами понимаете... Набрели на палую лошадь...

Хлебца бы, проговорил кто-то, как же это — мясо и без хлеба, — произнес так громко, что Ауримас и сейчас слышит эти слова, — хлебца бы; у кого еще есть деньги? Ни у кого; Ауримас молчал, как воды в рот набрал, а голова раскалывалась от сознания своей тайны; пачка, завернутая в носовой платок, палила грудь, как докрасна раскаленные электроды, присосавшиеся к серой коже; он отвернулся, чтобы никто не видел его глаз, и молчал, изо всех сил сдерживая слезы; знали бы они... Конечно, они бы отняли деньги — конечно, отняли — тогда или потом; потом был настоящий голод, и они три недели блуждали по лесам, чтобы добраться до линии фронта, а фронт продвигался вперед, за деньги их могли бы подвезти, могли дать что-нибудь из обуви; оборванный, босой, с разбитыми подошвами, с голодными отеками на лице, он добрался до волжских лесов, где тоже никто не выходил навстречу с хлебом-солью — война... за стопку банкнот, правда, кое-что можно было бы раздобыть. Но главное — он пробрался туда, где нет немцев, — да, самое главное, потому что деньги — двенадцать тысяч — он отнес в райком; веснушчатая девушка, сидя за обшарпанным столом (весь в чернильных пятнах и кляксах старый письменный стол), вытаращила на Ауримаса глаза, как на пришельца с иной планеты. "Но ведь война... — наконец протянула она. — Вы комсомолец, это правда, но все-таки... Вы могли умереть с голода, и никто бы не узнал, какой вы честный..." Позже он спохватился, что не взял у девушки никакой расписки, но это его ничуть не удручало: он передал, главное сделано. Пронес через линию фронта, через голодуху, через смерть — и отдал, вручил, хотя никто и не посылал его, никто не велел и никто даже не подозревал, что деньги эти несет он; хотя впоследствии его высмеивали как дурачка, — чудаки, ведь главное — быть честным, а все прочее...

Все прочее, наверное, тоже важно — особенно когда начинают не доверять тебе; когда могут заподозрить невесть в чем... Взятка! И как у него язык повернулся сказать такое! Вот он — сидит и пишет, будто меня здесь вовсе нет; вода, видите ли, там, можете напиться! Предлагай свою воду этим, с мясокомбината, подумал в сердцах; а мне... ведь ты не хуже моего знаешь, что я тут ни при чем, стечение обстоятельств, вот и все... да,

конечно, справку надо было занести в реестр, не спорю, но все остальное... Я же объяснил: попал в дурацкое положение; любопытно, что было бы, если бы вдруг к нему, Раудису... Раудису? И ему — руки? Я чуть не захохотал, хотя ничего смешного в этом не было; он не понял моего рассказа, ни капельки не понял, подумал я, а ведь если бы он понял...

— А что, если, — выкрикнул я неестественно звонким голосом, — если он вовсе не Жебрис?

— Кто — он? — Раудис устало глянул на меня и положил ручку.

— Этот тип... с бакенбардами...

— А фото? — Раудис кивком показал на стол.

— Фото — легче легкого... Кто угодно...

— Легче легкого? Чудес не бывает, уважаемый. С кем угодно, да будет вам известно...

— Но ведь такое могло произойти! Что Жебрис и этот студент — не одно и то же лицо... разные люди... Ведь я этого Жебриса прежде и в глаза не видел!

— Какое это имеет значение? — Раудис провел ладонью по столу. — Вы не видели, а другие видели. Сравнили. Опознали. Вам известно такое слово — опознавание? Известно?

— Мне известно, что я не виновен! Ничуточки. И его мамаша...

— Она умерла... Дело, правда, начато, но то, что финансирование этой бабуси прекратилось...

— Умерла?

Но тогда... с ума сойти, тогда... Вся эта история...

— Это чепуха! Чепуха! — выкрикнул я и, не находя, что еще сказать, понурил голову; Раудис опять провел ладонью по столу.

— Вы полагаете?.. И все же предоставьте решать нам, ладно? Прокурор скажет. А пока... — он глянул на меня бесцветными глазами. — Пока нам, пожалуй, лучше расстаться: есть и другие дела. Кстати, вы не собираетесь никуда отлучиться? За город... к родным в деревню или...

— Нет.

— Так и договоримся. Ведь в противном случае мне пришлось бы... согласно соответствующей статье...

— Товарищ прокурор! — я вскочил. — Но ведь это... вы прямо как с настоящим... каким-нибудь вроде этих — по колбасному...

— По колбасному? — Раудис сощурил глаза и смерил меня оценивающим взглядом. — Нет, нет. Это совсем другое... Совсем, совсем другое...

— Но вы... вы только что сказали...

— А-а... — он вздохнул и покачал головой; по-моему, он тоже устал. — Что мне еще остается делать? Тут правых нет, учтите, в этом доме. И тем более — в этой комнате. Все запятнаны — кто больше, кто меньше... Зарубите себе на носу... И когда придете ко мне в следующий раз... я бы хотел, чтобы вы...

— В следующий раз? Неужели...

— Короче говоря, я вам советую, — Раудис поднялся из-за стола и приблизился ко мне; в бесцветных глазах мелькнула едва заметная тень. — От жизни, уважаемый, надо не только требовать, ей надо и давать. Давать и давать. В этом все дело... вот что. А уж если брать, то хотя бы знать, что берешь. И откуда. Всегда надо знать, откуда что берешь, не забывайте это!

— Что за намеки...

— А вам не понятно? Поменьше наведывайтесь к Лейшисам, ясно? По крайней мере, пока не закрыли ваше дело... Это я вам исключительно по дружбе, в память о тех выборах... там вы показали себя с наилучшей стороны, и было бы обидно, если бы это дело...

Помнит! Я зажмурился, словно ярким светом резануло по глазам; он вспомнил — и в такой момент, когда мне, пожалуй, меньше всего этого хотелось; поистине прокуратура знает все. При чем тут Лейшисы? Соната? Зачем он это сказал?

— Дело? — повторил я это слово. — Вы говорите...

— Как же может быть иначе? — изумился Раудис. — Посудите сами: поступают сигналы — заводится дело... Как же еще, гражданин? Если уж мы за что-нибудь беремся, то беремся обеими руками. Обеими, да-да.

Он и впрямь сжал кулаки, весь подобрался, подошел совсем вплотную к Ауримасу, открыл дверь; Глуоснис бросился прочь.

Секретарша, надув свои неряшливо накрашенные щеки, по-прежнему сидела с поднятым пальцем над стертыми крупными клавишами; можно было подумать, что она ни разу не опустила палец на машинку; на Ауримаса она и не глянула. Зато он испытал желание что-то сказать ей; теперь ему хотелось разговаривать, даже спорить, орать — теперь, когда его выпроводили — —

— Обеими руками! Обеими! — воскликнул он. — Так-то оно лучше будет. Раз уж беретесь за что-нибудь...

Секретарша раскрыла рот, округлила огромные глаза и с несказанным удивлением воззрилась на Ауримаса, словно то был редкостный экспонат, удравший из

музея; шуточки... в прокуратуре... И дверь положено за собой закрывать, вы слышите — у нас принято, выходя, закрывать дверь — и говорить "до свидания" прокурору и мне — Раудис возник на пороге — сутулый и сухой, как статья, этакий знак "параграфа" в кителе бурого цвета — появись тут еще разочек, мой друг, увидим, как ты тогда — —

Но обрушить свое возмущение было уже не на кого, поскольку недотепистого паренька и след простыл, — Ауримас быстрым шагом шел по аллее, по самой ее середине, дивясь тому, насколько здесь светло и людно; и все эти люди, подумать только, все до единого свободны, счастливы, совесть их не гложет; к прокурору их сегодня, надо полагать, не потянут... А завтра... Ауримас снова ощутил, как холодной струйкой прополз по спине пот. Он встрепенулся и прибавил шагу...

XIV

Потом я снова увидал прокурора — на этот раз во сне; но еще раньше — Старика, — ухватив мальчика за полы курточки, он тряс его изо всей силы, пытаясь дознаться, куда тот упрятал перо синей птицы; мальчик молчал; Старик исходил лютостью; их взгляды скрещивались, как копья, с ненавистью и силой; глазами они оба так и сверлили друг друга, будто именно глаза были способны испепелить противника, обратить в прах; это были, пожалуй, самые непримиримые враги на побережье, где они сейчас стояли, — оба упрямые, как два козла, как два разъяренных быка, уткнувшиеся друг в друга рогами; а возможно, и на всей земле... — отвратительный Старик и замухрышка-мальчик; а я, незваный свидетель, метался между ними, едва ли не касаясь их одеждой, проплывал, точно облако, — не дыша, беззвучно, прозрачный и невесомый, словно сам воздух, — но все слышал и видел; потом появился прокурор. Я опять увидал прокурора и чуть не заорал сквозь сон; сдержался, чтобы не спугнуть мальчика, который как будто уже заприметил меня, так как издали заморгал большими голубыми глазами; прокурор надвинулся на меня. Не Раудис, нет, совсем другой; это был другой прокурор, вовсе незнакомый и невиданный, но с такими же зелеными погонами, крупный, плечистый, с суковатой палкой в руке; он прошествовал мимо меня (вот удача!) и занес свою палку над Стариком и мальчиком; Старик съежился

и выпустил мальчика, потом что-то крикнул прокурору (я не расслышал, что именно); тот замахнулся еще раз... мальчуган взвизгнул. И снова было утро, светило солнце, за окном чирикали воробьи; и снова в кухне хлопотала бабушка, как обычно, ворча себе что-то под нос — любила старуха побеседовать с умным человеком; гудел завод. Я встал и начал одеваться; сон продолжался; потом сел завтракать — комковатая каша без масла застревала в горле, потом сгреб тетрадки, рассовал по карманам, ушел... А сон все тянулся, длинный, нескончаемый сон — от детства до наших дней; мальчик по-прежнему стоял, съежившись, закрыв ладонями лицо, и по-прежнему его сверлил взглядом Старик, задрав кверху трясущуюся на солнце седую свалявшуюся бородку; потом они погнались за мной. И опять мы были втроем, как и в начале сновидения, и опять Старик маячил поблизости, посапывал и невнятно бормотал; и мальчик бежал рядом, но с другой стороны, семенил босыми ногами по плотной рыжей глине; а я шел между ними двоими, невесомый и все еще невидимый для них, скрытый своими мыслями от всех, и раздумывал, как обошелся бы прокурор с мальчиком, если бы тот не проснулся; думал о себе.

Все в моем сознании смешалось и перепуталось, и все представлялось сном — вечер в честь начала учебного года, ночь у Вимбутасов, конкурс, прокуратура; и сейчас, как и во сне, я словно чувствовал занесенную над головой палку, а нечто — невидимое и невесомое — равнодушно проплывало стороной; равнодушно? Откуда это пристальное внимание к моей особе — и Шапкус, и прокурор, не говоря уже о том, в бакенбардах, который — я был уверен в этом — строчил мне письма с угрозами; неожиданно для себя я оказался в центре событий, уводящих меня на некий неведомый путь, и если бы не бабушка да не Соната... Если бы не они, не знать бы мне нипочем, что со мной сделалось и почему я так переменился, с того самого дня, как... Нет, каких-либо явных, бросающихся в глаза изменений вроде бы не было — я продолжаю ходить, спать, есть, видеть сны, хотя и довольно жуткие; я сижу на лекциях, пишу контрольные, танцую, бегаю к Сонате... правда, реже, чем раньше, но не потому, что так посоветовал прокурор — чтоб ему провалиться, — а потому что...

Тут я призадумался и огляделся по сторонам — шел я по Дубовой роще, Старика не было, исчез и мальчик,

исчез сон: могучие, раскидистые деревья над моей головой словно вникали в то, что я им толковал — а я в самом деле говорил, только не им, а себе самому; Сонату я навещал реже, и если бы спросили почему, я бы, пожалуй, не смог ответить; просто с того дня — ВИЛЬНЮС, РЕДАКЦИЯ, НА КОНКУРС написал тогда я и вместе с этим письмом будто скинул в почтовый ящик себя самого — прежнего Ауримаса, которого поджидала в тот день Соната; Соната Соната Соната — шуршала ручка; Ауримасу в день рождения — Соната; она поджидала — не дождалась — прежнего не было, а этот, новый... Он все еще озирался вокруг младенчески удивленными глазами, будто в самом деле только что появился на свет; он еще ничему не верил — когда спрашивали другие, и уже чему-то верил — тайком, наедине с собой; он получит премию, а покамест... Покамест прокурор велел мне никуда не отлучаться из Каунаса, пока мое дело не закрыто; дело; ловкач этот Жебрис, обвел меня вокруг пальца, теперь Раудис меня в порошок сотрет, — какое это имеет значение, что мы когда-то из одной баклажки... Да и Гарункштис пока что... Неужели ты думаешь, я, Гарункштис, допущу, чтобы наш истинный друг... комсомолец... — вспомнил я и чуть было не ругнулся, словно меня больно ущипнули... Неужели ты думаешь?.. Значит, только как комсомольца... Ну и что же, оттопырил губу Гарункштис, когда на следующий день я, правда довольно осторожно, спросил у него, каким образом меня приняли в секцию, — разве я не видел, как они... Ладно! Видел не видел, отмахнулся Гарункштис; станем тут устраивать вечер воспоминаний... И как ты полагаешь: надо или не надо нам укреплять секцию политически? Политически? Конечно, надо, но... прежде всего, как-никак талант... Пошло поехало! Да разве я допущу, чтобы тебя... активиста... насколько я разбираюсь, драгоценный мой... Стало быть, как активиста? Меня — как активиста? Ну, завел пластинку, сил нет... уж как мы делаем, это... Важен сам факт — тебя приняли, а что до мельчайших подробностей, деталей... Нет уж, выкладывай до конца, я схватил Гарункштиса за отвороты пиджака — как Старик мальчика; Мике, мы с тобой не дети. Не дети? Это еще как сказать, покачал Мике головой; все мы дети, Ауримас. И все играем. Все? Конечно, все. Мике медленно отвел мою руку и перевел дыхание; и ты, и я, и Грикштас... И даже Даубарас. У него, слышал я, тоже такой комплекс... А уж если у кого он завелся... Комп-

лекс? У Даубараса? А разве нет? — Мике взглянул на меня из-под своих косматых бровей; достопочтенный Шапкус достаточно много мне толковал об этом... когда мы ходили в "Тульпе" выяснять отношения... И если ты будешь молчать... В чем дело? Говорят, Даубарас сам кое-что на этот конкурс представил... Ну, это ты, дружище Мике, загнул... Загнул? Загнул, милый мой, или не загнул, а говорят... Слушай, может, поищем где-нибудь пива, ни с того ни с сего предложил он; у нас на факе такая духотища, рвутся голосовые связки. Радиаторы чуть ли не докрасна раскалены, а еще говорят — перебои с топливом. А может, это от жары звенит в ушах, а? У тебя как? Нет, отвечаю, у меня не звенит. У меня, друг Мике, не звенит. Повернулся и ушел: пеняй на себя, Ауримас; и на что ты рассчитывал — на бурные аплодисменты?

Принять отложить отклонить; о т к л о н и т ь — опять застучало в висках, и снова, как и много дней назад, я ощутил во рту противный вкус, будто наглотался рыбьего жира; я снова увидел Старика — на этот раз в обличье прокурора, идущего по противоположной стороне улицы, и с грустью подумал, что сны, очень может быть, сбываются — особенно те, что чертовски походят на действительность; вот я и вижу прокурора Раудиса, он идет по другой стороне улицы; шагает, помахивая толстым желтым портфелем, не глядя в мою сторону, — есть дела поважнее; а возможно, идет в университет, где, говорят, он доучивается; я свернул в парк. Встречаться с прокурором сегодня мне вовсе не хотелось — с прокурором Раудисом, хотя он и признал, что со мной знаком, — о, радость; он даже назначил тебе свидание, Ауримас, — разве это не чудесно; а чтобы ты, упаси бог, не вздумал от свидания улизнуть, до поры до времени из города... к родным или еще куда-нибудь... О да, сон кончился; и красные от холода босые мальчишечьи ноги уже не семенят рядом; Старик заковылял вниз по улице Выставочной, размахивая кожаным портфелем, который весьма подходил к его седой окладистой бороде; занятно, о чем они будут говорить в следующий раз с прокурором и при чем тут Лейшисы?

Снова нахлынули воспоминания, и я затряс головой, чтобы отогнать их, но они, словно тощие шелудивые псины, тащились следом, вынюхивая следы; преследовали по всему парку, который уже скинул свою золотистую ношу под ноги и серо-черными ветвями загребал промозглый октябрьский ветер; нечто подоб-

ное делал и я. За ветром в поле, подумал я, вспомнив, с каким восторгом помчался я тогда на почту — ног под собой не чуя; и с каким ожесточением надписывал конверт ВИЛЬНЮС, РЕДАКЦИЯ, НА КОНКУРС — будто в самом деле запихивал в почтовый ящик того, прежнего Ауримаса, который, помнится, всю дорогу потешался надо мной; поддай дай дай — отзывалось в ушах; за что; за красивые глаза, балда... Это позднее — незабываемое поддай дай, или, быть может, раньше — в детстве; что ж, снова — в школу; я тебе покажу школу; кто такие; те самые — Васька, Юзька да Яська; поддай дай дай; пол-лита, балда; будто мы не знаем, что ты вкалывал на фабрике, целое лето; пол-лита на кино, балда; ну, хиляк, ну-ка давай; дай дай поддай; тоже мне мужик нашелся: стукнул разок этого шкета — и сигает в снег, зубы пересчитывает на лету; пешком по воздуху, эй, хевра; стоит ли руки марать об такого, какой фраер станет с ним связываться — его же соплей перешибешь, квелого такого.

Что ж, решил я, они делали свое, герои из-за туннеля, а я, хиляк с Крантялиса, свое; jedem das Seine[1]; когда что было, а помню, и почему-то именно сегодня всплыло в памяти; да еще эти сны...

— Алло, Глуоснис, обождите! — услышал я и в страхе замер; я шел по дорожке университетского сквера, занятый своими мыслями и не сразу заметил инспектора отдела кадров, нашего многоопытного попечителя; он шел по той же дорожке на некотором расстоянии и вдруг остановился. Этому-то чего, подумал я и в сердцах пнул подвернувшийся под ногу камешек; неужели опять Раудис; и я сразу сник. Но, к великому моему удивлению, человек этот, чей голос я безусловно узнал, окликнул меня без всякого злого умысла — подошел ко мне, энергично тряхнул за руку, его глаза приветливо блестели за стеклами очков, это опять-таки походило на сон.

— Поздравляю, поздравляю! — он крепко сжимал мою руку и лукаво поглядывал сквозь очки в роговой оправе. — С удовольствием извещу ректора, ему будет весьма приятно.

Голос дудел убедительно, словно ему и впрямь огромное удовольствие доставит сообщить нечто ректору; что — этого я не знал; я поспешил отнять руку и чуть ли не бегом понесся на четвертый этаж, где

[1] Каждому свое (*нем.*).

размещались наши курсы; окликнули — эй, Глуоснис! — на лестнице, у поворота на филфак; чье-то лицо улыбнулось — я не разобрал, чье же; сновидение продолжалось; кто-то преградил путь. Это был староста курсов, тот самый, который сокрушенно покачал головой, когда я получил повестку в прокуратуру; и сейчас он сверлил меня таким взглядом, словно я и впрямь сотворил что-нибудь невообразимо гнусное; а мы-то и не знали, проговорил он так же, как и инспектор-кадровик, и тоже протянул свою огромную широкую ручищу.

Чего не знали? — хотелось спросить, но я не успел; подбежали другие, подхватили меня за талию и стали подбрасывать кверху, точно сноп какой-нибудь — ура, ура; раздумывать было некогда. Да и незачем — достаточно было бросить взгляд на газету, которую недоуменно-радостно показывали друг другу курсанты; там был я! Моя фотография — невесть откуда выкопанная фотография: подпертый ладонями подбородок, упавшие на лоб волосы, в глазах тоска не понятого толпой гения, — словно я был если не Матуйзой или Страздаускасом, то, по меньшей мере, Пупкой; а то и достопочтенным мэтром Шапкусом; я не сразу и узнал себя. Кто снимал? Где? Некогда было гадать; подошел незнакомый паренек с сильно задранным носом и весьма солидными очками; он взял меня за локоть и заметил, что мне уже давно пора выступить по радио; м н е; новелла, удостоенная премии, — блестящий к тому повод...

И лишь сейчас до меня дошло, о чем идет речь, я почувствовал, что заливаюсь краской — точь-в-точь невеста, которой надевают фату и рутовый венок; новелла по радио... о солдате? О да, отличная новелла, вся радиостудия только о ней и толкует... весь город, коллега!.. пока выклянчили сигнальный из типографии... так что настоятельно просим — завтра вечером... Почитать? — спрашивал кто-то во мне; пожалуйста, я могу, если надо; я могу эту, могу и еще какую-нибудь; эту, пожалуйста, эту... тут уж все ясно — оценили и благословили... ведь теперь... сами знаете... А-а, протянул я многозначительно, хотя и не слишком понимал, что он имеет в виду, — я и разговаривал с ним впервые в жизни; хочет, чтобы я выступил, — ладно; а остальное... да... конечно, разумеется... хорошо... Ладно ладно ладно — кивал я головой на каждое слово очкастого, хотя нисколько не вдумывался в смысл того, что он говорил; если он считает, что хорошо, думал я, значит, хорошо; всем хорошо, очень даже хорошо и

прекрасно, думал я, вот и дождался... Даубарас на этот раз... Не солгал, нет, что ты, зачем ему врать — что вам делить, Даубарасу да тебе?

Хорошо хорошо хорошо, — оторопелый, сбитый с толку, не слыша собственного дыхания, направился я в аудиторию, сел за парту (что-то тесноватой показалась она мне сегодня!), взял ручку, стал писать; я писал — не помню что, отвечал, когда спрашивали; и преподаватели, по-моему, сегодня смотрели на меня иначе, нежели раньше — вроде бы с почтением, — и девушки, ого, какими изумленными глазами... "Обеими руками, обеими! — почему-то вспомнилось мне. — Раз уж беремся за что-нибудь, то обеими руками". Обеими. В этот миг мне казались смешными и прокурор, и его секретарша с поднятым над клавиатурой неловким, неуверенным пальцем; я лауреат! Вы слышите, прокуроры: Ауримас Глуоснис — лауреат; он знает, почему солдату жаль снов! И вы, Лейшисы, знайте: Ауримас Глуоснис лауреат; я победил на конкурсе, хоть вы и относитесь к моим занятиям как к детской забаве, этакому лото КТО ПЕРВЫЙ — не вредит молодому человеку, но и пользы ощутимой не приносит; меня приглашают на радио! Вот и послушайте — все, кто верит и кто не верит (почему-то вспомнился снова Шапкус); тебе стоило бы выбрать что-нибудь более определенное, дружище, инженерное дело или экономику; раз уж менять упряжку... Товарищ Даубарас! Казис! Что может быть более определенного, чем сама жизнь, а? Чем лист бумаги (видел бы ты, какую бумагу приносит мне Гаучас!) и авторучка с изумительным иридиевым пером — не у каждого такую увидишь; Соната Соната Соната — выгравировано там; А у р и м а с у в д е н ь р о ж д е н и я — С о н а т а; газет Соната не читает — разве что анонсы кинотеатров; и объявления о разводах; да; она, конечно, еще ничего не знает; сидит, подогнув под себя ноги, на широком зеленом диване, грызет орехи и читает, жадно поглощает душещипательные романы — все подряд; что ж, когда она узнает... И бабушка, и Гаучас, и Марго, и Грикштас, и эти не слишком учтивые студенты — все они услышат, что родился еще один писатель — Ауримас Глуоснис, — эй, ты, Жебрис! И не очень-то страшны мне твои грозные письма — не сомневаюсь, что именно твои! — видали мы таковских, с бакенбардами и без оных, то-то; и все эти принять отложить отклонить... Отклоняйте, отклоняйте на здоровье, усердствуйте, но сперва загляните в газету, на вторую страницу, на фото и подпись: первая

премия за новеллу "Солдату нужны сны" присуждается товарищу... Итак, уважаемые, и т а к, г о с п о д а о ф и ц е р ы, парад, назначенный на сегодня... экзекуция... не состоится, господа офицеры, ибо этот клятый-распроклятый Глуоснис... Родился, родился новый человек, уважаемые, — нет больше прежнего Глуосниса, на его месте теперь новый Глуоснис, и он пишет рассказы; он родился сегодня, здесь, одновременно с газетным номером, который похрустывает во внутреннем кармане пиджака (кто же снабдил?); а то и раньше, когда их рота приближалась к Орловщине; "когда я был в России...". Или еще раньше, когда Гаучас, да, опять-таки он (молодчина старик) приволок его с собой на лесопилку, где нарезали паркет; одни нарезали, другие уносили и складывали аккуратными штабельками; Ауримас носил; ходил взад-вперед с полной охапкой планок; взад-вперед — на фабрику и домой, вдоль реки туда и назад; взад-вперед, взад-вперед — книги нынче дороги, а электричество, а обувь, а одежда... Да еще Васька, Юзька, Яська подкрадываются к нему там, над туннелем, — поддай дай дай; да еще Старик, высоченный и могучий, но отчего-то сгорбленный, в линялой красной рубахе, с огромной бородищей, в которой застряли какие-то крошки; глаза — большие, горящие лихорадочным огнем; лицо — темное, морщинистое, чумазое... Нет, нет, никакого Старика нет; и мальчика тоже нет; сновидение кончилось, а действительность... Вот она, явь, — при мне, на этих хрустящих страницах; мама, мамочка, если бы ты могла сегодня...

И еще на миг тоскливо сжалось мое сердце, всего на один короткий миг: оттого, что Сонате не понять всего этого — не понять радости, которая заполнила меня; но это длилось всего лишь мгновение, мгновенная тоска, которая исчезла, как исчезает легкое дуновение влажного ветерка, коснувшись горячего, взмокшего лица...

XV

ибо тот, кому достанется — —

XVI

Потомки, если кто-нибудь скажет вам, что он тогда не волновался — —

Чуть ли не бегом вбежал Ауримас во двор, посы-

панный рыжей кирпичной крошкой, где в глубине на тесном стекле значилось РАДИОСТУДИЯ; чуть ли не бегом, да, потому что боялся опоздать, и в то же время на бегу он усмирял сам себя — небось не подобает лауреату носиться, как шальному мальчишке; Старика не было; мальчик смотрел ему вслед большими голубыми глазами из-под нахмуренного, взрослого лба со спутанным нависшим чубом — почти как у самого Ауримаса; одни лишь эти глаза он и видел сегодня; и вчера, и позавчера; глаза и чуть тронутые улыбкой губы, которые мелькали в окошках всех киосков; глаза писателя Глуосниса, губы писателя Глуосниса... Восемнадцать ноль-ноль — возглашали газеты, и Ауримас не мог опоздать, писатель Глуоснис; это его день! Его день, его праздник — праздник, который всегда с тобой, где-то прочел он: о радости, которая никогда не покинет человека, если эта радость — порождение искусства; сегодня прозвучит самый звучный аккорд этого праздника — forte fortissimo, как сказал бы преподаватель музыки (был на курсах и такой); даже посещение прокуратуры, собрание в особняке близ кладбища или спор в доме Вимбутасов остались далеко, в прошлом, подернулись дымкой времени, покрылись налетом пыли — серой осенней паутиной, приплывшей за ним сюда; небось и прокуроры слушают радио! Слушает прокурор, слушают Лейшисы, слушают Даубарас с Шапкусом — радио, друзья мои, это большое дело; Мике Гарункштис и тот, может быть, слушает, хотя и обещал, черт полосатый, обождать меня здесь, у ворот радиостудии; неужели не знает, что времени у меня... и если, потомки, вам кто-нибудь скажет...

Стремглав вбежал он во двор и приветственно помахал издалека рукой — надписи РАДИОСТУДИЯ, а заодно и пышноволосой брюнетке, которая сидела за столом у окна и, подобно секретарше из прокуратуры, выстукивала на машинке какой-то текст; "Привет, ягодка!.." — чуть было не окликнул он (так делал Мике, который в радиостудии был свой человек), но вовремя одумался, сообразив, что прежде он заходил сюда, а следовательно, и брюнетку видел всего один-единственный раз — когда приносил информацию о курсах (информация, коллега, — червонец, статейка — три), и не знал ни имени этой девушки, ни фамилии, — он промолчал и, с достоинством глядя вперед, прошествовал дальше; надо будет купить ей конфет, да, непременно, когда получу гонорар, а ведь он небось по-

больше, чем за информашку или даже за статью; Мике просветил его... Платит радио, платят редакции, подумал он; впервые задумался об этом: можно будет купить костюм и масла на зиму и, может быть, валенки бабушке — как хочется что-нибудь сделать для нее, к тому же если заведется пара рублей... Впрочем, сегодня — не в этом суть; сегодня он — лауреат; сегодня Каунас — да что там Каунас, вся Литва! — услышит не только его фамилию, которую, надо полагать, и так уже знают по газетам или по журналу, где был его рассказ, не только фамилию, но и голос, голос писателя Глуосниса; и, может, давайте не будем смеяться над этим словечком — писатель (вспомнился Шапкус и собрание — стало обидно, но всего лишь на миг); он еще раз глянул на окно, за которым колыхалась жидкая светло-желтая занавеска и темнела пышная прическа машинистки (вьющиеся волосы изящно ниспадали на плечи), — на окно, за которым его ожидала иная, прежде не изведанная жизнь, потом на черное стекло вывески РАДИОСТУДИЯ, вздохнул, проговорил "Alea jacta est"[1] — и открыл дверь.

И верно — дверь хлопнула; это было как судьба, которая вынуждает покинуть один берег и отправиться на другой — несмотря на то, что в данный миг ничего подобного в мыслях и не было; Рубикон был перейден, но мутные его волны достали Ауримаса и швырнули вниз со скалы, на которой некогда стоял Цезарь; скинули и закрутили в мутном потоке, унося куда-то вдаль, вниз, вглубь, туда, откуда, видимо, нет возврата; сновидение продолжалось, но не то светлое и окрыляющее душу, а совсем другое — без начала, без середины и без конца, разверстое, словно черная бездна, куда падаешь без стона и без крика, но неудержимо, стремительно, в черную зияющую пустоту, которая грозно и неповторимо простирается вокруг нас; в этом сне быль мешалась с грезой, радость со слезами, правда с ложью и даже жизнь со смертью; яркая вспышка сознания — да ведь он помнит, помнит! — гасла от черного вскрика небытия; все здесь было переплетено, перепутано и свито в один плотный клубок, скаталось в ком закономерностей и случайностей, который и его подмял под себя и помчал с быстротой молнии вниз с горы; в самом центре кома оказался он, Ауримас — —

Начало этого сна он помнит довольно отчетливо:

---

[1] Жребий брошен *(лат.)*

открыл дверь редакции, вежливо поздоровался, представился; обычная формальность, мог и не сообщать, зачем явился, — редактор и сам знал, с какой стати явился в студию некий Ауримас Глуоснис, ведь в программе уже значилось, что сегодня, в восемнадцать ноль-ноль... Но редактор — тот самый, который вчера заходил к нему на курсы и пригласил сюда, — не ответил ни на приветствие, ни на вопрос Ауримаса относительно того, что ему надо делать; он снял свои огромные очки и не моргая смотрел на вошедшего, точно видел его впервые в жизни; Ауримас снова назвал свою фамилию и повторил, зачем пришел.

Теперь он обнаружил, что на него удивленно смотрит не только вышеупомянутый редактор, но и еще трое, а то и четверо сидящих в комнате мужчин; разглядывают с нескрываемым любопытством, точно на редкое ископаемое; один из них, в пестром ворсистом жакете, не вытерпел, прыснул в кулак. Возможно, Ауримас его где-то видел — на собрании секции или еще где-нибудь; а может, и нет, но чтобы настолько... да еще сегодня... Ауримас пожал плечами, не понимая, что происходит, человек в пестром жакете хихикнул снова — на этот раз гораздо смелей, вскочил со стула, зажал руками хохочущий рот и выскочил вон из комнаты. Довольно странный способ принимать людей, подумал Ауримас и осведомился, не пришел ли он слишком рано — дело в том, что часы он сдал в починку (на самом деле эта вещица значилась в списке неотложных покупок с первого гонорара); в общем, он явился, и если надо посоветоваться... порепетировать или как тут положено...

— Но передачи не будет, — наконец вымолвил редактор, преодолев свое замешательство и водрузив на переносицу солидные очки. — Неужели вы считаете...

— Не будет? А почему? И в программе объявлено... — Ауримас растерянно вынул из кармана купленную по пути, в киоске, газету и показал последнюю страницу. — Вот здесь, внизу...

— Газету положено читать внимательно... — заметил редактор и не спеша развернул сложенный вчетверо листок. — Начинать надо вот отсюда... от официальных сообщений и передовицы... вот откуда!

Он расправил шуршащие страницы, ткнул пальцем в какой-то заголовок и резко рванул с переносицы свои очки — получилось довольно грозно и решительно; Ауримас вгляделся.

ПОД ПОКРОВОМ "ИСКУССТВА" — КЛЕВЕТА, —

прочел он и снова пожал плечами: какое это имеет к нему отношение? К его выступлению по радио?

Отстранив газету, он вопросительно глянул на редактора.

— Читай, читай, — тот снова ткнул пальцем в газетный лист — толстым, испачканным в чернилах; он даже засопел своим крупным носом. — Читай.

Что ж, если настаивают; Ауримас взял газету; если это что-то значит...

ПОД ПОКРОВОМ "ИСКУССТВА" — КЛЕВЕТА, — прочел он опять и поморгал глазами, словно туда попала соринка, потом еще раз недоверчиво посмотрел на редактора; тот как раз надевал свои очки и делал это крайне сосредоточенно, глядя лишь на блестящие стекла в толстой роговой оправе; его мясистый нос слегка покраснел, лоснился слегка раздвоенный кончик; Ауримасу почудилось, что этот кончик чуть подрагивает. Смеется, что ли, редактор? Тут он заметил, что находящийся в комнате долговязый рыжеволосый тип, ничуть не стесняясь, прикрывает рот ладонью, а другой, тот, что встал из-за стола и вышел в коридор, остановился и смотрит в приотворенную дверь; и еще двое беззастенчиво глазели на Ауримаса и редактора — оба в зеленых костюмах, таращились, как две зеленые лягушки, делать им нечего, а ведь перед каждым по листу бумаги и авторучки рядышком; спектакль, судя по всему, доставлял им удовольствие — нет, друзья, что ни говори, не каждый день является к нам автор с рекламой собственных писаний, тех самых, о которых республиканская печать...

ПОД ПОКРОВОМ "ИСКУССТВА" — КЛЕВЕТА. Прошло уже два с лишним года, — читал оторопело Ауримас (не читал, а прямо-таки пожирал глазами написанное, словно желая в единый миг узнать все до конца; он уже ничего не видел и не понимал, кроме этого шуршащего газетного листа, который расстелил перед ним очкастый редактор), — как Красная Армия очистила Литву от фашистских захватчиков, и у всех писателей было предостаточно времени, чтобы перестроить свое самосознание. С чувством удовлетворения наш народ может сегодня свободно и повсеместно проявлять свою инициативу. И он справедливо требует от всех художников, и в первую очередь от писателей, чтобы их творчество явилось для каждого рабочего, трудового крестьянина, честного интеллигента подлинно пищей духовной, а не сборной солянкой из неких извращенных размышлений того или иного субъекта.

Лишь такое искусство служит народу, а не его врагам — литовско-немецким буржуазным националистам, только оно воспитывает, а не вводит в заблуждение трудящихся. Этого не понял, а возможно, слишком уж хорошо понял некто А. Глуоснис, состряпавший рассказец "Солдату нужны сны" и протащивший свой сомнительный опус в журнал. Мало того — оказывается, это произведение удостоено премии ("а судьи кто?" — уместно было бы спросить) — и тем самым рекомендовано всем как некий обязательный эталон произведения на тематику героических деяний нашего народа... Каково же оно, вышеупомянутое сочинение? Это сообщение в несколько страниц, не имеющее ничего общего с советской литературой, о "мыслях" некоего солдата Гаучаса на фронте, перед боем, причем сам по себе бой остается за рамками этого, с позволения сказать, рассказа. Но о чем думают изображаемые А. Глуоснисом солдаты? Что они переживают? Дело в том, что они напрочь лишены больших гражданственных помыслов, присущих нашим солдатам, лишены высоких чувств. Если верить А. Глуоснису, солдаты озабочены лишь своими шинелишками, каковые, по глубокому убеждению автора (истинный фронтовик не станет так рассуждать!) "годятся разве что для мая месяца", рукавицами, табачком и деньгами (деньгами? — захлебнулся Ауримас; он так и впился взглядом в это слово: деньгами? Матас Гаучас — озабочен деньгами?), вздыхают о своих женушках (—ж д и, к о г д а с н е г а м е т у т... — мелькнуло в памяти — точно трассирующая пуля — точно телеграмма — телеграмма той орловской зимы — п у л я — ж д и м е н я, и я в е р н у с ь — т о л ь к о о ч е н ь ж д и —) или детушках да кряхтят от мороза. И это все, чем может обогатить духовный мир читателя автор данного "произведения". Возникает вопрос: что, по мнению А. Глуосниса, поднимало бойцов в атаку, что давало им силы сражаться, если столь ничтожными и пошлыми были их помыслы? Подобные писания льют воду на мельницу литовско-немецких буржуазных националистов, клевещущих на самую героическую в мире армию, а автор таких "сочинений" и сам явно готов скатиться в болото буржуазно-националистических представлений о жизни... Клевеща на армию, которая оградила от фашистов его, уютно коротавшего военное время в глубоком тылу, А. Глуоснис, этот умственный недомерок, ввел в заблуждение утратившее всякую бдительность жюри, каковое, удостаивая премии столь порочное, полностью

чуждое нам по духу, буржуазного толка чтиво, тем самым активно поддерживает распространяемую А. Глуоснисом клевету, достойную самого сурового осуждения. Редакция же, публикуя подобные "творения", вместо того чтобы воспитывать свой актив, лишь разлагает его. Пример налицо. Этот превозносимый утратившими бдительность редакторами Глуоснис, устраненный из состава комсомольского руководства вследствие ошибок и халатности в работе, уже имел дело с городской прокуратурой, а в конечном счете взялся за роль "писателя", народного "просветителя". Но да будет известно господам глуоснисам и их мягкотелым покровителям: под покровом "искусства" клевета никогда больше...

Дальше Ауримас уже не читал: ПОДПОКРОВОМИСКУССТВАКЛЕВЕТАПОДПОКРОВОМИСКУССТВАКЛЕВЕТА пропеллером вертелось в голове, сливаясь в единый серый, слоистый круг; — ж д и м е н я — и я в е р н у с ь — т о л ь к о о ч е н ь ж д и — ж д и м е н я — он не различал ни предложений, ни отдельных слов, ни букв — ни, наконец, мыслей — своих или чужих — ничего; буквы подскакивали, как молоточки, стучали, ударяли по глазному яблоку, мысли расплывались — его — Гаучаса — и Поэта, — чем они помогут тебе; здесь, здесь, здесь — зудел заунывный пропеллер, или то были слова редактора — из каких-то дальних глубин; дальше; читайте, товарищ, дальше... вот здесь и еще... здесь...

Но Ауримас читать не стал, хотя статья была длинная и вся — о нем; к л е в е т а к л е в е т ы к л е в е т е — склонял автор статьи одно и то же слово, все больше входя во вкус, — как будто ничего, кроме этого слова, и не знал; а возможно, просто не искал других; а ведь и такую статью можно было сварганить поумнее, кажется, автор очень спешил и в стилистические тонкости не вдавался; к л е в е т а к л е в е т ы — —

"Неужели мы допустим, чтобы тебя... активиста... — стучало в висках, — комсомольца и активиста..."

Мике... Где он сейчас, вечно лукавый Гарункштис, пожалуй, единственный, кто мог бы что-то объяснить ему во всем этом? Мике, а еще, может быть, Даубарас... Но их здесь нет и, надо полагать, не будет, ведь Даубарас далеко, а Мике... Не пришел, не подождал — а ведь было договорено: у ворот; никто тут тебя не ждет; мальчик; ч т о ж, м а л ь ч и к; но ты здесь, Ауримас — товарищ А. Г л у о с н и с; ты стоишь посреди комнаты в окружении зеленых крокодилов и растерян-

ными, вдруг отчего-то — словно у настоящего преступника — помутневшими глазами глядишь на редактора, на его словно резиновый разбухший нос, солидные очки; присесть и то не предложили, подумалось, и немыслимо было оторваться от созерцания холодно поблескивающих стекол, которые, словно щиты, прикрывали редакторские очи; почему он не предлагает сесть?

— Так что передачи вашей, товарищ... читайте, читайте дальше...

Где теперь солдат Гаучас, пронзила мысль, что-то поделывает да о чем думает рядовой Матас Гаучас, который вместе с ротой явился в снега Орловщины; читал ли он эту газету? Читал, конечно, читал, он всегда читает — от корки до корки, особенно — о фронте и солдатах; когда я был в России; а вдруг и бабушке показал — принес да и показал; что она скажет; и Соната — что скажет?

Тут Ауримас вздохнул — жалобно, протяжно; Соната... Она будет ждать дома, Ауримас знает; конечно, она видела его фото в газете, как же иначе; она гордится своим Ауримасом, хотя и не слишком понимает, за что такие большие деньги — неужели за пять страничек, — подумать только, а они-то, медики, что ни день исписывают по нескольку тетрадок; но она может сообщить Ауримасу: будет угощение; мамаша велела разыскать бутылку самого лучшего вина и поднести Ауримасу, когда он вернется из радиостудии; вино и цветы, астры, которые Ауримас найдет на столе, — моя мамаша знает дело, Ауримас, не такой уж она сухарь; да и папа... ему дадут пива... пусть попьет... он его любит... только бы они не переглядывались сердито... будут слушать все, вся семья, а потом...

Потом? Что потом? Какое еще тебе "потом" — после всех этих липучих, ползучих слов... клевета клеветы клевете... после...

Слушать? — Ауримас чуть было не заскрежетал зубами; они, видите ли, будут радио слушать, всей семьей; и они, и другие; а ведь хорошо он читает, этот Ауримас, этот Глуоснис с рабфака, а мне почему-то казалось, что он уже студент и даже старшекурсник — такой всегда серьезный, даже, я бы сказал, озабоченный; даже, может быть, злюка, желчный такой, знаете; а оказывается, очень даже славно пишет, а, коллега... так образно... Глуоснис? Ауримас? Постойте-ка, да ведь о нем в газете... ПОД ПОКРОВОМ "ИСКУССТВА" КЛЕВЕТА — не слыхали? О-о! Вот это да! Почитайте обязательно, увидите, какой это двурушник, какой

лицемер... а ведь с этими комсомольцами держи ухо востро...

И Шапкус, конечно, читал — интеллектуальная бессмыслица, и Жебрис — у, эти бакенбарды... небось от радости зубами щелкает, усы распушил, а сам новое письмецо строчит; что ж, мальчик, если ты не покончишь с этой писаниной... Все, все читали сегодня газету и эти слова — клевета клеветы клевете — читали уже тогда, когда он, Ауримас, спал, позабыв и Старика, и мальчика, и стычку в читальном зале, переполненный лишь этим сладостным, сошедшим на него покоем — и каким же он оказался обманчивым; а прокурор, вдруг кольнуло его, прокурор Раудис небось тоже читал статью; возможно, даже вырезал и подшил к делу; делу Глуосниса; фу-ты, ну-ты красота, еще одно доказательство; разве я не говорил, что последовательная цепь преступлений ведет этого гражданина (Глуосниса, Глуосниса, разумеется!) к полному вырождению, к нарушению самых священных принципов нашей жизни... но раз уж мы за что-нибудь беремся, то... Запершись у себя в комнате, махнув рукой на письменную по алгебре, которая предстояла на курсах, он тогда чуть ли не в пятый раз подряд перечитывал вслух свою новеллу — готовился к выступлению (теперь рассказик не казался ему таким хорошим, как прежде, но все равно это был его собственный рассказ; он победил на конкурсе; надо покупать газету, товарищ, полезно, знаете ли, следить за прессой), — уже тогда все (все, все!) знали, что Глуоснис с треском провалился; все — только не Ауримас... И даже Гаркштис, этот ковбой из-за туннеля, и тот знал; знал? Мике тоже знал, люди добрые; да стоит ли ему впутываться во всю эту пакость? Связываться с такими элементами? Ишь ты! Газеты надо не только покупать, но и читать, Глуоснис, — от корки до корки, каждую страницу, каждую сверху донизу, даже самую ничтожную заметку — как читает Гаучас; надо следить за прессой!

И держать себя в руках, во что бы то ни стало, не свалиться, не упасть в обморок здесь, в этой огромной и как бы вертящейся вокруг него комнате; не показать им — и редактору, само собой, — насколько это для тебя страшно — такая статья... когда приходится изо всех сил...

Изо всех сил — надо — изо всех — — Ауримас аккуратно сложил газету, которую только что — с минуту назад — читал; сложил и убрал в карман; держать себя

в руках, черт побери, тебе надо держать себя в руках; не оступиться; и не покраснеть; и не побледнеть, конечно; не задрожать; и не кусать губы — все это не поможет; и поменьше говорить, — нечего тут объясняться — ведь твой голос — движения — твои зубы, как назло... Всегда надо владеть собой и читать газеты, Ауримас, следить за прессой — он весьма учтиво поклонился редактору, а затем и остальным — самым вежливым образом, — парад как будто окончен, господа офицеры, а если кому-то хочется больше — — И даже улыбнулся, подумаешь, велика важность, — сквозь клацающие зубы; редактор, подведя под оправу указательный палец, приподнял свои массивные очки.

— Воды... может, вы хотите воды... — услышал Ауримас чей-то голос — вспомнился прокурор. — Ребята, этому коллеге... будьте так любезны... этому нашему юному коллеге...

Воды?

Вы думаете — —

Какой воды — почему воды — — вы как будто сказали — — да, коллеги, спасибо, коллеги — воды — я желаю воды — — воды — —

Пошатываясь, выбрался он из радиостудии и, спотыкаясь, побрел по кирпичной крошке; шел дождь; темнело — стремительно, как в кино: без проблесков и вспышек света, сплошная мутная мгла; мрак спешил пасть наземь вместе с холодными, назойливыми каплями воды, которые поначалу изредка, затем все чаще и чаще ударяли по всклокоченным, разметавшимся в беспорядке волосам; он один, быть может, еще питал жалость к этому существу — хилому мальчишке с Крантялиса, вздумавшему потягаться со Стариком; скрывал его обиду и слезы; Ауримас, а-у!

А-у!

Он нехотя поднял глаза — как лошадь по дороге на бойню; и повернулся в сторону, откуда слышался голос; его как будто окликнули? Соната? Откуда она? Ах, да, конечно, это дом Сонаты, она ждет — балконная дверь приоткрыта; за этой дверью, на элегантно сервированном столе... бутылка вина, как же иначе, и не какого-нибудь, а "из фондов", и букетик астр — целомудренные утехи осени; и тарелка с орехами — непременно; Ауримас, а-у!

Читала, подумал Ауримас — причем вполне спокойно, словно это ничуть не трогало его, — сегодня Соната наверняка читала газету — как и все остальные, небось

и астры убрала со стола — целомудренные утехи осени, смех; и вино, и орехи; и пиво для папаши Лейшиса; парад, господа офицеры... Он съежился, спрятался в воротник, словно оттуда, с балкона, на него плеснули горячей водой, насупился и юркнул за угол — не обернувшись, не замедлив шаг, точно вор-карманник; он и впрямь был вором — он похитил у Лейшисов безмятежный осенний вечер; он похитил надежду; знавал я одного, Чижаускас фамилия...

Лауреат! Писатель! Человек искусства! Богема! — Мокрица, крот, жук навозный... И если ты, Соната, еще надеешься... они правы! Все эти принять отложить отклонить; о т к л о н и т ь; правы! Он мразь, ничтожная капля от большой волны, пылинка; захотелось, скажите на милость, юродивому да из пушки пальнуть... Соната...

Кольнуло — пребольно остро — в боку слева сдавило; Ауримас прижал руки к груди; зашуршала задетая бумага — ах, конечно, газета, все та же; он набрал полную грудь воздуха, вырвал газету из кармана и швырнул ее прочь — ну ее, статью эту; так и бросил на мокрый, щербатый тротуар листок, испещренный козявками-буквами; теперь они уставились на него сквозь витрину киоска, откуда шло: ПОД ПОКРОВОМ "ИСКУССТВА" — КЛЕВЕТА; некуда деваться. И люди — все без исключения — словно норовили остановить и поинтересоваться, куда да зачем ты идешь, или хотя бы взглянуть в глаза: а-а, тот самый... Совершенно верно, он самый, люди добрые, обманщик и злодей, который всех вас...

— А, добрый вечер, — услышал Ауримас и на миг словно очнулся; а ему чего — долговязому юнцу в деревенского кроя жакете? Умора; а знаете, вы проводили у нас политинформации; к черту!

К черту, всех к черту, он затряс головой, отбежал в сторонку, не надо мне никаких знакомых! И ничего-ничегошеньки мне не надо, учти, ничего на свете, потому что раз такие дела... парад, господа офицеры...

БАР — прочитал он, шмыгнув в первый попавшийся проулок, едва не налетев на вывеску: БАР НЕКТАР; ах, все равно; Ауримас заглянул внутрь. Скрыться. Исчезнуть. Сгинуть напрочь. Где угодно. Как угодно. Как попало. Только бы не видеть киосков, черных, ползучих букв-козявок, не слышать слов, не встречать взглядов; остаться одному! Одному, вы слышите; побыть наедине со своими горестями, милый друг, все мы совершенно одиноки; одиноки? Верю, мадам,

одиноки; ах, если бы вы только знали, до чего мы иной раз бываем одиноки...

Денег у него не было, совсем, он понятия не имел, с какой стати завернул сюда, в этот бар; он готов был забраться куда угодно, лишь бы никто его не узнал; самое главное — двери, накрепко закрытые двери, и пусть за ними останется эта страшная улица и эти страшные киоски, страшные люди; и этот страшный дождь, так назойливо долдонящий с этого унылого серого неба; он хочет быть один! Один, потому что другие ему не нужны: не поймут, высмеют, оттолкнут; они...

Всех, всех сегодня боялся Ауримас, потому что в с е знали, какой он писатель и какой человек; он клевещет на армию! Он поливает грязью дядю Гаучаса! Себя самого! Клевета клеветы клевете... Ауримас Глуоснис ничтожество, выродок, лицемер; писатель, простите за выражение; а человек, опять-таки простите; без зазрения совести он поливает грязью все святое... все, что подвернется ему под руку... комсомолец, знаете ли... ничего святого, никаких идеалов; и орловские сугробы, надо полагать, он излазил исключительно для того, чтобы осмеять дядю Гаучаса; охаять больницу, Агрыз; то, что пуля, по меньшей мере, дважды... — это пустяки; в то время как другие... Когда вся армия его защищала... этот ничтожный бумагомаратель... так отплатил... Знаем, знаем, — делишки с прокуратурой, было бы нелишне, уверяю вас, проверить, чем он там, в горкомовском аппарате, этот, с позволения сказать, активист... в трясину буржуазного... скатывается в... трясину...

Ауримас едва не застонал, лихорадочно горящими глазами обвел помещение, будто выискивая своего невидимого оппонента, который метал — словно раскаленные уголья — все новые и новые обвинения, и все на него одного, на его бедную голову, хотя та и без того разрывалась от жара; воды — была бы здесь вода — —

Воды не было — ни капли, хотя вовсю хлестал дождь; здесь не было воды; губы трескались, покрывались соленым белым налетом; голова, казалось, вот-вот расколется пополам; ты, ты, ты — выкрикивал кто-то из продымленного туннеля; Старик с блуждающим взглядом, седой бородой, в красной линялой рубашке — сволочь сволочь сволочь; распоследняя ты сволочь; а может, не Старик — кто-нибудь другой; только глотка, большущая, зияющая, пышущая зноем — разверстое устье туннеля; ты, ты, ты — вырывал-

ся из туннельного устья дым и пар, сво-лочь сво-лочь сво-лочь; взметались искры и рассыпались во все стороны; а один, значит, Чижаускас фамилия; сволочь сво-лочь — изрыгало устье, багровое и дрожащее, на которое смотрел Ауримас, привалившись спиной к дубовой двери бара; сволочь, сволочь, молчи...

"Никаких но, братец! Никаких сомнений! Беги отсюда, юноша... от иллюзий... уноси ноги, если еще можешь... Ведь кроме грязи здесь, братец..." — вспомнил он и даже увидел лицо Вимбутаса — сквозь дым и мглистый сумрак бара, куда он вошел; если еще можешь, братец...

Бежать? Бежать? Но куда?.. И от кого?..

Неужели от своих?! — едва не крикнул он, но не сумел; губы и те не шевельнулись, замкнутые этими словами: клевета клеветы клевете; лишь глаза затянуло белой мглою, а голова загудела, как пустой сосуд; небось от своих, дружище, ты уж никуда...

Дальше было нечего раздумывать: все вдруг показалось таким глупым и бессмысленным, словно он находился не здесь, в заполненном омерзительно желтыми испарениями баре, а в ночи, охваченной неведомым ожиданием, уже давным-давно, в голубом младенчестве, когда вдруг вернулся отец — откуда-то и зачем-то, — и, цапнув Ауримаса за ноги... Нет, не надо ворошить старое — не поможет; нет больше той ночи, нет и той осени, и отца; нет и не будет; и потом этот его крик... за ноги — да об стенку, за ноги — да об стенку... ублюдка, чужое семя; ма-маа!..

И ее — тоже нет, нет и нет, — ей надо обежать весь белый свет — с севера на юг, с востока на запад — она все бежит — и все не возвращается — я, мама, тоже... обежал; отбил ноги, матушка, вот и все; даже под Орлом бывал, мама, даже в Агрызе, был с Матасом Гаучасом, видел фронт, мама, видел госпиталь. Неужели опять тебя били, Ауримас? Били, мама, били... о, как они избивали меня! Опять Васька, Юзька и Яська? Нет, мамочка, другие. Другие? Ах, мама, — свои. Свои... Детка, да ты случаем... ну, вдруг ты... Пива! дайте же человеку пива! пива!

"А может, сто грамм?" — слащаво спросил голос (вроде знакомый); что ж, сто грамм, кивнул Ауримас; голос крикнул буфетчице; потом Ауримас увидел два граненых стакана на столе и покрасневшие от водки, выпученные глаза все того же редактора (очки съехали на самый кончик мясистого носа); Ауримас мог бы удивиться, как быстро тот возник здесь, в ба-

ре, — если бы еще был в состоянии удивляться; потом... Потом подсел Шапкус, этот премудрый доцент, — выплыл из тумана и весьма изысканно присел на стул — собственной персоной маэстро Шапкус; помилуйте, разве он этого не понимает; мальчик; мой милый мальчик; разве можно рассчитывать на что-нибудь еще... sit ius liceatque perire poetis, н-да... всегда с ними так вот — perire — было и будет... barbari in media civitate... но если бы ты, мальчик, нашел внутренний потенциал, отважился бы сменить карты... тогда... "Убирайся! Вон!" — вскочил на ноги Ауримас, не отдавая себе отчета; вскочил и грохнул бокалом о стол — зазвенели осколки... "Пошел вон, слизняк! Гад ползучий!"— повторил он и с большим усилием сделал шаг прочь от стола. Все звуки, которые кишели и бурлили в голове, вдруг исчезли и схлынули куда-то туда, в вечность,— словно их и не бывало; сделалось легко и ясно; исподлобья он еще раз оглядел и Шапкуса, и редактора (тот поддел указательным пальцем и водворил на переносицу свои неимоверные очки), — затем, натыкаясь на стулья, побрел к двери. "А платить кто будет?" — донеслось вдогонку; "Я, я, — заторопился Шапкус, — родители всегда расплачиваются за грехи детей"; Ауримас закрыл лицо ладонями — —

Ночь была темная. И шел дождь, хлестал со всех крыш, пробирал насквозь (вода, вода, — иглой кольнуло в мозгу); он обернулся и увидел Сонату. Сонату? Он ничуть не удивился тому, что она здесь, хотя Соната была вовсе не нужна — как и всякий другой человек; но она была здесь, и он вспомнил ее голос... да, да, голос... Соната ждала его, стоя под балконом, — поникшая, съеженная, закоченевшая, закутанная в плащ, жалкая и обиженная судьбой; чем-то непостижимым напоминала она тех женщин, которые караулят в день получки своих мужей у фабричных ворот; Ауримас встряхнулся и — совсем как те рабочие из предместья— прошмыгнул стороной. Но Соната была ловкой — она подбежала и схватила его за руку; я искала тебя, разобрал он сквозь дождь; нашла; за что они тебя, Ауримас?

За что — за что — за что — трепетало эхо — из дальней дали, где осталась мать, — из той голубой ночи; за то — доносился ответ — другое эхо — или это ответил он сам, Ауримас, другой Ауримас; за все, взвизгнул он, яростно выдираясь из цепких рук Сонаты, клещами обхвативших его за талию; но больше всего за глаза... за красивые глаза, понятно? За что? За глаза? Ауримас, тебе бы хорошо... Глаза, глаза, Соната...

Именно — глаза... Ничего не пойму, Ауримас... пойдем со мной... объясни мне... Нет, Соната, не стану я объяснять, он резко оттолкнул ее и выскользнул из ее рук; что уж тут, детка, объяснять... не приставай и проваливай откуда пришла... домой или еще куда-нибудь... иди ты к черту, детка... Ауримас, бессовестный, раз уж выпил, то думаешь... К черту, Соната, к черту... поняла? Sit ius Iiceatque... красиво? Sit ius... Это Гораций, Соната, римлянин, — хорошо... Sit ius Iiceatque... нет? Слыхала про такого — Чижаускас фамилия, а? С насыпи прыгнул... поймали с поличным — списывал у других, стыдно стало, вот он и... Ауримас! У тебя в голове все перепуталось... Куда же ты теперь? Постой! Обожди! Ауримас! Глуоснис! Глуоснис ———

XVII

——————————— потом ———————————

XVIII

...Неужели ты никого не любил, литовец?

Любил. Тебя.

Меня?

Тебя, Ийя. По-моему, я всегда любил тебя. С того самого дня, когда вошел в комнату, сплошь набитую книгами...

Но ты не бывал в Таллине, человек!

Не все ли равно! Я был в Каунасе. И видел тебя, и слышал, как ты играешь на гитаре...

У нас был рояль. "Бехштейн, 1897". А гитары...

И это неважно. Ты играла, а он слушал. Сидел, развалившись в кресле, и слушал. Я его сразу узнал. И даже струхнул, право. Не ожидал встретить его здесь.

Кого? О ком ты?

О Даубарасе, представителе...

Представителе? Каком?

Прошу прощения... ты даже не знаешь, что Даубарас является представителем?.. Тогда он, правда, не был им. Он был студентом и время от времени поигрывал в пинг-понг. И я играл с ним. В пинг-понг. И беседовал о Марксе.

С кем?

Говорят тебе: с Даубарасом, с тем самым, который сейчас — представитель... Я даже обыграл его, хотя в Марксе он разбирался получше моего. Но иначе и быть не могло, ведь он был студентом, одевался с шиком,

ходил с желтым портфелем, а я... Я тоже с портфелем, Ийя... с сумкой... Тогда я продавал газеты, "Десять центов!" "Эхо Литвы"! "Вестник"! Покупайте "Вестник"! "Десять центов! "Эхо Литвы"! "Вестник"!"

У нас не было таких газет. В Таллине были другие. Хотя я, правду говоря, никогда их не читала. Я играла на фортепиано, и мне было некогда читать газеты. Гаммы гаммы гаммы — ты понятия не имеешь, что это такое. Escercizi musicali opus quarant'uno[1].

Это кромешный ад, литовец. Искусство всегда ад, как говорил мой отец. Кто-кто, а он это знал. Он был профессор консерватории, и вот...

Профессор?

Ты удивляешься? Профессор тоже человек.

Да, конечно... Он лежал на диване, я помню. И храпел. Ну и храпел же он, этот приземистый человек, завернутый в рыжую, просторную пижаму, там, в комнате, набитой книгами... Лежал на диване, за книжной полкой, я не сразу заметил его. И ты, Ийя...

Я? Я?

Да, ты открыла дверь и спросила, чего мне надо, хотя и без слов можно было догадаться: я тащил целую охапку желтых планок с лесопильни, на которой работал, поскольку наша фирма...

Ты разносил газеты?!

Раньше. Пока была мама. А когда она умерла... Или даже раньше того...

Умерла? И твоя тоже?

Умерла, да... Ей тоже приходилось туго.

Женщинам всегда приходится туго. Что же ты, рассказывай дальше.

Папочка, этот мальчик, сказала ты, принес паркет... Тсс! Тише! — старик повернулся ко мне, хотя неизвестно, видел ли он меня; лицо было дряблое и морщинистое, как гриб-трутовик, глаза лихорадочно горели; он требовал тишины, Ийя, этот старикан, а ведь я своими ушами слышал, как зверски он храпел: окна и те дрожали. Тише. Он уперся руками в матрац, сел. Прилетел, прилетел мой чернозобенький! Не забыл! Взгляните, что за клюв — чем не рыцарь! А крылья! Спортивный, исключительно спортивный голубь! Тсс! — Он принес паркет, этот мальчик, повторила ты; старик обернулся. А-а, паркет... Для Агниной спальни... пчхи!

Кто это — Агне?

Тетка твоя, неужели не знаешь... Тетушка Агне, с

---

[1] Музыкальное упражнение, сочинение сорок один *(итал.)*

которой твой папенька... профессор Вайсвидас... разве тебе неизвестно?

Да, мама умерла. Ей сделали операцию в Стокгольме, и она умерла, от рака.

В Стокгольме?

Да, там были знаменитые клиники. А поскольку от Таллина до Стокгольма примерно столько же, сколько от Агрыза до Казани... хотя в Казани я ни разу...

Это было в Каунасе, Ийя...

Рассказывай, рассказывай. Только не знаю я никакой Агне.

Нет, не отпирайся. Я, конечно, понимаю, что не большая радость иметь тетку, которая... которая по заграницам... Но, может, тебе неинтересно?

Говори, говори.

И буду! Все равно буду говорить, Ийя, — интересно тебе или нет. Я должен тебе рассказать про тебя. Если бы никто человеку не рассказывал о нем самом, он ничего бы о себе самом не узнал. Только через других людей, Ийя, узнаем мы себя.

Оригинально... хотя и не слишком. Мой папа говорил: человек может познать себя только через искусство. А искусство — это ад, говорил он. А если хочется рая, блаженства, литовец?

Ты ангел, Ийя. Ума не приложу, как ты очутилась в этом Агрызе...

Рассказывай дальше.

Дальше? Что же... Ad inferos![1] — воскликнул Вайсвидас, прямо-таки выкрикнул. Не надо мне вашего паркета! В преисподней никому не нужен паркет... кха!

О! Он мог себе позволить такое... мой папа... только он был в Таллине, и никакого паркета...

Давай-ка лучше послушай. В преисподней никому никакого паркета не нужно, проговорил профессор хриплым, клокочущим голосом; ни мне, ни Агне... ни самой госпоже президентше, кха! Да как швырнет прочь одеяло, которым он был прикрыт до пояса... зеленое, шахматно-пестрое одеяло... Папочка, не смей, тебе доктор не велел... Помнишь?.. Ты кинулась к нему, склонилась и... И ничего не стряслось — как будто совсем ничего, только я, дурной, увидел, какие у тебя белые ноги, Ийя, и я подумал, что ты, должно быть, никогда не ходила босиком... и никогда не бегала под дождем... Даже твое платье — белое в голубую крапинку — было без малейшего пятнышка, и этот пояс —

---

[1] В тартарары! *(лат.)*.

нигде таких не видал... Да еще голубая, тщательно выглаженная лента в волосах... Нет, нет, подумал я, никогда ты не бегала босиком по песку, по лугам и по грязи... вот почему такие белые икры... вот почему они подрагивают — они дрожали, Ийя! — как натянутая тетива... когда ты наклонилась к отцу и...

Бесстыдник! Смотреть на девушку, когда она наклоняется... Да еще если рядом ее больной отец... если в доме несчастье...

Может быть. Но я не вытерпел, Ийя. Может, не надо было так. Так смотреть. Такими глазами. Это было впервые, первый раз в моей жизни, Ийя. А может, и нет — я был глуп. Мне шел шестнадцатый год, Ийя.

Когда слишком юный человек начинает заглядываться на женские ноги...

Я не так... не такими глазами, Ийя! Просто раньше я и не представлял себе, что ноги могут быть такими... ну, белыми и нежными... и что... Девушки с Крантялиса тоже не уродины, и, может, ноги у них тоже... но мне как-то не было до них дела... а заглядываться на женские икры... такое мне и во сне... Еще чего...

Но ты смотрел!

Ведь это была ты, Ийя. Ты, Мета... Твои ноги. Это было...

Рассказывай, рассказывай.

Ты наклонилась, набросила на него одеяло, на этого щуплого, лысого старикана... Тот снова захрапел, разве что не так грозно, даже, пожалуй, жалобно... ты наклонилась и обняла его, точно младенца, подоткнула одеяло... А я стоял, держал в руках паркетные планки, и никто мне... ты даже не глянула в мою сторону, Ийя, а ведь мне так хотелось, чтобы ты посмотрела... чтобы мне не пялить глаза на твои белые, хрупкие ноги... чтобы...

Это отдает пошлятиной, литовец!

О, я не знал, что ты теперь в пансионе для благородных девиц...

Это теперь. Понимаешь — теперь. А тогда... В Таллине...

Пусть. Слушай дальше. Ты поднатужилась и попыталась перевернуть отца на другой бок, чтобы он так жутко не храпел, а он... Не вышло у тебя, Ийя... Как ни старалась, ничего не получалось — старик был нелегкий... Тогда я...

Наконец-то... ты поступил по-джентльменски, безусловно... осторожно опустил на пол паркетные планки и...

Я грохнул их, да так, что они разлетелись во все стороны! На Крантялисе могли слышать этот грохот — в пяти километрах отсюда! Я в самом деле кинулся на помощь, а ты... Нет, нет! — вот что ты крикнула, чем-то смертельно напуганная. Нет, нет, я сама... сама... И выставила вперед ладони — белые, хрупкие ладошки, — ты, Ийя; и тогда ты взглянула на меня. Взглянула — я зажмурился, словно ослепленный, потому что смотрела ты не как остальные девушки; казалось, ты как по писаному читаешь мои мысли — и не только те, что я хотел высказать, но и те, которые я скрывал, — то, что я думал о твоих ногах; я отвел глаза. Но и отвернувшись, я по-прежнему видел этот взгляд, от которого некуда было скрыться; он так и запечатлелся в моих собственных глазах, словно слепок, который по возвращении домой я получу, глянув в зеркало; да, это было чересчур. И лицо я видел — красивое, больше округлое, чем удлиненное, и скорее темное, чем светлое, — да, твое лицо было темнее волос, Ийя, трудно было тебя узнать; но это было прекрасное лицо, такого я в жизни своей не видал. Сама? — Спросил я, стараясь не смотреть на это лицо, не видеть глаз. Ты, барышня, сама? Если вам кажется, господа, что мои руки не должны прикасаться к холеным телесам... профессорским и профессорских дочек... если они только для этих чурок, планок... тогда наша фирма — примите уверения в совершеннейшем нашем почтении, господин профессор, мы надеемся, что наше плодотворное сотрудничество, при столь успешном начинании... Нет, нет, нет! Не то! Ты спугнешь их! Кого? Голубей — разве не ясно? Спортивных голубей! Ты распугаешь голубей, и папа... И потом, Агне. Она никому не позволяет... она...

Постой, постой! Что-то ты, литовец, путаешь... Говоришь, ты видел, как я играла... музицировала...

Играла? Возможно. Играла... Ну и что же? Не все ли равно, Ийя, где и когда я тебя увидел. Разве ты не играла? Не музицировала? Ведь и ты была счастлива, Ийя. Я это знаю. Ты любила, и ты была счастлива, а что лучше музыки передает радость и счастье?

Не все ли равно, Ийя? Ты была такая юная. Ты была веселая. Красивая и ласковая. Ты нравилась всем. И знала, что ты такая. Что всем нравишься. Знала, что ты счастлива. Разве важно, что ты была такая? Есть мгновения, которые длятся всю жизнь, а бывает и так, что вся жизнь не стоит единого мига. Лотерея? О, нет! Умение выбирать. И не все ли равно нам, когда это бы-

ло и все ли было именно так, как я тебе рассказываю...

Правда — все равно. Лучше ты поцелуй меня, литовец. Еще. И еще, еще! У тебя такие горячие губы, литовец. И лицо. И шея. И грудь. Это верно, что ты лежал голый — т о г д а... Что голым тебя видела она, та, другая женщина со свечой в руке? Какая она была — красивая? Не видел? Ты убежал, литовец, но ты совсем больной... и от тебя все еще разит тиной, будто тебя вытащили из реки...

Из реки? Пожалуй, что впрямь из реки; да, кажется, это так...

И ты все время бредишь, литовец ——————
————————

XIX

— Это ты? — послышался знакомый голос, и Глуоснис оглянулся.

— Это я, — ответил он в темноту.

— Еле нашла тебя...

Голос словно прокатился по железным балкам, подпиравшим не то лестницу, не то тьму, и оттого отдавал металлом; но он догадался, что это Соната.

Он не знал, что сказать, и поэтому молчал. Почему он убежал? Они танцевали, опять танцевали, потом... Эх, ничего потом не было — он подсел к студентам, те предложили пива, разговорились, заспорили: кто-то утверждал, что Губертасу Борисе было трудней, чем Матросову, — первый повесился на своих бинтах, испугавшись пыток, боясь выдать товарищей, в то время как второй закрыл своим телом амбразуру вражьего пулемета, чтобы его товарищи могли занять важную высоту; таким образом, первый принял роковое решение сознательно, у второго же эта мысль возникла внезапно, когда он увидел, что без этого шага не будет выполнено задание; долго готовиться к смерти безусловно трудней и мучительней, чем решиться вдруг; что по этому поводу думает Ауримас; он человек пишущий, к тому же на фронте... Но Ауримас, на которого они смотрели с любопытством, вдруг встал и, опустив голову, поплелся к буфету, а там попросил водки; студенты только плечами пожимали, глядя на это. И за столик он не вернулся, хотя они и ждали; там, возможно, уже забыли и о Губертасе, и о Матросове; заиграли танго. Музыка струилась в приоткрытую дверь, створка постукивала упруго, точно кровь в висках,

и словно напоминала, что где-то существует совсем другая жизнь, во имя которой пресловутый Ауримас Глуоснис остался в живых и пришел сюда, на танцы; там была Соната, которую он, говорят, выгнал с Крантялиса — когда болел; а сегодня встретил снова — невзначай, на танцах; там был... Мало ли кто там был — мало ли с кем, но еще больше было их здесь, с ним; он не думал, что это так трудно — забыть ту ночь, которая, как беспутная девка, лезла и тянулась к нему сквозь смутную завесу забвения, бесстыдно выставляя свою наготу, зазывно-отвратительно кривляясь; это была его, Ауримаса, ночь. И, однако, казалось, что не только он один, Глуоснис, но еще и Грикштас, шофер, Гарункштис (и здесь, опять-таки, Гарункштис!) — знают все о ней; и не только они — каждый встречный, все, кого видит Ауримас; и не просто о газете или о позоре в радиостудии, а в с е о б э т о й н о ч и; шел дождь, мокрый, блестящий рельс, вделанный в парапет, манил вниз, во мглу и туман, где, невидимая, плескалась вода; его тянуло туда, как теленка к ножу, — слепо, бессмысленно и безнадежно; брюки липли к мокрому камню, ноги почему-то вдруг обмякли; подошвами он ощущал воду — как в ушате, в далеком детстве; только та вода была жгуче-жаркая, а эта — ледяным-ледяна... потом он воздел руки; потом...

Еще порцию; пожалуйста, еще сто грамм, девушка, для *сугреву*; да, все никак не согреюсь после той ночи — холодно, холодно, совсем студено; уплатим, уплатим, сейчас же; осталась еще красненькая от стипендии, еще бабушка... ее-то я не видел, уже несколько дней, ведь на Крантялисе я не бывал; где ночую? У друзей, у сторожа, у... Как у Глуоснисов в именье мыши дохнут — пусть их; дохнут сами — и без кошек; премии, увы, мне не видать как своих ушей: там, в воде, премий не дают; в какой; в той самой; и гонораров там никаких, ничего; все осталось, матушка; где; там; где шел дождь — там; не понимаешь? И я не все понимаю, бабушка, — за что своих-то; Мике не пришел в радиостудию; а Шапкус вызвался помочь — красота; заговариваюсь? Нет уж, как говорится, в трезвом уме; я уже спалил; что? Бумаги сжег — все-превсе! Мне они больше ни к чему — эти "новеллы", эти "рассказы", эти байки; и мне, и остальным, а по такому случаю, как вы считаете...

Что страшнее: повеситься на собственных бинтах или грудью закрыть амбразуру? Не знаю, уважаемые коллеги, не пробовал, хотя, если рассудить, и то, и

другое — героизм; а этак вот в воду... да еще в подпитии... и... на фронте это называлось... Девушка, где же мои сто грамм? Пятьдесят? Спасибо. Спасибо... Добавка. На фронте это называлось добавка. Гаучас, бывало, все просит: добавки, добавки, я большой, мне добавки. Иногда давали, иногда нет. А мою норму ему отдавали — всегда... Молод еще, красоту испортишь. После войны киселем верну... Мне-то что, мне не жалко — я непьющий. И смотреть тошно. Да, я был очень положительный юноша. Я...

Дураки, дураки и еще раз дураки! Форменное дурачье! Меня — в третейские судьи! Меня, который... да, конечно, это героизм — может, даже самого высокого порядка героизм — так жить, в то время как все, кажется, знают и все показывают пальцами; не пальцами, так глазами, и не словами, так намеками; а если кто-то не знает... Если не знает, то почему спрашивает у него о том, чего он не понимает, — он ничего не может сказать, не имеет права, потому что... Он спешно выпил, поставил на буфет стопку и вышел, даже не глянув на столик, где, может быть, его еще ждали — третейского судью Глуосниса; голова снова пошла кругом — как и там, только не было дождя, и под ногами лежала сухая, крепко схваченная первым заморозком земля; на каждый шаг она отзывалась звоном, как те металлические перила — на голос; да он снова оперся на перила, и это от них исходил голос, в котором было нечто знакомое; его звали — Ауримас! — почему-то опять ночью, как это повелось в последнее время; но, может, это все-таки была...

— Ты не хочешь меня видеть? Совсем?

Соната. Она. Во что бы то ни стало, когда я меньше всего...

— Не в этом дело...

— Да что с тобой? Тебе плохо?

Не придирается. Не кричит. Хорошо. Голос даже жалобный. Не грозный. Не злой. Сколько времени вы не виделись? С той самой ночи. Говорят, она приходила на Крантялис. Говорят, я выгнал ее. Нехорошо. Говорят, я бредил и звал: Ийя, Ийя. Нехорошо. А вдруг хорошо? Какая разница. Потом.

— Плохо, — ответил он, еще крепче сжимая перила. — Мне очень плохо, Соната. Ты знаешь...

— Знаю. Не надо было пить.

— Может быть.

— Особенно водку. От водки тебе всегда плохо.

— Всегда.

— Кто тебя заставлял пить, Ауримас?

— Никто.

— Тогда зачем пил? Целый стакан водки! Ужас, ужас! Захожу в буфет, смотрю... Я чуть не умерла от стыда. Меня все знают.

— Слава богу!

— Что ты сказал? При чем тут...

— Радуюсь, что ты жива. Что не умерла.

— Ауримас, я слышала... это правда, что ты...

— Оставь меня, ладно? Мне так погано, Соната. Мне кажется, я опять его вижу. Вижу! Вижу!

— Ауримас, что ты? — испугалась Соната. В темноте глаза так и горят. — Кого ты видишь, Ауримас?

— Старика. Я вижу Старика.

— Старика?

— Старика. Уйди, уйди, Соната. Пожалуйста!

— Нет! Нет! Сегодня я не позволю. Ты не прогонишь меня. Не сможешь.

— Неужели я тебя...

— Ты не приходил домой, Ауримас. Я знаю.

— Опять бегала?

— Важно, что я это знаю. И еще знаю: если бы я не застала тебя здесь... И где же ты ночуешь, позволь спросить?

— Под небом, Соната. Под серым каунасским небом. Разве мало в городе друзей...

— Мике не видел тебя.

— О-о! Да ты и у него спрашивала?

— Я разыскивала тебя.

— Ну и ладно. Разыскала. Теперь можешь преспокойно удалиться.

— Ауримас! Ты...

— Я хочу быть один. Понимаешь? Совсем один. Я.

— Нет! Нет! Нет! Ни за что. Домой. Ко мне. Слышишь?

— Домой?.. А может, Соната, в самом деле... Старушенция моя небось уже...

— На Крантялис? Завтра, Ауримас. Сходим вместе.

— Вместе?

— А что, ты боишься? Тогда иди сам. Но сначала выспись и расскажи мне, где ты околачивался целую неделю... А тогда уже...

— А если я желаю сейчас... если...

— Ночью? Через мой труп, Ауримас, слышишь? Через труп набитой дуры Сонаты.

— Швегжда ведет практические... Такой славный патанатом. Так славно чикает по животу. Это назы-

вается вскрытие... Славное вскрытие по славной белой линии...

— Ауримас! Подумай, что ты говоришь! Надо и меру знать!

— А я по-научному!.. Кто-то, помнится, рассказывал... рассказывал, что... что... — он закашлялся и умолк, ощутив боль в груди — обычную физическую боль; кололо, как шилом; эта боль словно отрезвила его, вернув в реальный мир, от которого он как будто слегка отстранился; вдруг ему сделалось жаль ее, эту девушку, которая стояла рядом и пыталась оторвать его руки от железных перил, в которые он вцепился, точно прилип к ним; он медленно растянул губы в улыбке и зачем-то покачал головой; в груди снова кольнуло; Ауримас невольно застонал.

— Вдохни поглубже, — сказала Соната и придвинулась совсем близко; от нее пахло сиренью. — Говорят, помогает.

— Кто говорит? Швегжда?

— Нет, Даубарас. Он знает.

— Вполне возможно.

— Он рассказывал: когда спускался на парашюте, вдруг схватило сердце, но он сделал глубокий вдох, и...

— Видишь, как прекрасно. Помогает от всех болезней.

— Не язви. Он правда много знает, твой друг Даубарас.

— Мой? С чего это он — мой?

— А чей же еще! Разве не ты меня с ним познакомил?

— Он что, опять объявился?

— Опять.

— Будет у тебя новый папочка, Соната. В коричневой шляпе. Представитель.

— Дурак! Сколько можно пороть глупости!

— Товарищ Лейшис, думаю, не пляшет от восторга.

— Папа ничего не знает.

— О том, что Даубарас с твоей матушкой? Да ведь вся гостиница, по-моему...

— Он не в гостинице! Он уже на совещании во Дворце профсоюзов... А папа...

— Вот уж кто дурак так дурак!

— Ауримас! Он мой отец. И этого достаточно...

— И каждый кому-нибудь доводится отцом. Каждый мужчина.

— Ты, например, нет.

— Я? Недостоин, стало быть, такой чести. А может, рановато еще. Может, я еще когда-нибудь удостоюсь...

— Говори, говори.

— Нет уж, — Ауримас покачал головой. — В другой раз. Когда-нибудь. Не сегодня и не здесь, Соната. Будет случай поговорить.

— Что ж... — она склонила голову набок. — Я знаю: такие разговоры действуют тебе на нервы. И здесь, и не здесь, где угодно. И сегодня, и в другой раз... Пойдем-ка лучше домой. Домой, домой. И спать, только спать.

Она попыталась взять его под руку, но Ауримас упирался, по-прежнему цепко держась за перила, словно в них была вся его сила и стойкость; он вовсе не хотел уходить отсюда. Куда-то он пришел, где-то, пусть ненадолго, остановился, куда-то и от кого-то сбежал; все прочее в данный момент не имело для него никакого значения. Чего добивается от него эта настырная девица, и ведь преследовала от зала до самой лестницы; домой? Где же его дом? Крантялис? У Глуоснисов в именье мыши дохнут, Ауримас; и есть человек должен каждый день, милый мой; а от писаний твоих... В огонь, в огонь, в огонь — все, матушка, в огонь; собрала? Кинула? А теперь прощай. Когда приду? Когда снова сирень зацветет, бабуся. Когда-нибудь. Когда у тебя пройдет гнев. Гаучасу? Не надо. Не на фронт ухожу. Я вернусь. Когда... Домой? Нет. Нет еще. Не в такую темную ночь, когда... Не знаешь, с кем повстречаешься в потемках — может, с Жебрисом каким-нибудь; и этот спор: кто проявил больший героизм — Бориса или Матросов. Оба! Оба проявили героизм, потому что у обоих была цель, потому что... А он, Глуоснис? Как расценили бы мою смерть, если бы... Да кто бы стал ломать себе голову... Конец в грязной, просмердевшей всеми нечистотами города воде, в этой вязкой, вонючей жиже у старого города...

Он прямо-таки содрогнулся, вспомнив, какая это была вода, у набережной старого города, вызвав в памяти омерзительный смрад кожевенных мастерских, который мокрой, насквозь провонявшей тряпкой ударил сейчас прямо в лицо — когда он поскользнулся и ничком плюхнулся в реку; днем и ночью, не переставая, там — из труб — хлещет синяя, вязкая пена вперемешку с сизыми, искореженными клочьями кожи; от одного их вида передергивает, а если нюхнуть или шлепнуться туда лицом; от вони этой он, очевидно, тогда и протрезвел. И опомнился... и... покуда Гарункштис или Грикштас... а то и его шофер... пока они...

Он снова съежился, охваченный внезапным ознобом, — холодно; но это был иной холод — не такой, какой он ощутил в т у ночь; перебирая кости жесткими пальцами, этот холод забирался под рубашку — до самой поясницы, потом вернулся обратно, к горлу; Ауримас фыркнул, и довольно громко, к его собственному удивлению; потом поднял голову и, вытаращив глаза, вгляделся в ночь. Он трезв. Видите. Он в трезвом уме. Все прошло. Все в порядке. Теперь он обернулся к Сонате: здесь? Ты все еще здесь? Да, конечно. Ждет. Стоит и ждет, пока он опамятуется. Пока протрезвеет. Он трезв. Пошли.

Перед глазами замерцали звезды — мириады звезд; ночь была прохладная и ясная, льдистая ноябрьская ночь; ноги словно сами сошли по лестнице вниз, рука соскользнула по перилам — вниз, вниз; повеяло палой листвой. Забор. Деревья. Клены. Кладбище с татарской мечетью. Окна, забитые фанерой. Минарет. И над ним звезды, как на картинке, крупные, сухие ноябрьские звезды; скоро и дом. Дом, Дом. Очаг... Тепло...

И вновь он все видел и чувствовал, словно и не терял сознание и не блуждал мыслями своими вдалеке от себя самого, — и видел, быть может, еще более четко, чем прежде, и чувствовал, быть может, еще острей; и кинолента в прояснившемся внезапно воображении повторялась вновь и вновь — давно начавшийся фильм, у которого не было ни четкого начала, ни конца — длинная вереница томительно-серых видов; он опять увидел себя возвращающимся с фабрики — в тот вечер; он шел, и Сонаты не было; не было ни Ийи, ни Даубараса, ни Грикштаса — никого; лишь он и Старик, загородивший дорогу к реке; на Старике была красная рубашка лавочника Райлы, он поджидал в дальнем закоулке Крантялиса, где за высоким дощатым забором виднелась глинобитная лачуга с высокой белой трубой, из которой, однако, никогда не валил дым; Райла растопырил руки, между которыми с трудом размещалась широченная седая борода; волосы спутанными космами падали на уши, на шею и плечи, как у всех злодеев в страшных сказках, а рубаха — линялая, некогда красная — неряшливо нависала над заскорузлыми, скрученными, как старая, ссохшаяся береста, штанами; Ауримас кинулся прочь. Но Райла был проворнее и ухватил его за шиворот; пальцы впились в кожу; Ауримас завизжал, съежился. Когда, когда? — зашипел Старик, тыча ему в лицо засаленную книжицу; когда? Не знаю, не знаю, — отвечал Аури-

мас, корчась от боли; пустите меня! Не знаешь? А кто же тогда знает? — точно клещами, сжимал ему Райла затылок, этот Старик в красной линялой рубахе; неужто сам господь бог? Или господин судебный пристав? Не знаю, лепетал Ауримас, сопя от боли; отпусти, пусти меня... Пустить? Тебя-то? Ну не-ет, — он тыкал его носом в книжку, точно нашкодившего котенка; пусть мамка придет... Она не придет. Не придет? Скажи: Райла велел... скажи: колотье в спине... банки... Скажи: дам хлеба, селедки, керосина, соли... скажи... Не придет она, повторил Ауримас и словно обрадовался, что может смело бросить это ему в лицо; не придет? Моя мамка никогда больше не придет к тебе... Никогда? Никогда... отпустишь не отпустишь — все равно не придет... и никаких тебе вонючих банок... Ого!.. Мал ты еще, сопляк, о больших делах... Мал? Ну, не так чтобы очень. Она умерла. Умерла? Это ты брось... Говорю вам: мама умерла... а бабушка... Умерла? Господи-боженька, померла Глуосниха! Померла, чернявенькая! А долг мне — кто? Кто? Кто? Кто? А-а-а... Он так громко застонал, этот огромный бородач, что Ауримас не сразу сообразил, как ему быть, а когда спохватился, то сильным рывком высвободился из железных лапищ, молнией метнулся в сторону: вскинулся песок. Погоди! Куда? Куда? Куда? Куда? — закричал Райла таким жутким голосом, словно это его самого цапнули за шиворот и безжалостно душат — точно так же, как он сам душил Ауримаса; стой! Померла Глуосниха, но ты-то жив! Ты жив — тебе и платить! Раз жив, то плати... жив... Но Ауримаса и след простыл, не было его больше там, где изгородь забредает прямо в реку, где тянется ввысь чистейшей белизны труба, из которой не идет дым, и где, раскорячив на песке крупные белые ноги, стоял бородатый лавочник Райла; старик Райла; задыхаясь, хрипя, как затравленный пес, летел Ауримас к "имению" Глуоснисов, откуда лишь накануне, под протяжные причитания плакальщиц, люди вынесли желтый легкий гроб; всем телом ударился о дверь, кинулся к бабке и уткнулся лицом ей в колени. О, это были совсем другие колени — жесткие, широкие, острыми кремнями торчащие под грубой дерюгой юбки; и пальцы, которые гладили его по лицу, были совсем другие — костлявые, холодные пальцы; он быстро поднялся с пола, шмыгнул к себе в каморку и там рукавом отер слезы — —

Но перед его глазами по-прежнему стоял все тот же

Старик с бородой во всю грудь, широченной бородой, похожей на куст, в красной, неряшливо свисающей над штанами рубахе; с хищным захватом рук, пальцами-крючьями, готовыми в любой миг вцепиться, утащить, смять; он преследовал Ауримаса изо дня в день, крался за ним по пятам на фабрику и обратно — домой, хоть лавку Райлы Ауримас обходил за версту; иногда он являлся ночью. Старик подбирался тихо, не скрипнув дверью, останавливался в изножье кровати и без слов глядел на спящего Ауримаса (глаза отливали холодным лунным блеском): смотрел настырно, подкрадывался ближе и медленно тянулся к нему крупными белыми руками; пальцы вспыхивали как свечи; когда эти пальцы дотрагивались до шеи, Ауримас вскрикивал, и Старик исчезал; шея делалась мокрой. Потом Старик исчез окончательно — тот красный, с дикой бородой, и вместо него появился другой — без бороды и в пижаме, лысый, морщинистый и, возможно, не такой злой; он лежал на широком зеленом диване в дальнем углу большой, заваленной книгами комнаты, в закутке за книжными полками, и нестерпимо храпел, пугая теснившихся за окном голубей; птицы запрокидывали головки и слушали — удивленные, как и Ауримас; так, должно быть, хрипят перед смертью; а девушка, белая девушка с белыми волосами, в белом платье, по которому сеялись мелкие голубые крапинки, девушка, которая в замешательстве смотрела на него, пятнадцатилетнего парнишку с охапкой паркетных планок, — то не была Соната — —

То не была ты, Соната, ведь ты, думается мне, в ту пору бегала еще в очень коротком платьице — где-нибудь в Плунге или Расейняй, и вздернутый твой носик частенько похлюпывал, как у всех малышек; хотя девушка, которая открыла мне дверь, тоже была юная, стройная и, может быть, чуточку смахивала на тебя — позднейшую, когда мы с тобой познакомились; ей было от силы лет шестнадцать — будет и мне, — но казалась она более взрослой, зрелой, искушенной. Еще бы! Дочь профессора Вайсвидаса, как-никак могла повидать мир: говорят, ее папаша изъездил вдоль и поперек весь шар земной — даром что мал, плюгав, дряхловат; повидал и Монблан, и Эверест, норвежские фьорды и Патагонию, так называемую Огненную Землю; что-что, а про путешествия Ауримас читал; неужели этот старикашка всюду побывал? И девушка эта — его дочка? Папочка, нельзя, тебе доктор... папочка... — подскочила она к старику, схватила одеяло (зеленое, как

оперенье попугая, но пестрое, точно шахматная доска) и набросила на диван — на маленького лысого старичка... Старик захрапел снова... она попыталась его повернуть... И ничего как будто не произошло, ничего, Соната, совсем ничего — просто я увидел, какие белые икры у этой девушки. И она это знала — что у нее такие белые ноги... что они красивы и подрагивают, как тетива лука, что... уже знала... Нет, нет! — крикнула она, когда я грохнул свои планки и кинулся ей на помощь; так испуганно крикнула; глаза черные и шустрые, как у белки, и смотрят не так, как у остальных девушек, — это я сразу понял; они сверлили меня насквозь и — против моей воли — читали в моих мыслях, точно по раскрытой книге; взгляд этот так и остался в моих глазах, точно соринка на всю жизнь; я сама... сама! И выставила перед собой ладони как щиты: сама... Что ж, наша фирма... примите уверения... надеемся, что сотрудничество... то есть: наше плодотворное сотрудничество при столь успешном начинании...

Тут он вдруг почувствовал, что думает о Мете, — идет с Сонатой, а думает о Мете; он понял это и устыдился, словно кто-то подслушал его мысли; он даже повернулся к Сонате, будто желая убедиться, в точности ли это она; да, она самая.

— Молчи, молчи, — проговорила она. — Пожалуйста, помолчи.

— Почему, Соната?

— Потому что ты всю дорогу молчишь. В тот раз выгнал, теперь молчишь. Почему ты все время молчишь, Ауримас?

— Наверное, сказать нечего.

— Все высказал?

— Нечем тебя развеселить.

— Это, пожалуй, верно.

Она умолкла и снова взглянула на Ауримаса; потом зачем-то взяла его за локоть и слегка пожала.

— Знаешь что, — сказала она негромко, — мне пришла в голову странная мысль. Вот если бы Даубарас победил папу... если он и мама...

— Ничуть не странно, — отвечал Ауримас, высвобождая локоть.—Вполне возможный вариант игры, Соната.

— Тебе все — игра.

— Нет, пожалуй, не все, — сказал он. — А тебе самой никогда не хочется побывать на ее месте?

— То есть как это?

— Очень просто. Даубарас ведь не какой-нибудь старец... очень даже ничего, как ты говоришь... А к то-

му же, добавим, он еще и не простой смертный, а как-никак...

— Ну и чушь! — она пожала плечами. — Ох, какой ты еще у нас глупенький, Ауримас! Обо всем ты подумал, только не обо мне. Об этом ты никогда не задумываешься, а ведь и я стою, чтобы обо мне хоть чуточку...

— Знаешь что! Если человек будет думать еще и об этом — о чем ему думать и о чем не думать, то и с ума сойти недолго, Соната.

— Ты не сойдешь. Не бойся. Если будешь думать обо мне. От этого — не сойдешь.

Она печально улыбнулась и свернула направо; лестница кончилась. И желание говорить тоже. Они шли вниз по улице Альтов — мимо желтых и розовых, а сейчас, ночью, одинаково серых коттеджей английского типа, которые в ту пору строила себе каунасская знать; где-то здесь, неподалеку, жила до войны и Мета — может быть, до войны, потому что... Он опять поймал себя на том, что думает о Мете, и сразу покосился на Сонату, которая шла, чуть опережая его; и она думала о чем-то неведомом для Ауримаса, и это как бы вернуло его к нынешним временам; он не любил, когда Соната так отмалчивалась и думала что-то свое, потайное; такую Сонату он совсем не знал. Фильм кончился, этот добротно отснятый и прокрученный ролик о прошлом, и Ауримас ощутил прохладную ночь, которая обволакивала их, ощутил поступь собственных ног, которые гулко стукали о щербатый, растрескавшийся тротуар; шаги звучали словно призыв судьбы, уводившей его отсюда куда-то вдаль; куда же, куда? Ауримас вспомнил их разговор там, на горе, и ему вдруг стало жаль эту девушку, с которой судьба свела его однажды, на комсомольском собрании; что ни говори, а с Сонатой можно бы обойтись и повежливей. Ведь это не так уж и трудно, а девушки так ценят чуткость. А женщины? Мета? Женщины, безусловно, тоже; Мета... Что за Мета? Опять, ну, опять! — он насупился и промямлил нечто невразумительное — насчет танцев, зала, музыки; Соната ответила; они вышли к аллее.

— В гостиницу? — спросил Ауримас. — Проводить тебя до гостиницы?

Соната покачала головой.

— Нет, — ответила она. — Домой. Я спать хочу.

"Домой? Спать? А мне куда податься?" — мысленно возразил Ауримас. Но ни слова не произнес, а покорно

пошел дальше; они свернули на улицу Донелайтиса, приблизились к изящному трехэтажному дому, вполне современному на вид... Тут они остановились и как по уговору посмотрели друг на друга.

— Тогда... — он протянул руку. — Тогда прощайте, барышня. Спокойных снов.

— Нет, нет, никуда ты не уйдешь! — пылко возразила Соната. — Ты пойдешь со мной. Слышишь?

— Что ты, Соната... твоя маменька... и горячо любимый папенька...

— Они в гостинице.

— Тем более... сболтнет кто-нибудь.... и честный облик прелестной Сонаты... доброе имя...

— Ты пойдешь со мной.

Он дернул плечами и, ни слова больше не произнеся, последовал за ней по темной лестнице наверх; Соната отперла дверь ключом. Ауримасу показалось, что она очень спешит, будто опасается, что он передумает и сбежит; так торопятся люди, которых преследует дурное предчувствие; предчувствие — неужели? Говорят, у женщин оно чрезвычайно развито, не то что у мужчин, хотя Ауримас не очень-то этому верил — скорее всего, поспешность эта попахивала самым обыкновенным недоверием: кто его знает, этого Глуосниса, и по залам за ним гоняйся, и по улицам; Соната, можно надеяться, была уже спокойна насчет того, что он никогда... уже никогда... Он потупился и досадливо поморщился, словно снова уловил отвратительный смрад дубильных мастерских, который он был не в силах забыть вот уже две или три недели подряд, — ни время, ни водка не в силах были его заглушить, ни... Спешит, она спешит, румяная Соната; дыхание и то участилось, да, дышит она прерывисто, затрудненно, точно внезапно остановленный бегун; эх, и куда ему бежать? Ведь некуда, вовсе некуда, сударыня, Ауримас это прекрасно знает; это бегство в никуда, ибо никуда он не торопился — а лишь одна Соната...

— Спать, спать... — повторила она как-то особенно тихо, над самым ухом у Ауримаса, — прошелестела. — Потому что если я тебе хоть чуточку нужна...

Он молчал, будто вовсе не слышал этих слов; медлил в темноте на лестничной площадке — одна нога выше, другая на ступеньку выше — и молчал, не отдавая себе отчета, почему он молчит; ведь прежде он как будто ничуть... Но прежде Соната не обнаруживала такой поспешности, такой лихорадки, да и Ауримас — прежде — —

XX

...Ты рабочий?

Да. Это — плохо?

Я этого не сказал. Хорошо. Мета говорит, зимой ты учишься в гимназии, а на летних каникулах...

Вы меня вызывали? Насчет паркета?

Ты поможешь мне смастерить домик. Для голубей.

Для голубей?

Вот именно. Или — не сумеешь?

Не знаю. Не доводилось. А зачем вам голуби? Профессору?

Это мои друзья, юноша. Самые верные друзья. А то и единственные. Когда я хворал, парочка голубей каждый день прилетала ко мне на окно... такая славная парочка... и не городские, не домашние, а вяхири... columba palumbus, представляешь? Columba mea amicorum melior amica est[1] — слыхал? Да откуда тебе...

У меня никогда не было голубей.

Никогда?

Никогда.

Тогда, может... хочешь?

Что вы, бабуня моя и за версту... их и корми, и...

Тогда давай возьмемся за дело... вот топор, пила, вот гвозди... Только начистоту — получится?

Клетка? Голубятня? Должна получиться. Мы с дядей Гаучасом и не такое... когда надо... лавку или стол... Конечно, главный — дядя Гаучас, а я... подхватить, подержать.

Дядя у тебя, видать, на все руки...

А то как же... Если, говорит, бедный да без рук, у него и пятница никогда не кончится...

Да, не лыком шит... Стало быть, работаешь и учишься, так?

Что поделаешь. Голодранцу не до танцу. Это тоже присловье дяденьки Гаучаса. Каждый должен для себя стараться.

Гм... крутой, однако, парнюга. Истинно литовский нрав. Или забор в щепки, или лоб в черепки. Середины никакой... Видно, нелегко тебе приходится, друг мой.

Как вам сказать... Ducunt volentem fata, nolentem trahunt[2].

---

[1] Моя голубка — друг лучший из друзей *(лат.)*.

[2] Желающего судьба ведет, сопротивляющегося же тащит *(лат.)*

Что я слышу? Ты — по-латински? Стоиков?

У нас в гимназии учат латынь.

В гимназии? Учат? У вас в гимназии латынь... Гм, моя Мета тоже ходит в гимназию, но что касается латыни...

ОТРЯД. ГОЛУБИ. Columbae. (Columbiformes, Gyrantes) — птицы с пепельным, дымчатым, белым, бурым и пр. опереньем, большим зобом; голубь (Columba), голубь домашний (Columba domestica), дикий, вяхирь, витютень (Columba palumbus), клинтух (Columba oenas), голубь сизый (Columba livia), горлица (Streptopelia turtur), странствующий голубь (Ectopistes migratorius), горлица малая (Streptopelia senegalensis), голубь зеленый (Sphenurus sieboldi) и др. Отряд голубей подразделяется на два семейства, из которых лишь одно обитает в Европе. Всего голубей насчитывается едва ли не 292 вида и распространены они повсеместно на земном шаре, за исключением полюсов, где их обитанию препятствуют климатические условия и отсутствие корма. Наиболее широко распространены голуби в тропических областях, особенно на африканском континенте. В Европе их обитает пять родов. Голуби бывают разной величины — от воробья до крупного петуха. Особенно внушительным ростом и весом отличался странствующий голубь (Ectopistes migratorius), в изобилии водившийся в Северной Америке и вымерший в недавние исторические времена; увесистыми и жирными были и дронты (Raphidae), неуклюжие, как откормленные каплуны; дронты, обитавшие на островах Маскаренского архипелага, были истреблены мореплавателями и переселенцами, последний представитель этого семейства был встречен на острове Маврикии в XVII веке.

Домашние голуби происходят от сизого голубя (Columba livia) и вяхиря (Columba palumbus). Любители птиц разводят в наших городах и селах главным образом голубей декоративных пород: капуцинов, дутышей, космачей, турманов; особенно распространены у нас так называемые тюрингские белоголовые. Охотно разводят и гонных голубей, иначе именуемых мотыльками, малышами, клайпедскими высоколетными. В связи с этим любопытно отметить, что последние (клайпедские высоколетные) — порода литовская, чрезвычайно выносливая и живучая. Голуби, как мы

узнаем далее, широко используются как почтовые (иногда, увы, в военных целях) и мясные. Почтовых голубей в Литве до смешного мало, они залетают к нам, как правило, из Германии, Польши и еще более удаленных стран; недавно, если не ошибаюсь, один "почтарь" вертелся у меня на карнизе. В городах распространены преимущественно домашние голуби (Columba domestica), численность которых по мере развития нашей цивилизации заметно идет на убыль. (Возможно, они, бедняжки, чуют войну — как и человек; так, говорят, накануне крестовых походов голуби снялись с места и навсегда покинули древний Иерусалим, где прежде водились в изобилии.)

Голуби упоминаются в литовских народных песнях, сказках, пословицах. То не звал меня родный батюшка, ворковал сизарь во зеленом бору JV 830. Два голубка из лужи испили, в лад заговорили Bs 0116. Мы с тобою заживем, точно пара голубков JV 598. В представлении литовца голубь — это ласка, любовь, нежная забота, дружба, миролюбие в семье. В старину литовцы верили, что голубь приносит счастье, а если голубя изгнать из усадьбы или разорить гнездо — быть беде. Грехом считалось подстрелить голубя, а употреблять его мясо в пищу, по обычаям нашего края, дозволялось только больным.

От прочих пернатых голуби отличаются и характерным "голосом" — низким по тембру, стенающим, гудящим, воркующим. Как сообщает проф. Т. Иванаускас (см. его книгу "Птицы Литвы", т. I, с. 147, 1938 г.), голубь вяхирь (Columba palumbus, эст. meigas, латышск. lietais balodis, польск. grywacz, нем. Ringeltaube) насчитывает пять или более подвидов; быстро выдает свое местопребывание благодаря характерному воркованию. Подыскав пригодное для устройства гнезда место, парочка вяхирей долгими часами просиживает на верхних ветвях деревьев (преимущественно елей), а самец ведет свою брачную песнь, напоминающую воркование клинтуха, или токование тетерева. По мнению проф. Т. Иванаускаса, это бывает ряд булькающих звуков, состоящий большей частью из 16 четких слогов с отчетливым упором на последнем слоге. В нашем фольклоре бытует фраза, якобы имитирующая брачную песнь вяхиря: "Мартын-сынок, дай стрельну. В кого? В красну девку, бух". Время от времени между двумя воркованиями самец будто бы внезапно срывается вниз, затем описывает круг над деревом, затем, всплеснув несколько раз крыльями,

горделиво их расправляет и, чуть покачиваясь, планирует к самке.

Привязанность этих птиц-однолюбов друг к другу вошла в пословицу. Голуби всегда неразлучны, ласково сидят рядышком, а нежные их чувства зачастую выражаются в почесывании друг друга клювами (отсюда традиционное представление о целующихся голубях). Особенно трогательны в своей нежности горлицы (Streptopelia turtur, эст. turteltuvi, латышск. ubele, польск. turkawka, нем. Turteltaube). Известны четыре подвида. Номинальный европейский подвид S. t. turtur L. Обоюдная привязанность голубей выражается еще и в том —

XXI

Она так быстро отперла дверь — я и глазом не успел моргнуть, не только подумать, хорошо это или плохо, что я иду к Сонате ночью; во всяком случае, это было лучше, чем ломиться к кому-нибудь из товарищей (было уже изрядно за полночь) или к сторожу при доме писателей близ татарской мечети; идти на Крантялис не хотелось, да и боязно было; ноги подкашивались от непонятной, внезапно одолевшей усталости. Все окружающее снова утратило смысл и цвет, и я находился в кромешной тьме, затравленный, точно изгой, а она тем временем вставила ключ в скважину, потом широко распахнула дверь; остановилась за порогом, протянула руку, придерживая дверь (это должно было выглядеть очаровательно — Соната с простертой рукой), и нетерпеливо ожидала, когда я шагну следом; мне хорошо было слышно ее частое, прерывистое дыхание, будто за ней гнались по пятам; глаза зелеными огоньками мерцали в темноте; это была совсем не известная мне Соната, и я побаивался ее — такой; меня испугала ее поспешность и то, как она бросилась мне на шею, едва лишь я вошел за ней; жаркие руки цепко держали меня.

— Устала...

Я не ответил ей, а тоже поднял руки и обнял ее; судя по всему, полагалось ее поцеловать; говорю — полагалось, потому что я никак не мог понять этой небывалой поспешности, и еще — я боялся темноты, которая окружала нас, боялся Сонаты; мне даже послышался какой-то шорох, вспыхнул свет. Я сразу

убрал руки с ее плеч и невольно, точно застигнутый с поличным, попятился к двери; Соната отважно схватила меня за кисть руки.

Появилась Лейшене. Кутаясь в зеленый халат тонкой шерсти, она вынырнула из комнаты, раздвинув широкую стеклянную дверь, обдавая нас тонким запахом хороших духов; я узнал этот запах — иногда так душилась и Соната; Лейшене пытливо глянула на нас обоих и остановилась, держась рукой за дверной косяк, точно так же, как только что стояла Соната, но Соната это сделала, чтобы я поскорее вошел в дом, а Лейшене, пожалуй, как раз наоборот; она тоже спешила — прикрыть дверь; ее лицо выглядело слегка испуганным, но в то же время и похорошевшим, совсем юным — как у Сонаты; слегка встрепанные, блестящие прядки волос, упавшие на высокий гладкий лоб, еще больше оживляли и молодили это лицо. Она стояла с вытянутой рукой и с нескрываемым изумлением глядела на нас; взгляд ее был чуть затуманен — видимо, Лейшене прикидывала, что бы такое сказать; обычные слова здесь были как бы неуместны. И неуместными они были потому, что Соната вперила в нее тоже вопрошающий взгляд, в котором были не только удивление и отвага, но и откровенная, не виданная прежде дерзость — такой она показалась мне гораздо старше, чем была на самом деле, и держалась она, точно между нею и матерью не было никакой дистанции; она и глядела, казалось, не столько на свою мамашу, которая все еще подыскивала слова, сколько на разомкнутые створки платяного шкафа в освещенном резким электрическим светом коридоре; там висел...

— Соната, у нас гости, — наконец проговорила Лейшене, выдержав упорный взгляд дочери. — Будь умницей и веди себя прилично.

— Гости? — Соната выпустила мою руку. — Что же это за гости, мамочка?

Она держалась вполне спокойно, но голос ее дрожал и звучал чересчур громко и звонко; таким тоном с матерью она разговаривала, должно быть, впервые; я прятал глаза. Но и не глядя я видел его — человека, который находился там, в комнатах; мне даже послышалось покашливание — он не скрывался; и, по-моему, Соната видела его, хотя и спрашивала: что за гости; ее голос дрожал; Лейшене улыбнулась печально-понимающе.

— Сама увидишь, — сказала она. — Высокопоставленные... А вы почему не в гостиницу? — нахмурилась

она; это ей не шло; нимало не смущаясь, она кивнула в мою сторону. — Разве я тебе не говорила, Соната: если Ауримас иногда опаздывает на автобус... в гостинице всегда...

— А почему они... твои гости... не там?

— Потому что это мои гости, Соната.

— И ты принимаешь их в халате?

Однако! Я втянул голову в плечи и невольно подался назад, к лестничной площадке; не следовало мне идти сюда, определенно; сегодня от Сонаты можно услышать все, что угодно, — чего не услышишь никогда; впрочем, едва ли поспешность ее объяснялась тем, что она хотела во что бы то ни стало застукать здесь свою мамашу в обществе высокопоставленного владельца коричневой шляпы и кожаного пальто; скорее — наоборот.

— И... откуда же вы? — спросила Лейшене, пропуская мимо ушей вопрос дочери; голос ее обрел прежнюю строгость и властность, как это бывало всегда, когда она собиралась закончить одну тему и перейти к другой; она даже слегка тряхнула своими ниспадавшими на лоб кудряшками, словно давая понять, что минута замешательства прошла и нам с Сонатой пора знать свое место. — Мы как будто уговаривались...

— Ну, задержались... мы, мамочка...

— В твои годы, Соната... серьезной девушке...

— Но ведь мы шли домой, мамуля. И пришли. Не куда-нибудь — домой.

— Домой?

— Ну, конечно... куда же еще? Ведь это, кажется, наша квартира. Тут живет наша семья... не в гостинице...

— Домой? — переспросила Лейшене и покосилась на меня; видимо, на Сонату ей смотреть было трудновато, хотя слова относились именно к дочери, а вовсе не ко мне. — Домой?.. Но, милая моя... там, в гостинице... насколько мне помнится... там твои книги и все... мы уговаривались...

— Нет, мамочка, не все, — и тоже взглянула на меня. — Там нет тебя.

— Меня?

— Нам надо с тобой поговорить, мама. Нам — мне и Ауримасу.

— Обоим?

— Обоим. Чему ты удивляешься? Обоим.

Я был потрясен — поговорить; нам надо с тобой поговорить; при чем здесь я? Выручила сама Лейшене; она покачала головой.

— Сейчас? — изумилась она. — Ночью, в полвторого? — Для убедительности она отняла руку от дверного косяка и посмотрела на миниатюрные золотые часики. — Поздновато вспомнили обо мне. Особенно ты, доченька.

— Нам надо поговорить.

— Я же сказала: у нас гости. Поговорим завтра. Завтра, Соната. А сегодня...

Она замолчала, подождала, пока мы снимем плащи, — я повесил свой в шкаф, а Соната — на стену; она словно не хотела вешать свою одежду рядом с этой коричневой шляпой.

— Только будь вежливой, — Лейшене снова повернулась к нам, отчего-то к нам обоим. — Прошу тебя, Соната, будь вежливой.

Та ничего не ответила, повела плечами и распахнула дверь в гостиную; вслед за Сонатой шагнул в комнату и я.

Я уже знал, кто находится там, за раздвижной дверью матового стекла, которая пропустила нас с Сонатой в гостиную; мысленно я уже почти свыкся с этим лирическим дуэтом — Лейшене и Даубарас, свыкся, хотя мне еще не доводилось ни разу видеть их вдвоем; видеть не доводилось, но зато я все о них обоих знал — по крайней мере, мне представлялось, что все знал, причем знал от Сонаты; последнее время она все чаще докладывала о "госте из Вильнюса", о Даубарасе, который нежданно-негаданно встал между ее мамашей и румяным папой Лейшисом, щеголявшим ученым словечком "плеврит" (один знакомый доктор, вы только себе представьте, всерьез опасается, что у него, Лейшиса, оный плеврит в наличии) и вынужденным, знаете ли, лечиться от этой болезни пивом и свежими яйцами, а то и медовой настойкой на спирту; вы же понимаете, взяться за какую-нибудь более-менее сложную работу он... Однако Лейшиса здесь и духа не было (то ли он продолжал лечение в Ирусином буфете или в директорском номере, то ли, расслабив члены, закутанный в казенное одеяло, преспокойно похрапывал), а на диване у стола сидел, развалясь, Даубарас и посасывал папиросу; на столе стояла бутылка вина, рядом — зеленовато-прозрачные бокалы. Даубарас был без пиджака, ворот рубашки расстегнут (освобожденный узел галстука небрежно сбился набок); он сидел, бесцеремонно заложив ногу на ногу, откинувшись на спинку дивана; непохоже было, чтобы наше появление как-нибудь смутило его. "Как рыба в воде", — поду-

мал я и кивнул ему издали. Соната покраснела и отвернулась.

— Наконец-то явились! — Даубарас величественно поднялся с дивана и с папиросой в руке выступил нам навстречу. — А мы уж заждались.

— Вы? — Соната сверкнула зелеными огоньками глаз. — Кто это — вы?

— Мы с товарищем директором, Соната. С твоей мамой. А ждали тебя и Ауримаса, и, надо признаться, ждали довольно долго, — он выразительно посмотрел на бутылку и бокалы.

— Я уже побранила их.

— Не за то, мамочка.

— А за что же?.. За то, что вы среди ночи... вдвоем...

— За то, что мы пришли не в гостиницу... А ведь в гостинице тоже можно в одной постели... при желании, мамочка... если...

— Соната! Я тебя не узнаю!

— И я тебя тоже, мамочка.

— Какой кошмар, Соната!

— И я так думаю...

Стало тихо, так тихо, что можно было расслышать дыхание обеих: глубокое, сдерживаемое — у Лейшене, и быстрое, прерывистое — у Сонаты; она и тут спешила — высказать матери все, что думает о ней и о Даубарасе, немедленно, пока он, этот Даубарас, здесь; такое у меня создалось впечатление. И Даубарас молча смотрел на Сонату несколько удивленными карими глазами, а во взгляде этом не было ни малейшего осуждения, скорее, там было просто любопытство; это мне не понравилось. Первой заговорила Лейшене.

— Это тебе так просто не сойдет, доченька, — она произнесла это негромко, слегка опечаленно. — Придется тебе извиниться. Перед всеми нами.

— Прошу прощения, — Соната жеманно присела в реверансе перед Даубарасом.

— Ну, я-то... — развел тот руками.

— И уйти, — Лейшене топнула ногой.

Голос ее, право же, не сулил ничего доброго, как и дрожащие, сцепленные на груди пальцы; я шагнул назад.

— Подожди, — Соната дернула меня за рукав. — Один ты никуда... если так, то вместе...

— Вместе? — Лейшене вытаращила глаза.

— Если так, мамочка... — отвечала Соната. — Но только скажи мне, куда же я в таком случае должна...

— Туда, откуда пришла. Где была до полуночи...

— Там уже закрыто, мамочка, — Соната вздохнула и быстрым взглядом окинула стол. Потом усмехнулась, запрокинула голову и возвела очи к потолку; она хихикала, словно ее щекотали; мне сделалось не по себе от этого смеха.

— Что ж, Ауримас, — повернулась она ко мне, — повезло нам с тобой... Кутить так кутить... и мы не лыком шиты... — она кивнула в ту сторону, где красовались на столе изящные бокалы прозрачного зеленоватого стекла.

— Ты так считаешь? — я подался вперед.

— Сегодня — да! В честь такого выдающегося случая.

Она подошла к столу, взяла бутылку и наполнила два бокала; один придвинула мне, другой взяла сама; можно было подумать, что она умышленно делает все не так, как всегда, что старается досадить матери или просто показать, что она взрослая, самостоятельная и ей нет дела до того, кто да как к ней относится; это отчасти смахивало на представление на тему "отцы и дети"; я же, увы, был в нем всего-навсего статистом; глаза Сонаты горели все тем же блеском, который я заметил в коридоре, едва лишь зажегся свет; да, это была совершенно новая Соната, и она, пожалуй, нравилась мне еще больше, чем та, прежняя; будь здоров, Ауримас!

— Ваше здоровье!

Это был голос Даубараса; он тоже держал бокал с вином (и когда только успел налить?), а обращался он к Лейшене, которая стояла поодаль, смущенная и багровая, и сердито кусала губы; хозяйка резко тряхнула головой.

— Нет так нет, — примирительно отвечал Даубарас, протянул руку и чокнулся с Сонатой. — Глоток доброго вермута никогда и никому не повредит. Это не водка и тем более не спирт, — покачал он головой. — От спирта человек иной раз такого накуролесит, что только держись, ну, а от винца... Итак, друзья мои, пока вы там отплясывали свои фоксы, мы с товарищем директором обсудили уйму важных дел. Намечается в городе Каунасе большая конференция, а разместить делегатов... триста коек, триста подушек... одеял, полотенец... простынь и прочего...

Он был в превосходном расположении духа — этот человек в рубашке с расстегнутым воротом, с широкими гусарскими плечами (эти плечи всегда нравились мне; помнится, иногда, стоя перед зеркалом, я сравнивал их со своими, и, увы, это было, как правило,

не в мою пользу, такие плечи были моей затаенной мечтой), — или делал вид, что настроение у него хоть куда, — товарищ из центра с могучей грудной клеткой; он наполняет бокалы и не спешит надевать пиджак, а ведь в комнате вовсе не так жарко; и пиджака этого почему-то вовсе не видать; в коридоре? Зато здесь же, накрывая чуть ли не половину дивана, распласталась во весь разворот газета, рядом валяется книга; читал? Оба читали? Впотьмах? Сомнительная читальня, подумалось мне, и тут же я злорадно, сам не знаю почему, вообразил их перед собой рядом, обоих — Лейшиса и Даубараса; выходит, мне не все равно; и почему он так нагло разглядывает Сонату, точно товар, собственность; и вообще, зачем он сюда приперся? Я подступил ближе к столу и потянулся за бутылкой, которую Даубарас только что поставил на место; Соната схватила меня за руку.

— Больше не смей, — строго сказала она и встала между мной и Даубарасом. — Хватит.

— Почему?

— Хватит, и все.

— Но я как будто еще... вовсе...

— А как же я... ну...

Даубарас переглянулся с хозяйкой, но та лишь нахмурилась и осторожно кашлянула в кулак; на лбу подпрыгнули жесткие завитки.

— Что ж, нет так нет ... — обреченно повторил Даубарас печальным голосом. — Повинуемся дамам, Аурималс. Желание женщины для нас закон. Так говорили рыцари. Хотя это несколько идет вразрез с философией стоиков.

— Интересно, что сказала бы Ева...

— Что? Ну, милый друг, ты не очень-то... Шутки шутить можно даже после полуночи, но все-таки...

— Кому шутки, а кому...

— Шутить, милый друг, можно, да не всем... — Лицо у Даубараса сделалось строгое, он взглянул на меня — точно так же, как и в тот раз, у Меты (ах, вы еще не знаете, сейчас расскажу). — И не всюду шутки уместны... и смотря какие шутки... Если мужчины начнут выбалтывать все, что друг о друге знают или слышали краем уха... трясти свое грязное белье в присутствии... наши уважаемые дамы, по-моему...

— Будут разочарованы? Сомневаюсь! А вдруг им как раз... нашим уважаемым дамам...

— Повторяю, — Даубарас медленно опустил на стол бокал, который все это время держал за тонкую, изящ-

ную ножку, — если мы начнем ворошить... да все выкладывать... то и тебе... У меня есть основания полагать...

— Мне? — вымолвил я, хотя намек понял. — Мне-то что? Пожалуйста, сколько угодно. Пусть даже и после полуночи!

Ишь ты! Нет, не боялся я сегодня Даубараса, ничуточки не боялся, хоть он и смотрел на меня, как когда-то смотрел на мальчишку с сумкой, набитой газетами, на хилого недомерка, с которым (о, радость!) согласился сыграть два сета в пинг-понг; как на парнишку, который мастерил профессору голубятню; и говорил он все тем же, пусть ровным, но не допускающим ни малейшего возражения тоном, который всегда гнетуще действовал на меня; такой вот — в рубашке с расстегнутым воротом — Даубарас был мне ничуть не страшен, хотя — нечего греха таить — намек я понял, да еще как; з н а е т? Ну и что же? Ну и что же, Даубарас, если ты з н а е ш ь, если... и я кое-что знаю — кое-что весьма для тебя неприятное, и все же...

— Даже после полуночи, — повторил я и взглянул на него; Даубарас снова что-то произнес — насчет вежливости и мужского самообладания, но я не прислушивался; и спорить с ним больше не хотелось, ничуть; что-то во мне уже перегорело — после т о й ночи — и дотла сожгло все былое — все-превсе, с Даубарасом, с Евой, с — —

XXII

...Стоик? Это и есть ваш стоик, Мета? Мы с ним знакомы. Довелось беседовать, как же... Ну, давай лапу, дружище. Давно не видал тебя за пинг-понгом. Ого, да ты вроде даже подрос за это время!..

Ты бы только послушал, Казис, как он философствует с папой!

С господином профессором? Надо полагать — о голубях. О чем больше?

Например, о прибавочной стоимости и...

Что я слышу! Ты о чем это, а? Тоже мне...

О Марксе — вот о чем! О "Капитале" и Парижской коммуне. И еще о...

Ну, брат, в твои годы и такая прыть...

Какая прыть?..

Такая...

Ну, ну, нашла коса на камень! Казис, пей кофе! И

ты, пожалуйста, тоже, Ауримас... Приду как-нибудь взглянуть на твою работу. И на этих самых голубей. Когда не будет тети Агне.

А при чем тут Агне? Если кто-то любит пернатых...

Она не любит, Ауримас. Она никого не любит.

А ты, Мета? Любишь кого?

Ого! Уважаемый... такой вопрос по меньшей мере...

Я-то, Аурис? Я?

Да, ты... да...

Чудак человек! Я? Кто же это спрашивает у девушки так в лоб?.. Да еще при...

Давайте-ка пить кофе — и бегом в кино. У нас билеты в кино, Йонис небось меня заждался... Ауримас, ты с ним знаком?

Коллега Грикштас в пинг-понг, к сожалению, не играет.

Он пишет статьи, а иногда — стихи. И какие стихи! Революция, буря, потоп, катаклизм — ух! Буржуи и пролетарии! Нашу классную даму от таких стихов мигом хватил бы удар...

Представить себе не могу: Йонис и кинематограф! Йонис и "Однажды весной", Йонис и Жанетта Макдональд...

А весь город без ума от этой картины... все напевают: в каждом майском цветке я вижу тебя... Ауримас! Глуоснис! Куда ты бежишь? Пойдемте вместе... Что? Хоть кофе допей, глупыш! И чудак же ты...

XXIII

Я, Соната, никогда, никогда и ни за что не понадеялся бы на эту игру, на этот конкурс, если бы не Даубарас; на туманные притязания; п и с а т е л ь; если бы не попались мне на глаза те длинные, надвое разрезанные и испещренные записями — крупный четкий почерк, черные чернила — бумажные полосы, которые он держал, точно полотенце, перед собой и читал новеллы на литературных вечерах у нас в гимназии, где собирались не одни только гимназисты, но и студенты-филологи, и заводские ребята; и если бы во время партии в пинг-понг Даубарас ни с того ни с сего не рассказал мне...

Ну, рассказал, ну и что? Никто не заставлял тебя слушать развесив уши — ни о Марксе, ни о Горьком, ни о Джордано Бруно, взошедшем на костер убеждений ради; ни о Цвирке, ни о Кудирке; студент Даубарас рассказывал с таким упоением потому, что было

кому слушать, — о заоблачных высях, где, широко расправив крылья, парил тогда он сам; "да, я возьму тебя с собою"; никто меня не принуждал писать именно на таких листках, как Даубарас, хоть я и жил около бумажной фабрики и знал не только то, откуда берется бумага, но и как ее делают; и если уж однажды попробовал... в огонь, в огонь, в огонь — содрогнулся я; все велел швырнуть в огонь — когда бабушка станет печь блины и понадобится сильное пламя... нет, нет, я — сам! Я сам все затолкал в печь — пусть бабушкиными руками, и сам спалил что-то внутри себя — то, чего больше никогда не будет...

Я опустил глаза и опять протянул руку за бутылкой, несмотря на то что никто меня в этом не поддержал; вдруг я осознал мизерность своего положения. С какой стати я заикнулся о Еве — здесь, в присутствии обеих женщин? Я ее не видел с того самого дня, как...

Ева? Ева — это Ева, друг мой, когда-нибудь это поймешь и ты; прошу тебя, не морочь себе голову; говоришь, легкие задеты; береги себя для родной Литвы; возьми мой пуловер... Мне? Мне другой выдадут, братец, казенный; куда собираюсь? Далеко, Ауримас, на сей раз правда далеко... очень даже; дружище... скажу тебе одному: собираюсь в Литву. Мы еще повоюем, то-то же... хотя война и на исходе... это уж у кого сложится... судьба, дружище... Ну, а у меня... знавал ты Вайсвидайте? Хо-хо, и я еще спрашиваю: голубей с ее отцом гонял; я оставлю тебе письмо... Для нее, для Меты... — когда туда вернешься... Я сам? Я не знаю, где буду, братец, где и когда... партизанские тропы — в дебрях, а пуля дура, разбирать не станет... Хотя сейчас, когда война идет к концу... чертовски охота пожить... Помнится, уговаривались: после войны в "Метрополе"... Только в "Метрополе", братец, и три дня подряд... эх... я, ты, Мета... И еще, может быть, Грикштас, этот недотепа, — ты же знаешь, ногу ему под Орлом...

И опять — Ева! Заладил... Ева, друг мой, — особая статья, не к месту здесь про нее... Нет, не слова, не слова ей нужны, а... Помнишь Мету? То кидается из одной крайности в другую, мечется, точно птичка-ласточка, то уймется и сидит тихонько, как мышонок... Не знаешь? Многого ты еще не знаешь, парень; да и необязательно тебе все знать; в столь юном-то возрасте; итак, уговорились?

Уговорились, уговорились — я покачал головой, глядя на Даубараса; и тогда он держал, обхватив всей

пятерней, бутылку с вином — точно как я сейчас, и глядел на меня тяжелым, свинцовым взглядом из-под густых насупленных бровей; уговорились? Уговорились, да, уговорились — улыбаюсь я; теперь, три года спустя; я передам. Теперь-то уж передам, я знаю: а тогда — —

Я разыскивал Вайсвидайте — весь август месяц; тогда, по возвращении в Каунас; а потом я встретил... Не Мету, нет, а тебя — на твоей свадьбе; в ту ночь бушевала гроза, сильно громыхал гром; Ева сидела через стол от меня и смотрела на свечи — электричества еще не было; глаза у нее, по обыкновению, были печальные и улыбка печальная (если можно назвать улыбкой эту кривую, болезненную гримасу); выглядела она усталой или больной — зачем она бегала к тебе в отряд? Да, конечно, узнать о родителях и о брате; и узнала — всех, всех их расстреляли немцы... а она, наверное, ждала чуда... А вдруг, вдруг она ждала чуда? Чуда, пожал ты плечами; какого еще чуда? на этой земле чудес, друг мой... отдал? Я кивнул и украдкой глянул на Еву (глаза с поволокой?), ты махнул рукой? Ну и что, спросил ты. Ничего, ответил я. Ничего? Ничего она мне не сказала, ничего, повторил я через силу, — и сам не мог понять, зачем солгал; просто почувствовал, что и Даубарасу сегодня, возможно, больше требуется ложь, чем правда, — перед этими свечами; а может быть, и Еве, которая как бы и не слушала, о чем мы говорим, а, думается мне, все слышала. Усмехнулась и совсем ничего не сказала, добавил я. Усмехнулась? Ты слышишь, Ева, она, Мета, кажется, смеется надо мной, а ты, Ева... Над собой, ответила Ева, медленно поворачиваясь к нам (нет, вовсе не с поволокой), я всегда смеюсь над собой; Ауримас, налейка ты мне рюмочку, выпьем с тобой... За тебя, Ева, воскликнул я, за твое семейное счастье, за твоих будущих деток — пусть не слишком крупных, зато прелесть каких миленьких. Тогда поцелуй меня, Ауримас, целуй, не бойся, мы же с тобой друзья. Горько, водка горькая! — крикнул кто-то; Ева вдруг наклонилась ко мне, взяла своими ладонями мою голову, поцеловала прямо в губы; меня, а не Даубараса — то-то славно... я чуть не сгорел со стыда. Формальность, подумал я, эта свадьба для них обычная формальность, занесение в книгу давно состоявшегося факта; а может, и нет, не знаю, — подобными делами я никогда не забивал себе голову; лучше выпью и я тоже. Вот видишь, брат, услышал я снова и повернулся ли-

цом к Даубарасу; видишь, каковы они, женщины двадцатого века, сказал ты, негромко хохотнув, с одним спит, другого целует, третьему издалека подмигивает, берегись ты их, парень! Буду, буду беречься, я вспомнил Ийю, почему-то опять вспомнил эту эстонку из Агрыза; сбежала с Алибеком, пусть; я всегда буду их чураться, всех! Ну и что же, что сплю, ну и ладно, проговорила Ева негромко, но внятно, о, как внятно, как четко она произнесла: сплю; и вдруг вся задрожала, глаза широко раскрылись (глаза с поволокой, с поволокой!), щеки резко побледнели. Поклянись, что не ты, поклянись, что не ты отдал этот приказ! — неожиданно крикнула она Даубарасу; тот молча поставил рюмку обратно на стол. Ева! Ева! Ева! Да, я — Ева, а ты командир, и этот приказ — р е б я т а, с т р е л я й! Она пьяна, воскликнул ты; Ауримас, она же вдребезги; ступай, Ева, ложись; пойди отдохни; Ева, Евушка, очень тебя прошу — в твоем положении; р е б я т а, с т р е л я й! Тяжелая заскорузлая ладонь ложится мне на плечо — как бревно, как ковш экскаватора; мы все видим, товарищ командир, и все понимаем, пойдемте, ребята, отсюда... домой, домой!

Грохотал гром, сверкали молнии; я вышел. Знаешь ли ты, Даубарас, как пробирался я сквозь эту адскую ночь — первую такую ночь в освобожденном Каунасе; гром, казалось, перекатывается прямиком по крышам; ветер рвал жесть и, гремя ею, волок по пустой, как рукав инвалида, улице Мицкевича; молнии словно били прямо в лицо и слепили, точно взрывы бомб; хлобыстал дождь, но мы двое никуда не спешили — я и этот человек, положивший мне руку на плечо, — твой адъютант Грикис; он все порывался мне что-то сказать, но то и дело его перебивал раскат грома или вспышка молнии; тебе одному, твердил он, скажу тебе одному, потому что у тебя глаза... добрые... Как, по-твоему, придется за все расплачиваться... ну, там... после смерти? До смерти, по-моему, хуже, а уж после... Он вдруг остановился и опять положил руку мне на плечо, свою пудовую лапищу; плечо осело... А Ева? — вдруг спросил я, это было ни к селу ни к городу, честное слово; Ева да Ева, прямо как заведенный. Ева? При чем тут Ева? — Грикис уставился на меня; как раз вспыхнула молния, и белая вспышка метнулась по его лицу. Он с усилием выталкивал из себя слова; они будто застревали у него в глотке, он выкатывал их наружу, точно тяжелые булыжники... При чем? От-

куда мне знать? — пробормотал я. А не знаешь — так и помалкивай... не твоего ума дело... и лучше бы тебе, друг, совсем ничего и никогда — —

XXIV

— — — война? По-твоему, она будет, Казис? Неужели?

Не думаю, но... Дураков нынче хоть отбавляй, Мета. Как знать, что, да когда, да какому психопату взбредет в голову... Да ты присядь, почему ты стоишь? Вот диван, а это...

Поздно уже, Казис. Уже двенадцать.

Вот и славно. Мы с тобой отсюда никуда не уйдем.

Из редакции? Что ты, Казис...

Ведь это мой кабинет, Мета. Без особой надобности никто сюда не сунется. У нас как-никак порядок, можешь не сомневаться.

Я и не сомневаюсь.

Тогда почему ты стоишь? Вот термос... радио... поищи музыку.

Мне не слишком весело, Казис. Но одну чашку кофе все-таки...

Да... конечно... жаль, жаль папеньку. Его книга так и осталась недописанной... та, о голубях... всегда обидно, когда обрывается священный творческий акт и все то, чем человек жил, оказывается чуждым и бесполезным для других.

Для всех?

К сожалению, да... Кому теперь нужны голуби профессора Вайсвидаса? По нашим временам, при нынешней сложной ситуации, когда ценности и не такого порядка в соприкосновении с всепоглощающим пламенем революции... Хотя эта ваша Агне могла бы... если собрать все рукописи...

Агне! Ох, ты же не был у нас... после того, как... и не знаешь, что там теперь творится... Агне ума не приложит, как ей жить без госпожи президентши... И терзается, терзается, простить себе не может, зачем она вернулась из Берлина, после того, как...

Простить себе не может?

А что ей остается делать... Все ее надежды разбились, как фарфоровая ваза, а черепки... черепки ее ничуть не греют! Теперь она простая учительница, Казис. Самая обыкновенная учительница истории. Нет больше госпожи президентши, и ее подруги никому не нужны. Конец...

Эта Агне! Говорит, флирт профессорской дочки с красным комиссаром... никогда добром...

Ха-ха-ха! Это чудовищно!

Не для тебя, а только для меня одной...

Вот именно — диву даюсь, что ты не улетаешь от меня, моя пташка. Белая ворона в голубую крапинку. И с бантиком.

Спасибо за комплименты. Но не кажется ли тебе, что они какие-то странные?

Ты слышала о белых воронах — людях, которые пришли в революцию из враждебных ей социальных слоев? Только вообрази, Мета, на что это похоже: барышня, профессорская дочь, гуляет с этими разбойниками, красными комиссарами... и не боится...

Перестань! Перестань! Не надо!

Ну почему?

Если уж не испугалась тогда... на чердаке... когда полиция и сыщики... Ой, ты не закрыл дверь, Казис. В коридоре кто-то ходит. Слышишь шаги?

А, дежурный... Дежурный комсомолец... Сегодня дежурит... дежурит... Сейчас посмотрю по графику, кто сегодня караулит редакцию и тем самым нас с тобой... белую воронушку из профессорского гнезда и ее зверского комиссара... Сегодня... Да это же Глуоснис, Мета! Наш стоик. Хочешь его повидать?

Что ты! Здесь? Ни в коем случае! И без того уже все подружки язвят, будто я... как нитка за иголкой... за тобой... А что я... если дома... если эта Агне...

Послушай, опять — Агне... Агне да Агне... Злой гений в юбке. Да что тебе эта Агне сейчас, когда все их былое великолепие с треском...

Я там живу, Казис.

Знаю.

Ну, а если знаешь...

Вот я и советую тебе: потерпи. Самую малость. Знаю, как тебе тяжело, но... Покамест нелегко и мне... Видишь эту гору бумаги? Все надо прочесть. Сегодня. Завтра. Послезавтра. Каждый день. Изо дня в день. А они все пишут... знай пишут да пишут... пишут слесари, гимназисты, новоселы — вдруг заделались государственными деятелями, романистами, поэтами. И критиками, конечно, — если посмеешь не опубликовать их творений. А приходится идти на это, дорогуша. И многое приходится делать — революция! Переворот! И не только экономический, политический, социальный, но еще и духовный, самый сложный и трудный из всех. А где труднее, Мета, там я. Там твой Казис.

Так и маюсь, дорогая моя Мета... так и кручусь. Да ты снова взгрустнула? Полно, не надо... Приглуши-ка радио. Тише, тише. Еще тише, чтобы слышали только мы с тобой. Только наши сердца. Хорошо. Теперь уже хорошо... И как будто очень задушевная музыка... Нет? Тогда поищем другую... вдруг да найдем. Ну, ту... знаешь... нашу с тобой... ту... *однажды весною* —

XXV

Ума не приложу, отчего вдруг вспомнилось все то, что, казалось, было давно забыто, что осталось и сгинуло там, за чертой, которую я переступил в *ту ночь*; вспомнилось внезапно, ни с того ни с сего, стоило мне лишь увидеть Даубараса; я по-прежнему держал в руке початую бутылку вина, которую он привез с собой и угощал Лейшене, когда заявились мы с Сонатой; конец идиллии. Конец концом, но Даубарас не простит. Правда, он сделал попытку улыбнуться как ни в чем не бывало, попробовать шутить, непринужденно развалясь на диване, начал рассказывать анекдотец о русском, англичанине и американце; но все это выглядело весьма неубедительно и не могло прояснить того мрачного настроения, которое словно волнами захлестывало жилище Лейшисов вместе с осенним ненастьем, ворвавшимся сюда, когда вошли мы с Сонатой; в нашу сторону он старался и не глядеть. У самой Лейшене выражение лица было страдальческое; и она избегала смотреть на нас, особенно на Сонату, а та, словно подчеркивая свое недовольство, стояла у окна и, отведя занавеску, сосредоточенно всматривалась в ночной мрак, не обращая ни малейшего внимания ни на мать, ни на ее гостя, которого она не рассчитывала здесь встретить; обеим было как бы тесновато в этой не слишком просторной, но прихотливо обставленной комнате; здесь явно тесно было двум женщинам, пригласившим своих друзей; о Лейшисе я начисто позабыл.

Молчал и Даубарас, молчал и лениво перебирал пальцами по столу — задумавшись и вперив взгляд в стену напротив; по-моему, в мыслях он был довольно далеко от этого дома; возможно, он вспомнил Еву. Я так решил, потому что сам я, пусть не желая того, все еще думал о них — о Еве и Мете, с которыми меня свела судьба, и опять-таки через Даубараса; а он молчал и шевелил своими длинными пальцами, словно пианист, пробующий клавиатуру — что-то проверяя или

мысленно взвешивая; вдруг пальцы его сжались в кулак, и кулак этот негромко, но довольно решительно стукнул о край стола.

— Что ж, увидим... да!

— То есть? — поспешно спросила Лейшене; и ее угнетало это затяжное, тягостное молчание, которое установилось после того, как я напомнил Даубарасу о Еве; то, что следовало за этим — все эти потуги на веселье, — разумеется, не имело смысла. — Что же мы увидим?

— О, покамест ничего, — Даубарас расслабил пальцы и почему-то заткнул бутылку пробкой. — Ничего, товарищ директор... ничего. А между тем... — он взглянул на часы.

— Может, вы... все-таки...

— Надо обязательно. Меня ждут.

— Ночью?

— Ночные мотыльки летают ночью. Дело привычное.

— Но ведь пока не рассвело, вы можете...

— Увы, увы... — Даубарас нахмурился. — Как ни приятно мне ваше общество, а... От обязанностей своих человек не избавлен даже ночью... От своего бремени. И от поездки в Вильнюс...

Он поднялся, застегнул ворот сорочки, поправил галстук.

— Мы будем сильно беспокоиться, — встала и Лейшене; она и впрямь выглядела огорченной.

— Все? — Даубарас зачем-то глянул на Сонату; похоже было, что только о Сонате он и спрашивает: все или нет; та даже не шелохнулась. Она по-прежнему стояла у окна спиной ко всем нам и все еще смотрела во мрак, будто что-то в нем потеряла; не видела она, разумеется, и меня. — Ну, а ты, милый юноша... я слышал...

Он так резко повернулся ко мне и прошил таким пронзительным взглядом, что я чуть не задрожал; скажет? Сейчас? Что он имеет в виду? Почему так смотрит? З н а е т?.. И что же, уважаемый, вы знаете?.. Что вы знаете?.. Что вы "слышали"? И почему так внезапно умокли? Что собираетесь сообщить? Вот именно, победил, как бы возглашают эти глаза, впившиеся в меня, точно два сверла; ты, Глуоснис, победил на конкурсе, об этом писали газеты; напечатана даже эта новелла с фотографией и хвалебная статейка (была и такая), а потом... Знает ли Даубарас это п о т о м, — как знаю я, или не знает? Но почему же он смотрит на меня таким з н а ю щ и м взглядом, червем вгрызается в самое нутро, и к чему эти дурацкие намеки?

Сказал бы коротко и ясно: я знаю; а то режет тупым ножом... Может, ждет, пока заговорю я — о той ночи, разольюсь рекой, — не дождется, а то... Да чего ему бояться, человеку из другого яруса; ведь я больше не буду говорить о Еве, не обмолвлюсь и словечком; а он и не вспомнит; и ни о чем больше не спросит, — что было потом. Отдал? Отдал, ответил я ему тогда, это письмо я передал. Ну и что?.. Ну и ничего, товарищ Даубарас, она ничего не сказала мне; засмеялась и совсем ничего не сказала. Нашла, видите ли, над чем смеяться... Значит, нашла, если засмеялась... И снова я почувствовал, что думаю вовсе не о том, о чем следует, и что мои мысли также стремятся прочь от этой теплой, уютной квартирки; Даубарас собирался домой...

— Может, чаю... — спохватилась Лейшене, снова нарушив тягостное, напряженное молчание. — Или еще по рюмочке... ради такого случая... раз мы все встретились...

— Нет, нет! — Даубарас отвернулся от меня словно нехотя и покачал головой. — И так уже задержался... У вас просто восхитительно, товарищ директор, но пора подумать и о своем доме... Ведь пора, как вам кажется, Соната? Вы у нас человек серьезный...

Он шагнул к Сонате и протянул ей руку; та не заметила его; я прыснул в кулак. Даубарас поклонился, взял руку Сонаты и спокойно поднес ее к своим губам и так же невозмутимо поцеловал — ишь ты; потом подал руку мне.

— Пока, Ауримас. Передать привет вильнюсским башням?

— Башням? — я сдвинул брови. — При чем тут башни?

— Ну, кому же еще... при Сонате...

— Передайте привет Еве.

Может, не следовало так говорить, конечно, не следовало: Соната обернулась так резко и смерила меня таким уничтожающим взглядом, что мне стало вовсе не по себе; Лейшене пожала плечами... Они осуждали меня, это было ясно, и все же, как мне казалось, они могли осудить и Даубараса; ему тоже не подобало целовать руку Сонате — пусть даже в моем присутствии; по-моему, они смотрели на него даже с каким-то страхом — обе женщины; страх, мольба о прощении — было у них в глазах нечто подобное.

Даубарас нагнулся и взял свой портфель, который (я только сейчас заметил) стоял около дивана, Лейше-

не принесла пиджак — почему-то из спальни; я опять не мог сдержать улыбку; Соната вспыхнула точно маков цвет и уставилась в пол.

— Ауримас! Ты как будто собирался что-то мне сказать? — спросил Даубарас, будто он и не заметил моей ехидной улыбочки. — Давай... Нам, кажется, по пути?

— Как будто нет...

— Нет? А почему? По-моему, ты живешь на Крантялисе, а мне как раз мимо...

— Я останусь здесь. У Сонаты.

— У Сонаты? — теперь улыбнулся Даубарас. И, конечно, он повернулся к ней лицом. — Что ж, если товарищ директор не возражает...

— Ауримас останется здесь, — Соната подняла глаза; они блестели. — Ясно? А если вам всем ясно...

— Ах, как же вам хорошо, — вздохнул Даубарас. — А мне пора. Дома ждут.

Он ушел: я слышал, как гулко хлопнула дверь на лестницу, потом, внизу, парадная; Лейшене провожала гостя — до машины; мы с Сонатой остались одни.

— Красота, правда? — она подошла ко мне и прямо-таки вырвала газету у меня из рук (сидя на диване, я скорее прикрывал этой газетой глаза, чем читал ее; и не до газеты мне сейчас, признаться, было); вырвала газету, швырнула на стол и стала быстрыми шагами ходить по комнате.

— Тебе это нравится? Очень?

— Мне? — сдержанно спросил я. — Почему мне?..

— Я видела, как ты потешался, не думай. Только не совсем поняла, над кем.

— Гм... Любви все возрасты покорны, как сказал Пушкин. Уж он-то знал, что пишет, будь уверена.

— Все возрасты, правда? — возмущенно проговорила Соната, будто я один был виноват в том, что мы застали ее мамашу с Даубарасом. — Все возрасты! А обо мне ты подумал? О такой-сякой Сонате? Хоть капельку? Хоть совсем немножко? Тебе это неинтересно?

— Что ты, — ответил я. — Конечно, интересно. И конечно, я подумал. Но, может, не так основательно, как Даубарас.

— Даубарас? Основательно? — Она перестала ходить и замерла рядом со мной. — Значит, тебе совсем... совсем...

— Не устраивай трагедию, Соната, — сказал я как можно более спокойным голосом; я и правда устал

от этого нелепого объяснения. — Не надо. Ну, пусть не основательно. Не все ли равно? Все на свете относительно.

— Даубарас? — не могла успокоиться Соната. — Да кто он тебе, Даубарас этот?

Вот это вопрос! И так внезапно, в лоб: кто он тебе... Взяла и спросила...

— Мне? Даубарас? — равнодушно спросил я. — Полагаю, никто. Пустое место. Нуль.

— А в войну... когда было трудно...

— Он мне пальчики не целует.

— Дурень ты, Ауримас, — Соната вдруг закрыла лицо ладонями. — Боже мой, какой же ты дурень, а я и не знала!

Она повернулась и убежала в спальню — туда, откуда Лейшене вынесла пиджак Даубараса; а вот и маменька, ура; и обратите внимание — куда веселее, чем была только что, когда уходила...

— Уже? — сочувственно подмигнула мне, одновременно кивая на отворенную дверь спальни, где скрывалась Соната. — Какая муха ее укусила?

— Не знаю, — отвечал я. — Может быть, сегодня виноват я. Не знаю.

— Виноват? — она с грустью взглянула на меня. — Перед кем-нибудь, Ауримас, мы всегда виноваты... Не мучайся. Жить-то надо.

Она отвернулась к окну, точь-в-точь как недавно Соната, и тоже стала смотреть в темноту.

XXVI

Мы расположились: я на диване, Соната и Лейшене в спальне; Соната, к слову сказать, так и не вышла оттуда, не промурлыкала мне традиционное "спокойной ночи"; постелила мне Лейшене, она же погасила свет.

Сон не шел. Тянуло закурить, но, как назло, сигареты кончились; Даубарас свои папиросы увез с собой, я помнил, как он сунул их в карман кожаного пальто. Я опустил голову на мягкую подушку, повернулся к окну и смотрел, как тусклые облачка плывут мимо крупной желтой луны — словно паровозный дым мимо светофора; это снова напомнило мне детство, где все, что мы видим, представляется чрезвычайно важным, значительным; сейчас многое выглядело совсем иначе.

Даубарас... Вот и о нем я не мог уже думать, как прежде — только как о человеке, которому я многим обязан, или о старшем товарище, с которым меня связывали общие идеи; и тут, видимо, причиной была та ночь, когда шел дождь и когда меня угораздило... Не надо, не надо об этом думать; Старика здесь нет и никогда уже не будет — того, бородатого, в красной линялой, обвисшей рубахе; вместо него появился другой — лысый и в рыжей пижаме, цепляющийся сухими и длинными пальцами за одеяло — зеленое, точно попугай, и шахматно-пестрое; Старик хрипел, будто вот-вот расстанется с жизнью, а девушка протянула ко мне ладони; потом я...

...сбежала... Юту на руки и бегом...

Юту?

Ну да, сестру.

Неужели у тебя есть сестра?

Есть... А по-твоему, мы должны были вместе с Агне... в один вагон с той самой Агне, которую меня... ты знаешь...

А я боюсь! Я всего боюсь, Ауримас... после того, как умер папа... всего на свете, всего, всего...

Знаю, а Казис?

О! Ему, Ауримас, надо прочитать целую гору бумаг. Сегодня надо, и завтра надо, и послезавтра. А еще он сказал, что будет война и всех вроде нас ждет...

Но он же обещал... он должен был... он обязан...

Ты просто младенец, Ауримас. С ума сойти, какой ты еще младенец! И знаешь что — если ты встретишь Даубараса... где-нибудь и когда-нибудь...

Самолеты, Мета! Немецкие самолеты! Бежим отсюда. Скорей!

О нет. Я каунасская, Аурис. Я здесь родилась. И поэтому...

Я тоже каунасский... ну и что? Немцу это все равно. Фашисту. И хоть Агне там, в том вагоне... учти, тебя они...

Нет, нет, нет! Никуда из Каунаса... слышишь? Ни на шаг.

Ну что ж! Прощай, прощай, танки — —

Это было уж слишком — вспомнить Мету, когда... Дурак! — выругал я себя, мысленно проскочив и войну, и первые послевоенные дни — перенесясь снова в

ту ночь — в скользнувшую огненным пунктиром по зигзагам сознания ночь, от которой лишь крохи донес я до Крантялиса; ты — Ауримас, казалось, расслышал я; Ауримас останется здесь, бей, бей, бей, если веришь, что черепки... к счастью!..

...В конце-то концов, должны здесь быть сигареты!

Я сбросил плед и полуодетый, на цыпочках прокрался в кухню — поискать; я знал, что Лейшене иной раз покуривает — когда она одна, когда не видят Лейшис с Сонатой (хотя та, по-моему, видела все); при чужих она меньше таилась.

Сигареты нашлись; я закурил здесь же, прикурив от электроплитки; возвратился успокоенный, так вот, оказывается, чего мне не хватало весь вечер; теперь можно было и вздремнуть.

Утрясется, подумал я, проходя мимо спальни; все в этом мире утрясется, утрясется и все между нами, между мной и Сонатой, уж как-нибудь; кончу курсы, потом университет, а потом...

— Ауримас? — вдруг услышал я и обмер; нет, никто не звал, но свое имя я расслышал вполне четко; понял, что говорят обо мне; упустить случай еще раз кое-что о себе узнать...

— Ауримас? — переспросила Соната (это была она) и продолжала, судя по всему, ничуть не опасаясь, что я могу услышать; и, разумеется, она никак не предполагала, что я, подобно горничной из старинных водевилей, подслушиваю за дверью. — Будто ты не знаешь его, мам... Прекрасно знаешь, из какого он мира...

— А именно?

— Из заоблачного, мама. Из того, где ангелы.

— А вдруг наоборот — из самой преисподней. Ты ведь еще ничего не знаешь, Соната.

— Я стараюсь...

— Что ты стараешься?

— Узнать, мам.

— Узнаешь... Когда останетесь одни... когда все придется самим...

— А это страшно — самим? Страшно, мам?

— Есть надо, Соната, и одеваться надо... Мы, к сожалению, не ангелочки, чтобы голышом меж облаков...

— Тебе, мам, хорошо говорить...

Соната вздохнула. Тяжело, сокрушенно. Я представил себе, как приподнялось и опало одеяло. Шелестнуло белье. Что ж, дальше...

— Попробуй, мам, ты...

— Что, Соната?

— Поговорить с ним...

— Я?

— Только, мам, по-серьезному. С ним надо разговаривать только на полном серьезе, хоть он и не всегда...

— Не всегда? Не то слово, детка. Никогда. Он, по-моему, на полном серьезе никогда...

Тишина. Черная. Долгая. Бессмысленная. Кашель в подушку. Поскрипывание кровати. Кто-то поворачивается на другой бок. Поправляет одеяло. Вздыхает. Лейшене. Она. И опять...

— А может, — ее голос уже тише, хотя по-прежнему отчетливо слышен. — А может, Соната, если все хорошенько взвесить...

— Что взвесить, мам?

— Вдруг он тебе вовсе не пара?

— Не пара? Чем не пара?

— Вообще.

— А если, мам, поточнее?

— Смотри не нагуляй неприятностей. С этими поэтами, Соната...

— Ну, мамочка, что я, маленькая...

— Маленькие не нагуливают...

— Мамуля! У нас даже в мыслях...

— Знаю я эти мысли! Принесешь в подоле... тогда...

— Мама! Повторяю: об этом мы...

— Когда мужчина навеселе, Соната... Да хотя бы и сегодня...

— Вовсе он не "навеселе", мама.

— Нет? Ну, если это называется трезвый, то воображаю, каков он пьяный...

— Ах, ты совсем не знаешь его, мамочка. Вся эта учеба... сочинительство... да еще условия дома...

— Условия? Разит за километр... как от квасильни...

Меня так и передернуло от этого слова: от квасильни! Можно подумать, что она знает запах квасильни... туда бы ее... Меня чуть было не одолела икота, как и в ту ночь, и я тихо фыркнул, будто снова ткнулся в ту липкую, тусклую массу, где плавали сизоватые клочки кожи; никому не пожелаю, никому и никогда... Тут я спохватился, что чересчур углубился в свои мысли и пропустил несколько фраз, произнесенных там, за дверью спальни; но, может, обо мне забыли? Нет... к сожалению — нет...

— Лучше бы ты не вмешивалась, мама. — Это Соната. — Он мой.

— Купила?

— Оброненное подобрала.

— Смотри, как бы потом... когда пройдет дурман...

— Как-нибудь, мам. И может, все-таки мы сами...

— Сами вы горазды только на танцы. Там родители вам не нужны. Сами!.. Домой... по ночам...

— Ну, мамочка, если на то пошло...

— Как аукнется, так и откликнется, Соната.

— И это знаю.

— Ничего ты еще не знаешь!.. А знала бы, не стала бы так... среди ночи... Как постелешь, так и выспишься!

— Да уж не хуже, чем ты с Даубарасом. Ну, а если так, то твои поучения...

— Соната! — одернула ее Лейшене, да так громко, что я рот разинул от изумления. — Соната, если ты не перестанешь дерзить... что за тон... что за слова... я не посмотрю, что ты студентка...

— И не перестану! Ни за что.

— Тогда нам придется поссориться. И серьезно. Очень даже серьезно, Соната. Подумай основательно, стоит ли.

— Ты папу не любишь, мам.

— Не тебе судить, Соната.

— А кому?

— Не тебе.

И она тяжко вздохнула — Лейшене; я даже как будто видел ее лицо — лицо вздыхающей Лейшене; руки комкают одеяло; поскрипывает кровать.

— А ты? — расслышал я ее голос. — Кого любишь ты, доченька? Сегодня речь идет о тебе.

— Обо всех, мама.

— Я тебя спрашиваю: влюблена?

— Ты все знаешь, мам.

— В том-то и дело, что знаю. Познакомились где-нибудь в коридоре, а спросила бы себя со всей серьезностью... по совести...

— Ах, мамочка...

— Он, Соната, фантазер. Хмельной фантазер. И совершенно не приспособлен к жизни. Разве это муж? Плывет по течению, тряпка, и больше ничего, а ты, глупышка... Как он разговаривал с Даубарасом!.. Сколько желчи... Уж не дружба ли эта так на тебя повлияла, что ты...

— Ах, мамочка, ну зачем так... давай не будем, хотя бы сегодня...

— Нет, будем. Именно сегодня, Соната. Сегодня, потому что ты привела сюда ночью своего...

— Не надо, мама! Я не о том... я о папе...

— О папе? А при чем здесь папа?

— Он твой муж, мама. Не ухажер.

— Ну, знаешь, деточка, не твоего ума...

— Что — не моего ума? Говори, говори! Неужели его не за что уважать? Любить? Неужели?

Пауза. Пауза там, за дверью. Пауза и молчание — долгое, натянутое, пугающее своей внезапностью. Я сгораю; подошвы жгуче липнут к этому клейкому, холодному полу, но я не ухожу. Я буду стоять здесь, никуда не двинусь. Ни на шаг. Ни на полшага. Я узнаю все — сейчас или...

— Что, мам?

— Спи. Или — нет. Погоди.

— Я жду, мама. Давно.

— Давно?

— Очень даже давно, мам.

И я жду. И тоже давно. С трепетом. Обмирая от неизвестности. Сгорая. Стою и жду, что ответит Лейшене дочери; хотя, признаться, любит Лейшене своего супруга или нет, — это мне... как-то...

— Вот что: об этом я никогда... и никому... — наконец послышался голос — тихий, ровный, размеренный. — Но если тебе это важно, то слушай. Думаешь, он так уж сильно ко мне привязан... Лейшис... ведь он сам... в молодости... Оставлял меня одну с тобой, грудной крошкой... Когда был начальником канцелярии в уезде... а потом — унтер-офицером при складах... У начальника канцелярии и машинистка... и кассирша... и уборщица... А уж унтер-офицер-то... знаешь... шпоры... малиновый звон... хорошо подвешенный язык... Была такая Онуте из потребсоюза...

— Не надо, не надо, мамочка! Я не хочу этого знать! Ну, была, ну и что... Но ты... ты женщина, мама... жена... ты моя мама, и я хочу, чтобы чужие мужчины... в нашем доме... в этой постели...

Ого! Она поучает мамашу! Это было что-то новенькое — ради этого стоило и померзнуть босиком у двери, и... В этот миг я всей душой был с Сонатой — хоть она и убежала, закрывая ладонями лицо, хоть и не пожелала мне спокойной ночи; я чувствовал: права Соната, а не Лейшене, которую мы застали с Даубарасом, и Соната, а не Лейшене выиграет этот словесный бой в спальне; любопытно, что скажет Лейшене сейчас?

— Только не завидуй, — услышал я; голос был приглушенный и слегка хрипловатый. — Не завидуй этой моей радости, Соната. Этим мгновениям. Быть может, их не так много осталось на мою долю. Вот

выйдешь замуж сама... начнешь стареть... узнаешь, что можно и что нет... А пока...

— Завидовать? Тебе? С чего бы это, мамочка? Я ведь не маленькая. Только в следующий раз, прошу тебя, скажи, чтобы не оставлял под окнами...

— Это что такое? Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь, Соната?

- Ах, все равно, конечно, мне все равно! Абсолютно все... Да мне...

И тут я увидел Сонату — мысленно: как она одна стоит у окна и во все глаза глядит в ночной мрак, словно ищет там нечто, чего она не оставляла; теперь я понял, что она там высмотрела. Машину! Она стояла и смотрела на автомобиль Даубараса, который чернел за углом дома; смотрела на автомобиль и, разумеется, думала о...

Я так громко хмыкнул, что голоса смолкли, испуганно затаившись; для убедительности я еще кашлянул — чтобы отвести подозрения, и потихоньку шмыгнул на диван. Видимо, полагалось обдумать услышанное и принять какое-то решение — сейчас же, немедленно, но я не знал — ни что думать, ни как поступить; вдруг все это показалось мне далеким и чуждым — все, что я услышал, и мое собственное положение в этой ситуации; внезапно с силой обрушилась давняя, гнетущая усталость, затуманился утомленный мозг; голова так и льнула к подушке; я лег, закутался в одеяло, подушку шлепнул на голову и, выставив наружу лишь кончик носа, захватил несколько глотков воздуха — приторного и дурманящего, как валерианка...

Проснулся, почуяв, что на меня смотрят; Старик? Я лежал полуодетый, откинув одеяло, свесив ногу на пол; повернул голову и увидел Сонату. Она сидела в изножье дивана и, кутаясь в зеленый материнский халат, широко раскрытыми глазами смотрела куда-то сквозь меня; ее лицо, голубоватое в лунном свете, казалось высеченным из камня.

— Молчи, — шепотом приказала она, заметив, что я проснулся и поспешно тяну на себя сползшее на пол одеяло. — Ничего не говори. Не надо.

Она встала и ушла в кухню.

Я окончательно сбросил оцепенение, натянул брюки и поспешил за ней; светила луна; она плакала.

— Соната, — сказал я. — Не плачь. Это не поможет. Я все слышал.

Она повернулась ко мне; по лицу скользнула кривая, голубоватая улыбка.

— Слышал? — вымолвила она. — Ну и что? Ну и что, если слышал, Ауримас?

— Конечно, ничего, — развел я руками. — Если бы я знал, как тебе помочь...

Она опять взглянула на меня — теперь более пристально, и, как мне подумалось, вовсе без причины негромко рассмеялась, потом покачала головой и неторопливо, волоча за собой полы халата, пошла в спальню.

Ушел и Ауримас. Потихоньку, как в тот раз от Грикштаса. На улицу Траку: с черного входа сторож Дома писателей иногда оставлял дверь незапертой; там, в тесноватом зальце, можно было сдвинуть стулья и кое-как уснуть. Прикрыться можно хотя бы скатертью толстого зеленого сукна.

XXVII

— Ауримас, нашли! Уже нашли, Ауримас!

Лейшис вынырнул из-за стеклянной двери гостиницы внезапно — словно выскочил из окна, и, простирая обе руки, бросился к Ауримасу; тот остановился. Было уже светло, понедельник, половина девятого утра, народ спешил на фабрики, в магазины, школы; Лейшису, судя по всему, торопиться было некуда.

— Ауримас, ты слышишь: нашли!

Он схватил Ауримаса, затряс его, точно яблоньку, с которой должны посыпаться плоды, и, выждав, когда тот опомнится, выкрикнул еще раз:

— Все-таки нашли!

— Кого? — без охоты спросил Ауримас; сегодня утром он меньше всего желал бы встретить Лейшиса.

— Ну, этот самый... плеврит... Что же еще! Доктора... Так-таки нашли. В субботу. Наконец-то!

Ауримас пожал плечами и взглянул на этого человека. В костюме, при галстуке, в синем вязаном полувере под добротным пиджаком, он отнюдь не походил на больного, несмотря на голубой листок с подписями и печатями, который он держал в протянутой руке; сегодня он был настроен как никогда благодушно, и едва ли можно было с уверенностью сказать, что было причиной его настроения — больничный ли

лист, который Лейшис гордо совал Ауримасу под нос, или пиво, которым разило от него. Во всяком случае, было непохоже, чтобы человек этот впустую тратил время хотя бы и сегодня ночью, когда они с Сонатой — и, возможно, с Лейшене — обсуждали чуть ли не гамлетовские вопросы; румяные, круглые, как мячики, щеки Лейшиса лучше всякого запаха свидетельствовали о том, что обладатель их и сегодня утром успел посидеть в буфете и угоститься пивком — за счет того же "директорского фонда"; Лейшене живет в свое удовольствие; да и Лейшис не тужит; в общем, не мешают друг другу... Господи, да о чем это я?.. Мне-то какое до них дело? Какое мне дело до жизни Лейшисов? Вот я ушел, и никому там, очевидно, от этого не стало хуже: фантазер, не приспособлен к жизни — ведь это обо мне. "Не смей, он мой!" — вот как должна была возмутиться Соната; так, как она крикнула раньше; но сейчас она этого не сделала; я ушел. И, может быть, не слезы Сонаты, а именно слова Лейшене наиболее подействовали на меня, подействовали и окончательно протрезвили, вызвав в памяти снова омерзительно-стойкий дух, зловоние сточных вод с отходами кожевенного ремесла; я ушел, не оборачиваясь, точно боялся узнать, что никто не смотрит мне вслед; ведь я не Даубарас, и никакого автомобиля...

Но то были они, женщины, а то Лейшис; он поглядывал на Ауримаса прищуренными блестящими заплывшими глазами, а сам ждал, что скажет собеседник по поводу столь важного события в жизни его будущего тестя; о минувшей ночи он, разумеется, и не заикнулся...

— Плеврит? — спросил Ауримас. — Это как — очень худо?

— Что ты! Заболевание первой степени, и если что...

— Пенсия?

— Инвалидность, милый мой! Законная инвалидность! И ведь говорил я моим дамам, когда еще говорил, да они, пустые создания... Куда подашься с такими легкими... А ты с чего это в такую рань? На учебу, что ли?

— Да, пора.

— На занятия без книг?

— Все там, — солгал Ауримас. — Я с собой не ношу.

— Удобная у тебя наука... А вот наша Сонатушка...

— Да, конечно, — заторопился Ауримас; сегодня он не испытывал ни малейшего желания беседовать на

семейные темы Лейшисов — хватит с него, наговорился, наслушался... Странное он все-таки создание, этот самый Лейшис: багровый, напыщенный, всегда чуть "на взводе" (для храбрости) — и при всем этом слезливый, затюканный, будто всеми на свете обиженный — всеми, только не буфетчицей Ирусей; соображает он хоть самую малость... Где ему, подумал Ауримас, небось поленился даже снять телефонную трубку и поинтересоваться, что у него дома; вдруг ответил бы Даубарас? Ауримас даже улыбнулся, вообразив себе, что ожидает этого человека, никогда не упускающего возможности подчеркнуть, что он, Лейшис, отец будущего медика Сонаты, что его слово кое-что да значит... Ауримас задал ему еще какой-то пустяковый вопрос, пожал руку и извинился — спешка, знаете ли, в университете не принято опаздывать; когда-нибудь в другой раз...

— Когда-нибудь? — поинтересовался Лейшис. — А вот Соната... ты что, не видел ее?

— Не видел, — снова солгал Ауримас.

— И я пока нет... И матери. Товарища директора.

— Директора?

— Именно... Дела... дела... собрания, совещания...

Лейшис широко зевнул, обнажив крепкие зубы хорошего едока (опять обдало пивным духом), солидно тряхнул руку Ауримаса и скрылся за стеклянной дверью — возможно, вернулся обратно в буфет; Ауримас зашагал на занятия.

И здесь, в университете, он словно ощущал запах квартиры Лейшисов, который он унес с собой ночью и который сопровождал его всю дорогу, — запах перемешанного с пивом одеколона "Сирень", запах казенного мыла, которым стирают в гостиницах, и, может быть, еще — валериановых капель, пролитых где-то около ванной; запах этот щекотал ноздри, от него пощипывало в горле; он исходил и от одежды в гардеробе, где Ауримас оставил пальто, и от бегущих по лестнице студенток-филологов; вдруг потянуло капустой. Ах, да, конечно, из столовой — щи с колбасой, обед для курсантов из сельской местности; а для таких, как он... для городских... Разве что газету почитать... подумал он, нашарив в кармане медяк, пища духовная, давно не вкушал — пожалуй, с того самого дня, когда...

Тощий, иссохший старец в голубой полосатой сорочке и с моноклем, похожий больше на профессора математики, чем на служащего студенческой почты,

подал ему "Тиесу" и сдачу; затаенно улыбнувшись, Ауримас опустил монетку назад, в карман.

— Минутку, — пожилой почтовик снял монокль — двумя длинными и очень худыми пальцами — и внимательно, что-то припоминая, посмотрел на Ауримаса. — Глуоснис, да?

— Вам Глуосниса? — Ауримас наморщил лоб. — Знавал такого...

— Не кривляйся! — старик нагнулся и вынул из ящика большой конверт с загнутыми кончиками. — Тебе письмо.

— Мне?

— Тебе. Глуоснису. Сразу узнал.

— Я к вам каждый день... — Ауримас взял конверт; рука дрожала. — Можно и примелькаться.

— Не в этом дело. В наше время все решает пресса...

— Пресса?

— Именно. Читай газеты — и узнаешь все. Самая большая сила... Помнишь "Наше будущее"? Да где уж тебе — ты тогда небось еще без штанишек бегал... Там был такой конкурс. Один мой приятель изобрел лозунг "Дикарь газеты не читает" и отхватил первую премию...

— Премию?

— А то как же! Сто литов, — почтарь снова внимательно глянул на Ауримаса. — Но и ты, уважаемый, неплохо устроился... совсем неплохо... пять тысяч...

Эхма! Ауримас скрипнул зубами; и даже застонал — где-то в глубине души, горестно и протяжно: пять тысяч... это е г о пять тысяч... ни слова не сказав долговязому почтарю, он выскочил в коридор, забился в уголок под лестницей и вскрыл конверт...

... тысяч... улыбнулся язвительно, а рука все еще дрожала; знает старик, какие пять тысяч "отхватил" он, Ауримас; интересно, что он знает еще?.. Нет же, нет, он писал не ради денег — и в Вильнюс посылал не ради них — те, д р у г и е новеллы... но... Но бабушка опять сидела, съежившись, на низенькой скамеечке у огня, опять кляла на чем свет стоит осеннее ненастье и растирала, без конца растирала истерзанные ревматизмом колени; потом плелась за хворостом, за лучинками или ковырялась в огороде... А он, глупая голова, мямля, ни мясо ни рыба, все мозги на дне пузырька с чернилами; ему, видите ли, совестно притязать на премию; как будто он ее украл, эту премию; или вымолил, точно нищий милостыню; или решил взять что плохо лежит... Стыдно! А лопать бабкину картошку —

это ему не стыдно; бабкино постное масло, бабкин хлеб; и ошиваться черт знает где по ночам — почти четверо суток подряд; и пропивать стипендию со студентами (им небось из деревни сало возят, а тебе...) — это ему тоже, как видите, не стыдно; и на танцы шляться, и языком молоть, и спорить; а вот съездить в Вильнюс, в редакцию...

Он надорвал конверт, выглянул край бланка: адрес, телефоны, ага... на Ваше... №... заведующий отделом П... Что такое? А-а... В ответ на Ваше... № (прочерк) сообщаем... молодому и, думается, еще неискушенному в вопросах взаимной этики печатного органа и автора... тем более что вышеназванный внештатный сотрудник и сам в состоянии уяснить те причины, в силу которых присланные им новеллы... несмотря на это, он, заведующий П., не считает, что тем самым возбраняется внештатному сотруднику Глуоснису когда-либо вновь обратиться к литературе... Разумеется, после основательных размышлений... взвесив все... и при условии, что...

Дальше Ауримас читать не стал: обратиться? После чего? — После того, с чего начал. — Но я ведь еще, увы — В огонь, в огонь — снова кольнуло в груди; обратиться... Он в сердцах сплюнул себе под ноги и не глядя швырнул письмо Питлюса в угол.

— Коллега, вы что-то... — услышал он звонкий женский голос и вздрогнул; обернувшись, он увидел Марго, которая стояла на нижних ступеньках лестницы... — Ты что-то обронил, Глуоснис.

Рядом с Вимбутайте остановилась другая студентка — с непокрытой головой, в изящных модных сапожках и с большой красной сумкой; конечно, это была она, Мета. И то, что Мета, задрав подбородок, старалась смотреть куда-то поверх головы Ауримаса, словно свидетельствовало о том, что она видела, как он швырнул этот проклятый конверт. Но это была мелочь, сущая чепуха — этот конверт, потому что она... еще раньше...

"Она видела меня голым, она видела меня голым!" — вдруг огнем ожгла нестерпимая мысль; я насупился.

— А-а... — небрежно протянул я, ощущая, как по спине мягко скользнули прохладные мурашки; наклонился и подобрал конверт. — Можете мне поверить, сударыня, там нет ничего важного.

— Сударыня? — Марго вытаращила свои бойкие глазки и раздула круглые щеки; с кукольно-просто-

душным видом она посмотрела на приятельницу. — Он говорит: сударыня...

— Он говорит: ничего важного, — произнесла Мета, и я осмелился взглянуть на нее, будто желая убедиться, что это она, а не кто-либо другой; наши взгляды встретились.

"Из реки... — вспомнил я. — Ты выглядишь, точно тебя вытащили из реки..." Но тогда я не открывал глаз, хотя видел ее и чувствовал ее аромат — пряный и дурманящий, забивающий остальные запахи; и знал, что она — не Ийя, хотя... хотя в моей памяти они часто сливались в единый образ.

— Ничего, — произнес я, а может, и не я, кто-то другой вместо меня, навряд ли я разговаривал таким глухим и скрипучим голосом; теперь я избегал встретить ее взгляд. — А в чем дело?

— Ни в чем, — мирно ответила она. — Да как знать, Ауримас...

— Что — знать?

— Когда и что мы теряем... — ее голос по-прежнему был спокоен, мягок, он словно выплывал из легкой дымки, которая окутывала ее самое, — из самого сущего... И чаще всего, Ауримас, мы сознаем это много позже... Только, Ауримас...

Ауримас... Мы, Ауримас... Только, Ауримас... Меня бросило в жар: по имени? Помнит? Столько лет? После всего...

Заныло сердце, я отвернулся; не хотелось ее видеть. Как спокойно она разговаривает, думал я, вспоминая ее голос в первый день войны, как вяло, серо звучит он сейчас; и что она сказала мне потом — в ту ночь, когда... неужели все — смеха ради, все так легко и просто...

Я довольно сердито тряхнул головой.

— Это хорошо, коллега.

— Ауримас, но ведь...

— Это большое утешение, сударыня.

Меня знобило — от этих слов; с у д а р ы н я; от своей неожиданной развязности, причину которой я сам не мог осознать, от внезапно нахлынувшей ярости, которая вдруг, как клещами, стиснула мне горло.

— О! — воскликнула Марго; ее глаза двумя черными пульками стрельнули на меня. — О! — повторила она. — Семинара по хорошему тону у нас в вузе покамест... к сожалению...

И засмеялась — надменно, холодно, как Шапкус; я опрометью кинулся мимо нее наверх.

Мимо нее и Меты — пропади они пропадом; в конце концов, чего им от меня надо? Чего надо им всем — ну, точно сговорились, лезут в душу, на ощупь пробуют каждый нерв; дайте же мне побыть одному!

Знает! Она все знает, но этот голос... этот всезнающий тон... Неужели и то, что сегодня ночью у Лейшисов... валялся на диване и думал о ней... о Мете... знает?

И почему о ней, если...

...Пропади вы все пропадом, все до одного, думал Ауримас, без малейшего внимания глядя, как химик выводит формулы на черной, словно вся минувшая ночь, доске; химик был старенький, согбенный, точно крюк, и писал он забавными пунктирами, звонко стукая по доске, будто колотил посохом о пол; звенело в ушах, в голове, отдавалось в груди; пропадите пропадом! Чего вы от меня хотите? Вы, вы все!.. Ах, смешно мне... Я, Ауримас Глуоснис, смеюсь над вами всеми... и над тобой, моя милая сударыня, и над Даубарасом, и над Маргаритой — а вам это и в голову не приходит... Плевать я хотел на...

Выручил звонок, так как химик уже вполне определенно собирался поинтересоваться, почему промышленность для синтеза аммиака применяет главным образом давление в триста атмосфер, и поглядывал, само собой разумеется, на меня — глазами всезнающего пророка, так что вогнал меня в краску.

Ауримас очутился внизу, у самой столовой, несмотря на то что ему явно было нечего там делать: отбивная стоила червонец...

— Червонец? — переспросил Гарункштис, оказавшийся поблизости (впрочем, где ему еще быть, как не в столовке!). — Слушай, старик, я возьму... У меня сегодня выплатной день.

Выплатной? Ишь ты, никогда не скажет: получил гонорар, или зарплату, или аванс, всегда — выплатной день, как будто это придает ему, Мике, вес; по студенческим масштабам он действительно загребал немало; и обед Мике заказал поистине королевский — щи и жаркое из свинины да еще по большому бокалу пива; Ауримас ел с молчаливым наслаждением.

Откровенно говоря, не хотелось беседовать и с Мике, и он досадовал на себя за то, что с такой легкостью принял его щедрость; хоть и от чистого сердца, а все же — за все придется платить, и не только червонцами, которые ты берешь у него в долг, но и еще кое-

чем похлестче — беседой о самых щекотливых делах; отступать было поздно.

— Ну, как твои новеллы? — спросил Мике, кидая на тарелку обглоданную косточку и вытирая носовым платком губы; этакий полностью довольный судьбой Мике Гарункштис. — Пойдут?

— Какие новеллы?

— Не прикидывайся, друг мой, младенцем. Будто я не знаю...

А откуда? — Ауримас заморгал глазами, будто в глаза ему сыпанули песком; откуда ты знаешь, Мике? Но ничего не сказал, сдержался, закусил губу, закрыв путь словам... Ну, а коль скоро ты все знаешь, то больше об этом нам с тобой...

— Итак, долг в стипендию, — проговорил он, будто и не слышал сказанного Гарункштисом. — В тот раз три, сейчас...

— Сказано: угощаю, — Мике выложил на стол деньги. — Когда-нибудь, может, и ты... вдруг и я окажусь на мели...

— Ты-то не окажешься.

— Ты уверен?

— Конечно.

— Не скажи... — улыбнулся Мике. — И что же ты думаешь все-таки?..

— О чем?

— Все о том же. О жизни.

— Хочешь знать? Очень? — Ауримас помедлил, потом красноречиво провел пальцами по шее. — Вот что! Ясно?

— Не понял, — откровенно сознался Мике.

— Видимо, придется бросать.

— Писать, что ли?

— И все остальное.

— И учебу?

— Буду искать работу.

— Ну, литературой в наше время... — покачал головой Мике. — Особенно если нет ни имени, ни опыта...

— А у кого есть?

— Кое у кого, Ауримас, есть. А у тебя... а у нас с тобой...

Ауримас плотно сжал губы, закусил чуть ли не до крови. "Никаких сомнений! Беги отсюда, юноша! От иллюзий... Если еще можешь, беги... Ведь, кроме грязи, здесь, милый друг..."

— А ты... тоже не веришь? — вдруг спросил он, выпалил напрямик; вопрос этот таился где-то глубоко

внутри, и уже давно, — возможно, с той поры, когда он познакомился с Даубарасом, — не с Мике, а с Даубарасом; Мике не пришел туда, в радиостудию; з н а л? Уже успел прочитать в газете? Почему же он ничего не сказал ему, не удержал, не предупредил? Испугался? Чего же? Неужели Ауримас стал другим — после той статьи? Стал хуже? Чумной! Прокаженный! Или Мике никогда не верил ни в Глуосниса, ни в его слова, ни в способности, ни... Ничего хорошего от него Мике не ожидал...

— Нам в самом деле не хватает интеллекта, Ауримас.

Они переглянулись, словно только что познакомились, потом оба как по команде отвели глаза: Мике стал изучать пустой бокал, Ауримас — серую стену напротив; вся его жизнь представлялась ему как эта стена, вставшая между ним и его грезами. Серое житье, серая судьба. Жесткая, словно камень. Крепкая, как антрацит. Или цементная глыба — надгробие. И все прошибить придется самому, протаранить собственной головой... Прошибить? А то как же — не пальцем же проткнуть! Мозгляк...

Учеба? Литература? Будущее? Красивые слова! И правильные слова. Возвышенные! Но и они отскакивают от той же серой стены. Какая еще учеба! Какая литература! Какое тебе еще будущее! А есть не надо, что ли, — только почитывать книжечки, пописывать рассказики да бегать на танцульки, болтаться на речке, глазеть на камушки, рыбок. Наблюдать, куда плывут облака; с какой стати? И вынашивать какие-то мечты, надежды; зачем все это?

Да ведь нужно — и мечтать, и надеяться, говорят, это прекрасно, ну, а жить... А есть, а одеваться... платить долги... А помогать старой бабке... что там еще... Ах, многое, да только...

Писать? Кому она нужна, твоя писанина? Кому до нее есть дело? Если даже твои товарищи... а еще статьи, ехидные взгляды, письма... да еще совсем незнакомые люди... Спасибо! Спасибо вам, дамы и господа, низко кланяюсь. Он попытался. Вкусил. Вполне достаточно. Благодарю.

— Хватит забавляться! — сказал он вслух, точно в продолжение своих мыслей. — Решено: пойду работать. Где угодно. Кем угодно. Дальше так невозможно.

— Ха! В работяги наш брат, к сожалению...

— Да хоть бы и грузчиком!

— Не смеши! — осклабился Мике. — Грузчиком!

Да ты и пустой совок не поднимешь, а уж разгружать вагоны с углем...

— Не раз... приходилось... А надо будет, и еще поработаю...

Он отвернулся.

Мике сочувственно посмотрел на друга, побарабанил пальцами по столу. Покачал головой и нахмурился.

— Не чуди, — проговорил он неожиданно серьезным голосом. — Не в цирке... Кто хоть раз взял в руки перо... кому оно хоть раз покорилось... тот, можно сказать, уже никуда от него...

— Может, ты и прав, не знаю... — Ауримас снова повернулся к нему лицом. — Но жить-то надо. А это истина и того важнее: что жить надо.

— Я поговорю в издательстве... Плохо, что ты с подготовительного. Ну, был бы ты хотя бы учителем или, на худой конец, студентом... тогда... может, как-нибудь...

— Ясно. По-польски это называется prosze bardzo — ale prosze won...[1] А скажи мне, Мике, тебе когда-нибудь бывает стыдно? Например, сейчас?

— Мне? — Гарункштис пожал плечами. — Как это — стыдно? Почему? Ведь я для тебя стараюсь...

— Не стыдно ли тебе с таким неотесанным... с раб-фака... с клеветником и утопленником... Твое доброе имя хотя бы в том же издательстве...

— Дурак! — Мике покраснел и откинулся на спинку стула. — За кого ты меня принимаешь?

Теперь он умолк надолго. И Ауримас тоже. Появилась официантка. Она была слегка горбата, и горб уродливо задирал ее довольно короткое казенное платье; Мике рассчитался, потом, поразмыслив, заказал еще пива.

— По большому бокалу! — уточнил он.

— Я не буду, — Ауримас покачал головой. — Все.

— Как все?

— Так: все. Не буду пить.

— Ну, будь человеком! — Мике стукнул кулаком по столу; подпрыгнули тарелки. Уж не многовато ли было ему и того единственного бокала, который он осушил за обедом, а возможно, он еще и до обеда угостился. — Либо ты пьешь со мной дальше, либо...

— Либо?..

---

[1] **Милости просим — но просим вон...** *(польск.)*

Они впились друг в друга глазами. Ауримас встал из-за стола.

Поднялся и Мике, все так же недоуменно пожимая плечами, с трудом скрывая раздражение; он уже досадовал на свою щедрость: зря связался с этим доморощенным гением с Крантялиса... Он едва не повертел пальцем у своего виска.

— Итак, за обед... — повторил Ауримас, когда они дошли до гардероба. — Я тебе должен...

— Брось ты, ничего ты не должен! — Мике поспешно замахал руками. — Какие могут быть счеты у друзей.

Он побежал обратно в зал — все-таки пожалел пива, которое — он увидел издалека, — покачиваясь, несла к их столику горбунья-официантка. А то и навстречу Маргарите — Ауримас видел, как она, по-детски размахивая портфелем и сияя, точно ясное солнышко, сбегала по ступенькам вниз, в столовку. Меты с ней не было.

XXVIII

День был пасмурный, промозглый, задувал ветер; Ауримас шел не спеша, иногда вскидывал ногой опавшие листья; торопиться вроде было некуда. Домой? Но где он, его дом? Почему-то не тянуло на Крантялис, хотя там и была бабушка, был Гаучас — двое людей, которым, надо полагать, он был дорог; там было его детство. Но оно оставалось далеко, по ту сторону черты, которую провела война; светилось, точно розовое, румяное зарево за туманными лесами; как сказка или предание; и как всякое предание, оно таило в себе нечто неведомое и жуткое, чего не постигнешь, будучи взрослым; оно целиком утопало в этой сказке — в румяном зареве, за подернутыми дымкой лесами, неповторимое и никак, ничем не возместимое... А бабушка... И она была далека, как эта румяная сказка; далека и непостижима — хотя и настоящая, живая, ощутимая, — и тем не менее непонятная, как предание; и она была извечной — как и Старик, который все так же норовил сцапнуть мальчугана; как тревога, которая увлекает человека прочь из дома и треплет по прибрежным лугам, по чужим краям, по фронтам; бабушка существовала тогда, когда Ауримаса еще не было, и, возможно, останется, когда его снова не станет... осталась бы... потому что он... потому что она все еще не знает, что делал Ауримас в т у н о ч ь и почему он еще жив; она все посиживает на низенькой скамеечке

в углу возле печи и знай растирает, без конца растирает свои колени; и ищет все новые и новые слова, взвешивает, пробует рукой, точно камни; и думает думает думает — как она швырнет эти слова — черные и грязные — Ауримасу в лицо, едва лишь тот появится; как камни или тряпку. Надеяться на лучшее не стоит. Что верно, то верно — по головке не погладит за то, что вчера...

Сам, сам, сам — сам виноват, думал Ауримас, невольно ускоряя шаг; ему уже хотелось домой; домой — только домой; сам же ты и виноват; ты большой, взрослый; и не ищи, на кого бы свалить; сказка кончилась — румяная зареподобная сказка; сам...

Он размышлял, ступая мимо стонущих под ветром деревьев, а голова сама так и клонилась долу, глаза прятались от прохожих; зуб на зуб не попадал от холода, и что-то тяжкое клонило книзу — то ли собственная тяжесть, то ли гнет слепого отчаяния; Ауримас негодовал и на себя самого за то, что так безобразно — только что — подумал о бабушке, и — в то же время — снова злился на нее: за то, что можно такое о ней подумать; а все же, чувствовал он, холодно там, на Крантялисе, холодно им обоим — желчной старухе, основательно потрепанной жизнью, занятой лишь одной заботой: что подать на стол, и угрюмому студенту, который приносит гривенник в стипендию; за эту денежку, извините, пожалуйста... Вот и опять подкатил весь тарахтящий, весь содрогающий — точно вот-вот взорвется — автобус, билетик стоит... Не проехаться, нет, билет — рубль в этом мятом, продавленном, будто яичная скорлупа, обитом фанерой автобусе РАТУША — КРАНТЯЛИС, который останавливается прямо под окнами у Сонаты; мозолить ей глаза... Не хочу, нет! Потом. В другой раз. Когда-нибудь. Пусть она поговорит со своей мамашей — кажется, найдет о чем; я тут посторонний; мечтатель, размазня, не приспособленный к серьезной жизни, — чего вам более... и ко всему этот Лейшис, которого сегодня уже довелось лицезреть — о, что за честь; Ауримас, ура, у меня плевритец... заглянуть?

Глупости! Глупости! Все это глупости, подумал Ауримас, все оттого, что ты не выспался и поцапался с Мике; хватит баловаться, мой друг, ты двинешь домой, к бабке, — там тебе и место, там твой дом; старушка нахохлилась на скамеечке в кухне и ждет-пождет — принесет внучек стипендию, побегу за постным маслом, то-то будет хорошо, а потом...

Потом Ауримас с досадой сплюнул себе под ноги и еще глубже спрятал голову в воротник; не поехать, нет; плетись пешим ходом все пять километров, как и тогда, когда еще была мать, и когда она умерла — как всегда; те, другие, катались на автобусах — пекарев сын Ромул и сын лавочника Рем; двоюродные братцы, ходившие в одну гимназию, в ту же, что и Ауримас; и даже в тот же класс, почему бы и нет; оба упитанные, в перчатках, с тугими розовыми щеками, оба похожие друг на друга и еще на капуцина отца Иоанна, к которому каждое воскресенье бегали прислуживать при мессе; это они тебя били? Еще чего, пусть бы только тронули, не таким колотить Глуосниса Ауримаса; просто один посоветовал ехать за хлебом в Москву — бабушке, при гитлеровцах, а второй... Второй купил мотоцикл и потешался над теми, кто трясся в разболтанном автобусике — там же как сельди в бочке! — или ковылял пешком; теперь его папаша в кооперативе... Господин заведующий Райла, заведующий товарищ Райла — верещат продавщицы, увиваются вокруг, точно он вам король Сиама, а его Рем...

Тут Ауримас вскинул голову и огляделся: идет правильно, по горе, так будет ближе; ноги сами знают дорогу — столько исходили; вверх, по парковым ступеням в гору, и вниз, по дорожке через Дубовую рощу; бегом, опрометью мимо форта, хмурых тюремных полей — там, говорят, расстреливали наших; дальше — мимо туннельного зева; а что, если вдруг оттуда?.. Нет, нет, Старика там не было, он небось и сам побаивался локомотивов — клубы дыма, искры, пламя... Этот дряхлый, обросший волосами Старик обычно по ночам нависал над постелью Ауримаса и молча медленно тянулся к нему холодными, костлявыми руками; по осени, когда бывало темно и ненастно, — и утром, и вечером его поджидали они — там, на горе; и били, били, били — пока он не валился ничком и не утопал в крови; за что? За то самое; за красивые глаза, балда; поддай дай дай! За то, что ходит один в такую темень, да еще пешком, да еще и отца у него нет, а еще — хоть и шляется пешком и нет у него отца, а рыпается, у, голытьба с Крантялиса, стал поперек дороги нашей хавере; и еще за то... мало ли за что... Мало ли за что дубасили хулиганы с горы — Васька, Юзька да Яська — парнишку, живущего под горой; пожалуешься тут, как же; утешишься разве что вот чем: и ты когда-нибудь вырастешь, а уж тогда... Тогда Васьки не стало — сгинул где-то в военной чехарде,

Юзька погиб под поездом, ни за что ни про что, по пьянке, а Яська... Яську видели в погонах — в Каунасе, на комсомольском собрании; кто-то их познакомил, и они пожали друг другу руки; Яськино лицо было сплошь в шрамах, и он, кажется, весьма гордился этими синеватыми рубцами; возможно, он побывал на фронте. "Ну и балда же ты, — сказал Яська и потрогал шрам у себя на лице, — мог обходить нас... по дороге... там люди, автобусы..."

Автобусы! Но в них раскатывали Ромул и Рем, двое волчьих выкормышей, оба — Райлы, сидели, уткнув свои сытые рожи в оконные стекла; ехали другие, те, у которых б ы л о т е ц; они ехали и, счистив ладонью пыль, глазели в окно на тех, у кого н е б ы л о отца; которые тащатся пешком, шпана, голь перекатная, разве для таких, как он, науки...

Не для таких, ясное дело, нет — Ауримас угрюмо оглянулся вокруг: вдалеке ухали паровозы; улица далеко внизу; по дорожкам не добраться — глина; не для таких, нет, — он скользнул по мокрой, заваленной рыжими листьями траве; не для таких, нет, нет, нет, — и кубарем ринулся вниз — через шиповник, акацию, ивняк — через забитую грязью канаву — на улицу; разве для таких, господа, науки — прогромыхал автобус РАТУША — КРАНТЯЛИС, грохоча, как готовая разорваться петарда; Ауримас метнулся, чтобы укрыться за стволом тополя, — все равно обдало грязью; это уже знак: не для таких, нет; пальцы, искавшие платок, снова нащупали гривенник, одинокий гривенник, а рот, хотя и против собственной воли, отпустил такое ругательство, что... Ну, по матушке — это уж слишком... давай, садись, подвезу, а ну-ка, старик...

Ауримас поднял голову: Рем, Ремас Райда, медик, сидит, оседлав тихо рокочущий мотоцикл, одной ногой опираясь о землю, другую держит на подножке, желтый шлем, облегающая кожанка, — и глядит на него, на Ауримаса, пялится сквозь большие квадратные очки, чуть ли не на все лицо окуляры; что, подвезти? Спасибо, мне недалеко, Рем, пара шагов. Разве ты не домой? Не к бабке? Домой, к бабке, но это недалеко... пара шагов... Садись, садись, не опрокину... не бойся... Разве не знаю, кого везу...

— То есть? — спросил Ауримас, крепко хватаясь за скобу позади кожаной спины Рема.

— Гения, — отвечал Рем, поворачиваясь к Ауримасу; мотоцикл задрожал и, как скаковая лошадь через

барьер, прыгнул через рытвину. — Нашего Гомера. Честь и славу всего Крантялиса.

— Ты бы полегче...

— А что?.. Ну, как-никак с друзьями детства... с однокашниками... не часто приходится...

— Поезжай, говорю, да полегче...

— Не оброню тебя, не бойся.... сознаю историческую ответственность... — И помедлив: — Старушка твоя была у нас...

— Кто, кто?

— Бабка твоя приходила. К моему папаше. Понял?

— Понял чего ей?

— Масла!

— Масла?

— Масла в долг... Как, по-твоему, в государственной торговле существует такая форма — в кредит?

Он опять повернулся лицом к Ауримасу, мотоцикл дернулся, вот-вот перевернется, Ауримас чуть не выпустил из рук скобу; в долг? Да ведь и тогда, давно... этот Старик...

У Райлы — в долг? У того самого Райлы, который... И почему Рем это ляпнул — з н а е т? Ничего он не знает, пунцовощекий принц с мотоциклом, этот Райла, которого Ауримас иногда трепал за уши — в детстве, когда поблизости не было Ромула; и его, Ауримаса, кто-то боялся — хотя бы этот щекастый Рем, сынок лавочника. Пусть придет Глуосниха... пусть придет она, шамкал Старик, его толстые, заскорузлые пальцы запихивали в штаны красную рубаху, он щурил глаза и зачем-то причмокивал губами; пусть придет, я дам хлеба, селедки дам, постного масла и, может, еще кой-чего... пусть, шлепал он языком, простирал руки и облизывался, точно кот на сало; умерла? Тогда кто же вернет мне долг — кто кто кто? Ты? Но ведь ты козявка, у тебя еще нос... Нет, конец... конец, конец тебе, и конец твоей бабке, которая тащится клянчить постное масло, как и в те стародавние времена — конец — —

Он почувствовал, как пальцы сами выпускают скобу и тянутся к сидящему впереди — волчьему выкормышу Рему; схватить его за кожаные плечи и шмякнуть изо всей силы с распроклятого этого мотоцикла — то-то расквасил бы башку, гад. Нет, сойду сам.

— Стой, — промолвил негромко.

— В чем дело? Плохо тебе?

— Плохо. Останови.

— Слишком сильно жму, да? Учти, я гонщик. А уж моя "Явушка"... Другой такой во всем Каунасе, учти... Обиделся? — спросил он, сворачивая к куче гравия.

— Ну тебя. С какой стати! Спасибо, что подвез.

— Я же, Ауримас, не виноват, что твоя бабка... что власть рабочая, а живется рабочему человеку... сам знаешь... Жизнь не сахар...

— Про власть — кончай, — перебил его Ауримас. — Не ты ее делал, не тебе и хаять.

— Ну ладно — ты, ты, — Рем сплюнул на гравий и нажал на стартер; мотоцикл сердито рявкнул. — Власть делал ты и твой Гаучас, а она тебе... красный кукиш под нос... нюхай, облизывай, Глуоснис...

Он пригнулся к рулю и унесся прочь, обдав Ауримаса грязью и смрадом; тоже мне — поквитался; уж не ради ли того он и затормозил там, у тополя, чтобы показать свое превосходство над каким-то жалким Глуоснисом, — гений, видите ли, выискался!

Дверь оказалась запертой, и он долго отыскивал ключ, хотя тот был на месте — засунут за кирпичину у лестницы; нашел, попал в дом. И здесь было холодно, давно не топлено, хотя и чисто, подметено; в кухне на шкафчике, аккуратно прикрытый салфеткой, лежал хлеб — полбуханки, стояла солонка и литровая бутыль с подсолнечным маслом; Ауримас чуть было не схватил ее и не выкинул в окно — вспомнился Райла; но только скрипнул зубами и, опустив голову, поплелся в свою комнатенку. Здесь тоже веяло одиночеством, стужей, несмотря на чистоту, несмотря на опрятно застланную постель; а на столе, рядом с книгами, он заметил горку бумаги. Принес? Опять? Да знает ли он, заботливый сосед, что Ауримас больше никогда... Он пригляделся к бумажной стопке — та самая, "министерская", глянцевая, аккуратно нарезанная, — берись за авторучку и строчи; строчи... только, Гаучас, знаешь ли ты — —

Наступил вечер, стемнело; бабушка все не возвращалась. И то обстоятельство, что старушки нет и никто не допытывается, где он был, — как-то раздражало, настораживало, будто он тут не свой, не хозяин, а так себе прохожий, случайно забредший под чужой кров; разве только радоваться тому, что не задувает ветер. Он оделся и вышел на улицу. "Пойду к Гаучасу", — но, не отшагав и половины пути, передумал и, отчаянно

махнув рукой, свернул к почте. Знакомая телефонистка соединила его с квартирой Лейшисов; номер не отвечал; тогда он позвонил в гостиницу.

— Барышня болеет, — услышал он; догадался, что говорит буфетчица Ируся, и обрадовался: та не узнала его по голосу. — А хозяйка...

— Какая хозяйка? Лейшене? Мне только Сонату...

— Барышня болеет, а директор...

— Передайте ей привет.

— Директору?

— Сонате.

— Барышне? А от кого, если не секрет?

— А вот и секрет, — Ауримас улыбнулся в трубку. — Хотя скажите... от одного важного господина. От ночного мотылька. Спокойной ночи.

Вернулся и камнем рухнул на кровать; приснился ему Райла, который нес в охапке пузатую бутыль с подсолнечным маслом, где — о, ужас! — барахтался его сын Рем; Ауримас очнулся, взглянул на старый будильник; бабушки не было; пришел Гаучас — опять-таки во сне, и опять принес бумагу, но свалил ее не на стол и не на прежнее место в углу, а прямо на лежащего Ауримаса; да что же это такое; он махал руками, отталкивал эту бумагу прочь — в огонь, в огонь, всю, полностью; но Гаучас все равно накрывал его, накрывал листами, пачками по сотне листов, и они душили, давили на грудь; листы были горячими, словно кирпичи, которыми по ночам бабушка согревала себе подошвы, подсовывала под одеяло; потом пришел Старик и медленно простер руки над кроватью, где лежал Ауримас — извивался, как шкварка на сковородке; длинные костлявые старческие пальцы хрустнули, издали царапающий звук, точно сухостойной веткой по окну, между бескровными, растрескавшимися губами показались редкие, пожелтевшие зубы. Агрыз Агрыз Агрыз — залязгали эти зубы, подхватили в воздухе свое эхо; дохнуло холодом; там там там Агрыз; литовец, теперь ты мой... теперь уже никуда, л и т о ф е с...

— Нет, нет, нет! — закричал кто-то — прямо здесь, рядом со мной, а может, и внутри меня — пронзительным и каким-то до жути знакомым голосом. — Никуда из Литвы! Никуда из Каунаса! Никуда и никогда! И передай ему — если можешь — если где-нибудь встретишь — если — —

Но, Ийя... Мета, это же... Ты понимаешь — он предал... бросил тебя... ты для него вроде слепого котенка, без которого...

Молчи! Молчи! Ничего ты не знаешь. Ничего не понимаешь.

А ты знаешь? Да что ты соображаешь, дамочка? Ни дать ни взять Жанетта Макдональд! Ух! Макдональд с улицы Альтов. Будешь бегать за каунасским хлыщом с накладными плечами — останешься ни с чем.

Кому говорят: молчи! Сказано — заткнись! Перестань, ты — стоик! Гений с Крантялиса! Ты наш Гомер! Молчи, как мышка под метлой, ведь никто не знает, где и когда мы теряем самое сущее... Потому что мы узнаем это позднее... когда уже...

Танки! Ийя, танки! Немецкие танки! Мета! Пропала? Ме-е-та! — —

— Ну и ну! — расслышал он и с трудом открыл глаза; светало, подвывал ветер, а рядом с постелью стояла бабушка и подтыкала со всех сторон ветхое, вылинявшее одеяло. — Ты чего? Чего раскричался? Болит что-нибудь, сынок? Ну, что ты опять?

— Это ты? Ты? — Ауримас ладонью протер слезящиеся глаза. — Правда, ты?

— Я-то я, — отвечала бабушка; она выпрямилась. На ней был коротковатый зеленый плащ, подпоясанный солдатским ремнем, — непривычная, не похожая на себя бабушка. — Я, я, она самая... А с тобой-то что... заболел? Опять? Что у тебя болит, детка?

— Сердце, бабушка, — ответил он, сообразив, что видит ее наяву; удивительно это было: он не спит, а бабушку видит такой особенной — по-военному подтянутой, решительной как никогда; и это еще больше походило на сон. — Сердце у меня болит. — Соскочил с постели и содрогнулся — его бил озноб. — Где же ты пропадала, бабуня? Ночью тебя не было?

— И тебя, детка. Четыре ночи.

— Четыре? А я думал — еще больше... месяц, а то и целый год...

— Не старайся... все равно знаю — люди сказали... Не пришел домой, пока...

— Святая правда, бабушка: пока все не просвистал. Все большие тыщи. В то время как ты тут... к Старику... как в войну...

— К старику? К какому еще старику? Детка, ты опять...

— К Райле — кому еще! К старому Райле. Как при буржуях, как при Гитлере... К этой сволочи — Райле, с которым мама... когда я был маленький...

Он вдруг захлебнулся собственными словами и отвернулся, почувствовал, как кровь бросилась в лицо;

было в его словах что-то постыдное, что-то безобразное, — но было и что-то убийственно справедливое; кто это сказал, что истина всегда прекрасна? Вот дурак. Если бы еще оставались слезы, Ауримас бы заплакал, право.

— Больше не пойду, — разобрал он сквозь шум дождя. — Никогда.

— Никогда? — переспросил он.

— Никогда. Я на работу устроилась.

— На работу? — Ауримас обернулся. — Ты, бабушка?

— А что тут такого? — вызывающе ответила она. — Поступила на бумагофабрику сторожем. Не такая уж я старая, чтобы дома сидеть. И все время одна. Потом, человек каждый день есть хочет, Ауримас... такая власть или сякая... а за свет, за страховку... Матаушас присоветовал...

— Гаучас?

— Он... перед тем как снарядился с этими самыми — защитниками... так что теперь некому и дров наколоть...

— Гаучас? С какими защитниками?

— Народными — вот какими! А ты и не знал? Не то в Пренай, не то в Любавас...

— Любавас?

— Ага, вроде бы... А что?

— Ничего. Друг у меня в Любавасе...

Он вспомнил долговязого юнца, которого видел от силы два раза в жизни — на торжестве в университете (рядышком жалась та самая девица в кружевном воротничке, с голубыми глазами — словно обрызганными дождем) и когда шел из радиостудии... Друг, подумал он, да будь у меня настоящий друг... может, и все эти ночи...

— С фабрики человек пять пошли... с ними и Гаучас... если, говорит, человеку такое суждено... тогда, говорит, надо до конца и пройти свой путь... Да скажи мне, Ауримас, откуда их столько развелось, бандитов этих? Точно поганых грибов или лопухов подзаборных... Война кончилась, а люди все воюют... Мне, говорят, тоже выдадут оружие... да курам на смех — разве я пойду палить...

— Значит — в Любавас? А я вчера думал — к нему...

— И я не хотела, чтобы он ушел, — бабушка недослышала. — Такой человек! Колоду расщепать, или воды из колодца, или новости какие... И вовсе, скажу я тебе, зря Анеля от него нос воротила... такого человека променяла... на зимогора...

— Бабуня! Опять...

— И буду! Разве он тебе не вместо отца родного?.. А ты-то...

Она довольно сердито затопала своими сухими, изуродованными ревматизмом ногами, рванула с себя ремень (широкий, с латунной пряжкой), сбросила свой нелепый плащ, откинула пятерней седые обвисшие волосы, потом ушла на кухню и загремела там кастрюлями. Что-то она варила, что-то жарила — там раздавалось шипение, пополз запах постного масла, стреляли ломти обжариваемого хлеба, пыхтел, сипел чайник; что-то она ставила на шкафчик, где ночью находилась солонка и бутыль масла; что-то подтирала тряпкой; и все кашляла, кашляла, но бодрилась изо всех сил.

— Завтракать! — она заглянула в комнату. — Поедим что бог послал... А я аванс получила...

Придвинула миску с пропитанными маслом ломтями хлеба ближе к Ауримасу, налила чаю в алюминиевую кружку, ту, которую Ауримас привез из эвакуации, разложила ножи и вилки — и все с улыбкой, будто виделось ей что-то милое и красивое. И не растирала больше колени, — Ауримас сразу подметил, что бабушка, даже сидя на своей низенькой скамеечке, сегодня не растирает колени; он подметил это и почему-то вспомнил Лейшиса — и весь залился краской. Сжевал кусок хлеба, запил чаем, поставил кружку на стол, поднялся и взял шапку...

XXIX

Я увидел ее как раз в тот миг, когда, миновав целых два этажа, собирался шмыгнуть мимо третьего — самого для меня опасного — и очутился на четвертом, у последней лестничной клетки; там я жил. Жил? Это не то слово, которое уместно здесь употребить, ведь едва ли назовешь жизнью это ежедневное торопливое шествие наверх по лестнице — поздно ночью, и вниз — спозаранок, едва забрезжит рассвет; этот чуткий, как у зайца, сон с открытыми глазами, — там, на затхлом, проплесневевшем чердаке без окон, где завхоз редакции сваливал старые, никому не нужные газеты; я боялся всех, кто только мог заметить меня, застукать на ночлеге, а особенно — замредактора Бержиниса, чей зычный бас с утра до вечера гудел по всем четырем этажам: я появлялся только в темноте. И все равно он углядел меня — этот человек в черных сатиновых нарукавниках (я как будто знавал его, но сей-

час хоть убей никому не смел бы в этом открыться; в свое время, когда я выкладывался на комсомольской работе, я иногда пописывал для него корреспонденции из жизни первичных организаций; не глянув на подпись, он ставил на моих писульках то плюс, то минус и складывал в зеленую папку, которая была тут же, под рукой, или, не оборачиваясь, кидал через плечо в корзину — та, между прочим, отнюдь не пустовала; он обожал слово "оперативность"); Бержинис этот, видимо, страдал бессонницей, если приходил в такую рань; сатиновые нарукавники сверкнули двумя молниями в пыльном сумраке лестницы, когда он попытался схватить меня, но я скорчился, повернулся боком и этаким скользким угрем юркнул сквозь его руки вниз; меня настигло раскатистое российское ругательство, которое Бержинис отпустил мне вслед.

Это происшествие я хорошенько обдумал и в ту же ночь вывинтил лестничную лампочку, чтобы она не мешала моим коротким пробежкам между этажами; но тогда я увидел ее. Она стояла, широко распахнув дверь на лестницу, одной ногой уже ступила на площадку, другая оставалась за порогом — так и замерла на ходу; лицо у нее должно было быть удивленное. Должно было, потому что оно было в тени, и я его не видел; заметил только, что Мета без платка, а волосы треплет сквозняк; я обомлел на месте.

— Скорей, скорей! — крикнула она. — Ему плохо.

Не успел я и рта раскрыть, как она схватила меня за руку и, гремя каблуками черных полусапожек, повлекла по длинному пустому коридору в самый конец, где тоже была настежь распахнута дверь — уже другая, с матовым стеклом, — и чуть ли не бегом ворвалась туда.

— Ему совсем плохо, — повторила она, когда я, потрясенный и испуганный, очутился в большой, напоминающей полукруг комнате со стеклянной стеной напротив, — в комнате, на двери которой значилось РЕДАКТОР и которой я, как и всякий молодой внештатный корреспондент, сторонился; хватит с меня и Бержиниса. И еще пуще я перепугался, когда увидел на полу человека. Лежал он, беспомощно разметав руки, недалеко от другой двери, куда он, видимо, направлялся, — его голова, крупная и темная, была как раз возле порога; очевидно, он зацепился ногой за стул, который теперь валялся посреди комнаты, опрокинутый кверху донцем сиденья; я в один прыжок подскочил к лежащему. Никогда бы не подумал, что Грикш-

тас окажется таким тяжелым, и тут я понял, почему Мета выбежала звать на помощь; и ведь ростом он был пониже меня, да и в плечах ненамного шире; он был даже порядком усохший, измотанный работой и болезнями, да и нога его — деревяшка, надо полагать, не слишком много весила; я наклонился, подсунул руку ему под грудь и приподнял; деревяшка стукнула — как и там, на горе; и точно, как тогда, я невольно зажмурился.

— Сюда, сюда на диван! — Мета махала рукой, расширенными, перепуганными глазами смотрела на нас; это были какие-то другие глаза — не те, которые я видел тогда, в университете, на лестнице; в них дрожало уже не любопытство, а страх. — Я сейчас.

Пока я укладывал Грикштаса на узкий продавленный диван, пока стягивал сапоги (один никак не стаскивался и скрипел — там-то и был протез), пока расстегивал пиджак, Мета судорожно рылась в ящиках заваленного бумагами стола, что-то там искала; она очень спешила, эта хорошенькая Мета, глаза прямо-таки пылали на ее лице, которое было темнее, чем волосы; и дышала она часто-часто, слегка приоткрыв рот, будто гналась за кем-то.

— Нету, — она похлопала ресницами и беспомощно развела руками. — Нет ли у тебя случайно конфетки?

— Конфетки? — я остолбенел. — Что ты... И... зачем?

— Йонису. Помогает. Если нет под рукой таблетки.

— По-моему, ему нужен врач, — я взглянул на лицо Грикштаса; таким — черным, дряблым, в глубоких морщинах, сведенным резкой болью — я видел его впервые; Грикштас задыхался, дышал прерывисто, хватал ртом воздух, без выдоха, всасывая его губами, по-рыбьи разевая рот; сощуренные глаза блестели из-под век, точно два холодных, узких стеклышка; конфетка?

— Конфетка — вроде лекарства, — вздохнула Мета. — Но он никогда не носит с собой. Не слушает. Потом — вот... Хорошо, что ты заглянул. И что я тебя заметила... Не знаю, как бы я одна. — Она посмотрела на меня.

— Не надо бы ему засиживаться по ночам...

— Легко сказать. А работа?

— Номер?

(Недаром, ой недаром ночевал я в редакции — в работе я кое-что смыслил...)

Мета кивнула.

— Сегодня ночью подписывает он.

— А Бержинис?

— Бержинис — завтра. Они меняются. Работы, Аурималс, тут хватит всем. Если бы не эти ночные дежурства... Посиди еще, ладно? — она наспех пригладила ладонью волосы — белокурые, дымкой вскинувшиеся надо лбом кудряшки, но от этого они, кажется, разметались еще пышнее, заструились, лучась против света. — Не оставляй его одного. И меня. Не позволяй ему шевелиться. Я — скоро.

Она повернулась и исчезла за дверью, оставив в комнате какой-то пряный, тонкий аромат; "и меня"; понятно, она торопилась в аптеку; сколько сейчас времени? Я нагнулся, взял руку Грикштаса и посмотрел на часы... И в этот миг почувствовал, что Грикштас смотрит на меня — не в потолок, куда только что был устремлен взгляд его мутных глаз, а на меня, склоненного над его часами; рука потянула вниз. Он ее сам отвел, свою руку, словно хотел поупражнять; потом опять взглянул на меня. Он нисколько не был удивлен, отнюдь, и почему-то вроде обрадовался, завидев меня около дивана, — этот лысый, морщинистый человек, и даже шевельнул губами, словно спешил что-то сказать. Но речь, видимо, еще не давалась ему, а, выталкивая слова через силу, он еще больше кривил страдальчески сведенные губы; неужели так и выглядит предсмертная гримаса? Я испугался и бросился к низенькому столику в углу комнаты, где стоял графин с водой; Грикштас медленно покачал головой.

— Спасибо, друг, — выговорил он ошеломляюще молодым и чистым голосом. — Давно я тут...

— Нельзя! — я как ужаленный подскочил к нему. — Вам нельзя. Ни за что!

— Вставать? Я и не собираюсь.

— Лежите спокойно, пока не вернется жена.

— Она приходила?

— Да. Пошла в аптеку.

— Интересно, который час?

Он приподнял руку с часами, поднес к глазам (глубоко посаженным и чуть подслеповатым), угрюмо сдвинул густые, совсем по-стариковски нависшие над глазницами брови и сразу же безвольно уронил руку вниз; по лицу судорожно метнулась гримаса боли.

— Сказано! — промолвил я как можно более строго. — Нельзя — значит, нельзя. Ваша жена знает.

Он взглянул на меня — ледяными глазами, но ничего не произнес и снова вперил взгляд в потолок. Я все еще не был уверен, что он меня узнал — этот тем-

ный, морщинистый человек с колючими седыми бровями, — несмотря на то, что он как будто обрадовался, увидев меня рядом; впрочем, неизвестно, как бы он себя вел, окажись на моем месте кто-нибудь другой.

Резко затрезвонил телефон. Я снял трубку.

— Мы ждем, — раздалось там.

— То есть?

— Это Добилас, товарищ редактор. Линотип пустует. Страница тоже. Ждем, как выходного дня. Как зарплаты, товарищ редактор.

— Вот и ждите дальше, — ответил я и положил трубку, хотя и понятия не имел, что за Добилас такой и чего он так страстно ждет; я опять посмотрел на Грикштаса — он по-прежнему, немощно раскинувшись, лежал на диване навзничь, свесив руки вниз, глядя в потолок все тем же тускло-стеклянным взглядом; снова зазвонил телефон. Я только приподнял трубку, не стал слушать и ничего не сказал, просто положил на рычаг; Грикштас встрепенулся.

— Не смейте! — подскочил я к нему. — Вам нельзя! Лежите и не двигайтесь! Сейчас придет жена.

Я все еще не хотел говорить — Мета, сам не понимаю отчего; может, слово ж е н а отдаляло ее от меня и от прежней Меты Вайсвидайте, которую я некогда знал, — от туго перетянутого по поясу мотылька с голубыми крылышками бантов; я не хотел ее встретить, право, ведают силы небесные — не хотел; но ради этого ночевать на улице? Или мне полагалось бежать куда глаза глядят, как только она появилась в поле зрения; однажды уже было так... Мне и вспоминать не хотелось тот раз, когда она и Марго остановили меня на лестнице, а я просто-напросто сбежал, не дослушав, что она говорила; как знать, что и когда мы теряем сущего... зачастую это открывается нам только позже...

Грикштас... А ведь я проживаю у вас под боком; у вас с Метой; да, да, на лестнице, на самой верхотуре, с летучими мышами — не так уж они страшны, эти твари, как о них судачат, и вовсе не вцепляются в волосы, уверяю вас, не запутываются в них, хоть и слывут когтистыми, тем более что я и лампочку вывернул, ради нашего общего блага — моего и этих рукокрылых; правда, спальное место у меня не из самых мягких, ни тебе перины, ни подушки, ни свечи у изголовья, — только пачки старой бумаги с приторным запахом краски, — но и не такое бугристое, как те разнокалиберные стулья, собранные со всего города в Дом

писателя, — ни дать ни взять горы Карпатские; а тут тепло и мухи не кусают; каково? И если бы не чертов этот Бержинис...

Тут я вздрогнул, так как услышал, что открыли коридорную дверь и кто-то грузной, натруженной походкой направился сюда; неужели легок на помине?

Нет, это был не Бержинис, вовсе не он; самый первый жест, который сделал этот пожилой, плотный, словно капустный кочан, человек, едва ступив на порог, подсказал, что это и есть собственной персоной Добилас, с которым я уже имел честь перекинуться словом; прежде чем в кабинете возникла его внушительная фигура, в дверь просунулся — наподобие выставленного вперед щита — широкий, испещренный крупными и мелкими буквами лист бумаги; один угол этого листа на самом деле был пуст и бесприютно бел.

— Вот! — воскликнул человек, тяжело шаркнув толстой подметкой, и сунул мне бумажный лист. — Ведь скоро десять! Наборщики думают расходиться. Рабов нынче нет. Не ждать же им до утра вашей передовицы... И метранпаж Добилас как-никак тоже человек, товарищ редактор, и, как всякий советский гражданин, имеет право на отдых ночью...

Вдруг да осекся да так и остался стоять с разинутым ртом: он обращался вовсе не к тому, к кому надо, он только сейчас разглядел Грикштаса; от этого метранпаж еще пуще оторопел и, пятясь, все так же — выставив перед собой наподобие щита большой лист — засеменил к двери.

Она вбежала, запыхавшись, и сразу — к дивану.

— Ну, как? — повернулась ко мне; глаза были тревожные и, как мне показалось, заплаканные. — Не буйствует мой Йонялис?

— Лежит, — ответил я тоном бравого санитара.

— Домой бегала, — сказала она. — На гору. За таблетками.

— Домой?

— Куда же еще? Из самой Москвы... В Каунасе таких нет. У Йониса не только сахар... у него, у бедняжки, еще и половина желудка...

Она взяла пальцами Грикштаса за губы, раскрыла ему рот, точно младенцу, и вложила какую-то таблеточку под язык; потом встала с дивана и зачем-то тряхнула волосами.

— Нету, — сокрушенно, со вздохом проговорила она, будто что-то припомнила.

— Кого, Мета?

Я сам поразился тому, что назвал ее по имени, но выяснилось, что это вовсе не трудно.

— Кого здесь нет, а, Мета? — переспросил я, словно мы с ней запросто беседуем каждый день. — Кого?

— Бержиниса! Нету, и все.

— Бержиниса? Ты искала Бержиниса?

— Да, — она глянула на меня слегка растерянно. — Он пошел в театр. Ничего не поделаешь, у него сегодня выходной. Но вообще-то, мне кажется, что у него, у Бержиниса, этих выходных больше, чем у Грикштаса... У Йонялиса мягкое сердце... Метранпаж не заглядывал?

— Этакий кочан?

— Добилас, — Мета широко улыбнулась, но тут же, глянув на простертого Грикштаса, погасила улыбку; и она тоже назвала меня по имени: — Метранпаж Добилас, Ауримас. Он ждет передовой статьи. Газета без передовицы — что корабль без парусов. Или телега без коня... или... больше не знаю, с чем сравнить, Аурис...

Аурис, Аурис, Аурис — отдавалось у меня в ушах — где-то совсем далеко: куда ты бежишь, Аурис, пойдем все вместе; телега без коня: больше не знаю, с чем сравнить; Мета, Мета, Мета, — отозвалось что-то у меня внутри, какой-то призыв, загудело набатом, зазвенело, как тронутая пальцем струна — Мета; и, не сознавая отчего и к чему, я невольно заулыбался — этому отзвуку или зову. Невольно и очень скоро перестал — в мгновение ока, сразу же сообразив, что это ребячество, да и бестактность, грубость по отношению к Грикштасу — скалить зубы, когда... И Мета не могла этого одобрить, нет, подумал я, видя, как она опять склонилась над Грикштасом и пристально глянула на него, потом белыми пальцами осторожно коснулась его руки.

— Йонис, Бержиниса нет, — проговорила она.

Лежащий приподнял руку, будто собирался опереться о диван; глотнул раскрытым ртом воздух; я понял, что он все слышал.

— Та-ам... — простонал он сквозь стиснутые зубы; его веки мелко задрожали. — Та-ам... — он показал на стол.

Вот оно что! — я бросил взгляд на Мету (она не смотрела в мою сторону), да ведь там...

Пока Мета ходила за лекарством и я оставался с Грикштасом, у меня было время осмотреться в комнате, и, скользнув глазами по столу Грикштаса, я заметил: там, рядом с пухлыми папками, грудой книг

и бумаг, на толстом блестящем стекле, отдельно от остальных, лежал лист бумаги с крупными, выведенными черными чернилами наверху буквами: УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ и пара строк пониже, почерком помельче; и теперь я смекнул, что это и есть та самая недописанная (или только начатая) статья, за которой приходил кочаноподобный метранпаж; теперь я взглянул на этот лист повнимательней.

Статья, судя по всему, имела отношение к учебе и была призвана осветить ее важность и пользу, учеба же предполагалась всякая и всяческая — политическая, вечерняя и дневная; учеба в школе, учеба в жизни... Без ученья человек слеп, ученье свет, а неученье, как известно... словом, гимн ученью... Рядом лежала толстая авторучка редактора Грикштаса "ЛИТУАНИКА"— предмет мечтаний всех пишущих, в свое время стоившая чуть ли не тридцать литов; я взял ее в руки, но почти сразу положил обратно: моя была лучше. Что-что, а ручка у меня была сногсшибательная: А у р и м а с у в д е н ь р о ж д е н и я — С о н а т а — заплясали перед глазами буквы, и я снова, как когда-то, на ощупь почувствовал их колючую жесткость; а что, если... Не глядя на Грикштаса с Метой, я придвинул стул, уселся поудобнее и набросал несколько слов на листке; черканул как бы шутя, легонько, самым кончиком пера, локтями пробуя прочность стола, а иридиевым пером — бумагу: недурна; и уже не отрывал пера от бумаги, пока не исписал весь лист; перо неслось по гладкой поверхности, точно сорвавшаяся с привязи борзая, точно юный, по весне выпущенный на клеверное поле жеребенок, прежде знавший лишь прелое сено да солому; вынесся, ощутил солнце в глазах и помчался по полям, унося в спутанной гриве ветер, — нечто подобное ощутил я. В огонь, в огонь — говорил я бабушке, но было совсем другое, там были новеллы — моя боль, мои слезы — т а н о ч ь, а это... Исписал лист, взял другой — и этот исписал, потом пробежал глазами первый; УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ — прочитал я вполголоса; без ученья человек слеп, ученье свет, а неученье... (ученье — свет, без ученья — слеп: стихи получились) я перечеркнул все; не годится; что-то чужое, затасканное слышалось в этих словах, что-то холодное и безжизненное; я зачеркнул и написал: ГОРЬКО УЧЕНЬЕ, НО ПЛОДЫ ЕГО — и сразу зачеркнул — не годилось и это; но страница уже была испорчена; я взял другой лист и попробовал написать заново...

И вдруг почувствовал себя точно мальчишка, застигнутый в чужом саду, — на меня смотрели; смотрели мне в спину — точно в ожидании, когда же я протяну руку и сорву наконец это яблоко — самое крупное, которым до сих пор только любовался, точно каким-то невиданным чудом природы, — настолько оно представлялось мне прекрасным и новым; я, казалось, даже обмер...

— Ученье горько, но плоды его... — расслышал я шепот и оглянулся; я ведь забыл, да, совершенно забыл о Мете; а она все ждала, она стояла здесь, в комнате, за моей спиной и, держась руками за спинку стула, через мое плечо читала, что я написал.

Сам не пойму, что меня привело в такое замешательство — неужели присутствие Меты... Впервые я видел ее так близко — сквозь светлые поникшие волосы блеснул атласный лоскуток, такой розовый и душистый — шея... Я зажмурился... Я почувствовал ее всю — впервые так близко, — я глядел в эти глаза, видел эти губы и атласный лоскуток кожи на шее, чувствовал исходящий от ее тела запах — так близко, что кружилась голова.

Я резко отвернулся, встал и сгреб со стола бумаги. На Мету я старался не смотреть.

Она нехотя отошла от стула.

— Он спит... Это хорошо, пусть поспит... Я позвоню Добиласу.

Она подошла к телефону, положила руку на трубку, но не сразу сняла ее с рычага, а повернулась, склонила голову набок, несколько мгновений смотрела на меня — каким-то затяжным, испытующим взглядом, потом вздернула подбородок и не торопясь набрала номер.

— Приходите. Уже.

— Написал?

— Уже.

Трубка стукнула о рычаг.

Голым, подумал я, она видела меня голым, и повернул к двери.

— Куда ты?

— Домой.

— Бросаешь нас?

— Я иду домой.

— Ты что, с ума сошел? — воскликнула она негромко. — Куда это — домой?

— Не все ли тебе равно? — буркнул я, по-прежнему избегая встретиться с ней глазами; Грикш-

таса я как будто совсем забыл. — Не все ли равно тебе, сударыня?

— Аурис... Я думала... Ну, вызовем машину...

— Благодарю, — ответил я, не узнавая собственного голоса; возможно, я и не хотел его узнавать. — Благодарю. Катайтесь сами, на здоровьице.

— А ты?

— А я...

Дверь хлопнула раньше, чем я услышал, что ответит Мета; может, она и молчала, не знаю; я чуточку помедлил на лестнице, — хотя место это показалось как никогда чужим и враждебным, меня зазнобило, я съежился и, цепляясь в темноте за перила, выбрался вон.

Повернуться и то боялся: а что, если Мета высунулась в окно, смотрит и опять видит меня?

XXX

Она видела меня голым, видела голым, — твердил я мысленно, волочась по безлюдной, мокрой после недавнего ливня осенней улице; и видела дважды: в т у н о ч ь и сейчас; почему она погасила свет? А, Йонис, он спал — после таблетки, отдыхал, бедный, оглушенный человек; а она, Мета, сидела над своим муженьком и, притенив свет, из-под полуприкрытых век, затуманенными глазами следила за мной; потом подошла ближе... И то, что Мета исподтишка приблизилась и остановилась у меня за спиной, и что она с таким интересом читала написанное мной — так по-семейному и тихо, — порядком удивило меня, и испугало, и ошеломило, поверьте; что-то исподволь просачивалось в мой мир — в мир сугубо мой собственный, который я так тщательно оберегал от всех; что-то совсем новое и не изведанное прежде; закрадывалось в самый тихий, сокровенный мир, хотя и беззвучно, бесшумно, постепенно; она видела, как я пишу! Как я пишу и как вычеркиваю написанное, как, напрягаясь изо всех сил, пригоняю, точно тяжелые камни при строительстве старинных замков, слово к слову, предложение к предложению, волоку их, тащу, обтесываю, долблю и скрепляю, дроблю и переставляю с места на место и как поверх только что уничтожившей все написанное безжалостной черты — точно над потолочным перекрытием — устанавливаю другой камень — слово, другое предложение; и видела те вспышки радости, которые

высекает у человека, подобно тому, как сталь высекает искры из кремня, удачно найденное слово, неожиданный образ или сравнение, возникнув откуда-то из пустоты; видела на лице у этого человека — на моем, моем лице! — и гримасы молчаливой боли, когда это слово — опять-таки в мгновение ока — теряет все свое очарование, блекнет, гаснет, как бенгальский огонь — коротко вскинувшийся, никого не согревший, — и становится пустым, никому не нужным; угораздила же меня нелегкая вовсе против моего желания, при моей робости и отчужденности, вдруг взять да попробовать свои силы; и силы на поверку оказались слабостью — —

Выдохшийся и разбитый, я тащился по темной улице, одолеваемый своими невеселыми думами, и любой путь мне был одинаково хорош. Конечно, я мог оставаться с Грикштасами и даже заночевать у них — к черту проклятую застенчивость, мог вернуться на чердак над редакцией, если еще не заперли входную дверь, мог... Многое я мог — и многое не делал, скованный безотчетным, злостным упрямством; мог я, само собой, двинуться хорошо знакомой дорогой на Крантялис, домой, пешим ходом, поскольку никаких автобусов уже давным-давно... и к тому же мой жалкий карман...

И я повернул к железной дороге, к тому дощатому бараку, смутно выступавшему из белесого от слабых фонарей сумрака, который вот уже три года заменяет нам вокзал — с тех пор, как гитлеровцы заложили под вокзальное здание почти три тонны взрывчатки; новый вокзал строился, но покамест все только строился... В вокзальном помещении, пусть дощатом, пусть тесном, прокуренном, заплеванном и замусоренном (барак есть барак), было хотя бы не холодно (меня снова тряс озноб) и, как всегда, людно; здесь роились люди, по которым волей-неволей соскучишься после того, как столько ночей, хоронясь от всех, торчишь на окаянном чердаке — точно филин в дупле; человек, что ни говори, достоин лучшей участи.

Участи? Достоин лучшей участи! Да почему бы и нет, вздохнул я, плетясь мимо черных, сиротливо торчащих в темноте столбов к тусклому пятнышку лампы — там должна быть дверь; почему бы нет, если Соната опять прохаживалась под коченеющими, мокрыми липами возле университета (ох уж эта Соната!); я, ко-

нечно, юркнул на другую сторону улицы. Что я мог ей сказать? Уже одна мысль о том, что меня снова могут усадить за стол в гостиничном номере, где воздух густо пропитан стойким ароматом сиреневых духов, что повяжут под шею хрусткую крахмальную салфетку с казенным клеймом, — отпугивала меня от этого дома, как пугает кошку гремучий пузырь с горохом; едва лишь я увидел Сонату под деревом, как сразу вспомнились все события той ночи, когда она привела меня домой, и стало предельно ясно, что дорога одна: подальше. Подальше от их дома, от Лейшиса, от Лейшихи, от Сонаты, — да, и от Сонаты, хотя она смотрела тогда, может, вовсе не на машину Даубараса; одно то, что я мог так думать о ней, унижало в моих глазах и ее, и меня самого; я кинулся на противоположную сторону с такой бешеной скоростью, что, пожалуй, и Рем на своем хваленом мотоцикле не догнал бы меня; голос Сонаты растворился в моих шагах. И пусть, думал я, вышагивая мимо двухэтажных, истерзанных войной домишек по улице Гедимина — прямиком в типографию; не хочу, не желаю, хватит с меня! Объясняться? Опять? Выкладывать всю историю с Ремом, постным маслом Райлы и трудоустройством бабушки, которое, честно говоря, потрясло меня куда сильнее, чем ворчание или склока, более того — именно из-за него я и ушел из дома; меня угнетала моя собственная беспомощность. Я все знаю — что скажет Соната; и это опять-таки душило меня — то, что я все знаю; Ауримас, говорю тебе, мы бы могли иначе... Иначе? И как же? Я должен был крепко подпереть дверь, чтобы она никуда не ходила — моя бабушка — и не позорила меня; если они считают, что я сам не в состоянии куда-нибудь на завод... Но я не подпер двери, я ничего не сказал, никуда не пошел — и оттого еще больше злился на самого себя, и казался себе еще ничтожнее, еще мизернее; я испытывал к себе полное отвращение; схватил шапку, книги и бросился куда глаза глядят, подгоняемый застрявшим в горле куском; мое бессилие с оглушительным хохотом гналось за мной по пятам — —

И сейчас оно преследовало меня, точно лиса куропатку, — мое бессилие; оно-то и выгнало меня в ночь, где, право, никто меня не ждал; и вот я изучаю расписание, выискивая пригородный до Крантялиса (был и такой), хотя прекрасно знаю, что все равно никуда не поеду; почитаю газетку, пристроившись здесь же,

на скамье (пожилой гражданин встает, вот-вот освободит мне место); может, загляну в буфет (ишь до чего торжественно сияют электрические буквы — красные, как сигнал опасности, — над дверью у перрона: РЕСТОРАН; дверь скрипит, открываясь, потом хлопает); а покамест...

Что ж, вокзал как вокзал, не в новинку, но человека всегда влечет движение, поток, изменчивость и отвращает застой, тишь — это я знаю; мне нравились большие вокзалы с их скопищем людей, с вечно следующими в самых неожиданных направлениях пассажирами, с разноголосым гулом, беготней, с перебранкой баб, детским хныканьем, пьяной руганью, с резкими запахами кислого хлеба, пеленок, прогорклого пива, прущими из углов потемнее, с вечной спешкой, в которой, быть может, человек лучше узнает себя, с давкой у касс, топтанием на перроне — вдруг уже прибыл поезд; очутившись здесь, поневоле начинаешь воображать себя в шкуре того или иного пассажира, точно проникаешь в его оболочку, точно собственными своими плечами чувствуешь струящийся по его телу пот, а жилы твои оттягивает тяжесть его чемодана; куда он едет? Куда они все торопятся, что покидают и что надеются обрести? И чем это вновь обретенное лучше прежнего, оставленного? Наконец, чего ищут все эти люди — задыхаясь, в вечной толкотне, все, кто сошелся сюда, в барак? К примеру, хотя бы и эта бабка, которая волочит на спине такой несуразно огромный мешок, что в нем свободно может поместиться и она сама, и двое ее внучат, которые цепляются за ее подол и, сопя мокрыми носами, нестройно постукивают грязными деревяшками грубых башмаков. И отчего она, старая бабка, с таким страхом — будто за ней гонятся или собираются ограбить — поглядывает из-за этого раздутого мешка на дверь, откуда она только что вползла? От кого она скрывается? Куда? Зачем? Или вон тот толстяк, шпарит, точно спринтер на финише, и машет желтым портфелем с такой легкостью, будто в нем один только воздух? А вдруг там одни червонцы, сплошные червонцы, вырученные за удачно проданный дом (за сало — всплыло в памяти лицо Раудиса) или... Или вон тот долговязый солдатик с выкрашенным охрой фанерным сундучком кустарной работы; что он высматривает в расписании? Чего не находит?

— Вам куда? — спросил я; надо было с кем-то перекинуться словом.

— На Крантялис.

— Крантялис? Уж не будешь ли...

— Вашёкас, ясно? Болюс Вашёкас. Три тыщи километров отмахал, а вот пять последних...

Вашёкас. С бумагофабрики, как и Гаучас. С песчаных карьеров. Ушел сразу после войны, бросил все и вот вернулся. Читать, помнится, он не умел, на комиссии (я был там) слезно умолял взять его в армию... Как мне жить одному да еще неграмотному... сироте... Взяли. И вот он уже здесь: на каждом погоне по три ленточки; неграмотным ленточки не нашивают. И ростом вымахал как следует, а в плечах широк, щеки розовые, налитые — девушкам на погибель. Быстро бежит время.

— А что делать будешь дома?

— Учиться, браток.

— Учиться?

— А как же! За ученого двух неученых дают.

Хорошо... Просто великолепно, Вашёкас... Он не узнал меня, я это понял и даже обрадовался: что бы я сказал ему? При чем здесь я? Чего жду? Зачем ошиваюсь на вокзале?

Это была нелепая мысль: чего я жду; нелепая, хотя и вполне закономерная, естественная, вытекающая из всего моего состояния; ну и чего же? На что могу надеяться я, разиня и неудачник, замахнувшийся покорить весь мир — и север, знаете ли, и юг, и всю разлюбезную землю... Неужели ты полагаешь, неуч, что эту землю — сей мир грез — возьмешь голыми руками и что для того достаточно одних лишь благих намерений, которыми, как известно... И не только ад, но и чистилище, улицы, вокзалы, перроны — все вымощено твоими благими намерениями. С того дня, когда я ушел из горкома комсомола (эх, какие были карточки, вздыхала бабушка), вся моя жизнь уподобилась нескончаемым скитаниям по вокзалам; впрочем, разве это для меня новость? — Агрыз Агрыз Агрыз — выстукивали колеса — с шестнадцати лет; тум-тум-тум... И сейчас они стучали — где-то, в самом дремучем уголке сознания, этот вечно готовый сорваться сигнал отправления, почуяв который бросишь все на свете: тум-тум-тум... ууу...

"Ууу", — отозвался паровоз, и я не сразу сообразил, где он; у платформы; ВИРБАЛИС — КАУНАС прочитал я и привалился спиной к столбу, близ которого стоял; дохнуло зноем, паром.

— Раззява! — расслышал я сквозь свист пара и взглянул наверх; медленно, отдуваясь, точно гигант-

ский карп, локомотив уплыл вдаль; просто удивительно, что меня не зацепили и не подмяли под колеса его щедро промасленные шатуны.

— Раззява! — ругнул себя и я, потом отступил от путей, ближе к людям, к серой струе, хлынувшей от вагонов; тусклые лица мельтешили в свете редких, хотя и невысоко подвешенных под потолком перрона ламп, — одинаково тусклые лица приезжающих и встречающих; я, собственно говоря, никого не ждал...

Собственно говоря — это я для уточнения, поскольку позже мне начало представляться, будто я ждал ее — эту блондинку с широкими, во все лицо, губами, которую видел на памятном для меня собрании в Доме писателей; я даже не сразу узнал ее. Но это была она собственной персоной — бедняжка поэтесса Розмари — с большущим, светлым, как ее пальто или волосы, чемоданом, она только что сошла с поезда и озиралась — кто ее встречает; возможно, это должен был быть Шапкус. Увы, на перроне не было ни Шапкуса, ни другого знакомого Розмари, а был всего-навсего я, неудачник Глуоснис, случайно забредший на вокзал; узнает ли — это еще как сказать...

— Малыш, это ты?!

Она выкрикнула это довольно зычно, а ведь я видел, как она поставила на платформу чемодан (он весил немало), повернулась к вагону, из которого только что вышла, и послала туда воздушный поцелуй — поверх всех голов; теперь она звала меня.

— Кого поджидаешь? Уж не меня ли?

— Тебя, — ответил я ей в тон. — Тебя, моя желанная!

— Так я и знала, — она ничуть не смутилась. — Тогда неси! — она всучила мне свой чемоданище, а сама отправила еще один поцелуй во тьму, в сторону того же вагона. — Славные ребята, — проговорила она, обращаясь снова ко мне.

— Славные? Если уж такие славные, могли дотащить и эту поклажу.

— Что ты! Они едут дальше... Военные. С погонами. А кто при погонах, мой дружок, тому не дозволяется брать дамочек под ручку и нести их багаж. Уж это я, поверь мне, знаю. Зато хлещут они самое настоящее виски.

— Виски?

— Они моряки. Самые настоящие. Медные шеи. Бороды лопатами. И хлещут за милую душу.

— И ты, сдается мне, приложилась, — проворчал я,

волоча ее чудовищный чемодан сквозь толпу; я все еще не знал, как мне поступить — тащиться за Розмари или заявить ей, что, мол, встречаю кое-кого; нет, она бы не поверила. С другой стороны, эта встреча внесла кое-какое разнообразие в мое унылое ночное время-препровождение, хотя, откровенно говоря, подвыпившие женщины мне всегда внушали страх, — неизвестно, какую шутку они с тобой сыграют... Но другого выхода не было.

— Мой малыш, — сказала Розмари, когда мы слегка отстали от всей лавины куда-то бешено спешащих людей; я, во всяком случае, никуда не торопился. — Я умираю от жажды.

— Где-то здесь должна быть вода...

— Вода? — она звонко расхохоталась. — Это для младенцев, мой малыш. А фемине моего возраста...

— Ты только что пила, — заметил я. — И как будто не воду. Это чувствуется, прямо скажем, даже на некотором расстоянии...

— Совершенно верно: пила. А в чем дело? Меня угостили эти славные ребята, и я выпила, — ее глаза забелели в темноте. — А ты угостишь меня пивом. Черным пивом. Большой бокал. Я надеюсь, ты раскошелишься?

— Я? Угощу? Дражайшая леди, если бы вы только знали...

— А-а... — она улыбнулась своими широченными губами, перетянувшими ее лицо, точно два крепких каната: прямо-таки соорудила улыбку. — Чует мое сердце, за душой у тебя ни копеечки. Ты ведь и премии не получил...

— Премии?

— Ага. Ох, пригодилась бы... Парочка лишних червончиков... в данной ситуации... Ты, малыш, мне нравишься, и я заплачу за это черное пиво... Разумеется, если ты усадишь меня за стол и предложишь выпить и если, как подобает джентльмену... Давай без предрассудков, малыш. Розмари может все.

— Правда?

— А ты думал? Все! Даже проявить жертвенность, если нет другого выхода. Бедняжка поэтесса Розмари.

И опять засмеялась — как-то печально, без ломанья, поддела меня под руку и, нисколько не смущаясь тем, что помимо ее белого чемодана мне приходится тащить и ее самое, повернула меня — точно вьючное животное — в сторону, где переливались красные электрические буквы.

— Он подождет здесь, — сказала она, когда мы, сдав пальто и чемодан на хранение седовласому пьяному гардеробщику, распахнули дверь в большой зал — помещение, как и весь вокзал, с бревенчатыми подпорками и скупым освещением — несколько ламп в разных концах зала. — Как правило, он верен мне.

— Кто это — он? — поинтересовался я, заподозрив, что, чего доброго, я вовсе зря впутался во всю эту историю, где мне, возможно, отведена самая жалкая роль; сиделкой я уже сегодня побывал, а теперь...

— Этот тип, который должен встретить меня. Симпатяга.

— Приятно будет познакомиться.

— Сомневаюсь. Пива он не пьет.

— Ну, а...

— И водки тоже.

— Я и не собираюсь его поить...

— И совсем не ест мяса.

— Больной?

— У него идеи.

— Как это?

— Вегетарианские идеи.

— Гм... Такой принцип?

— Скорее — карман.

— В таком случае мне его идеи близки и понятны... Но... здесь как будто нет мест.

— Вон там, — она показала глазами столик, откуда только что поднялись люди. — В самое время...

— А твой симпатяга?..

— Найдет, никуда не денется. По-твоему, я обязана тащить этот сундук до самых Клиник?.. Хотя мой драгоценный мяса и не ест, а все же... всех пока что кормит дремучее наше село...

Она, видимо, и впрямь не очень-то полагалась на меня, эта пышнотелая, широкоскулая и обильно накрашенная блондинка; недолго думая она уселась, заказала отбивную, с аппетитом съела ее и обглодала косточку; поэтесса Розмари определенно не разделяла воззрений своего "симпатяги". Не разделял их и я, хотя кусок не шел мне в горло; мне мерещилось, что и пресловутый "симпатяга", и славные ребята военные, угостившие попутчицу настоящим виски, были лишь плодом бурного воображения, сдобренного стаканчиком самогона где-нибудь в Сувалкии; я втайне опасался, что оно распространяется и на финансовые возможности столь неожиданно возникшей на вокзале моей ресторанной партнерши.

Так оно и оказалось — не хватило десятки. Но Розмари и не думала унывать.

— Вижу! Вижу! — воскликнула она, не обращая внимания на нервно переминающегося официанта с лоснящимися рукавами кителя. — Идет моя касса! Мой казначей. Если я, малыш, чего-нибудь пожелаю... — она победоносно взглянула на меня лихорадочно блестящими глазами.

И я увидел его — белобрысого студента в сером суконном пиджаке, которого приметил еще тогда, на открытии учебного года, и возможно, видел еще где-нибудь; паренька из Любаваса; он только что вошел, и от него еще пахло сыростью, осенними листьями; Розмари помахала ему рукой. Мне почудилось, что идет он нехотя, точно исполняет тяжкий для него долг; симпатяга? на меня он глянул исподлобья.

— Здравствуйте, — сказал он, едва глянув на Розмари; та, что-то невнятно пробормотав терпеливо ожидающему официанту, подхватила сумочку и с виноватой улыбкой удалилась, лавируя между столиками, куда-то в другой конец зала; там то и дело открывалась-закрывалась дверь чуть поуже, чем входная, но не менее полезная. — Опоздал, значит.

— Вроде бы нет, — ответил я, кивая на свободный стул. Официант перешел к соседнему столику. — Мы никуда не спешили. По крайней мере, я.

Это прозвучало почти как оправдание. Я поморщился.

— Вы что — не вместе? — по столику мышонком прокатился быстрый взгляд — по тарелкам и бокалам; паренек сосредоточенно думал. — Не с того же поезда?

— Нет, — ответил я. — Я с другого.

— Не из города ли?

— А если да?

— Я — просто так... Она вспоминала тебя.

— Кто — она?

— Ну... — он повел глазами в сторону, куда удалилась Розмари.

— Вот как... Меня?

— С того собрания, знаешь... — паренек сел; его ноги, обутые в сапоги на толстой подметке кустарной работы, выглядывали из-под столика. "Как у Гаучаса", — подумал я. — Твой рассказ мне понравился... тот, про солдата... Других я, правда, не читал... И хотя его... потом...

— Слушай, не надо об этом, — отмахнулся я. — Не надо, ладно? Ты из дома?

— Вот, встретить пришел, — паренек недоверчиво окинул меня взглядом. — Ночи теперь длинные.

— Зато звездные.

— Сегодня? Сегодня хоть глаз выколи... ни единой...

— Но вообще-то... Я — в целом... Ты интересуешься звездами?

— Звездами?

— Ну да... Что в этом плохого?

— Извини, коллега, но я... пока...

— Ну, знаешь — смотреть на звезды.... Бродить по ночам и смотреть на звезды — разве плохо?

— Конечно, хорошо! — поспешил согласиться паренек и пронзил меня взглядом насквозь. — Очень даже хорошо... Здесь можно.

— Где — здесь?

— В городе. В Каунасе.

— А там?.. — я махнул рукой на темное окно. — Куда едут они?.. — Мимо окна в сторону моста действительно катил поезд. — Там, что ли, нельзя?

— Там не то... там вот как...

Он придвинулся ближе ко мне и осторожно приподнял со лба прядь светлых волос; шрам был свежий, недавно зарубцевавшийся, полоснули, видимо, ножом, в тот раз я ничего не заметил. Стало не по себе.

— И за что же? — спросил я, хотя чувствовал, что спрашивать глупо, о таких вещах не спрашивают. — А я и не знал, что ты...

— Как и ты... Только я в защите[1].

— В защите?!

— Да. Удивляешься?

— Нет, что ты... У меня там друзья.

Гаучас, подумал я, там Гаучас, в Пренай или Любавасе, в отряде народной защиты. С фабрики человек пять...

— В Любавасе?

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Я, друг, все...

— В Любавасе... Только я очень хотел учиться... Больше всего на свете! Сызмальства.

— Больше всего?

— Может, это была ошибка. Так я иногда думаю.

— Не понимаю...

— Я хочу сказать: может, я слишком рано ушел из

---

[1] Отряды народной защиты — в послевоенное время в Литве добровольные отряды по борьбе с вооруженными бандитами.

отряда... Другие там остались, а я... — паренек помедлил. — Но мне так хотелось учиться, товарищ Глуоснис, ведь я... пишу... — он покраснел.

— Рассказы? — без малейшего интереса спросил я, вспомнив юную учительницу на вечере у Вимбутасов; как ребячливо она склонялась своим круглым миловидным личиком к плечу этого паренька, как живо блестели ясно-голубые, будто обрызганные дождем глаза, а стройную шею трогательно обрамлял белый воротничок, связанный крючком по-деревенски; она помнила мое выступление на слете — какое счастье; и чрезвычайно изящно держала наколотый на вилку робко подрагивающий грибок — все у тех же Вимбутасов; вспомнив все это, я решил, что и паренек мне хорошо знаком.

— Стихи... Теперь мне иногда стыдно...

— Перестань! — махнул я рукой; начинается! Об этом я не хотел разговаривать ни с кем, а уж тем более с моим малознакомым собеседником; я отвернулся и подпер кулаком подбородок. Но и не глядя я словно видел свежий рубец на лбу, повыше брови (как же это я раньше его не заметил!) и слышал голос, произнесший в Любавасе, на миг перекрывший ресторанный гул; Гаучас в Любавасе, а ты... Я? Я вроде бы отвоевался, и, по-моему, назначенную мне норму свинца... в легкие навылет... И я тоже мечтал об учебе, и я тоже хотел писать... Писать, ты слышишь? Писать, хотя все это уже у меня, как говорится, в печенках...

Я покачал головой.

— Послушай, — сказал я, пытаясь думать о чем-нибудь другом. — Как тебя звать-то? Фамилия твоя как?

— Саулинас. Винцас Саулинас.

— Слушай, Винцас, — спросил я, — это правда, что ты вегетарианец? Или просто так... шутки ради...

Саулинас как будто не сразу понял, о чем идет речь, и взглянул на меня с большим смущением.

— Ну, мяса не ешь и всякое там...

— А-а... — он тоскливо кивнул. — Марта?.. Это она тебе?..

— Какая Марта?

— Ну там, у Вимбутасов... была в гостях... Ты понравился ей...

— Как я горд!

— Она добрая... Очень добрая, Марта... Правда, иногда любит поболтать... А что до мяса... — Он нахмурился и умолк, раздумывая: говорить или нет. — Значит,

так: они резали свинью, — вымолвил он с некоторым затруднением и, уже чуть спокойнее, продолжал: — Они отобрали у нас свинью, мы не давали... У нас ничего больше не было... Тогда они свиную требуху... мне в глотку...

— Лесные?

— Кто же еще — они!

— Сырую требуху?

— Да... Пьяные. Я тогда только-только вступил в комсомол. Едва упросил: месяца не хватало. Слишком юных у нас не принимают. Кто винтовку не поднимет.

— А ты-то поднял?

— Я и не мог иначе. Не ждать же мне было, когда они снова заявятся.

— Надо же — требуху!..

— Они и не такое могут.

— Верно. — Жирный ком застрял у меня в горле. — Да. Да, конечно. — Жирный, пресный, с душком; я поспешил отпить пива.

— Слушай, — сказал я, подавив гадливость. — Ты ее не балуй.

— Кого это? — не сразу понял паренек.

— Розмари. Не одалживай ни копейки. Управимся как-нибудь сами.

— Сами? Она мне все-таки тетя.

— Розмари?

— Конечно! — паренек недоумевающе глядел на меня. — Мариона. Мамина сестра. Только она всегда жила в городе, а мы в деревне. Мы там, где стреляют. А она... тоже, знаешь ли, стреляет, пробками из бутылок... Когда испарился ее муженек... в погонах с золотым шитьем... знаешь... она — по рукам... можно сказать, пошла...

— По рукам?

— Да, — сокрушенно вздохнул паренек. — Со всеми... без разбора... А эти стихи...

— Да, да, стихи...

— Это я...

— Ты?

— Есть и о любви...

— О любви? — я впился в него глазами, рубец над бровью обозначился еще ярче; паренек уставился в скатерть. — Посвящаются Марте? Я угадал?

— Я и сам знаю, это слабо... — Винцас Саулинас избегал смотреть мне в глаза. — Но когда слышу, как о них говорят другие... когда узнаю... А уж читать такое

на собрании или еще где-нибудь... Только ты ради бога...

— Не скажу никому, ни-ни! — заверил я его. — Ни единой душе. Сочиняй на здоровье. Если нравится. Если есть охота...

— Нет, я не только о любви... но другие — они...

Возвратилась Розмари. Ее рот пламенел еще ярче, но теперь она показалась мне гораздо старше. Она и впрямь была немолода.

— Ну, обаяшки, угадайте, кого я видела? — крикнула она чуть ли не от самой двери, да так громко, что на ее голос, кроме меня и ее племянника, обернулись по меньшей мере четверо мужчин с соседнего столика. — Да где уж вам! Жебриса! Повиласа Жебриса, Поля, архитектора... когда эта шлюха бросила Поля... променяла на своего кривого...

— Шлюха? — я резко повернулся к ней, к разудалой Розмари, и похолодел. — Кто это? Про кого ты?..

— Кто? Конечно, Мета, — Розмари ослепительно улыбнулась. — Даубариха... Даубариха-Грикштиха... Если бы не она... мы бы с Полем...

Загудел паровоз — так пронзительно, что у меня заломило в висках. Люди как по команде стали подниматься из-за столиков... Начали гаснуть огни. Одна лампа никак не могла погаснуть, она потускнела, покраснела и под конец оглушительно взорвалась — точно настоящая мина. Мне почудилось: она разорвалась прямо подо мной — — — — — — — — — — —

XXXI

— Скажи, зачем ты все подстроила? — спросил Ауримас — он зачерпнул горсть снега и слепил снежок. И теперь перекатывал его с ладони на ладонь.

— Что? — удивилась Мета.

Впереди шествовали Марго и Мике; шли парком из университета, а встретились перед тем как бы невзначай в раздевалке; Марго ухватила Ауримаса за рукав и почти силком вынудила проводить их обеих; Гарункштис же увивался вокруг Марго с роковой неизбежностью вращения луны вокруг солнца; всем было по пути.

— Что за ерунда!

Он шлепнул снежком в почерневший ствол дерева.

— А зачем ты приставила ко мне Марго и напела своему супружнику... про которого эта чертова кукла поэтесса Розмари...

— Тсс! — она приложила палец к губам; ей опре-

деленно не хотелось заводить разговор о Розмари. — Только не сейчас. Не здесь. Лучше давай помолчим.

— Нет уж, извини! — Ауримас упрямо тряхнул головой; уж он-то понимал, почему она избегает упоминаний о Розмари, но на сей раз, сударыня... — Ты мне ответишь на вопрос. И немедленно. Ведь если бы я знал, как это трудно...

— Жить у Вимбутасов? Видеть Марго? Профессора и его будущего зятя Мике?

— Сама знаешь кого.

— А! Посмотри лучше, что за дерево...

Но он не желал смотреть на дерево. Не ответила, думал он, она опять ничего не ответила. Так было и тогда, когда прямо с вокзала он позвонил ей домой (уже под утро, хотя Мета говорила, что только собирается лечь: у Грикштаса незадолго до того побывала "скорая") и, превозмогая гудение в голове, которое так и не прошло после оглушительного взрыва, не отдавая себе отчета в том, что говорит, спросил, не знакома ли она случаем с неким Жебрисом. Жебрисом? Совершенно верно, сударыня, с архитектором Повиласом Жебрисом, из-за которого, поговаривают, вы схлестнулись с некой... гм... потрепанной особой Розмари... Это было убийственно глупо — требовать объяснения у женщины, которую он на самом-то деле мало знал, ведь то, что было до войны, в детстве, не имеет ничего общего с нынешним, и все это следовало бы давно забыть, — следовало бы, если бы...

— Нет! Нет! Нет! — он поднял с земли ледышку и метнул ее в другое дерево; сосулька рассыпалась голубыми брызгами; Мета повела плечами.

— Что — нет? — спросила она, склонив голову набок. — Что тебе не нравится, Ауримас?

— Все! Все!

— Да почему же?

— Тут все не так.

— И я?

— Ты? — он остановился. — Ты?

— Я, Ауримас, в шутку...

— А я, Мета, всерьез. Ты... — он взглянул на нее и быстро отвернулся. — Ты Грикштене... Редакторская жена...

— И все?

— Нет, — покачал он головой. — Это сейчас... а раньше...

— А раньше? — она тоже встала. — Говори, говори, не бойся. Хотя однажды ты уже, по-моему...

— Скажи ты первая.

— Но — что?

— Ничего ты, Мета, не понимаешь... Ничегошеньки.

Они все еще брели по парку. Под ногами скрипел рыхлый, нападавший за ночь снег; даже камни, дорожки под ним казались меньше и как будто мягче. Большие черные деревья, увязая в белом пуху, с тоской взирали на россыпь крыш у подножия горы; там был город. И он утопал в жидкой, зыблющейся поверх запорошенной белым пухом земли прозрачной дымке, зарывался в нее, точно в белокурые волосы Ийи, — отчего-то вспомнилась вдруг она. Неожиданно, против моей воли, она всплыла перед моим мысленным взором: светлая, улыбающаяся и необычайно застенчивая — вся из моих помыслов, моя белокурая Ийя, встреченная сто лет назад, а то и еще раньше, на военных путях-дорогах, растворившаяся в тумане былого, растаявшая, как снежинка на ладони, — но от нее досталась мне Мета, точно такая же хрупкая и гибкая, и она идет со мной рядом, легкая, как мотылек, идет и играет глазами — плывет, не касаясь ногами земли; Мета?

Он пригляделся к ней более пристально — уже без прежней досады. Зачем это раздражение? Ведь все, что произошло после того вечера в редакции (когда Мета попросила его зайти к редактору Грикштасу), начало меняться, как по мановению волшебной палочки в сказке; но сказки в наше время, прошу прощения... Что же тебя так бесит? Получил тогда работу и гонорар. (Слышишь, Мике, гонорар!) Тебе предложили жилье. И ведь не зря, не за красивые глаза, платят по паре сотенных в месяц... Во всем этом, столь разительном, повороте судьбы можно было усмотреть "перст божий" — жаловаться как будто не было оснований... Право, не было! Ведь самое главное — что Мета... вот и опять... что Мета Вайсвидайте...

Вайсвидайте? Мета Вайсвидайте — он скептически улыбнулся; где ты живешь, уж не на Марсе ли? Забыл прощание — в Каунасе, когда началась война, когда тебя попросили разыскать Даубараса, а этот Даубарас потом...

"Ох ты, Даубарас! Это всеми позабытое прошлое, Аурис, и если ты хоть сколько-нибудь из-за того..."

А Жебрис? Восставший из мертвых Жебрис? Что ж, мальчик... Что общего было между ними — между Метой и Жебрисом, и каким образом чертова Розмари...

"Тебе везет, человече... Раз уж привалило счастье, не теряйся — хватай его и держи... Такой красавицы, как Мета, во всем Каунасе... А может, и нигде на свете..."

"А Ийя?.." — но не спросил. Такой красавицы... такой красавицы...

Он резко повернулся к ней; их взгляды встретились.

— Ты уж не сердись, пожалуйста, — проговорила она негромко. — Я не думала, что тебе это будет так неприятно...

Ауримас только отмахнулся: не понимает. А может, посмеивается — в глубине души, не подавая вида. Послушай, Мета... ведь это притворство, Мета, — бегство от тебя и от всех; какой в нем смысл? Куда мне бежать, если даже во сне... Если с самого того вечера в редакции — а может, и того раньше — перед глазами постоянно маячит голубая лента в белокурых волосах — мелькает, развевается, шевелится как живая, маня к себе, и, хотя по сей день они ни разу как следует не поговорили, эта живая, как ее глаза, полная искушения голубая лента в ее волосах...

"А Соната?.. Забыл?" — вдруг пронзила его мысль, и он глянул на Марго; та беспечно, под руку с Мике, подпрыгивающей походкой неслась впереди; между подолом короткого пестрого пальто и голенищами черных сапожек озорно сверкали обтянутые светлым шелком чулок подколенки; Марго...

"Кто тебе стелет постель, случаем не Марго?" — спросила Соната, когда они снова помирились; это был заурядный, бесцветно-серый факт — как и то, что осень нынче как никогда длинная, сплошной дождь дождь дождь, и вся земля будто стонет, придавленная низким пологом серого неба; послушай, детка, может, хватит; чего; хватит водить меня за нос... Она дождалась, когда Ауримас выйдет после лекций, потом выскочила из-за стеклянной двери, схватила его за руку, дернула на себя и втащила в вестибюль; в тот же вечер он снова восседал за столом, покрытым плюшевой скатертью в служебном номере Лейшисов, и попивал вино; был к тому какой-то повод. Однако какой именно повод — Ауримас не разобрал, так как Лейшене, едва ковырнув вилкой закуску, встала из-за стола и спешно куда-то ушла, бросив невзначай, что вот-вот прибудет министр, а она не проверила правительственный "люкс"; Лейшис, румяный плевритчик, многозначительно надул щеки... "Получил, Аури-

мас, — бормотал он, липкой рукой обхватив стопку и придвинувшись вплотную к гостю, искоса поглядывая при этом на дочь — не слышит ли та (ее побаивался и сам Лейшис), — получил самые достоверные сведения, что она... Леонора... Думаешь, она просто так, для собственного удовольствия душит белье?..” Но Ауримас не слишком обращал внимание на доверительный шепот, на нелепую нимало не интересующую его болтовню, на убийственные новости, которыми с ним, зятем (почему бы нет?), спешил поделиться подвыпивший Лейшис; Ауримас поблагодарил за угощение и собрался домой. Домой? Да, да, на гору, в дом, где он вот уже две недели... Тогда Соната, весь вечер глядевшая на Ауримаса с непонятной для него жалостью (он прямо-таки физически ощущал эту зудящую неприятную жалость), и спросила его: кто же стелет тебе постель сейчас — уж не Марго ли; вот что Лейшисам всего важней!.. В конце концов, возмущенно думал он, торопливо направляясь в дом на горе (между прочим, никто за ним не гнался), в конце-то концов, я человек свободный. Я снял себе жилье. У меня в кармане ключ. И не от какого-нибудь чердака с летучими мышами, а от большой, светлой угловой комнаты в доме профессора Вимбутаса, вам ясно? На противоположной половине дома, точно в такой же комнате, живет Марго...

Эх, Марго!.. Мы с тобой могли бы дружить, Аурис, словно между прочим проронила она (Ауримас зашел одолжить книжку и застал ее в халате); разумеется, если бы глаза у тебя были другие... Глаза? Какие глаза, Марго? Карие? Зеленые? Или жгучие, как у Мике? Ах, мальчишечка ты мой зеленый, томно махнула она рукой (на подбородке, словно черный жучок, дрогнула крохотная родинка); при чем тут Мике... Ведь там, куда явится Мета, мне, серой козявке... И надо же было мне, дуре набитой, выбрать себе такую подругу... которая ребят прямо из-под носа... Ребят? Но она замужем, Мета — она Грикштене... Парнишечка ты мой желторотый, если бы это имело значение... Ладно, что ты хотел? Опять латынь? Эх, Ауримас, будь у меня другое сердце... не то что у Меты или... я бы, Аурис... Она не договорила — в коридоре послышались шаги, а затем и осторожный кашель Вимбутене — та поспевала всюду; Ауримас взял учебник и вышел, не успев понять, что значили эти слова Марго; да мало ли что взбалмошной студентке...

”Такой красавицы, как Мета... во всем Каунасе!..”

Попробуй пойми ее, эту Марго. То говорит одно, то другое. В зависимости от настроения. Или еще от чего-нибудь. От кое-чего. От кое-кого.

Теперь Марго шла впереди, мелькая своими соблазнительными подколенками, подцепив под ручку Гарункштиса, искрясь молодостью и весельем, скорее всего она и думать позабыла про тот разговор, который и возник, собственно говоря, случайно, походя; Мике едва поспевал за нею. Он что-то рассказывал, по обыкновению совершенно упиваясь собственной болтовней; и Марго слушала, поминутно оглядывалась и кивала Мете; та в ответ улыбалась. Но, как и подобает пожившей женщине, Мета улыбалась (по крайней мере, так чудилось Маргарите) чуть грустновато, будто под надзором чьих-то строгих глаз; а с чего бы ей, спрашивается, грустить?

Действительно, с какой стати, — и Мета, словно разгадав мысли подружки, вдруг энергично откинула голову, тряхнула волосами, дернула плечами; волнами рассыпались светло-пепельные пряди — да, пепельные и не такие гладкие, как у тебя, Ийя (этим вы, быть может, и отличаетесь друг от дружки); взметнулись, опали и снова изящно легли на воротник пальто, накрыли плечи — словно дымка; матовая вуаль января; о чем ей грустить? Разве не красиво кругом? Не прекрасен вечер? И разве не трогательная парочка — Марго с Гарункштисом — идут, болтают всякий вздор,— замечая перед собой лишь эту дорожку, лишь вечер, деревья; о, если бы и она могла так же, если бы смела... Что-то должно произойти для того, чтобы и она, Мета, могла быть такой, как Марго, — такой же легкой, свободной и непринужденно бездумной, поскольку в глазах мужчин это...

Ну нет, Ауримас не таков, он совсем дитя, хотя и большое, взъерошенное; весь во власти томительной, непостижимой для нее грезы — пока еще во власти... Посмотри, посмотри на меня призывали глаза Меты... Ты права, Марго, о чем нам грустить! Мы не старухи! И не последние уродины. И разве мы не можем заронить кое-кому в душу ту искру, которая и опаляет, и согревает, и манит, разгораясь жарким сердечным пламенем? Сердце за сердце, ласка за ласку... Однако же... Ласка за ласку? Это уж слишком, Метушка, это чересчур, далеко же ты зашла в своих помыслах; радуйся и тому, что... Этому вот часу, этой минуте. Радуйся этому вечеру, слышишь?.. Что правда, то правда — я рада; я хочу радоваться, вот и ладно; мне

нужна радость... Это мне дано — тишина заснеженного парка, поскрипывание снега под ногами, мягкие сумерки, — даровано самой природой, которая одна пребывает вечно, и ей, единственной, я верю; все дано мне — ликовать, бесноваться, порхать мотыльком, дано сейчас идти рядом с этим угрюмым, смуглолицым пареньком, мрачным, взъерошенным, упрямым, но и славным — при всей своей мрачности; дайте же мне порадоваться ему...

И она полыхнула глазами, желая услышать его, Ауримаса, голос — в нем звучит еще давняя греза былых дней; этот голос напоминал ей голос иной поры, при одном воспоминании о которой дух захватывало, Ауримас молчал. И не взглянет, вот чудак, право слово, он ничего не понимает; вперив взгляд своих голубых, слегка затуманенных глаз вдаль, он рассеянно блуждает этим взглядом по вершинам деревьев — странно, что ни говори; что там увидишь... что найдешь? Я здесь — гляди на меня! Ко мне обрати глаза, слышишь? Потому что я нужна тебе, я знаю. Я — мои глаза — мой голос — походка — я. И я знаю это, ибо я — Мета Вайсвидайте, та гимназистка, старинная знакомка... ибо я это я... Жанетта Макдональд, которую ты... вы все... ведь я знаю...

Ах! — кольнуло в самое сердце, и она отвернулась; колющая боль не проходила, безжалостная и упрямая, как игла; Мета содрогнулась. Нет, не заметил, слава богу; он ничего не заметил, это хорошо; ничего не сказал, теперь не надо слов. Уже не надо. Ни-ни. И как будто ей вовсе ничего на свете не надо — только знать это. Она знает. Он так и остался, ее глаза видят его целиком, и она видела перо, шустрым мышонком снующее по листу бумаги, пишущее, перечеркивающее, что-то надписывающее сверху — другие торопкие слова; видела эту томительную грезу в его глазах, непостижимое, непонятное ей упрямство, ярость, дрогнувшую сквозь плотно сжатые губы, видела спутанный черный чуб, упавший на стальные, вдруг сверкнувшие антрацитовым блеском глаза, и поперечную, резкую складку, сердито пересекшую пополам его лоб; было в нем что-то, напоминавшее ей отца. Это как-то не вязалось, и тем не менее он напомнил отца — профессора, лысого и сморщенного, такого, каким лишь и может быть переутомленный, давно не знающий чистого воздуха, замученный астмой человек; о да, стоило отцу сесть за работу, как на лбу, чуть выше переносицы, обозначались две поперечные складки, резкие,

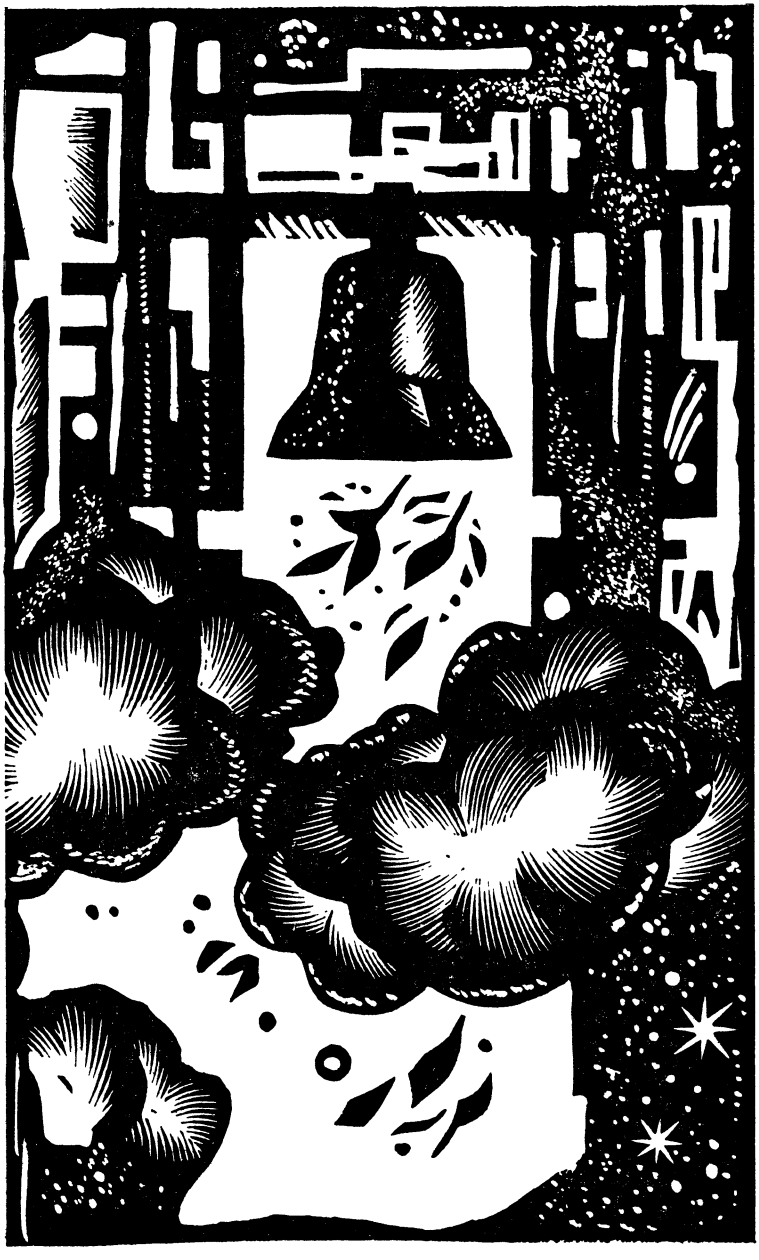
как две чернильных черты; выступят и замрут, недвижные, как рок, и тогда уже к нему не подступись. И Глуосниса она не тревожила; она всего-навсего подошла, оперлась на спинку стула и захотела глянуть, что написано и много ли еще осталось писать... знала бы она, что он так испугается и... И все, что последовало за этим, уже не имело значения — хватит и того внезапного смятения в его глазах, того дико вспыхнувшего пожара; а уж это мне детское упрямство, это стремление бежать куда глаза глядят, в то время как он мог... при желании... И сейчас он может, конечно же он может болтать всякий вздор, хохотать вроде Мике, баловаться со снегом и говорить говорить говорить; но он еле тащится, еле плетется и молчит — как воды в рот набрал, честное слово; молчит, идя рядом со мной? Ах, все они таковы: и Паулюс, кажется, молчал, и Грикштас, и... только вот Казис, тот нет, — тот, если не ошибаюсь, явился, горланя вовсю, тот все требовал, все забирал и ничего не отдавал... уж он-то...

Тут Мета испугалась и украдкой взглянула на Ауримаса, словно тот мог подслушать ее мысли; ага, смотрит, смотрит, да какими горящими глазами — да опять не на меня — и не на Марго — а куда-то дальше, сквозь деревья, сквозь туман; смотрит и щурится, вспоминает что-то нужное ему одному; о, как далеко он отсюда!..

"Она со мной — вот и хорошо... со мной — и хорошо..." — раздумывал Ауримас, чувствуя, как она ступает рядом, чувствуя каждый ее шаг и ее ускоренное, прерывистое дыхание; мог открыть глаза и взглянуть; но не хотел, избегал; теперь уже мучила совесть — нечего было затевать эти дурацкие разговоры, когда они вышли из университета; достаточно уже и того, что Мета идет рядом. И он шел, зная это, — что она рядом, около него, она идет туда же, куда и он, и что она пойдет... если он только...

Впервые за много дней Ауримас вновь почувствовал себя легко и бодро, точно заново родился и впервые узрел белый свет; дождь кончился, прошли те ночи, когда и делать, казалось, уже ничего не можешь — только бродить да бродить во тьме, глазеть на небеса, облака и думать думать думать — о том, что было, и о том, что еще может быть; но разве суждено человеку это знать?

Сколько силы! Сколько энергии! Сколько жажды жизни! Он сам диву давался, откуда все берется — неужели оттого, что у него есть работа, есть жилье, есть...



Ну, это было и позавчера, и вчера, однако сегодня все выглядит иначе — светлее, теплее, ласковей; и сам он весь словно стал легче, что-то появилось в нем новое для самого себя, какая-то еще непонятная, переливающаяся внутри его сила; такое уже было однажды в снегах Орловщины, когда комвзвода сообщил, что неприятель, которого они вчера, казалось, так безуспешно атаковали, сегодня сам отступил, сдав нам вон ту высоту, — и все равно это наша работа, товарищи; он вспомнил Ийю. Он вспомнил белокурую Ийю из Агрыза, свою Ийю, и увидел ее за фортепиано; esercizi musicali opus quarant'uno... Но она не хмурилась, белокурая Ийя, длинные тонкие пальцы перебирали клавиши, хотя это был ад — esercizi musicali; и с к у с с т в о в с е г д а а д, говаривал ее отец, а уж он это знал; и тогда, кажется, шел дождь, или трещал мороз, или пела вьюга... но и тогда... Перевязанные кое-как, рухнув на глинобитный пол в запущенной лесной сторожке, они курили — весь взвод, и молчали, думая каждый о своем; чувствуя своей спиной спину Гаучаса (она была костлявая, но теплая), Ауримас смотрел на черную прореху в крыше, за которой была Литва, и видел ее — Ийю, и в Каунасской редакции, и за роялем (хотя рояля там не было); она наигрывала мелодию из "Однажды весной", и никакого там Даубараса, само собой — — Бей, бей, сказала она, заметив, что Ауримас смотрит на нее, — держится за спинку стула и смотрит, — бей, коли веришь, что черепки — счастье; бей, л и т о ф е с, если думаешь, что они — —

Не тогда — потом; это уже потом, когда Ийя повязала ленту — бирюзовую и живую, как огонь; и когда она пришла, в накинутом на хрупкие плечи тонком шелковом халатике, в какую-то другую ночь; и тогда шел дождь, но от нее исходил уют и домашнее тепло; это не была Ийя, нет; но это была о н а — та, о которой он мечтал, которую ждал, по которой тосковал, к которой рвался, — та, которая отныне одна-единственная — — если ты, Аурис, думаешь, что одна-единственная — что отныне — —

— Думаю! — воскликнул он. — Я так думаю, да, Мета.

— О чем? — она остановилась; глаза снова полыхнули. — О чем же ты думаешь, Ауримас?

— Что если бы не тот дождь... не окаянный осенний ливень... мы бы с тобой... может быть... никогда и нигде...

— Какой такой дождь, Аурис?

— Большой, — он взглянул на Мету: не поняла? И чего, скажите, пожалуйста, она не поняла, — ведь если черепки счастье... — Большой, долгий дождь... помнишь? Ну, тогда... в дождь...

— Ах, тогда...

— И тогда, Мета, и в другой раз... Всегда...

— Аурис, я не совсем...

— А я — совсем, ясно? Я всегда и совсем. И давно. Всегда, совсем и давно.

Тогда, в дождь — услышал я и удивился, что Мета не шелохнулась, — лишь глядела на меня своими темными, блестящими глазами и чего-то ждала — чего-то безмерно важного... Но я не хотел говорить; я пел. Пел беззвучно, затаенно, едва шевеля губами, — а то и вовсе без слов, хотя сейчас они были и важны, и нужны; тогда, в дождь... Она одна лишь, эта моя песнь, была в тот час нужной и важной для меня, она сама рвалась из груди, сами, никому не подвластные, лились слова — беспорядочные, тупые и банальные, но для меня — вы слышите, для меня! — это главное, незаменимые и совершенно необходимые, тогда, в дождь; как знать, когда и где мы теряем самое сущее; и когда обретаем, Мета; обретаем? Вот-вот, обретаем — когда уже кажется, что потеряно все — когда льет дождь, а иногда — и в ясный солнечный день; что касается меня, Мета, то я — осенью...

Осенью, осенью — в дождь — звучала в ушах мелодия — чем-то неуловимым похожая на ту, из "Однажды весной", а чем-то не похожая ни на что — МОЯ МЕЛОДИЯ — перекрывающая все остальные звуки — во мне и вне меня; а то и вовсе ни на что на свете не похожая, нигде и никому не известная, но до умопомрачения знакомая и своя; МОЯ; тогда пришла она... тогда она сказала... люблю тебя — —

Какой вздор! — я спрятал глаза, уставился себе под ноги, не на Мету; боже мой — какая все это ерунда; какая пустота и пошлятина... тогда... эх! Душевный асфальт, Ауримас; неужели со всеми бывает такое?

И я снова обрадовался, сообразив, что Мета ничего не слышала — то-то было бы смеху; после того, как она видела меня голым; не могла слышать, ведь я и пел и в то же время не пел, ведь я пел беззвучно для себя одного; МОЯ; она ничего не поняла и отвернулась...

Но она была здесь, рядом; безотчетно Ауримас простер к ней руку; ах!

Она и впрямь вздрогнула, Мета Вайсвидайте — словно рыбина, которой в воде коснулись чьи-то пальцы; вздрогнула, ахнула и полными изумления умными глазами указала на идущих впереди Мике с Марго; ее ладонь была холодной. И неприятно сухой, негибкой, хотя Ауримас и пожал ее; неужели у рыбы нет сердца?

— Не надо, Ауримас, — сказала она, и он понял, что Мета в самом деле не слышала, как он пел; он и сам об этом позабыл — как быстро; понял, устыдился и выпустил ее руку. — Мы с тобой еще так мало разговаривали.

— Мало? — он помрачнел; стало жаль песни. — А к чему все слова, если само сердце...

— Сердце... — она вздохнула. — Сердце, Ауримас, слепо... Чаще всего оно и само не знает, чего ищет... Да и найти ему, бедному, удается не так уж много...

— А откуда ты знаешь?

— Женщины все знают, Ауримас. Старые, хитрые женщины.

— То старые! А ты, Мета... Нет, это глупости!

— Умности, — она улыбнулась, опять-таки печально. — Ты даже понятия не имеешь, какие это умности, когда женщины...

— Нет такого слова — умности! — отмахнулся он. — Нет, даже слова такого не существует.

— Многого в этом мире не существует, Ауримас, — Мета покачала головой, как-то очень серьезно. — И многое, честно говоря, не нужно...

— Мне — нужно... Я хочу, и мне нужно...

— Не нужно и тебе, Аурис... А то, что нужно, — того чаще всего не добыть... Да ты только посмотри! Смотри! Смотри!

Она замолчала и впилась взглядом в дерево неподалеку — что-то там разглядела; Ауримас перехватил ее взгляд. А-а! — полное разочарование (а чего ожидал?) — ну, птица, птица как птица; цепляясь коготками за блестящую, гладкую наледь, вверх по стволу скользила черно-желтая птица; ей приходилось туго, поскольку кора оледенела и карабкаться наверх было тяжело, птица то и дело съезжала вниз; она верещала, попискивала, раздраженно хлопала желтыми крыльями по обледеневшей коре, словно та была виной ее неудачи; птаха устала, выбилась из сил, но упрямо цеплялась когтями за мерзлый ствол, царапала ледяную

корку, долбила ее клювом и карабкалась все выше и выше — нимало не подозревая, что куда проще было бы вспорхнуть и подлететь к макушке; легче и быстрее; но эта желто-черная птица, очевидно, полагалась лишь на собственные когти; и, разумеется, на долбежную силу клюва; и все это, очевидно, имело для нее некий определенный смысл; а впрочем — разве птица ищет смысла? (Ауримас горько улыбнулся); шуршал иней.

Вдруг он вспомнил о Грикштасе — —

XXXII

— Глуоснис, ау! За тобой не поспеть!

Ауримас вгляделся в человека.

— Не поспеть за тобой, Глуоснис.

— Я жду, товарищ редактор.

Когда это? Вчера? Позавчера? На прошлой неделе? Не важно. Птаха карабкается по дереву упрямо и без всякого смысла, точно, как я, Мике или Грикштас; возможно, один лишь Даубарас из всех нас...

— Пешком?

— Как и вы, товарищ редактор...

— Мне ближе. К тому же шофер подхватил где-то грипп... Думаешь, стал бы я ездить, если бы... — он бухнул палкой себя по ноге; гулко отозвалось дерево.

Ауримас помрачнел.

— У меня не звенит, — сказал он и потер себе грудь. — У меня похрипывает. Особенно к дождю.

— И что же за причина?

— Может статься, война...

— Может статься? — Грикштас хмуро покосился на него; ирония пришлась редактору не по душе.

— А вдруг и не война?.. — Грикштас окинул Ауримаса взглядом; сегодня он был несколько иным, чем обычно, более бодрым; а может, Ауримасу только показалось, что иным, — нечастые их разговоры до сих пор касались лишь редакционных да университетских дел, особенно если в кабинете находилась и Мета (заглядывала она частенько); но сегодня Грикштас определенно хотел поговорить начистоту, и, видимо, этого ему сильно не хватало там, в редакции; узкие, посиневшие губы подрагивали, а карие и живые, хотя и запавшие глазки, казалось, клещами схватывали

взгляд собеседника. — Эх! Коли уж угодил в воду... сухим выйти не мечтай...

Ауримас опустил глаза.

Начинается, подумал он. Грикштас не станет стесняться. Выложит все как есть. Молчал, молчал, а потом... Говори. Говори. Смотри ему в глаза, Ауримас, прямо, мужественно. Если ты мужчина. Если хочешь быть мужчиной. Если...

Было или не было, было или не было... Да что тут гадать — было! Да еще как было, если по сей день еще...

Jedem das Seine... Ответственность. Дом... Часть этого набора слов Грикштас уже произнес, остальные доскажет. Обязательно. Во что бы то ни стало. А то, что он оплеван...

Погоди, вдруг сами собой сжались кулаки; а вдруг это все неправда? Будто ты там, ночью... Студеная, гнусная зловонная жижа и дождь, острым щебнем хлынувший с темного, асфальтового неба. Неправда? Эти вот слова Грикштаса — неправда? Ответственность, долг... Правда. Как и то, что ты здесь. Что ты жив. Что разговариваешь с Грикштасом. Что они сцапали тебя как раз в тот миг, когда... Ты уже не хотел? Уже сожалел? Поскользнулся? А кто об этом знает? Кто поверит?.. Правда всего одна, Глуоснис, — ты жив. Ты здесь... И потому молчи. И принимай всю вину — целиком — на себя. Конечно, всю, конечно, целиком, и конечно — на себя. Правда одна — как человек. Как жизнь. Один человек, одна правда, одна жизнь — ясно? Неужели нет? Тогда не говори, молчи. Молчи, когда говорит старший. Когда равный. И даже когда младший — ибо это правда. И молчи, молчи, молчи. Как камень, как земля, как река... Будто вытащенный из воды, Глуоснис; ты выглядишь так, будто тебя вытащили из реки. Из реки? И они... и Мике... и Грикштас... и... И все из реки, что ли? И ты, Ийя. И ты. И если бы ты не сбежала с Алибеком... с этим тульским самоваром... Значит — из реки? Из реки, Ауримас, помолчи. Уж лучше ты помолчи, если... Или ты хочешь благодарности?

Нет, нет, что вы! Пусть он говорит, что хочет, этот человек. Пусть говорит Грикштас. Без намеков. Напрямик. Если это удар, то пусть прямо в лицо. В глаза. Надо смотреть в глаза. И я буду смотреть.

Он действительно посмотрел прямо в глаза Грикштасу.

— Совесть мучает? — спросил он, сдвигая брови; улыбаться было вроде бы нечему. — Что подобрали...

такого — утопленника... А вы знаете... денег я не взял... не поехал...

— Что за деньги?

— Ну, те... Юозайтис предлагал мне приехать, но я...

— Что еще за деньги, спрашивают тебя...

— Премия... Пусть подавятся... ну и...

— Дурак, — проворчал Грикштас.

— Вы про Юозайтиса?

— Да при чем тут твой Юозайтис... Юозайтис, милок, фигура, и, если бы ты с ним поговорил по-человечески...

— С кем?

— С Юозайтисом, с кем еще! С редактором Юозайтисом. Он не какой-нибудь формалист, уж я-то знаю. И если бы ты с ним переговорил... тогда бы и Питлюс, злосчастный его Питлюс... по-моему...

— Прошу вас, не надо!.. Поговорить! По-человечески! Да чего ради? Ради денег? И на что мне эти деньги, если... Если такой финал... встреча и проводы... да пусть их...

— Речь идет не только о деньгах...

— О чем угодно! Не хочу я с ними говорить — ни о чем! Ни о чем на свете. Хватит с меня!

— С кем это — с ними?

— С редакторами, разумеется. Со всеми редакторами.

— Дурак, — сказал Грикштас.

И поджал губы — плотно, будто подавляя нечто — бранное слово или какой-нибудь возглас; да уж, по головке не погладит; потом вдруг с силой, резко оттолкнулся своей суковатой палкой, энергично, как лыжник для прыжка с трамплина, — и стук-постук — заковылял по лестнице вниз — а ведь при одной лишь здоровой ноге...

Ауримас не бросился вдогонку. Что-то здесь было неладно, что-то не так, как положено, но бежать следом?.. Внутри у него все кипело и клокотало, точно там орудовала целая дюжина адовых приспешников со всеми присущими атрибутами — раскаленными сковородами, горящей смолой, — да к тому же изрыгающая отборные, последние ругательства; надо было что-то предпринимать. Что-то говорить, чтобы утихомирился не только Грикштас, проковылявший вниз по лестнице, но и вся нечистая сила, что буйствует у него в груди; надо было решиться.

— Почему вы так? — крикнул он неожиданно злобно, заметив, что Грикштас задыхается — присев на ка-

мень, хватает ртом воздух внизу лестницы; кепка подпрыгивала у него на голове. — За что вы меня... таким словом...

— Хочешь, чтобы я сказал за что? — Грикштас рукавом отер пот со лба; лицо пылало. — Могу сказать.

— Скажите.

— Скажу: потому что это недостойно пули, которая прошила тебе легкие. Недостойно Орловщины. И Гаучаса, которого я, к сожалению, не знал. Вот почему.

— Что недостойно?

— Все твои выкрутасы... плюхаться в воду... Жизнь, творчество всегда битва, мой милый, а вода... Сдача в плен. Поднятые руки, Глуоснис. Вот почему.

Он еще что-то говорил — малорослый, лысый человек, скорчившийся на студеном парапете, он кричал, и его сплющенная кепка подскакивала на макушке, ерзала над свалявшимися в грузный пласт волосами; но Ауримас мало что разбирал. В нем бушевала какая-то нечистая сила; кипящей смолой обжигало грудь, острые копыта били по легким, сердцу, стучало в висках, там, внутри у него, стоял вой, ор, гам и грохот, не позволявший собраться с мыслями и высказать Грикштасу то, что было необходимо; как быть, если нет слов? Если все они уже произнесены?

"Если уж мы за что-нибудь..."

Нет, нет! Взять и уйти прочь может каждый, а взглянуть в глаза... Даже в тот миг, когда буйствует, душит дьявольская орда, когда кажется, что нет сил не только глядеть, но и попросту приподнять тяжелые веки, когда... Когда он, прежний Ауримас, выбирается из того угла и — о, будь он проклят! — скалит зубы, хватается за живот и покатывается от хохота над моей слабостью, над моим позором, — давно не видел его таким наглым; ага, тычет пальцем, разве не говорил я тебе; писатель называется! И если мало тебе т о й н о ч и, если тебе угодно, чтобы она не кончалась всю твою жизнь, если...

— А вы? — исторг я; голос мой дрожал. — Что бы вы сделали? Если бы с вами так же, как со мной... если бы...

— Я? Я? — Грикштас дернул больной ногой; скрипнул протез. — Что бы сделал я? Дал бы по морде, может быть. Но не тем, кто писал на тебя анонимки и статьи, а тебе.

— Вы можете это сделать.

— Могу.

— Так дайте же! Дайте!

— Не стоит, — Грикштас вяло махнул рукой. — Но ты еще вспомнишь этот разговор, я знаю.

Кровь бросилась мне в лицо, будто резануло порывом ветра, но я закусил губу, вместе со слюной проглотил свое раздражение, совладал с собой и не нагрубил Грикштасу; а ведь мог — честное слово, мог; и еще как!.. Еще чуть-чуть, и...

— Да! Хорошо вам... — с усилием вымолвил я и отвернулся. — Легко тому, кто всегда прав...

— Всегда? — Он удивленно посмотрел на меня.

— А разве нет? Уже само ваше положение... должность и вес создают ту иллюзию абсолютной правоты, без которой вы, может быть, вовсе...

— Интересно, — Грикштас склонил голову набок. — Оч-чень интересно.

— Ничего тут особенного нет, — ответил я. — Но знайте: это только обман, только иллюзия, ибо всегда найдется тот, кто еще более прав. Да хотя бы и Даубарас.

— Даубарас? Но, мил человек, при чем здесь Даубарас? Мы с тобой тут, кажется, одни, ну и...

— Ладно, не в этом дело! Я хотел сказать, что полностью правых и непогрешимых нет нигде и никогда.

— Никогда? А Чепонис? Мельникайте? А миллионы других, чьих зачастую даже имен... О чем ты говоришь?! Подумай, что ты несешь, человек! Если нет правых, то выходит, нет и заблуждающихся. Нет подлецов. Все одинаково хороши, да? И прекрасны. А мне Гитлер отвратителен! И Франко! И Чан Кай-Шишка!

— Ну, так можно далеко зайти, — протянул я. — О таких высоких материях я сейчас не говорю. В данный момент. Но знаю, что не один лишь я, простофиля Глуоснис, был, есть и буду неправым, а, думается, и вы тоже... такой умудренный и видавший виды редактор...

— Я? Я?.. О чем ты? — Грикштас тряхнул головой.

— Разумеется, о себе... о таком-сяком... гм... Впрочем, если я вам чем-либо мешаю... то есть если мое присутствие бросает тень... на ваше доброе имя... или на чье-нибудь еще... могу хоть сейчас... хоть в сей момент...

Дурак! Дурак! — снова услышал я и снова закусил губу — теперь уже до крови; это он — прежний Аурамас вдруг заговорил во мне — не иначе; он метался, норовя вырваться из моей груди — точно тигр из объятой пламенем клетки; дурак, губишь себя самого! И так легко! Но я уже не мог остановиться.

— Молчи! — Грикштас в бешенстве вскочил на ноги и — этого я никак не ожидал от него — замахнулся палкой — своей неизменной палкой какого-то узловатого дерева, с резиновым набалдашником. — Молчи, понял? — он стукнул о камень. — И больше чтоб у меня ни слова! Ни слова об этом! Ни полслова, олух!

— Да ведь прямо в сердце...

— В сердце? Мелкое же это должно быть сердце, если оно приемлет одну лишь грязь... одни помои...

— Что дают, то и приемлет. Что дают, товарищ Грикштас. Мое сердце как река — открыто всему.

— А любви? Тоже открыто?

— Любви? — я остолбенел. — Какой любви?

— Человеческой, Ауримас. Любви к простой, обыденной жизни. Любви к человеку — открыто ли? Ведь это, может быть, куда важнее всех твоих речей... разглагольствований и...

Я что-то хотел возразить, но лишь пожал плечами и промолчал — любви... Это вроде бы не касалось темы, которая, я предвидел, рано или поздно всплывет, — той ночи; Ауримас, Глуоснис! — звала тогда Соната, хлестал дождь, ветер заглушал голос, срывал, сдирал прямо с губ, забивал и швырял наземь — как меня на парапет; Ауримас, Глуоснис — неслись обломки голоса, одинокие и жалобные, затерянные среди струй; гнались и растворялись в ночи, так и не достигнув моего еле трепыхающегося сердца; открыто ли оно для любви? Неизвестно, хотя я не оглянулся, не остановился ни на миг, ни на единое мгновение — как ни звал, ни просил, ни умолял этот голос; Ауримас, Глуоснис, ау... Но звал и другой голос — и я различал его лучше, так как был он безмолвен, словно раковина, поднятая с морского дна, в которой вечно жив гул бурливых стихий; я весь был сплошная рана, а этот голос был словно бальзам, в то время как остальные раздирали в кровь израненную плоть; он весь целиком звучал во мне — во всех жилах и суставах, будто навек сокрыв в себе того, иного Ауримаса, вздумавшего куда-то лететь, — писателя; от всех спрятанный и слышный лишь мне одному, этот голос вел меня туда, где надо было поставить точку; ныне и присно — —

Открыто ли мое сердце для любви? Готово ли? Для какой, Грикштас, любви? — мог бы спросить я, но не смел, боялся нарушить то зловещее безмолвие, которое, я чуял, сошло на меня; я не желал говорить. Сердце? Любовь? Да почем я знаю! Неужели все то, что было, можно назвать любовью и какова она на самом деле?

А любил я, подумалось вдруг — спокойно и четко, любил я, наверное, Ийю из Агрыза, но она уехала с Алибеком; и у нее были светлые, душистые волосы, а глаза большие и черные — как у Меты, а Соната... Сонату я тоже любил, конечно же, но это было настолько очевидно, что даже не требовало доказательств; молчи, не говори, знаю, не надо — сказала она мне, а потом ушла на кухню, потом покачала головой и вернулась опять в спальню, к мамаше; я ушел; любил я и Мету Вайсвидайте, конечно, однако... Не веришь? И не надо, никто не принуждает верить; чем я виноват, что она была такая взрослая и спуталась с Даубарасом — и что не желала бежать туда, куда мы все; Юту на руки и...

— Открыто ли? — спросил Грикштас и не стал дожидаться ответа, только его глаза еще спрашивали — карие, глубоко посаженные, но бойкие глазки, которые — вижу, вижу, все еще ловят мой взгляд; упрямец! Он упрям, этот человек, возникший из прошлого и вставший у подножья лестницы Вайжгантаса; о, если бы я знал... Весь мир пронизан любовью, помнится, думал я, выходя из санитарного вагона и направляясь к Ийе — в тот, второй раз, а она сбежала с Алибеком, и никто не знал куда; поклянись, что не ты, поклянись, что не ты, — кричала Ева и в упор глядела на Даубараса страшными, помутневшими глазами; была ночь, грохотал гром, по тротуарам несло пыль, бумажки, звенели стекла, стучала мятая кровельная жесть; не знай, лучше тебе ничего не знать, говорил Грикштас, ничего и никогда — будет лучше; кто поймет, для кого и когда раскроется сердце этого человека? Ева прибежала ночью, когда я спал в учреждении на диване (до Крантялиса далеко), а на стуле рядом с одеждой дремал выданный в милиции ТТ (в подвалах, поговаривали, еще засели фрицы); Ева схватила пистолет и кинулась назад, к двери; он мне скажет, он мне скажет, — вдруг взвизгнула она не своим голосом и спустила курок; грохнул выстрел... Выстрелила и сама испугалась — будто очнулась от тяжкого, долгого сна — и швырнула оружие прочь, как лишнюю, совсем не нужную вещь; я тут же спрятал его. И повалилась на диван, закрыв ладонями лицо; напрасно я тормошил ее, напрасно допытывался, в чем дело, я ничего не мог понять; она плакала. Я останусь здесь, я останусь здесь, — стонала она, когда дверь распахнулась и вбежал дежурный комсомолец; теперь я буду жить здесь... Ева, у тебя есть дом... есть муж... Муж? Муж? — она вскочила и давай рвать на себе одежду — сдирала с себя вещи, точно они скрывают некую тай-

ну; он мне скажет! Иногда, сказал врач, которого дежурный вызвал по полевому телефону, иногда это бывает от первой брачной ночи; бывает, что... Но у нее не первая! — возразил я, возможно слишком уж громко, потому что врач, сдвинув седоватые брови, пытливо глянул на меня, — будто никакого Даубараса никогда и не было на свете; ну а если не первая... в таком случае установить причину... и в больницу... Нет, не рожала, нет, — улыбается Даубарас той полной снисходительного презрения улыбкой, которая всегда, точно стальная кувалда, сдавливала меня и гнула к земле; в сумасшедшем доме, мой друг, нет родильного отделения... дети больных матерей... Матерей? Да уж не отцов, разумеется... при чем тут отец...

А вот Грикштас спрашивает — —

Вдруг мне почудилось, что этот человек надо мной смеется: он спрашивает, могу ли я любить? Но какая же любовь способна мне помочь, если в меня не верят, если я все еще — после стольких лет — чувствую удары по голове — раз два три, раз два три; дай дай поддай; Васька, Юзька и Яська колошматили не спеша, не слишком утомляя себя; за что; за то самое; за красивые глаза, балда; за то, что без отца, а ходишь в гимназию — что, разве не нахальство, братцы; за то, что не уступаешь дорогу х а в и р е, язва, требуха кошачья; а еще за то, что не катаешься на автобусе — как Ромул или Рем — двоюродные братцы, оба Райлы, или на велосипеде, или на мотоцикле; били, пока я не начинал харкать кровью или не скатывался кубарем с горы — им не догнать; позднее я понял, что самые больные удары — не те... Никто и никогда не говорил мне — люблю тебя, будь счастлив — разве что мама; М а м о ч к а; но ее нет и не будет уже никогда, остальные же... И в любви они, должно быть, прежде всего думали о себе, и лишь потом...

Тут я спохватился, что думаю в прошедшем времени — в прошедшем о Сонате, и сердито покосился на Грикштаса, который, по-моему, норовил забраться слишком уж глубоко — куда глубже, чем это дозволено добрым знакомым, пусть даже начальству, правда оказавшему, о, вне всякого сомнения, мне кое-какое, и даже большое, благодеяние; прежде всего о себе, думал я, даже в любви все прежде всего думают о себе

самих и лишь потом о других; но это, может, вовсе и не любовь? Значит — и Соната, и я... И я — прежде всего о себе самом — значит — — — — — —

Я покраснел и поспешно отвел глаза — как бы маленькие да хитренькие глазки Грикштаса не прочитали что-нибудь у меня в мыслях; слишком много понимает; а вдруг он там прочтет и про Мету? И зачем он уставился на меня с таким любопытством, будто я — находка на дороге, которую надо развернуть и увидеть, что там внутри; будто я нечаянно подвернулся ему под ноги, точно еж, — и рукой тронуть боязно, и палкой оттолкнуть жалко — живое существо как-никак! — смотрит, опершись на суковатую палку, и качает своей сивой головой в плоской кепке, словно видит не меня, а что-то отдаленное и известное лишь ему одному, — некое огромное, лазурное поле из времени и пространства, где для меня, возможно, отведена одна лишь зыбкая, с желтоватым налетом серость. Что он видит? Голубятню, которую мы тогда сколачивали? Профессора Вайсвидаса? Мету? Или он забирался еще глубже — сверлили скважину маленькие мудрые глазки — все глубже — насквозь; не нравятся мне эти проницательные взгляды...

Я сразу же вспомнил, что у меня контрольная, и что надо вместе с товарищами повторить теорему, и что надо позвонить Сонате (так давно не звоню) — немедленно, пока не начались лекции; надо зайти и в отдел кадров — тоже, конечно, незамедлительно — не хватает каких-то сведений; найти Гарункштиса, списать новое расписание; сдать заметку в стенгазету, забрать у сапожника ботинки, — словом, переделать все возможные, а то и невозможные дела, — и все до лекций, которые, само собой, тоже не будут меня дожидаться; вдруг передо мной выросла вся эта гора неотложных дел, и я понял, что на все это не хватит не только одного этого дня, но и целой недели; я поспешно и все еще избегая встретиться с Грикштасом глазами, подал ему руку.

— Вот спасибо, — произнес он каким-то далеким голосом, словно очнулся от глубокого сна. — Спасибо за искренность: насчет пресловутой абсолютной правоты. Может, что-то в этом и есть, а? Человек, который всегда прав, может оказаться ужас каким скучным, правда? Особенно в глазах женщин.

— Женщин? При чем тут...

— Знаю. Не говори, — он покачал головой; я увидел, как он устал. — Прямое дерево красиво, когда видишь его один раз, а если каждый день...

— Значит, в три... как всегда... — сказал я и ушел, стараясь не думать ни о его словах, ни о чем-либо другом; надо было торопиться. И все же не мог я так просто взять да уйти, не оглянувшись еще хоть раз на этого человека; и он, кажется, не мог так просто отпустить меня; что-то уже связывало нас, какая-то единая участь, что свела нас у этой лестницы; по крайней мере, я чувствовал его взгляд — точно стрелу, вонзившуюся мне в спину между лопаток; я остановился и оглянулся. И даже был разочарован, не увидав ни Грикштаса, ни его пронзительного взгляда, только что сверлившего мне спину, и незаметно для себя отступил на несколько шагов назад, чтобы посмотреть, куда же он сгинул; и вдруг увидел его. Грикштас сидел на низком цементном парапете и, сощурив глаза (он ведь близорук!), смотрел прямо перед собой, на белый изящный особняк близ парка — тот самый дом Вайсвидасов, где много лет назад я впервые встретил его — его и Даубараса; сидел, смотрел и глотал белоснежные таблетки, доставая их из коробочки, лежащей на его ладони; рядом, у самых ног, валялись портфель и палка. Выглядел он маленьким и покинутым самой судьбой — здесь, у забора, под обнаженным, растопырившим голые сучья кленом, всеми забытый, жалкий, не похожий на себя; до меня ему, кажется, вовсе не было дела. Правда, он почувствовал взгляд и обернулся, точно пойманный с поличным, — перестал глядеть на дом; но меня он не видел и ничем больше не интересовался; тусклый, безжизненный взгляд — столь непривычный для его живых карих глаз — медленно скользнул мимо меня, описал пустой полукруг и застрял где-то за кладбищенскими крестами; я вдруг устыдился, перестал на него глядеть и поскорей двинулся подальше отсюда, по улице Траку, в город.

И не видя я видел его — напряженный, тусклый взгляд Грикштаса, устремленный куда-то поверх моего плеча — на то желтое поле времени и пространства, которое маячило за мной; я видел его, видел Даубараса, Вайсвидаса, Мету и множество других лиц, неожиданно возникших из былого и тесным кольцом окруживших меня; и, конечно, там была она, Ийя, подобравшая меня на рельсах; но не было среди этих лиц ни Лейшиса, ни Лейшене, ни Сонаты, хотя, идя домой, я как будто заметил ее столь знакомый силуэт в окне столь знако-

мого мне дома; как будто, — поскольку, глядя туда, на окна Лейшисов, я уже был где-то далеко; а возможно, глядя на Сонату, я уже видел другую. И тогда мне вдруг стало страшно.

XXXIII

Они танцевали; у Марго были пластинки, и они танцевали самозабвенно, словно дети; за окном трепетала ночь. Тогда... в дождь, тогда, в дождь — снова всплывало в памяти, и Ауримас напевал эту мелодию, а патефон играл совсем другое; все мелодии у него слились в одну. Он даже выпустил Мету, подсел к пианино и попытался подобрать звуки этой внезапно рожденной сегодня песни; Мета ждала рядом.

— А она, между прочим, красивая, — вдруг проговорила она.

Ауримас перестал наигрывать и удивленно обернулся: не сразу сообразил, что речь идет о Сонате; что ж, и Мета — женщина.

— Ты о ком? — неохотно спросил он.

— Как звать, не знаю. Но видела: красивая.

— Видела? Когда?

— О, не раз! А это — секрет?

Она видела нас с Сонатой, подумал Ауримас, это действительно не секрет; но почему-то он вовсе не желал, чтобы Мета об этом разговаривала; особенно сегодня и здесь; он встал.

— Пойдем потанцуем.

Ты самая красивая, вот что он должен был сказать; ты понятия не имеешь, какая ты красавица, Мета; "Ла Компарсита"; такой красавицы... другой такой во всем Каунасе; но не сказал, боялся — выйдет пошлятина, еще глупее, чем говорить о Сонате; просто обнял Мету за талию и так закружил, что у самого все поплыло перед глазами; Мета едва успевала переставлять ноги. И снова она была так близко, как, может, была лишь в тот вечер, когда Ауримас писал за Грикштаса передовицу, а Мета караулила за спиной и через плечо поглядывала на лист бумаги; только ее глаза, как ему почудилось, теперь были гораздо дальше, чем в тот раз, и блуждали, будто выискивали кого-то, — большие, блестящие, не то испуганные, не то растерянные глаза; и двигалась она в танце напряженно, будто вот-вот сбежит; щеки то пылали, то заливались бледностью. И сам он, Ауримас, избегал смот-

реть ей в глаза, словно в них было что-то зыбкое, непрочное, ускользающее; что-то между ними стояло — какая-то холодная, ледяная стена; неужели имя этой стене — Соната? Вполне возможно, вот и Мета сама упомянула о ней; знает, что та красива. Красота, прежде всего красота, подумал он, словно больше не существовало ничего подлинного, а вот Грикштас...

Второй раз за этот вечер вспомнился Грикштас, и неожиданно возникло чувство какой-то неприязни, он безотчетно поднял руки выше — Мете на плечи — и слегка отстранился: открыто ли твое сердце для любви? Чье? Мое?.. Этот вопрос снова заколотился в висках, сдавил их жесткими каменными пальцами и увлек его мысли прочь от сегодняшнего вечера; в самом деле, Ауримас, открыто ли?.. А если я скажу: да, что тогда?.. возьму и скажу?.. И если д а скажет она?..

Забывшись, Ауримас стиснул ее плечо — как тогда в парке руку, — Мета ошпарила его пристальным, заметно испуганным взглядом, но, как и прежде, в ее глазах он видел лишь вопрос; стало еще жарче; Ауримас подошел и перевернул пластинку.

Отворилась дверь.

— Ах, что за прелестная пара! — Марго захлопала в ладоши, ее лицо сияло. — Ромео и Джульетта! Конкурс красоты в Ницце. Правда, Метушка, почему бы тебе иногда не встряхнуться?

— Давайте выпьем пива, — предложил Мике.

Они уселись, разлили пиво по стаканам. Мике один знал, где он раздобыл эти две бутылки портера, вот он и пыжился, обводил всех торжествующим взглядом, держа в руке бокал с шипучим, пенистым напитком. Мета пить не стала, сославшись на простуженное горло, к тому же, призналась она, пива она не любит; не пригубила она и вина, которое Марго обнаружила в самом углу буфета; похоже было, что ей ничего не хотелось. И Ауримасу — тоже ничего, хоть пива он и отведал; вернее, только отпил глоток и поставил стакан обратно, на стол; он подался ближе к окну и оттуда стал наблюдать за Марго и Гаруникштисом; как они мололи всякий вздор; диву даешься, когда слышишь подобное; Ауримас с Метой на такое не способны. Это он понял сразу, едва лишь увидел Мету в редакции — когда ее лицо оказалось так близко, как никогда прежде, и когда он понял, что все, оставленное в прошлом, — сказки и детство, — кончилось безвозвратно, сгинуло за дальней чертой лет и вещей; на него глядели глаза, в которых были и радость, и искушение, и отдаленная, угады-

ваемая разве что по влажно-матовому блеску, надежда; что-то оставлял ему этот взгляд, но чего-то и лишал... Чего-то лишал, подумал он, вставая с места и ставя на стержень радиолы пластинку — все ту же, "Ла Компарсита"; а если так... Осторожненько, словно хрупкий, бьющийся предмет, тронул он плечо Меты, приглашая ее на танец, та молча кивнула головой.

Потом они еще пили пиво, жевали конфеты, разговаривали о кинематографе, об общих знакомых, листали какие-то пухлые альбомы, которые Марго приволокла из отцовской библиотеки (Вимбутаса не было дома), разговор сам собой перешел на студентов и преподавателей.

— Где справедливость? — кипятился Мике, с огорчением косясь на пустые бутылки, которые одиноко жались друг к дружке посреди стола, точно пара сирот. — Нет, вы скажите, где справедливость? Меня, комсомольца, учит человек, который никогда не открывал Маркса!..

— Ты о ком? — полюбопытствовала Марго.

— О Шапкусе, понятно. Твой предмет.

— Ну тебя... — она занесла руку, но так вяло, что Мике поймал ее легко, словно мячик. — Пусти!

— Не пущу! И если уж мы пойдем куда-нибудь, дражайшая, то только вместе... Но сначала я договорю. Известно ли вам, уважаемые, с какой целью наведывался доцент Шапкус в Вильямпольское гетто?

— Полагаю, что да, — Марго резко выдернула свою руку из ладони Гарункштиса. — Спасал детей доктора Рабиновича. Рабиновичи были его соседями, и это вполне понятно...

— А чьи костюмы он носит, а? Как вам кажется?

— Ну, знаешь!.. — перебила его Мета.

— Вот именно — знаю! Костюмы доктора Рабиновича, так и скажем. И теперь, будьте любезны, скажите мне: где же они, дети Рабиновича?

— Их расстреляли немцы.

— А костюмы достались Шапкусу! — Мике торжествовал. — И если копнуть поглубже... Я, конечно, не смею утверждать, что детишек сплавил сам маэстро, но странное и довольно подозрительное совпадение, стечение обстоятельств позволяет сделать предположение... и хотя дети погибли добрых полгода спустя, некоторые склонны подозревать, что...

— Не надо! — негодующе воскликнула Марго и сердито посмотрела на Мике. — Ты отзываешься дурно обо всех, кто гоняет тебя на экзаменах, в общем...

Она не договорила, заносчиво вскинула подбородок с прелестной родинкой-изюминкой, будто отстаивала честь дома (что ни говори, ее папаша тоже профессор, и коль скоро Мике посмел о Шапкусе...), взяла со стола чайник и отправилась на кухню; за ней поспешила и Мета.

Мужчины остались одни.

— Не удивляйся, что я так про Шапкуса, — Мике затворил дверь и еще прислушался, не притаился ли кто. — Вовсе не потому, что не сдал, я не на стипендию живу. В конце концов, сколько можно возиться с ямбами-хореями, когда вокруг столько всяких интересных вещей. Стихи сочинять я не собираюсь, хватит с меня и старушки прозы, а все прочее... Строим новое общество, братец, и всякое трухлявое старье будет волком выть, но дорогу пусть даст! — Он метнул грозный взгляд на дверь. — Только ты... ни за что... — он приложил палец к губам.

— Ясно, — сказал Ауримас.

— Марго, по-моему, соображает, — вздохнул Мике, — а Мета вроде бы не очень... у Грикштаса лежит статья, друг мой. Восемь страничек. Разносят нас.

— Нас? Кого — нас?

— Да вот... тебя...

— Меня?

— А ведь струхнул! — Мике поднял брови и искоса глянул на Ауримаса. — Не хочешь новую баню? Но там была только водица, дружище, а сейчас поддадут пару...

— Нельзя ли пояснее?

— Ну, тебя-то поменьше, так что не дрейфь, — Мике согнал свои брови вниз. — И может, не в лоб... не по фамилии, как других...

— Как тебя?

— Ага! Да еще как, брат ты мой! — Мике сокрушенно покачал головой. — Да что с них спрашивать. Я член правления, активист, а по нынешним временам руководить... взвалить на себя такое бремя в наш переломный период... Всей секции достается... Без разбору. Впрочем, все-таки с разбором — активу побольше, чем остальным...

— Да чьих же это рук дело? — спросил Ауримас.

— Не поверишь, — Мике развел руками.

— И гадать не буду. Если это тайна.

— Вимбутас.

— Да ну? — Ауримас пожал плечами.

Только и всего? — хотел он спросить, но удержался и выразительно улыбнулся; только и всего? Вимбутас?

Профессор? Этот безобразник, а? Разносит секцию? Этакое содружество ангелов. Неужели Мике думает, что Ауримасу все это теперь интересно? Чего он там не видал, в этой секции, что оставил? Принять, отложить, отклонить, вспоминал он; о т л о ж и т ь. С того самого собрания Ауримас туда и носа не кажет, а уж после той ночи... Крадешься в потемках, точно ворюга, забираешься, сдвигаешь стулья, а когда сторож запрет ворота... Принять, отложить, отклонить; о т к л о н и т ь, — пестрые пузатые стулья, собранные сюда чуть ли не со всего Каунаса, словно норовили скинуть его на пол, отторгнуть, выдворить; столик скрипел, даже если не трогать его, а лишь глянуть в его сторону; сердце стучало яростно... Как опаснейший преступник, на цыпочках крадешься к столу, лихорадочно стягиваешь залитую чернилами скатерку и, зажмурившись от стыда, тащишься в угол, где в тот раз сидел Грикштас (тут были едва ли не самые ровные стулья); свернись клубком, точно бездомный пес, и торчи здесь до утра, — иной раз и уснуть не удается, дрожишь, словно заяц, — глаза открыты, ухо чутко ловит малейший шорох — на лестнице и за окном, в голову лезет всякая дрянь; на рассвете сползаешь со стульев и через другую, не заметную с улицы калитку, по сумрачным еще дворам выбираешься вон, на пробуждающиеся для нового дня улицы, в университет, — сторожа дивятся невиданному усердию этого раннего студента...

Нет, слово "секция" не вызвало у него никаких мыслей, а уж "член правления" — простите — ни малейшего уважения; неужели от этого Мике переставал быть прежним Мике Гарункштисом? И вот его ругают, разносят, причем кто — Вимбутас, папаша самой Марго, которому вроде полагается брать под защиту будущего зятя; бывают, конечно, дикости и похлеще...

— И за что же? — без особого любопытства спросил он.

— Обхохочешься: за грамматику.

— Грамматику?

— Ну, синтаксис там всякий, само собой! — Мике окинул Ауримаса удивленным взглядом; скажите на милость, — не понимает он! — А коли на то пошло, то за грамматику, синтаксис, лексику, этимологию. И особенно за акцентологию, понял? Нет еще? Тогда придется просветить: не нравится ему наша политика, братишка. Наша идейная направленность. И наше намерение оздоровляться.

— Это ты брось!.. Я слышал, профессор готовится в партию. Грикштас говорил.

— В какую партию?

— В нашу, какую еще?

— Вимбутас?

— Почему бы и нет? Каждый советский гражданин, признающий Программу и Устав Коммунистической партии и желающий своим трудом...

— Вимбутас? Этот двуликий Янус?

— По-моему, сомневаться в сознательности профессора и в его честных намерениях...

— Вот дойдет и до самого Даубараса!.. Ух, до чего будет шикарно, если дойдет до товарища Даубараса...

— А Даубарасу-то что? Пусть вступает. Если старые интеллигенты идут в партию, значит, не только партия им нужна, но и они — партии... Что здесь тебе неясно?

— Неясно, почему ты ушел из горкома комсомола — до того складно излагаешь политику партии, что прямо завидно...

— И младенцу ясно: чем больше старых интеллигентов воспримет наши идеи, тем быстрее мы продвинемся вперед.

— Только, умоляю тебя, не учи... — отмахнулся Мике. — Знаю я эту политику, можешь быть уверен. И газеты читаю... программы там всякие... Только если этакий Вимбутас... которого, как ты полагаешь, я имею честь в какой-то мере знать...

— Ну, со странностями, правда... чудаковат... Но за одно это... осуждать... я не согласен!

— Понимаю тебя!

— То понимаешь, то нет.

— Понимаю. Ты живешь у него в доме.

— А ты пьешь его вино. И гуляешь под ручку с его дочерью. И, поверь, если бы она хоть сколь-нибудь разбиралась...

— В чем же это?

— Да все в том же... как ты про ее отца...

— А-а... Тут он, кажется, не лыком шит... Но... Марго — это лирика, мой друг, а Вимбутас — политика... И если он метит в партию, тем более такие статейки... он обзывает нас чуть ли не фонвизинскими недорослями и советует учиться родной речи... вот именно — грамматике... так и пишет: беритесь, мол, ребята, за грамматику... дело в том, что ему попались на глаза кое-какие рассказики, где он обнаружил кучу ошибок... ай-яй-яй, незнание элементарных правил... Стиль! Скажешь, Жемайте писала без ошибок? Да ведь сколько

там народу хлопотало: и тебе Вишинскис, и Яблонскис, и всякие редактора... им-то что делать больше — небось самим писать слабó? Вот и пусть вылавливают чужие описки. Правят стиль! И если мы иногда в запарке...

" Stylos stilus, le style, the style; стиль — это переход объекта в субъект... Субъекта в объект..." чьи это слова? Шапкус; "le style c'est l'homme, почтеннейшие, это эпоха, растворенная в самой сущности логоса. Вальцель, которого коллеги столь блистательно цитировали... в свое время писал..."

Откуда это? Ах, да — оттуда, из книги лет, которую Ауримас подзабыл, с собрания, о котором вновь напомнила эта длинная и пылкая речь Мике Гарункштиса; Вимбутас ругает его стиль...

"...откровенно и прямо... прямо..."

И опять Мике, он один — всюду... везде, где не надо, и там, где он, может быть, даже нужен...

"...дорогой Ауримас, скажу тебе откровенно и прямо — искусство организации внутренней психологии и построения характеров... эта высшая математика литературы... тебе покамест, к сожалению... и откуда, уважаемые коллеги, возьмется психология, если сам по себе стиль... если — опять-таки будем откровенны, — если коллега Глуоснис теории и через марлю не нюхал, и, как тысячи ему подобных юношей из народа..."

И это — оттуда, из той же книги времени, книги в тяжелой черной обложке, книги, которую Ауримас, казалось, уже совсем закрыл; Мике высился круто, выбросив вперед ногу, одной рукой — самыми кончиками пальцев — опирался о столик красного дерева, который — вот так диво — совсем не скрипел, другую руку он то и дело простирал куда-то в угол, где, весь в дыму и почете, восседал Олимп — Шапкус, Матуйза и Страздаускас; Ауримас был готов пробуравить подошвами пол...

И он еще спешил, с ума сойти, как он спешил туда — и по глинозему, через гору, мимо татарской мечети с выбитыми окнами — там возились голуби; с какой стати — да почем он знает — спешил и все — бегом — — Тогда и потом — в ту ночь — перед той страшной ночью, которая нипочем не вписывается в черную книгу века — спешил и бежал — — — —

— Но куда же? — вымолвил он, отгоняя воспоминания; они были ни к чему — сегодня. — Куда бежать?

— Куда бежать? — Мике недоуменно пожал плечами. — Не понимаю я тебя, человече... Вперед! Куда же еще? Вперед! Но вот досада... Собираются дать статью... разгромную, но ничего... мы тоже не лыком шиты...

— Кто это — вы?

— Мы с Даубарасом. С самим Казисом Даубарасом, если это тебя интересует... коли на то пошло... Я и с ним имею честь быть знакомым, не думай! Да разве мы допустим, чтобы всякие мракобесы... прикрываясь дутыми авторитетами... из-за угла, точно пауки...

— Мракобесы? — Ауримас выпучил глаза. — Мракобесы? Из-за угла? А Грикштас? По-твоему, и Грикштас из пауков, что ли? Враг?

— Грикштас? Ну что ты! — Мике покачал головой, весьма выразительно. — Грикштас, дружище, — это святой... хоть и без крылышек... А уж к тебе особенно благоволит...

— Ко мне?

— Да уж небось не ко мне, — Мике улыбнулся — натянуто, обиженно. — Именно к тебе, человече, поскольку ты...

— Я?..

— Ухлестываешь за его Метой... А я...

— Слушай, давай не будем...

— Молчу, молчу... — Мике замахал руками. — Мета, конечно, тоже ангелица...

— Не лезь!

— Ладно — про Грикштаса!.. К тебе, мой друг, Грикштас хорошо относится... без дураков. Он молчит... много знает, но еще больше молчит... гм... либеральничает... этакий сусальный святочный дед... Своей показной мягкостью он, может, и самое Мету... твоего ангелочка в лентах-бантиках...

Он не договорил и взглянул на дверь: там стояла Мета. Она была уже в пальто и поспешно застегивала пуговицы: пальцы не слушались, волосы лезли в глаза; ни слова не произнеся, она хлопнула дверью; Ауримас кинулся за ней.

— В чем дело, Мета? — спросил он полушепотом, настигнув ее в коридоре. Схватил за руку. — Ты... слышала? Тогда знай, что Грикштас ко мне... всегда...

— Ах, да не трогайте вы его! — она выдернула — с силой выдернула свою руку (ладони были горячие) и быстрым движением откинула назад волосы. — За кого вы меня принимаете? Я не подслушиваю у дверей.

— Тогда...

— Йонису плохо, — вымолвила она. — Очень плохо. Опять. Юта прибежала за мной.

— Юта?

— Ну да, сестра... моя сестра Юта... Чему ты удивляешься? Забыл про нее?

— Я провожу тебя... — Ауримас схватил пальто. — Уже темно...

— Нет, нет! — Мета затрясла головой. — Я же не одна. Вдвоем не страшно.

— Ни капельки, правда! — из кухни выскочила чернявая — ну, точь-в-точь галчонок — девочка с большим куском пирога в руке, уставилась бойкими глазенками на Ауримаса. — Черти бывают только в сказках... И хотя они ужас какие злющие и дядя Йонис говорит: похожи на козлов, мы их ни капельки... ведь то, что в сказках, в жизни — никогда...

— Многое бывает только в сказках, Юта, — вздохнула Мета. — И никогда в жизни. Пошли.

Она повернулась, взяла сестренку за руку, подтолкнула к выходу; Марго, вытирая руки о передник, побежала за ними.

— Вот жалость, — возвратившись, она бросила Ауримасу укоризненный взгляд; на Гарункштиса Марго старалась не глядеть. — Потанцевали бы еще немножко. Я приберегла напоследок новые пластинки. И эту, знаешь, теперь очень модную: "Догони!" Не слыхал? Но раз уж ты понятия не имеешь, растолкую: я бы, Ауримас, на твоем месте не отпустила их одних...

— Но Мета же сама... И так неожиданно...

— Вот бы и ты — неожиданно, а? Кто тебе запрещает — неожиданно? Для женщины, имей в виду, такие неожиданности...

Она тихонько прыснула, подпрыгнула и дернула его за уши, за оба уха сразу, потрепала, засмеялась и, загадочно прищурившись, в упор уставилась на его смущенное лицо.

XXXIV

— Послушай, а ведь я тебя искал, — сказал я, когда недели через две провожал Мету домой от Марго; в прошлый раз впопыхах она оставила конспекты, а рассеянная Маргарита так и не собралась отнести их; снова выдался славный денек, суббота, просеялся мелкий, слабосильный январский снежок, едва прикрыв рыхлой марлей черную, смерзшуюся почву; под ногами похрустывало. Мы шли мимо домов, мимо деревьев, по этому парку, по снегу — и ничего нам больше не надо; все мало-мальски ценное, что существует на свете, было при нас, и все, на что падал наш взгляд, что было доступно нашему слуху, — принадлежало только нам

с Метой. К чему тут слова — бесцветные звуки. Они лишь мешают внимать тому безмолвию, которое, колыхаясь, ниспадает с деревьев вместе с воздушными, насквозь прозрачными хлопьями снега; к чему они — если Мета со мной? Я смотрел на нее — как на изумительную находку, на которую набрел невзначай, нимало не подозревая, какой она окажется прекрасной и как будет нужна мне; как на некое чудо земное, упавшее с неба; мне не нужны были слова; я их боялся. Мы с ней все еще не поговорили — по душам, как принято выражаться и как якобы беседуют люди в подобной ситуации; мне все казалось: стоит спросить у Меты, почему она идет рядом со мной, — и конец очарованию этого дня: перестанет хрустеть наст под ногами, не будут слетать снежные кружева, дохнет в лицо горьким дымом из труб; и я боялся спрашивать. Я лишь любовался, восхищался ею — Метой, которую встретил на своем пути, восторгался тайно, исподтишка, поглядывая украдкой, когда она, как мне представлялось, не замечала того, и я чувствовал, как в моем сердце поют избитые, но на удивление нужные мне слова; она здесь, и мне этого достаточно. И ей, думаю, и Мете, с лихвой хватало того, что у нас было, потому что и она, по-моему, боялась тех слов, что скапливались в груди: что же дальше? Этот вопрос и сжигал, и мучил; об этом я боялся спрашивать даже себя самого, не говоря уже о Мете; мы жили, как мотыльки-однодневки, веселые и пестрые, но такие хрупкие, не ведающие, каким будет их день — хлынет ли дождь, ударит ли град; важно, что утро, пробудившее их для игры и жизни, ясно и ласково, что оно звенит невыразимой песней юности; итак, шире крылья! Мы реем друг подле друга (по крайней мере, так казалось мне) самозабвенно, не глядя, не думая, что вслед за утром явится и вечер, что придется сложить крылья, а чего доброго, и вовсе... Нет, нет, нет! Мы станем парить под этим лазурным небосводом: двое неразлучных мотыльков, будем летать, пока окончательно не выбьемся из сил и не захотим опуститься наземь, — тогда нам понадобится приют; где он будет и каков — там видно будет! Разве важно поднебесному страннику, на какой ветке прикорнуть? Разве спросишь у ветра, где его дом? А нас словно и мчал ветер — тот же, что кружил по парку снежинки, нес их по парку, по аллее Видунаса, мимо людей и мимо деревьев, через заснеженный, непривычно затихший стадион, покачивал легонько, вздувал, тормошил, уносил он и нас, да все дальше от дома; куда унесет, туда унесет; об этом мы

не думали. А может, и думали, не ручаюсь, но только боялись говорить, как и обо всем, что нам еще предстояло; во всяком случае, мне куда легче было говорить о прошлом; я сказал:

— Знаешь, ведь я тебя искал, — и снова, как в тот раз, в парке, пожал ее пальцы. — По всему городу, всюду...

Мета как будто не сразу расслышала, что именно я сказал ей, и, по-прежнему держа свою руку в моей, рассеянно улыбнулась:

— Меня?

— По всему городу... когда вернулся из России...

— Из России?

— Именно. После войны.

Она чуть помолчала.

— А почему... по всему городу?

— У меня было для тебя письмо.

— Письмо? От кого?

— От одного старого знакомого. От Даубараса.

— А... — она отняла руку. — Ну, зачем ты про это...

Мне показалось, голос ее дрожал.

— Что ты, Мета? — спросил я. — Прости меня. Я не должен был говорить. Но...

— Но?.. — повторила она.

— Он бы и сам мог разыскать тебя, если бы захотел! — непроизвольно вырвалось у меня. — К чему письма? Ты же знаешь, Даубарас жив-здоров. Я даже удостоился чести присутствовать на его свадьбе с некой Евой.

— Меня это не интересует, Ауримас... — она брезгливо отмахнулась. — Нисколько.

— Правда?

— Как только начинают рассказывать о свадьбах, мне почему-то сразу мерещится развод.

— Совершенно верно, Мета. Расстались они очень скоро... Сразу после того, как...

— Ах не надо, умоляю! — она замахала руками и отстранилась от меня. — Зачем ты все это ворошишь, Ауримас? Теперь, когда...

Я закусил губу и оторопело заморгал глазами: где мы? — в Дубовой роще; вдруг подумалось: слишком громко разговариваем; сделалось жаль безмолвия, только что окружавшего нас; наверное, нам и дальше следовало идти, по-детски взявшись за руки, и молчать — так сберегаются сны; виноват был, конечно, я и только я.

— Не сердись, ладно? — я снова подал голос. — Прос-

то вспомнил, как я искал тебя... Вайсвидайте... Не нашел... А в прежний ваш дом, сам не знаю почему, не заглянул.

— И правильно сделал, — оживилась она и словно даже обрадовалась: разговор, хотя и погромыхивал, будто старая телега, но все же удалялся от Даубараса и его женитьбы; ясно, что затрагивать эту тему ей вовсе не хотелось. — Я и не жила там.

— А где же? Впрочем... вдруг это тайна?

— Отнюдь... В другом месте.

— В другом?

— Конечно. Правда, я могла вернуться... после того, как Агне...

— Но ведь пришли немцы, — я уже не мог остановиться; знал, как неуместны мои вопросы при нашем долгожданном как-никак свидании, да и попросту это было бестактно, — а умолчать не мог, сам мучился и ее донимал, прямо как прокурор Раудис; будто не зная всей подноготной, я и шагу ступить не смогу дальше. — Уж они-то, полагаю, могли разобраться в такой истории...

— Какой истории?

— Но ведь твою мачеху советские органы... как ярую пособницу...

— Ну, знаешь! — она поджала губы. — Агне! Что им Агне, немцам-то! Ведь я ходила с красным комиссаром... ведь они про Казиса наверняка... а это... Словом, там я не жила.

— А с кем ты жила? — спросил я, хотя больше всего на свете боялся, как бы она не сказала правды. Все время — даже сам того не желая, даже избегая признаться самому себе — я думал о нем, о том третьем (Грикштас как бы выпадал из игры), о котором мне в тот раз напомнила Розмари; но, может быть, это...

— С Паулюсом. Слыхал такого? С Жебрисом.

О нет, она не отпиралась; она даже подчеркнула: с Ж е б р и с о м, будто в этом заключалось нечто выдающееся; может, и не стоило делать упора на этом неудобопроизносимом сочетании: с Ж е б р и с о м; хватит с меня и того, что Розмари... Я сорвался.

— А ты знаешь, — я резко повернулся к ней лицом; глаза у меня моргали и слезились, хотя я изо всех сил старался сохранять спокойствие, — ты знаешь, что он в гестапо... выдал всех... знаешь?

— Йонис говорил, — кивнула она. — А раньше... — она пожала плечами.

— А раньше ты с ним...

— Он был такой неприкаянный, Аурис.

— Неприкаянный?

— Вроде тебя... а потом...

— Вроде меня?

— Да нет же, нет... я не сравниваю! Я... Но ты ведь знаешь...

Мне показалось, она глотает слова, давится ими — до такой степени ей хотелось поскорее разделаться с этой темой, но я уже не владел собой; то же самое предвечернее безмолвие, о котором я только что сокрушался, возмутив его, теперь угнетало, душило; я схватил ее за руку.

— Скажи мне все, — с трудом вымолвил я. — Сейчас же скажи, не то...

Что ж, мальчик — вспомнил я; бакенбарды, заостренный, хоть и некрупный нос, лицо угловатое, будто наспех вытесанное из дерева, властно выдающийся вперед раздвоенный подбородок; рабфак, светлое грядущее нации; он — неприкаянный? — Предатели всегда неприкаянные, все эти перебежчики, трусы... Что ж, мальчик — и у него тогда сверкнул зуб — тот, золотой зуб... А потом мой поход к прокурору — он застрял у меня в памяти, точно кость в горле — ни проглотить, ни выплюнуть; я подавился Жебрисом; недаром эта словоохотливая Розмари...

— Все? — переспросила Мета. — Я и так тебе все сказала. Что еще? Разве добавить, что Паулюса я знала и до войны... Он наш сосед... помнишь — белый дом за забором... студент-архитектор...

— Увы, — ответил я желчно, — не имел чести... до войны со мной никто... из всяких там белых домов...

— Тебя же интересовали только стоики и Маркс, — улыбнулась она. — Этакий марксист в штанишках на помочах...

— Насчет штанишек я бы попросил вас...

— Да, пожалуй, еще голуби, от которых мы, честно говоря, не чаяли избавиться...

— Ну, а все-таки?

— Что — "все-таки"? Просто помогла человеку... после тюрьмы...

— После тюрьмы?

— Вот именно... его выпустили...

— Ага... А он... Жебрис?..

— Что — он? Ауримас, я не очень-то понимаю, к чему ты завел этот разговор...

— К чему? А он-то тебе помог? Хоть сколько-нибудь?

— Он? — Мета невольно поднесла руку ко лбу, будто силилась что-то вспомнить, а может, попросту откинуть упавшие на лоб волосы; мне показалось, она прячет глаза. — Он? Какой ты странный, Аурис. Ты же видишь — его нет.

— Уж не потому ли, что время другое... и ты опять...

— Какой ты все-таки наивный, Аурис! — Мета вздохнула и опустила руку. — Дурачок, право... — она улыбнулась. — Потому что тогда не было тебя. Доволен? Потому что ты был в лесах. Или в степях. И там, под Орлом... Это тебя устраивает? Тебя устроило бы, если бы я ответила так?

— Думаю, это было бы нечестно. До войны ты никогда...

— До войны?

— Конечно... ты никогда в мою сторону...

— О! Да ты как будто обижен! — она робко засмеялась. — А по какому праву? И какое это может иметь для нас значение — то, что было? Сейчас? — Она протянула ко мне руку; ладонь была податливая, теплая и уютная. — Сегодня? Какое?

— Выходит, может, — со вздохом произнес я, но руку не отпустил; мы снова, по-ребячьи держась за руки, побрели по утоптанной скрипучей дорожке среди дубов.

И правда: какая разница, думал я, постепенно снова погружаясь в то празднично-мирное безмолвие, которое витало над нами с самого начала; возможно, оно было обманчивым, зыбким, не скажу, но оно было мне нужнее, чем это неожиданное дознание, которое грозило разгореться пожаром; я не хотел спорить! Я боялся потерять этот вечер, которого так долго ждал — быть может, с самого детства, потерять эту руку, от которой исходило такое животворное тепло, эту вновь показавшуюся на лице Меты улыбку, печальную улыбку, эти русые волосы, которые просвечивали сквозь снег, словно сквозь вуаль; я боялся! Какое это имеет значение, раздумывал я, при чем тут какой-то Жебрис, ведь я люблю Мету, я любил ее давно, — наверное, всегда, хоть и не смел об этом помыслить, не смел признаться самому себе; я повсюду разыскивал Вайсвидайте — мотылька с голубыми крапчатыми крылышками, с тонкой талией, перетянутой белым кушачком, искал ту, чье лицо темнее волос и все равно белое, гладкое и нежное; искал белейшую птицу; я носил с собой письмо Даубараса, точно залог новой встречи с тобой, Мета (не сердись на меня, Ийя), хотя и чувствовал, что оно жжет мне грудь, прожигает, точно раскаленное докрас-

на железо; но я должен был найти тебя, Мета, потому что ты была нужна мне, ты была и есть. И, может быть, еще будешь. Может такое случиться, потому что... Я всюду искал — и нигде не нашел Вайсвидайте, я не искал Жебрене... я не знал такой, не был с ней знаком, ведь ты... Юту на руки и бегом, верно; но от кого и куда — в Агрыз? Нет, нет, мой друг, — что мне делать там, в Агрызе, я ведь каунасская, никуда из Каунаса... Другая, конечно, другая, хоть и похожая, хоть и судьба у нее могла сложиться точно как у той... Юту на руки и бегом, правда? Недалеко, видно, ты убежала, коль скоро очутилась в объятиях этого Жебриса, впрочем... Передал, ответил я Даубарасу, — так и не отыскав тебя; ну и как, спросил он; ну и никак, ответил я; никак? Ничего она мне не сказала, засмеялась и ничего не сказала; засмеялась? Ты слышишь, Ева, — она, Мета, посмеялась надо мной; тоже мне нашла над кем смеяться...

Я тряхнул головой, будто наяву расслышал голос Даубараса, и огляделся. Мы шли все по той же Дубовой роще, только по другой ее окраине, близ туннеля, который зиял где-то внизу и в ночи, обозначенный всего несколькими тускло посвечивающими лампочками; там гремел поезд. Но виднелся лишь локомотив со светлым провалом тендера и желтыми, точно подсолнухи, огнями; порой из-под вагонных колес взметались искры. Это был простой пассажирский, он только что вынырнул из туннеля, и оттого еще не осветились его окна; захотелось быть там. Сам не знаю, почему вдруг захотелось оказаться там, за темными окнами, я вполне отчетливо вообразил себя сидящим у окна и как я гляжу на гору за окном и вдруг замечаю высоко, среди дубов, два зыбких силуэта — двоих заблудших в ночи; а вдруг мне лишь померещилось — что там двое, вдруг просто мелькнуло в глазах — поезда катят быстро. По рельсам, в четком направлении. Не то что мы. Я. Или Мета — Мета — Мета — —

— Послушай, — вдруг сказала она, словно почувствовав, что мои мысли ускользают куда-то прочь от нее, и возвращая меня снова туда, где мы с ней стояли, — в рощу на горе; поезд, подавая гудки, медленно подползал к станции. — А где оно... это письмо?

— Понадобилось? — я выпустил ее руку; я уже возвратился. — Серьезно?

— Гм, интересно, — ответила она.

— Сейчас... и здесь?.. — изумился я.

— Что в этом особенного? Лучше поздно, чем...

— Нет, Мета, — сплеча отрубил я. — Лучше никогда. Я уничтожил его. Сжег.

Я сказал это и вспомнил, что однажды уже ответил так: Даубарасу, теми же словами; однажды уже солгал; но разве мог я позволить себе такую роскошь — сейчас, когда... В конце концов, я позабыл его, то письмо; оно уже давно не жгло мне грудь и ничуть не беспокоило меня; я упомянул о нем лишь затем, чтобы Мета поняла, с какой стати я разыскивал ее по всему городу; чтобы она поняла и, возможно, оценила мое рвение; чего же ей теперь надо?

— Тогда скажи, — произнесла она, чуть помедлив, — почему ты завел весь этот разговор? Здесь и сейчас?

В ее голосе послышался как бы укор; это мне не понравилось.

— О Даубарасе?

— О письме.

— Потому что надо было сказать... когда-нибудь... — я высыпал эти слова, точно камни в ведро; мне надоело говорить о письме, поскольку это был разговор все о том же Даубарасе; будто больше не о чем говорить... Но и остановиться было непросто. — Мета, ведь я все знаю. И для тебя все это не новость...

— Что именно?

— Что некто Глуоснис все знает. Хотя зачастую и молчит. Хотя его сердце вроде открытой раны... и хотя ты...

— И что же — я? — поразилась она. — Ведь как будто ничего.

— Да, ничего, — согласился я ; спорить с Метой мне, право, было тяжело. — Наша жизнь — нараспашку перед всеми.

— Перед всеми? Ты уверен? Аурис, что ты...

— Во всяком случае, мне хотелось бы, чтобы это было так, Мета.

Она помолчала.

— А может, это не очень-то хорошо, — сказала она потом, — что перед всеми... нараспашку... Не будь она такой распахнутой...

— Что тогда?

— Больше доставалось бы самому человеку. Больше хорошего. И одному ему.

— И тебе, думаешь, было бы легче?

— Мне-то, наверное, нет, — вздохнула она. — Но ему, бедняжке Йонису... О-о! — воскликнула она вдруг. — О-о! — повторила печально. — Я же совсем забыла!..

— Что с тобой, Мета? — спросил я. — О чем ты?..

— Мы ведь уговаривались! На семь!

— С Грикштасом?

— Ну да, с Йонисом... Билеты в оперный. Не забывай, я ведь его жена.

— Постараюсь... Хотя, поверь, это чертовски трудно. Как и то, что ты с этим Жебрисом... или с Даубарасом...

— О-о! Это совсем другое, Аурис... совсем!

— Что — другое? На редкость похоже. Во всяком случае, для меня, олуха. Как две капли воды похоже.

— Ах, Аурис! Если бы ты знал, как давно мы с Йонисом нигде не бывали... сначала его приступы, потом...

— Совесть заговорила? Наконец-то...

— Ты уж не смейся, ладно? Не спеши с этим. Не все стоит высмеивать, Аурис.

— Да я только...

— Ты понятия не имеешь, что это значит, когда такой человек... когда все время какое-то предчувствие...

— Предчувствие?

— Да, да... Другой на его месте бы... давно...

Где-то у нас под ногами, внизу, снова прогромыхал состав.

— Поезд, Мета!

— Что-что?

— Поезд... вон там... Восьмичасовой... Ровно в восемь отбывает...

— О-о!

Она так искренне огорчилась, что у меня сжалось сердце; что я наделал! Виноват опять-таки был я, лишь я один — этакий недопеченный франт, разгуливающий под ручку с чужими женами в парке; этакий сам не знающий, чего хочет, ветрогон; что ей скажет Грикштас? А мне? Неужели я, ни дать ни взять токующий глухарь, не чувствовал, что именно все так и завершится: оба мы куда-нибудь опоздаем и оба будем из-за этого страдать — как напроказившие дети, да не только она, супруга с билетами на оперу в кармане, но заодно и я, ночной дежурный по редакции; "свежий глаз", черт бы меня подрал; наоравшегося за день Бержиниса Грикштас отпустил куда-то в Дзукию, к родным, а я, курсант-холостяк... Приду, явлюсь, куда мне деться... как же... непременно...

Я поежился, словно проглотил что-то очень горькое, и взглянул вниз: там все еще катил поезд. Дон-дон-дон — погромыхивали колеса на стыках; у-у-у... Неужели однажды он спас меня? Поезд всегда был мне другом; он вез меня через всю Россию, вез меня вместе с моей тревогой и сладостной надеждой на будущее, вез

на фронт, а Агрыз... мой добрый друг поезд, не раз выручавший при решении таких мучительных, запутанных задач... Ийя — с Алибеком... Ийя — с Алибеком... А Ева с Даубарасом... А я... Я схватил Мету за руки и привлек к себе.

— Мета, — проговорил я, едва ли не задыхаясь. — Бежим отсюда, Мета... сейчас же!

Она, кажется, не сразу поняла, о чем я, а возможно, все еще думала о Грикштасе, о непростительной нашей забывчивости и о том, что будет дальше.

— Мы? — удивленно переспросила она, точно эхо. — Отсюда? А куда?

— Куда угодно. Хоть на край света.

— На край света? Ауримас, ты... — она задрожала всем телом. — Что ты там найдешь, на краю света? Милый мой младенец! Уж если нам с тобой суждено...

— Никуда из Каунаса, да? — выкрикнул я, вспомнив что-то былое, ах, я прекрасно знал, что именно! — Пусть хоть бомбы, пожары...

— Я каунасская, Аурис. Или это тебе ничего не говорит? Совсем ничего?

— Неужели ты думаешь, что так жить...

— Я вижу, вижу, но... Живут же люди! Ведь у всех, Ауримас, есть свой крест, и как-никак...

— То "люди"... но я... то есть мы... Ты подумала, как жить нам? Ну, дальше... в этом городе, где...

— Как всем. Будем жить как все люди, Аурис.

— Как Даубарас? — я впился в нее глазами; у меня из головы не шел он — вновь распластавший над нами свои черные крылья орел, столь неожиданный для меня интерес Меты к его письму; Жебрис в данный момент беспокоил меня куда меньше. — Неужели как Даубарас?

— Почему — как Даубарас? — она резко отпрянула и поправила волосы; я почувствовал пряный аромат. — Он в Вильнюсе, Аурис.

— Для меня он везде.

— Необязательно, как Даубарас, слышишь. Можно и как Грикштас. Как Йонис.

— Как Йонис?

— Да... Он порядочный... Даже слишком порядочный, бедненький мой Йонис.

— Как Йонис? — криком выкрикнул я; кровь бросилась мне в лицо, я успел это заметить. — А если я не хочу, как Йонис, а?.. Обманутый, одураченный... никогда!

Я словно физически почувствовал себя в шкуре Грикштаса, мне стало мерзко; это было чересчур...

— Нет, нет! Нет!

— Ох, дурачок ты мой желторотый, — она вздохнула и прислонилась спиной к дереву, близ которого мы стояли; почти задыхаясь, я ощущал ее пьянящую близость. — Милый ты мой дурачок, — она тронула меня рукой; легко, точно тень. — Разве мы кого-нибудь обманываем? Может, только самих себя... — Ее голос теперь был совсем тих. — Ты подумай. Сам видишь, какой он... он все знает и...

— Знает? — воскликнул я.

— Испугался?

— Ну, ты могла бы понять... мы ведь даже как будто... еще...

— Нет, нет! — она замотала головой. — Не то, глупыш. Знает о себе. О том, что умрет. И, может, скоро, потому что врачи... говорят, еще один приступ — и конец...

— Врачи?

Ах нет, не то — я почувствовал облегчение; Йонис знает не то, что мы с Метой, он даже, может, совсем... И вдруг я осознал весь ужас этого разговора, всю бездну, стоящую за ним.

"Сволочь я... какая же я сволочь, люди добрые... о чем я думаю... что делаю..."

— Слушай... а ты? — пробормотал я, радуясь, что темно и Мета не видит моего лица. — А ты, как это перенесешь?

— Я? — она вздохнула. — Я привычная, Ауримас.

— Привычная?

— Тяжело, но приходится...

— Не пойму, — я пожал плечами — Ты уж меня прости, но что-то я никак не пойму, что ты имеешь в виду, Мета.

— К сожалению, здесь и понимать нечего... Просто, Аурис, я родилась под такой звездой... под которой суждено расставаться и расставаться. Под такой уж звездой, Аурис...

— Но, Мета...

— Да, да, это так... Так!

Вдруг она привстала на цыпочки, сжала ладонями мои горящие щеки и поцеловала в лоб. Это было странно и неожиданно — меня в лоб; так, Аурис, так; не в губы, а в лоб, в самом деле, точно маленького; обдало близостью женщины, дохнуло домом; я вскинулся, как выхваченный из воды сом, и простер руки, словно желая поймать дыхание Меты, ее поцелуй, который точ-

но жаркая искра обжег мне лоб; Мета повернулась и быстро убежала по дорожке.

Она исчезла, а я все стоял, глядя на вспыхивающие во тьме красные глазки туннеля, и думал обо всем этом — столь кратком и в то же время столь тягуче длинном дне, о Мете, о себе, Грикштасе, — и чувствовал себя так, словно кого-то предал, безвинно осудил или выдал, — так, быть может, чувствовал себя Жебрис, выпущенный из тюрьмы и пригретый дочерью профессора Вайсвидаса; или Даубарас — тогда, за неделю до войны; но то были Жебрис и Даубарас, а я... Йонис Грикштас, по-моему, тоже думал, что я не такой...

XXXV

И все же я попытался взглянуть на себя со стороны, и насколько можно беспристрастней, хотя это и было трудно, если не сказать — невозможно; я постарался и увидел долговязого взлохмаченного паренька с лихорадочно горящими глазами, слегка покрасневшим от мороза носом, насупленными бровями, сутулого, в потертом сером пальто со стоячим воротником; над правым ухом под прядью волос притаился шрам — еще один орловский подарочек; паренек стремительно летел по улице, хотя я подозревал, что подгоняют его не столько дела, которых, работаешь ты или учишься, все равно уйма, — сколько мысли, бурлящие в голове, точно молодое пиво; широкие брюки мели, загребали снег, а уж его февраль в этом году не пожалел, надо отдать ему должное. Такого юношу я уже где-то видел — не то в книге, не то на экране; возможно, это был юный Мартин Иден, направляющийся из порта через Окленд в дом Морзов в Сан-Франциско, а то и кто-нибудь другой; никого определенного я не вспомнил и не мог бы, пожалуй, вспомнить, поскольку юноша этот был чем-то похож на других, а чем-то сильно отличался; из-за этого, впрочем, не стоило морочить себе голову; я шел рядом, легкий и невидимый, и наблюдал за ним, изо всех сил стараясь не сливаться с этим пареньком и не раствориться в нем полностью; мне во что бы то ни стало требовалось узнать, какие мысли бродят в его голове с широким обветренным лбом, над которым нависли густые, припорошенные снегом волосы (снова сеялся мелкий снежок); он шел выпятив грудь, словно нес за пазухой мяч; на самом деле там находились сложенные пополам тетрадки и газета, только что купленная в

киоске; в кармане шуршала заметка о состоявшемся недавно комсомольском собрании университета; Ауримас Глуоснис направлялся в редакцию.

Он шел, как бы ни о чем не задумываясь, хотя я знал, что некая общая участь уже связывает их обоих — Грикштаса и Глуосниса, на которого я старался смотреть со стороны и за шагами которого я следил с тем критическим любопытством, которое давно стало свойственным мне и словно было призвано уравновесить не всегда осознаваемое умом легкомыслие того, другого Ауримаса; в противоположность тому я не умел так быстро все забывать и прощать и накапливал весь опыт в себе — точно в глубоком мешке, порывшись в котором можно найти и то и се — всякую всячину, о которой как будто и позабыл и даже вспоминать не хотел; да разве все позабудешь... Я все еще словно не жил — хотя и шагал по улицам, сидел на лекциях, ел, разговаривал с товарищами, хотя и следовал по тем же местам, что и он, другой Ауримас; где-то и когда-то меня вышвырнуло (я выпал сам) за тот предел, к которому я постоянно стремился, и теперь я ползал по самому его краю, балансируя и покачиваясь, как в цирке — то в одну сторону, то в другую; и как отчаянный цирковой акробат я был полностью безразличен к тому, что случится со мной сегодня или завтра; то, что уже произошло, представлялось мне роковым и непоправимым, — хотя прежний Глуоснис, за которым я теперь следил, возможно, считал иначе; jedem das Seine.

Итак, я следил за самим собой — за тем Глуоснисом, который, сунув в карман только что сотворенную корреспонденцию, направлялся в редакцию и на лестнице столкнулся со своим редактором Грикштасом; о, как это приятно; по-моему, они оба растерялись, несмотря на все старания обоих скрыть это; я на всякий случай отступил в тень; что-то будет? Я знал, кого ждал Грикштас в тот субботний вечер у себя в кабинете, нервно постукивая карандашом по столу; несколько раз он звонил домой в надежде услышать голос Меты, но сразу же осторожно клал трубку на рычаг, словно боясь кого-то спугнуть, — и даже не спрашивал, приходила ли она после лекций; отвечала ему домработница Морта или Юта — до того тонким голоском, что жалость разбирала; не показывался и Глуоснис. Вечер был испорчен — и не только потому, что не пришла Мета, а еще и оттого, что он не знал, что с ней; и ведь так хотелось побыть среди людей, в театре, кино или еще где-нибудь, в людном месте, но лишь бы с ней, Метой; непременно

с ней, как будто от этого одного вечера зависела вся дальнейшая судьба обоих; болезнь (тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо) как будто пошла на мировую, и вот уже целая неделя...

Словно только сейчас ощутил Грикштас, как сильна его любовь и как нужна ему Мета, — сейчас, в нескончаемый субботний вечер, томясь в пустой, всеми покинутой до понедельника редакции, — за большим, заваленным писаниной столом; вдруг зазвонил телефон. Он раздирал тишину — как взмах далекой, но властной руки, наполнивший весь кабинет не видимым глазу трепетом; Грикштас окаменел. Я видел, как дрогнула его рука, когда он потянулся к трубке; это должна была быть она.

Но звонила не Мета — я понял это по лицу, едва лишь Грикштас услышал голос; кто, кто? — спрашивал он, прикрыв другое ухо ладонью, словно удерживая слова; Глуоснис? Какой Глуоснис, простите; как какой — Ауримас, твой протеже, мальчик (что ж, мальчик); скажешь, незнаком... не знаком?.. Отчего же — знаком... но по телефону... да еще об этом... Это уж как угодно, мой дорогой (что ж, мальчик); я только счел своим джентльменским долгом... из соображений вполне понятной мужской солидарности... Но, позвольте, с кем я говорю? Дело в том, что с анонимами я... Ах, мой дорогой! С кем говоришь, тот знает, что говорит и кому! И потом, не все ли тебе равно? Если есть машина — подскочи на улицу Вайжгантаса, в самый конец... А не найдете двоих голубчиков в роще — можете распатронить меня самыми последними словами... я еще звякну... Подите вы к черту, уважаемый! — крикнул Грикштас и швырнул трубку на стол; пи-и, пи-и, — донеслось оттуда; пи-и...

Не знаю, что думал в тот миг он, Грикштас, так как я был всецело поглощен тем, другим Глуоснисом и Метой, но полагаю, что мысли его были не из самых радостных; он проглотил несколько таблеток, запил их водой, торопливо налив ее из графина, и стиснув зубы сел читать верстку, которую ему принес метранпаж Добилас; и читал почему-то вслух, чуть ли не выкрикивал отдельные места; может, он хотел заглушить назойливое мяуканье трубки, кинутой в ворох бумаг, — хотя куда проще было бы положить трубку на рычаг; я старался не смотреть на него.

Но сегодня я уже весь был тут и думал, что же, в конце концов, произойдет? Ведь я все знал и все видел — и Мету с Глуоснисом на обрыве у дуба, и кравше-

гося за ними по всему парку, словно лиса, Жебриса, видел и его — закусившего губу, бледного до синевы Грикштаса, и тоску возвратившейся со свидания, по-детски уткнувшейся в подушку Меты; мне было жаль ее. До того жаль, что захотелось подойти и погладить ее светлые волнистые волосы, которые так живописно рассыпались по хрупким покатым плечам, словно созданным для нежной ласки, вздрагивающим под тонким шелком халата; но я знал, что не могу этого сделать, ведь я был далеко, рядом с тем, иным Ауримасом, который по тем же тропкам Дубовой рощи, точно преступник, понурив голову, не глядя по сторонам, плелся домой; и он, как и Мета, не раздеваясь бросился на диван и стиснул ладонями раздираемые сверлящей болью виски; и чувство у него было такое, словно он кого-то невинно осудил, предал, выдал, — а я понятия не имел, как ему помочь, потому что прекрасно понимал, что так оно и есть; что же теперь будет?

Но ничего не произошло; по крайней мере, мне так показалось; ничегошеньки; впрочем, и я мог ошибиться; Грикштас, уже направляющийся вверх по лестнице, увидел Глуосниса, остановился и снова отворил дверь в коридор, откуда только что вышел; раздавались голоса, стучали машинки; Глуоснис учтиво кивнул и пропустил Грикштаса вперед...

Воспитание! Вежливость! — подумал я, прошмыгивая вперед, мимо обоих мужчин, которые тем временем точно два лорда кланялись друг другу; ну, мы еще увидим...

— Пожалуйста, пожалуйста! — настаивал Грикштас, подталкивая Ауримаса к двери; в голосе редактора, к моему величайшему удивлению, не было ни гнева, ни раздражения. — Кажется... ко мне?

— Угадали.

— Я волшебник, Ауримас. Читаю по глазам.

— К вам, — произнес Ауримас, избегая встретиться глазами с Грикштасом. — И совершенно официально.

— Официально?

— Да. По делу.

— Что ж, если настолько официально, — Грикштас подчеркнуто торжественно простер руку по направлению к кабинету — РЕДАКТОР.

— А если нет?

— Тогда заходи запросто.

Грикштас взял Ауримаса за локоть и увел в кабинет. Он ничуть не выглядел обозленным или чем-либо взволнованным, этот чернявый, скрюченный редактор,

и отношение его слегка успокоило Ауримаса, хотя я знал, какой ценой давалось ему это показное спокойствие; оба сели.

— Ну? — Грикштас сверкнул глазами.

— Увольняюсь, товарищ редактор.

— Увольняешься? Только поступив?

— Хочу всерьез заняться учебой.

Сказал — и сам удивился, до чего все это просто, хочу всерьез заняться учебой... Неужели позабыл, как обрадовался, узнав, что получит работу в редакции, не говоря уже о комнате у Вимбутасов; это был спасательный круг, брошенный ему как раз в тот миг, когда кругом не видно было ни щепочки, ни соломинки, за которую можно было бы ухватиться; Грикштасы уговорились тогда ему помочь. Почему? За что? Т о г д а, в д о ж д ь...

— И что же тебе мешает всерьез заняться науками сейчас? — Грикштас поднял брови; глаза блеснули ледком. — Работая у нас?

"У нас с Метой", — послышалось мне.

— Я не хочу здесь работать.

— Не хочешь? Как это — не хочешь?

— Трудно объяснить. Не хочу, и все.

"Браво!"

— Все? Не хочешь — и все?.. — Грикштас взял свой красный карандаш (кто в редакции его не знал!) и постучал по столу. — Ты слышишь, Мета, он не хочет работать... Мета, ты...

Только сейчас я заметил ее — она что-то искала в шкафу, в самом углу; был там и низенький столик с какой-то веточкой в стакане, и занавеска, и небольшая, задвинутая в нишу четырехугольная кушетка, с целой горой книг на ней — их Мета, видимо, отобрала; итак, я увидел Мету и присмотрелся к тому, другому, своему Ауримасу; я ведь знал, что он видел там, недалеко от кладбища, и почему таким смущенным, подавленным шел он тогда по улице Траку, бросив Грикштаса на парапете; понял, и отчего так внезапно родилась та песня, которая сейчас вновь — неисповедимы пути господни — пчелой зажужжала в ушах; я видел их с Метой и возле дуба — по-детски взявшихся за руки и глядящих друг другу в глаза; бежим отсюда, Мета...

И действительно Ауримас бежал бы из этого кабинета, если бы только мог, тем более что самое главное, о чем он думал после того объяснения с Метой, было уже сказано: не хочу работать у вас... Не хочу видеть Мету, — мог бы он добавить, хотя тогда, возвратившись

домой, он вновь видел ее в своих грезах; ее и Грикштаса, объяснение по поводу театра; мысленно он видел их обоих — с того самого раза близ кладбища; а возможно, еще и Даубараса, не ручаюсь; а чего доброго еще и некого Глуосниса, стоика; нет, нет, только Мету, ее, встреченную в доме Грикштаса, — с трепетной свечкой в руке, в зеленом, почти прозрачном шелковом халате, со светлыми и дурманящими, как фимиам, волосами Ийи, ее, подобравшую с пола упавшее одеяло: она видела меня голым; и какую-то другую, выплывшую сквозь желтоватую дымку времени из прошлого, перепуганную, оцепеневшую, с голубой лентой в волосах, выпятившую вперед, точно щит, свои белые ладони; нет, нет, я сама... Сама? Ты, барышня, сама?

И сейчас — сама? — заблестели его глаза, заблестели и, видимо, выдали, ибо Грикштас (я уловил, уловил) застучал карандашом быстрее, точно прогоняя мысли; Ауримас вовсе не рассчитывал встретить ее здесь, хотя в глубине души (не скрою) мечтал об этом; мечтал и злился сам на себя за свою двойную слабость, которая опутывала его невидимыми нитями, липкими, как паутина, и тянула куда-то вдаль, откуда трудно возвратиться; он мечтал и робел, ибо совсем не знал, как следует себя вести и как посмотреть Мете в глаза; о, если бы только Мете!.. Но здесь был Грикштас, хромоногий редактор, облагодетельствовавший его; ты слышишь, Мета, — он не хочет работать...

Вдруг Мета обернулась, будто лишь сейчас почувствовала присутствие Ауримаса, и я увидел в ее глазах тот же вопрос, который ошеломил меня раньше, — когда тот Ауримас сообщил, что искал ее по всему городу; и чего ему надо, казалось, вопрошали эти глаза, знает ли это он сам? Бежим, Мета, сейчас же, — вспомнил я и почему-то жалостно улыбнулся; а куда; куда угодно; хоть на край света... Ума не приложу, как у меня вырвались именно эти слова — точно звуковой аккомпанемент, сопровождение этой перестрелки взглядами, которая состоялась только что; хромоногий Грикштас, по-прежнему — хотя уже гораздо медленней — постукивающий по столу карандашом, был как бы секундантом этой безмолвной дуэли; я чувствовал, как помимо своего желания весь я словно окунаюсь в сосущую, неведомую до сих пор точку, пропитываюсь ее тяжестью и вязну; я опять глянул на Мету. Успел подсмотреть, как по ее глазам скользнула быстрая, не заметная для других тень и как — тоже едва заметно —

дрогнули уголки ее рта, — точно их задел ветерок или пушинка; да, Мета взглянула на Ауримаса и снова быстро опустила глаза, сосредоточенно изучая книги, которые она доставала из шкафа; возглас Грикштаса она словно пропустила мимо ушей; редактор вздохнул.

— Ауримас Глуоснис не желает работать в редакции, — медленно покачал головой Грикштас. — Чем же в таком случае он желает заняться?

— Чем-нибудь. — Ауримас снова бросил взгляд на Мету; ему не хотелось, чтобы она слышала этот разговор, несмотря на то что все самое главное Мета уже слышала; Грикштас почему-то покраснел. Это было для меня так непривычно — видеть, как краснеет Грикштас, ведь я всегда видел его землисто-серым, иногда бледным, даже голубоватым; и тут меня осенило: Грикштас в с е з н а е т. Он знает больше, чем я думаю, только не хочет об этом говорить — с тем, совершенно другим Ауримасом, которого до сих пор не знал; с тем, который Мету...

Грикштас покраснел еще гуще.

— Там еще один шкаф, Метушка, — кивнул он на раздвижную стеклянную дверь, за которой помещался Бержинис; в данный момент там было пусто. — По-моему, исторических книг там больше...

Мета улыбнулась и вышла, оставив тонкий запах духов; проплыла плавно, точно лебедь, я заметил, как, проходя мимо, она чуть вскинула свои белокурые, пронизанные туманом волосы — —

И вот они сидят лицом к лицу: двое мужчин, которые знали Мету; полагаю, они считали, что имеют на нее кое-какие права... То, что они знакомы и, возможно, даже дружны, — угнетало их обоих и вынуждало искать слова, которые бы не вернули к ним снова Мету (в комнате еще дрожал ее пряный аромат) ; оба молчали.

— И куда же? — Грикштас нарушил неловкое, никому не нужное молчание. — Обратно на Крантялис, что ли? К бабушке? Кто-то мне о ней рассказывал...

— Займусь переводами, — пробормотал Ауримас.

— Переводами? Много ты их получал до сих пор?

— Я не обращался... но теперь...

— А учеба? Ты ведь сказал, что самое главное...

— Да, сказал! — Ауримас глядел куда-то в угол. — Сказал и еще скажу: устроюсь. Но покамест... Какой от меня вам прок: неделями не бываю... А приду — больше думаю о завтрашних уроках, чем...

— Нет, на работу твою я не жалуюсь... — Грикштас

смотрел на него в упор. — Не в один день и Москва строилась. И не в два... А редакция, Ауримас, всегда была таким местом, где писатели... и начинающие свой путь, и завершающие его...

— Писатели? Какие? — воскликнул Ауримас; он и сам был не рад своему выкрику — до того это вышло жалко, потерянно, — словно там, внутри него, прятался некий совершенно чуждый человек, весь растерзанный, словно рана, кровавый, издерганный, готовый лишь царапаться и драться. — Представьте себе: меня это не интересует. Давно и напрочь... Не стоит и говорить об этом... Давайте лучше о чем-нибудь другом...

— О чем же? — спросил Грикштас; его голос был тише обычного.

— Да о чем хотите. Я свое сказал, а вы...

— Я еще нет, — Грикштас мотнул головой и блеснул глазами — студеными ледышками. — Я тебе еще ничего не сказал, Ауримас. И прости меня, неученого: почему это разговор по существу... для тебя всегда...

— О чем — по существу?

— О литературе... почему он всегда для тебя...

— А, могу ответить... Потому что все это сказки.

— То есть?

— Сказки братьев Гримм.

— А поточнее?

— Могу и поточнее. Один практичный человек мне посоветовал: не каждый встречный-поперечный может...

— Шапкус?

— Еще раньше... когда еще я... когда вы меня...

— Трудно угадать...

— Зачем! Зачем гадать, товарищ редактор: все тот же Даубарас... представитель товарищ Даубарас, который...

— Даубарас? — Грикштас так и застыл, словно в кабинет, не постучавшись, ни с того ни с сего вошел еще один, никем не приглашенный человек, ворвался в пальто и шляпе и швырнул с размаху на стол свой желтый портфель, да так и перебил их беседу с глазу на глаз, — еще один разъяренный человек; застыл, а потом зачем-то глянул на стеклянную дверь, за которой могла бы стоять Мета; может, он даже обрадовался, увидав Даубараса — пусть даже мысленно — между собой и Ауримасом, — увидав того посреди комнаты, свысока поглядывающим на них обоих, трудно сказать; краска с его лица сошла, и щеки снова медленно обретали свой привычный землисто-серый оттенок, поползли мелкие морщинки.

— Вы считаете: он не мог так сказать?

— Вовсе нет, — Грикштас пожал плечами. — Ведь он сказал — значит, мог.

— Вот видите. У всех у нас, наверное, есть своя сказка, и каждому его сказка представляется безумно красивой. Но сказки, знаете ли, вещь коварная. Даже самые распрекрасные, они имеют конец. В этом и коварство, а те, самые прекрасные, быстрее всего и кончаются... Вот и моя сказочка кончилась, товарищ Грикштас, и вы знаете, когда... И по-моему, об этом...

— Нет, нет! Что вы! — Грикштас вдруг воздел руку и потряс своим редакторским карандашом. — Погоди! — воскликнул он опять; голос дрожал, срывался. Он сильно разгневался, этот землисто-серый человек с деревяшкой вместо ноги, я видел это; быстро-быстро заморгал он глазами. — Не смей так говорить, хотя бы здесь. Мне... Не смей!

— А как прикажете?

— Вот как: покуда жив человек, с него никогда не будет достаточно ни работы, ни надежд и чаяний... ни...

— Ни сказок?

— Конечно. Если они нужны человеку... если...

— Если не брошены в... в помойку...

— Молчи... ты!.. — Грикштас весь затрясся и стукнул кулаком по столу — вышло довольно внушительно; прокатилось гулкое эхо. — Тоже мне выискался! Один раз намочил штаны и полагает, будто все на свете познал! Больно много мнишь о себе, сопляк!

Это он хватил, право слово, это уже попахивало местью за ту субботу — ясно; это уже ни в какие ворота...

— Однако, товарищи мужчины, — в дверях неожиданно выросла Мета — меж раздвижными стеклянными створками; она смерила нас взглядом, точно мы были двое случайно забредших в кабинет и затеявших потасовку хулиганов с Крантялиса, — но и голос ее здесь был чужим, как и внезапная вспышка гнева у Грикштаса — я видел, он уже сожалел об этом. — Уважаемые, а что, если немножечко потише?.. Ведь поймите сами... здесь...

Но ее лицо, я видел, ничуть не выглядело ни испуганным, ни удивленным, спокойное, не омраченное тенью сомнения лицо Меты Вайсвидайте; такое бы лицо изваять из мрамора, честное слово; Ауримасу даже померещилось, что она с трудом удерживает — и тоже, разумеется, холодный как лед — смех (хотя я понял, что Мета лишь — и в самом деле с большим трудом —

принуждает себя улыбаться — сквозь эту мраморную стужу); он резко поднялся, смял кепку и, не оборачиваясь, ушел — —

Я и не глядя видел тебя тогда, Грикштас, — в дождь; мне казалось, ты следил за мной; ты провожал меня глазами до двери, когда я, измученный лихорадкой, да, самой настоящей лихорадкой, кое-как сполз с дивана и, держась за стенки, сквозь горячий, желтый туман, побрел в ванную, где были мои вещи; ты следил за мной и Метой — тогда, Грикштас; и еще за свечой, чья серая тень металась по углам; не видел? Это ничего не значит, если я не видел твоего взгляда, Грикштас, ведь я знал, что все равно ты за нами следишь; даже умирая, ты будешь следить за нами... будешь смотреть на Мету, потому что... Потому что я Ауримас, ворюга, возмутитель натянутой тишины этого дома, а вы оба голуби (ПОДОТРЯД. ГОЛУБИ. Columbae. Gyrantes, Columbiformes); уходя, я на миг остановился и лихорадочно горящими глазами уставился на них обоих — особенно пристально на Мету; она и впрямь показалась мне похожей на птицу, влетевшую в комнату через окно и присевшую на кресле рядом с постелью редактора Грикштаса; прелестная переливчато-зеленая горлинка из определителей профессора Вайсвидаса; streptopelia turtur; зеленая шелкокрылая бабочка рядом с рабочей конягой, подогнувшей колени среди бела дня; мирно и уютно дремала нежная пташка в большом кожаном кресле, поджав под себя ноги, по-младенчески приоткрыв рот, разметав по спинке кресла душистые белокурые волосы, — удивительно похожа на Ийю; такая же и в то же время другая — Мета Грикштаса, покинувшая меня и готовая в любой миг раскрыть обращенные к Грикштасу глаза; идиллия, до обалдения созвучная настроению разнесчастного Глуосниса: adieu... adieu... loin de vous...[1]

И не оттого ты ушел, Ауримас, — в ту дождливую ночь, — что так отчетливо увидел Мету, а оттого, что тебя снова позвала Ийя, позвала в Агрыз, где по твоему сердцу проехалось тридцать поездов — дон-дон-дон; рётосей, кута, поист: Ауримас, у тебя вид, будто тебя вытащили из воды, — хотя сегодня ты, может, думаешь иначе; и не потому ты бежишь сейчас от Грикштаса, что испугался его слов, а... Да, да, Мета — вот кого ты бо-

---

[1] Прощай, прощай — вдали от вас... (*франц.*) Из средневековой песни.

ишься, хоть и снова страшишься самому себе признаться в этом; Мета, которая знает, что тебя вытащили из воды и которая поцеловала тебя в лоб, будто прося прощения за что-то — за то, что бросила тебя и ушла к Грикштасу; которая подарила тебе песню — печальную, словно осень, но столь нужную тебе, живую, пульсирующую в сердце твоем; Мета, которая знает, что Йонис — —

И я, покинув своего Ауримаса и предоставив ему всходить по лестице Вайжгантаса наверх — и сам чем-то как будто обремененный, — возвратился в редакцию, в надежде застать Мету и взглянуть ей в глаза; увы! Меты здесь уже не было — в этом редакторском кабинете, хотя я и ощущал пряный аромат ее волос; а Грикштас опять лежал на диване и помутневшим взглядом смотрел в потолок, будто отыскивая там что-то; я юркнул за стеклянную дверь. И тут же отпрянул, едва не сбив с ног Мету. Но сейчас я не видел ее глаз, так как Мета, словно кающаяся грешница из Библии, упав на колени и уткнувшись лицом в заваленный книгами диван, плакала, — я не знал о чем; но она плакала взахлеб, хотя и беззвучно, подавляя рыдание, которое, очевидно, раздирало ее изнутри, заставляло трястись ее покатые, созданные лишь для нежной ласки плечи; волосы разметались и стлались по полу, как свежескошенная трава,— легкие, словно дымка, душистые волосы Меты, которые так нравились Ауримасу и сквозь которые розовым бархатом просвечивала стройная лебединая шея; рыдающая библейская грешница; я, позабыв, зачем вернулся сюда, попятился, осторожно, боясь нечаянно задеть ее легкие волосы, добрался до двери и суматошно помчался прочь — —

XXXVI

— Я здесь. Ты позвонила, и я пришел. Что дальше? — сказал Ауримас, избегая смотреть на Сонату, которая встретила его в вестибюле и повела к правительственному "люксу". — Чего тебе еще?

— Поговорим потом, — ответила она тихо, но строго. — Когда вы закончите там... — показала пальцем на дверь. — И по существу.

— По существу? — удивился Ауримас. — Я всегда говорю по существу. — Толкнул вперед дверь. — Вы, кажется, вызывали меня. Я здесь.

Эти слова уже относились к Даубарасу, хотя, возможно, и Соната их слышала, так как, прежде чем войти, Ауримас успел оглянуться и заметить ее опять-таки недовольное лицо; теперь он смотрел на гостя из Вильнюса. Без пиджака, хоть и при галстуке, в мягких зеленых шлепанцах, Даубарас похаживал по просторной, выстланной красными коврами комнате и о чем-то размышлял; заметив Глуосниса, остановился и неторопливо высвободил большие пальцы рук из-под черных подтяжек, которые он на ходу чуть растягивал; на усталом его лице мелькнула улыбка.

— Пришел, значит? — как бы обрадованно воскликнул он, подошел и подал руку; она была холодная и влажноватая. — Хорошо. Ты мне нужен. Соната утверждает, что последнее время найти тебя — все равно что иголку в стогу сена....

— Я здесь, — повторил Ауримас, выискивая глазами стул.

— Тогда милости просим! — Даубарас указал на кресло; сам устроился напротив, за инкрустированным столиком красного дерева. — Будем разговаривать без дипломатии.

— Слушаю, — ответил Ауримас.

Кресло, в котором он сидел, было широкое, обтянутое потертым синим плюшем и настолько продавленное, что сидящий вполне определенно ощущал под собой прохладу довоенного паркета; смотреть на собеседника можно было лишь снизу вверх, минуя все тот же столик красного дерева, на котором громоздились два стиснутых кулака Даубараса; Ауримас поморщился. Взгляд скользнул по охряным обоям, через открытую дверь проскочил в спальню и уткнулся в стул, на который был накинут пиджак; у зеркала стоял желтый портфель. Все это напоминало ночь в квартире Лейшисов и столь неудачно прерванный тогда разговор; "ну?"

— Я слушаю вас, — повторил он снова, возвратившись из прошлого опять в эту комнату. — Хотя что касается Сонаты, то...

— Сонаты? — удивился Даубарас; глаза неприязненно блеснули. — Нет уж. С чего бы нам с тобой из-за нее... Поговорим о настоящих делах, которые важны нам обоим. Хотя, как, с чего начать, не знаю...

— С конца... — брякнул Ауримас, вмиг почувствовав прилив смелости; если не о Сонате и, что было бы еще хуже, — не о Мете...

— Это верно... — Даубарас медленно поднял повыше свои кулаки — словно два тяжелых булыжника, кину-

тых на розовый полированный столик, потом снова — будто лишнюю тяжесть — с силой опустил и устремил на Ауримаса взгляд. — Редко мы с тобой встречаемся, братец, но коль скоро судьба нас сводит...

— Слушаю...

— ...то сводим счеты сполна...

— Я слушаю.

— Но знай, — Даубарас смотрел на него в упор, — то, что я скажу, должно остаться между нами... Это дела служебные, а я тебе, Ауримас, как самому себе... доверяю я тебе, как всегда...

— Что ж, до сих пор я как будто...

— Тогда послушай. Только предупреждаю заранее: кое-кому это и впрямь может показаться сведением счетов... кому угодно, только не тебе, потому что ты... потому что мы, братец ты мой, друг друга знаем как свои пять пальцев... и эти годы нашего знакомства, я бы даже сказал — дружбы, — могли неплохо нас закалить... Итак, мой друг, поверь — не мелкое самолюбие вынуждает меня сегодня довольно критически отозваться о человеке, которого я — все знают — долго и глубоко уважал...

О Вимбутасе, промелькнуло у Ауримаса, он будет говорить о профессоре Вимбутасе, написавшем ту самую статью: "Чего не хватает молодым", которую все читали в воскресном номере, — все ту же, из-за которой ворчал Гарункштис на той вечеринке у Марго; ворчал и обронил между прочим, что Даубарасу это не нравится, — а уж коль скоро, мил человек, Даубарасу что-нибудь...

Звонок Сонаты и приглашение к Даубарасу снова вернуло Ауримаса в то русло, из которого он уже как будто выплыл, и (по крайней мере, ему так представлялось) окунуло снова — хоть и против его воли — в давно забытые дела, которыми он решил не морочить себе голову, дал слово — хотя бы та же секция, ну ее, журналистика так журналистика, газетная крыса, воскресный номер... Но он тут же навострил уши, когда Грикштас, как никогда взбудораженный, подвижный и лихой (щеки багровели, как у чемпиона по боксу), зачем-то поминутно поглядывая на Мике, в самых возвышенных выражениях расхвалил эту статью на очередном производственном собрании как "наисерьезнейшее начало серьезного разговора", которое взял на себя всеми столь почитаемый человек; как удар в солнечное сплетение тем (Грикштас и терминологию подбирал исключительно спортивную и бодрую), кто

задачей литературы и искуства считает лишь популяризацию голых, хотя и вполне справедливых, догматов или же беллетризацию фасадиков (он так и выразился!) действительности — к тому же зачастую неумелую, чересчур уж примитивно понятую или попросту безграмотную; принимая идейность как голос самого сердца, мы, товарищи, не можем забывать, что социализму (Грикштас поднял кверху карандаш) нужно такое искусство, о котором сам Ленин мог бы выразиться, как в свое время о великом старце Толстом: зеркало революции... А какое может быть зеркало без подлинного отражения? Без очарования реальной действительности, без подлинно художественных форм, без игры слова или цвета? Без тех логических и эмоциональных акцентов, в образах — повторяю: в образах, а не просто в словах! — концентрирующих всю мысль произведения и придающих ему стройность, звучность; без трепета мятежной души творца, того трепета, что претворяет россыпь столь обыденных слов в живой организм, не только воздействующий на разум человеческий, но и пробуждающий самые затаенные, самые сокровенные, тщательно оберегаемые от постороннего взгляда, сугубо личные чувства каждого из нас; без всего того, что свершает искусство в душе человека и что древние греки (опять древние, — прошипел Гарункштис) называли столь емким словом "катарсис"; произведение художественное должно чем-то отличаться от передовицы нашей газеты (Грикштас глянул в угол, где, положив на колени газеты со статьей профессора Вимбутаса, ютились Ауримас и Мике)... победивший социализм, товарищи, может и должен давать человеку не только зрелища, это более-менее эстетичное развлечение (почитайте, друзья мои, что пишет Клара Цеткин в своих воспоминаниях о Ленине!), но и подлинное, невымышленное искусство... наши рабочие и крестьяне достойны чего-то большего, чем зрелища; они обрели право на истинное, большое искусство... К сожалению, еще бывает, что упрощенные критерии оценки искусства основываются не на исторических задачах перспективы социализма, а на однодневках, требованиях момента... которые я назвал бы словом: конъюнктура...

Тут он осекся и теперь уже совершенно точно уставился именно на Глуосниса — словно все это говорилось лично ему; или же — Гарункштису, тому самому Мике, который больше не злословил и робкими, потускневшими глазами смотрел куда-то в окно; взгляд Грикштаса вернул Ауримаса в особняк близ татарской

мечети; принять отложить отклонить — загудели голоса; о т л о ж и т ь; потом так же незаметно взгляд этот перенес его в тот октябрьский денек, когда он прочел в газете статью о неком бумагомарателе — к л е в е т а к л е в е т ы к л е в е т е — и не сразу понял, о ком идет речь... а когда дошло...

Все это стремительно промелькнуло в голове — словно некий странный фильм, в котором совсем не было лиц — одни лишь буквы и голоса; как сон, который наконец-то кончился — сон писателя Глуосниса; и если что-то еще и осталось от этого сновидения, то Ауримасу на это... поверьте, сделайте милость...

— Но я, — проговорил он, словно просыпаясь, — совсем не знаю, о чем это вы...

— Так уж и не знаешь, — улыбнулся Даубарас, еще раз приподнял свои кулаки и вновь тяжело опустил их на стол, еще крепче стиснув. — Небось знаешь!

— А если и знаю... если о Вимбутасе, то я... по вполне понятным причинам в этот ваш спор...

— Наш? — Даубарас передразнил Ауримаса, возможно сам того не желая, так как взгляд его сразу потускнел. — То есть чей это — н а ш? Ты забыл, Ауримас, что сейчас, в период классовой борьбы, рубеж проходит не между отдельными индивидами, а между классами и тенденциями. Ваше — наше или наше — ваше здесь не годится. И пусть никто не пытается оставаться в стороне от этой борьбы...

— Я и не собираюсь.

— Хочется верить, Ауримас.

Да, разговор на сей раз принял иной оборот, и Ауримас это понял, едва лишь услышал самые первые, донельзя официальные и даже чуть выспренно звучащие слова Даубараса; неужели забыта злополучная встреча в квартире Лейшисов, когда Ауримас с Сонатой, возвратившись с танцев, обнаружили Даубараса и Лейшене в ситуации, достойной посредственного французского романа; во всяком случае, сейчас было похоже, что человек этот чувствовал себя здесь не хуже, чем в своем вильнюсском кабинете, а то и лучше, ибо там-то уж наверняка не рассядешься в шлепанцах, в сорочке, не станешь дергать подтяжки, не выложишь на стол свои большущие, увесистые кулаки, так-то; Ауримас поморгал глазами.

— Воля ваша, — проговорил он. — Хотите верьте, хотите нет. Только я ваш спор...

Он опять подчеркнул слово в а ш, точно не слышал предыдущего замечания Даубараса; сегодня он почему-

то ничуть не боялся этого человека, хотя раньше невольно вздрагивал, едва раздавался его голос; возможно, придавало бодрости то, что разговор происходит в этакой "домашней" обстановке; он сделал движение, чтобы встать.

Даубарас удержал его протестующим жестом.

— Погоди, — и встал сам, причем быстрее, чем можно было ожидать. — Куда бежишь? И зачем? Лучше уж давай, что ли, по рюмочке... Надеюсь, в буфете найдется...

— Но я...

— Ничего, мы быстро...

Не позволяя Ауримасу возразить, Даубарас нажал на белую кнопку в стене; появилась все та же Ируся. При виде Ауримаса она почему-то покраснела.

— Двести коньяка, — распорядился Даубарас.

— Водки, — поправил Ауримас.

— Сто коньяка и сто водки. Только поскорей. Мы спешим.

"И ты? Ты-то куда спешишь?" — чуть было не выпалил Ауримас; его удивляла собственная дерзость, он словно продолжал находиться на собрании в редакции и видел Йониса Грикштаса, отстаивающего статью Вимбутаса, перед кем? — да так рьяно, будто сам ее написал; материал этот чем-то, хотя и трудноуловимым, малопонятным, как бы полемизировал с той печально известной статьей, Ауримас и названия ее не желал помнить и словно защищал Глуосниса, опять-таки от кого-то невидимого, но ощутимого и вещественного, хотя сам он ни просил, ни надеялся на что-либо, особенно после той субботы; уж не выльется ли встреча с Даубарасом в продолжение речей Грикштаса, только вывернутых наизнанку?

— За наше давнее знакомство, — сказал Даубарас, когда Ируся внесла и поставила на столик два миниатюрных (Ауримас впервые видел такие) графинчика — темно-янтарный и белый, а также две рюмки — до того крошечные, что не худо бы вооружиться очками, чтобы разглядеть их; Даубарас налил.

— За дружбу.

Но пить не спешил, лишь пригубил, точно небрежно лобызнул рюмку, и поставил на прежнее место, будто что-то припомнил; не пил и Ауримас. Поставив рюмочку на широкий подлокотник кресла, он разглядывал картину на стене: зимний лес; картина была старая, выполненная жидкими сине-белыми красками, и наводила тоску. Ауримас вспомнил Гаучаса. Где-то он те-

перь? Что делает? Я большой, мне — добавка, говаривал Гаучас, приноравливаясь к ломаной речи старшины-казаха; тот наливал ему еще — если было что налить; Гаучас выпивал "добавку", порцию Ауримаса и облизывался, точно кот-лакомка, почуявший поблизости валерианку, а потом принимался свирепо драить свою винтовку, которая и без того сверкала, как сапоги штабного щеголя; эх, был бы он здесь! Уж он-то бы все сказал, что думает о том самом Ауримасе Глуоснисе, которого самолично отвел на паркетную фабрику и с которым позднее делился последней махорочной затяжкой; он бы не стал так презрительно пялиться на Ауримаса, как это делает Даубарас — как удав на кролика; и Ауримас, возможно, не стал бы здесь юлить, морщась от сивушного запаха этой пакости, которую и в рот брать неохота... сегодня и уже давно... Да и зачем? По какому случаю?

Он сидел, утопая в кресле, напротив Даубараса, но словно не видел его, а видел лишь Гаучаса, фронт, степи Орловщины, старых добрых друзей — где-то позади картины, изображающей зимний лес, и где-то за Даубарасом, вертящим в длинных белых пальцах рюмочку, смахивающую на наперсток; он был и здесь, в прокуренной комнате, и в то же время где-то далеко, где не было ни Даубараса, ни кукольных рюмочек, ни густого одеколонного запаха, — там, откуда он явился. И какого черта он, скажите на милость, променял сапоги на лапти, а привычное, будничное житье парнишки с окраины — на призрачные надежды, иллюзии? Его ли это дело — очертя голову кидаться туда, где его никто не ждет и где, вполне возможно, редки те, кто желает ему добра, — в сочинительство, в извечные дебаты, где неизвестно, кто прав; да разве можно быть правым, если вечно споришь с самим собой? Ни прав, ни виноват — а лишь таков, каков ты есть, и таков, каким тебя видят другие; и стоит ли тогда... Тут он спохватился, что зашел слишком далеко и размышляет о том, что у него как будто уже давно решено — т о г д а, в д о ж д ь; в огонь, в огонь — все эти листки и иллюзии; в воскресный номер-я, товарищи, предлагаю...

— А что касается споров, к которым ты так упорно стремишься, — услышал Ауримас откуда-то издалека и снова увидел Даубараса, двигающего по гладкому столику уже опорожненную рюмку; глаза его настойчиво ловили блуждающий взгляд Ауримаса, — то заявляю тебе категорически: их нет. По крайней мере, между мной и Вимбутасом. Чего же, по-твоему, мы не поде-

лили? В моем представлении это такой допотопный реликт, из-за которого не стоит морочить себе голову. Горбатого могила исправит... Вступает в партию? Ему предложили вступить? Ну и что же, мой милый? А вдруг партбилет освободит его от горба, который он влачит на себе? От наследия прошлого, так сказать? В конце концов, и горком может ошибаться. Этого Вимбутаса, по-моему, следует не подпускать к партии и на пушечный выстрел, так же, как и к нашей молодежи, разумеется... Хотя оспаривать его, с позволения сказать, концепции, которые и концепциями, пожалуй, не назовешь, а лишь вывертом апологета былых времен, — придется не мне... подвергнуть их критике или опровергнуть... следует вам, молодежи, к которой и взывает этот старый пень... Потому-то, откровенно говоря, я и позвал тебя, Ауримас: это будет для тебя удобным случаем... Я бы хотел, чтобы ты в печати публично...

— Ни за что! — воскликнул Ауримас; да так быстро, будто слова эти постоянно вертелись у него в голове и только ждали возможности сорваться с языка. — Ни за что!

— И почему же? Неужели ты солидарен с Вимбутасом?

— Я там живу.

— Тем более, — Даубарас удивленно поднял брови. — Тем более, мой друг. Все увидят, что даже те, кто вращается в орбите этого с позволения сказать теоретика... если они достаточно сознательны и самокритичны, не могут позволить этим мелкобуржуазным микробам...

— Микробам? Но Вимбутас прав!

— Прав?

— Конечно! Всем нам еще ой как далеко до того, что Ленин...

— Ленин?

— Учиться, учиться и учиться — так ведь? Ведь так говорил Ленин, правда? И хорошо бы поменьше бахвалиться да побольше...

Ауримас замялся, откашлялся и умолк; но, впрочем, если высказал и не все, то хотя бы самое главное... о чем Грикштас...

— Дружочек, — Даубарас широко улыбнулся; широко и снисходительно, как умел лишь он один (так казалось Ауримасу). — Учитесь, кто вам мешает! И прежде всего — принципиальности. Настойчивости в этой борьбе. Настойчивости в отваге.

— Но... по-моему... Я полагаю...

— По-твоему? Ты полагаешь? А вдруг есть кому полагать и без тебя? Может, тебе — хотя бы на сей раз — следовало бы больше верить другим? Мне, например, дружочек, и выполнять то, что предлагают. Написать статеечку и подписаться: Ауримас Глуоснис. Ауримас Глуоснис — слышишь? И все. Так, мой дорогой, делают себе имя.

— Что? — оторопел Ауримас. — Имя? Какое?

— Имя писателя. Инженера человеческих душ. Ведь пока ты без имени... надеяться на что-либо лучше...

— Имя?

— И забывают фамилию... ту, прежнюю... Так происходит обновление, Глуоснис.

— Обновление? Но о моем прошлом я... уважаемые господа...

— Ты в кого метишь? — Даубарас сузил глаза.

— Ни в кого.

— Что за уважаемые и что за господа, Глуоснис? — спросил Даубарас и хорошо знакомым движением поднял повыше свою увесистую руку; вот-вот положит на плечо, мелькнуло у Ауримаса; он весь подобрался в ожидании. — Ну и жаргон у тебя, удивляюсь! Уж не думаешь ли ты случаем, что мы... там... э...

— Ах, ничего я не думаю! — выкрикнул Ауримас, почти срываясь на визг; ему самому собственный голос показался жалобным стоном. — Я просто не понимаю, чего вы от меня хотите...

— Пора и тебе, Ауримас, определить свои симпатии... как писателю... как солдату... взять и встать на какую-нибудь сторону...

— Сторону? — Ауримас быстро заморгал глазами. — Мне — на сторону?.. По-моему, я всецело... и всегда...

— По-тво-о-ему!.. — протянул Даубарас с несказанной издевкой в голосе. — По-тво-о-ему... То, что нам, Глуоснис, мнится — еще не есть объективная истина. Истина, брат, одна, абсолютная и неделимая... Маркс ее называет, вспомни-ка...

— Ну, знаете! — Ауримас покраснел: ему толкуют Маркса! Даубарас. Снова. Поглядывая сверху вниз. Только на этот раз подергивая подтяжки и потчуя коньяком. — Не забывайте, что до сих пор мне еще никто... насчет этой самой моей стороны...

— Никто? Неужели? А статью забыл?

— Какую статью?

— Не прикидывайся... знаешь! Ту, после которой...

— Ах, полно! Статью! После которой!.. Если надо —

обсуждайте! Сзывайте собрание и обсуждайте! Клеймите! Я вынесу все: обсуждение, осуждение, критику... только... только... но...

— Но?

— Но только ради того... потому, что Матас Гаучас... потому что Матас Гаучас в самом деле... Пусть хоть вышвырнут из комсомола, я... ради того рассказа... отречься от истины... никогда...

— Из комсомола?.. Неужели никогда — пусть хоть из комсомола?.. Выбирай, дружочек, слова... знаешь, слово не воробей — вылетит...

— Что мне еще остается?.. Таскать этот камень на шее? Вечно? До самой смерти? Или скинуть один, навязать другой... еще тяжелее?

— Камень?

— Вот именно! Вечно мучиться?

— Неужели неправда? Ложь? Та статья?

— Кому правда, кому кривда, ложь.

— Кривда? Кри-и... Ложь?

Даубарас внезапно замолчал, как будто удивленный, и строго глянул на Аурималса; тот отвел глаза. Кривда? Или правда? Ложь то, что он, Глуоснис, клеветал, что злонамеренно клеветал, а правда... Ах, правда-истина, она всегда одна и всегда походит на человека, ищущего ее; некоторым она представляется похожей на ложь. Не хотел? Тогда почему солдаты думают о доме, женах, детях? — Потому что они в самом деле так думали. — О н и о ч е м больше? — Кто о чем, а... мой сосед Гаучас... он работал... — Работал? — Ну да, война для него тоже работа. И для всей роты. Для всего полка. Дивизии... Работа, не справившись с которой... — А дом? Где их дом, Глуоснис? Уж не там ли, где они сами? — И там, и не там... всюду, где их мысли... — А мысли?.. — Дома, ясно... Там, где все их... Где жены, дети, где... — А родина? Известно ли тебе такое слово — родина? Такая идея — родина... И еще одна идея, с именем которой... понял? — Понял. Но для Гаучаса родина — не идея... для него она работа и дом... Родина человека — его дом, и дом каждого — всеобщая родина. Она вечна — как огонь. Как сам человек... — Гаучас... Гаучас не ты... Не чета тебе. Он свое сделал. А ты...

— Нечего тебе ерепениться... — покачал головой Даубарас. — Надо просто действовать...

— Действовать? Как?

— Разве ты не знаешь, как после такой... гм... оценки ведет себя всякий нормальный человек? После такого разноса?

— И как же?

— Не знаешь? Тогда поясню: он должен откликнуться на критику, — разумеется, если он хочет остаться хоть каким-то культурным, литературным или попросту гражданским явлением... Ибо в противном случае...

— А если никаким явлением я больше...

— Ты губишь себя.

— Обманывая себя самого, покамест ни один человек еще...

— Ты губишь себя.

Даубарас замолчал и налил коньяка — в наперсток на столике; Ауримас оттолкнул свою рюмку подальше. Он сам не понимал, отчего это сегодня ему все хотелось делать наоборот; может, подал голос прежний Ауримас, который всегда становится поперек дороги, когда надо принять решение и как-то поступить; сегодня он чувствовал, что двух путей нет и он поступает правильно, отказываясь уступить человеку, которому столько лет повиновался, которого боялся; в этой его дерзости было что-то для него новое, удивительно, что он так легко пошел на поводу у своей мятежности; это, судя по всему, сбило с толку и самого Даубараса; он нахмурился.

— Что ж, — выговорил он со вздохом, — я думал, ты окажешься умнее, Ауримас. Дают — бери, а бьют — беги, так учит народная мудрость. А ты наоборот: бежишь тогда, когда тебе насильно суют в руки дар... Да еще какой! Второго такого случая, поверь, может и не представиться... Двух зайцев одним махом — чего тебе еще, друг мой? Этой статьей ты не только раздраконил бы Вимбутаса и Грикштаса...

— Грикштаса?

— ...но и восстановил бы в глазах общественности писателя-новеллиста Глуосниса... Да чем, в конце концов, ты хуже какого-нибудь Питлюса или...

— Грикштаса? — повторил Ауримас.

— Да, Грикштаса. Редактора. Что ты так смотришь на меня? — Даубарас прищурился; глаза сузились и таинственно заблестели. — Что тебе непонятно? Если бы красна девица не отодвинула щеколду, добрый молодец не попал бы в желанную светелку... горбатого, как известно, разве что могила...

— А хромого? — Ауримас оперся руками о подлокотники кресла и встал и уставился на Даубараса, готовый убить его на месте. — Я спрашиваю, что исправит хромого... с оторванной на фронте ногой?..

Он не мог объяснить, откуда эта резкая боль в сердце; но он понял — не столько разумом, сколько чувством — всем обостренным своим восприятием, что Даубарасу хотелось во что бы то ни стало унизить Грикштаса — причем, его, Ауримаса, руками; это, согласитесь, было уже слишком.

— Я ухожу, — сказал Ауримас, глядя в пол; лицо горело. — Ухожу.

Он отодвинул рюмку и шагнул к двери, позабыв проститься; не хотелось оставаться здесь ни минуты, смотреть на Даубараса — тем более; за час сидения в кресле, подумал он, можно понять больше, чем за все годы знакомства.

— Почему? С чего бы это, братец? — расслышал он слова как бы из глубины комнаты, а возможно, из еще более далеких пространств — из детства, — точно цоканье шариков пинг-понга в подвале; но удивительно: слова эти его ничуть не взволновали — точно так же, как напряженный взгляд, будто нож за спиной, как и надменная, властная осанка его собеседника, как и солидная фигура, высящаяся над красным ковром. — С чего бы это мне заниматься исцелением хромых? Ты ближе к нему... к ним обоим...

— Я? О ком это вы?..

— Не маленький. Знаешь.

Ах вот оно что! Мета! Опять Мета, уважаемый товарищ представитель?..

— Итак, всё? — Ауримас остановился; как это вышло, что у самой двери он резко обернулся, непонятно, — точно невидимая рука взяла и повернула его. — Полагаю, у вас все? Можно идти?

— Нет уж, — Даубарас двумя пальцами поднял повыше подтяжки — и словно сам сделался еще выше ростом; даже в сорочке, шлепанцах он выглядел невозмутимым и обаятельным. — Еще не все... Для начала совет: в столь ответственные минуты, когда на карту поставлена твоя собственная судьба, ни к чему изображать из себя оскорбленного аристократа, Глуоснис. Словом, я как старый друг не рекомендую тебе этого. А что до Грикштаса, то... в настоящее время — в трудный момент классовой борьбы... запугивать молодых литераторов... заручившись поддержкой экспоната зоомузея с набивкой из античных сентенций... так, мой друг, может вести себя лишь самый мелкотравчатый либерал и... э... с позволения сказать, коммунист... каковым является обожествляемый...

Обожествляемый? Мелкотравчатый? С позволения сказать?

С позволения сказать, с позволения сказать — застучало в висках, точно молотком: обожествляемый, мелкотравчатый, с п о з в о л е н и я с к а з а т ь; слово как слово, а звучит как бранное — где-то я уже слышал его; sit venia verbo — с позволения сказать; он открыл дверь — Меня? — Грикштас как будто не сразу сообразил, чего от него хотят, и лишь пожал плечами. — Меня? Не боюсь.

— Но он сказал: либерал и... не знаю, говорить ли дальше, потому что... вы понимаете...

— Ну-ну...

— ...мелкотравчатый либерал и, с позволения сказать... с позволения сказать... а это, насколько я понимаю...

— И я понимаю, — Грикштас печально улыбнулся и не спеша положил на стол авторучку ЛИТУАНИКА — мечту журналиста; скулы заострились, губы покрылись синеватым налетом. — Все-то я, Ауримас, понимаю. И не первый день. Только скажу: не выйдет.

— А что... если...

— Война кончилась, Ауримас, а фронт остается, борьба продолжается, понимаешь?

— И это вы... мне?.. После всей той критики?..

— Брось, Ауримас, что ты!.. Нельзя быть злопамятным... Мы не должны быть столь злопамятны. — Губы Грикштаса дрогнули; резко обозначился на них синеватый, будто соленый, налет.

— А... Мета... — вырвалось у Ауримаса — так неожиданно, что он и сам растерялся, услышав здесь это имя: Мета...

— Если бы только это одно, Ауримас, — Грикштас устало прикрыл глаза; меж сомкнутых век на переносице резко обозначились две темные складки. — Я бы с тобой и беседовать не стал... если бы только это... Но есть и высокие цели, ради которых... даже с этаким Дaубарасом...

Он умолк, вдруг заморгал глазами испуганно, точно дотронулся до чего-то острого, и схватился рукой за грудь; на губах выступила пена; Ауримас бросился к нему. Он уже знал, как надо поступить, сунул руку в карман пиджака (тот висел на спинке стула), достал белую костяную шкатулочку, вытряхнул на ладонь несколько таблеток и насильно затолкнул их Грикштасу в рот; тот открыл глаза.

— Если бы только из-за Меты... — вдруг встал он, выплюнул таблетки в горсть, криво усмехнулся и с размаху швырнул их в угол...

XXXVII

Это было страшно — то движение Грикштаса, когда он, напрягшись, изо всех сил шарахнул в угол свои таблетки — словно все свое прошлое; но я знал, что виноват опять-таки я один — незачем было называть Мету; и если уж не выдержал такой сравнительно уравновешенный человек, как Грикштас, то определенно было над чем призадуматься и мне. Но думать я мог только о Мѐте, и, как ни осуждал я себя за это, изменить здесь что-либо я был не в силах, точно околдованный; все, что я изведал, испытал и видел до сих пор, слилось в моем восприятии в одну картину, в центре которой непременно находилась Мета: она и Вайсвидас, Мета и голуби, она и Даубарас, Мета и... Только сам я покамест едва ли вписывался в эту странную картину, без начала и без конца, в эту карусель образов, где словно в неком иностранном кинофильме (хотя и замедленно) сменялись серые и цветные кадры; я находился где-то в стороне, весь в затемнении, и издалека просматривал те кадры, в которых неизменно действовала она; в конце концов, это становилось страшно. Даже ночью, просыпаясь, я прежде всего видел ее, Мету, улыбающуюся с какой-нибудь картины, и лишь после того — темень, очертания предметов или луну, через окно со смехом взирающую на меня; или приникшие к стеклам, уже по-весеннему черные ветви яблонь; даже Старик, кажется, позабыл все, что творил прежде, и заглядывался на цветные картины, которые рассматривал я, и невзначай отпустил голубоглазого мальчика; тот ринулся прочь; и б о т о т, к о м у д о с т а н е т с я — лопотали старческие губы; глаза щурились и слипались; ч т о? п е р о с и н е й п т и ц ы, а значит, и Мета, болван; все обретет тот, кому достанется... Роняя слюну, Старик пожирал глазами Мету в те апрельские ночи, а она — о, ужас! — вовсе не бежала от него без оглядки, не в пример голубоглазому мальчику; повернувшись ко мне боком, трепетной точеной грудью вперед, выставив белую стройную ногу с выглядывающей из-под узкой юбки изящной коленкой (о, она никогда не ходила босиком!), Мета, зазывно улыбаясь, что-то говорила Старику, а тот, при своей пышной седой бороде пророка Моисея, так и поедал ее заплывшими похот-

ливыми глазками; меня он не замечал совсем. А я был здесь, в том же сновидении, я был готов схватить ее в охапку и зацеловать на виду у Старика — во сне у меня храбрости хоть отбавляй; я был в состоянии удушить Старика. Но прежде надо было знать, что думает обо мне Мета, и допустит ли она, чтобы ее целовали, — остальное в этот миг как бы не имело значения; короче говоря, тайных вздохов и укромных взглядов мне уже было недостаточно; только вот допустит ли она, чтобы я ее целовал, и будет ли покорна мне, как — я знаю — была покорна другим; станет ли она целовать меня — да не так, как там, под дубом, а по-настоящему, по-женски — прямо в губы, без памяти и мысли, прильнет ли жаркой, томящейся грудью, обовьет ли мою шею руками, — как в романах, фильмах, в рассказах других мужчин, — как не целовала меня ни Соната, ни Ийя, ни...

Даже Ийя! Ибо только она одна могла сравняться с Метой — по обаянию женственности, которое в моих помыслах так сближало их обеих, по той не имеющей словесного выражения насущной надобности их для меня — слабого, растерянного среди своего пути, по умению единым словом или взглядом вернуть утраченное равновесие; и по тому теплу, что струилось из их глаз, улыбки, живительному теплу; и по тому сердечному трепету, который испытывал я; по неутолимому, безудержному желанию поскорее обнять, зарыться лицом в облако волос, окунуть в них глаза, губы, грудь, — привлечь, прижать к себе, — с такой силой, чтобы хрустнули кости, чтобы женские руки, теплые, легкие, душистые, точно само лето, как спелый плод, сами упали мне на плечи; мне нужна была Мета!

Я даже стонал, стиснув ладонями грудь, — до того она, Мета, была мне нужна; я бредил ею — Метой Вайсвидайте, с буйной волной волос, ниспадающих на плечи, с крепкой трепещущей грудью, оттопыривающей белый вырез платья, с белыми, некогда так поразившими меня своей белизной ногами; я ощущал аромат ее волос, слышал шелест платья, скрип тугого кушака; различал голос; по-твоему черепки — к счастью, и ту, неведомо когда и как рожденную во мне мелодию тогда, в дождь; все, что окружало Мету, было для меня музыкой и игрой света, красок, сумятицей звуков и ароматов, в которой растворялись повседневные, реальные черты Меты; это была рана, прикосновение к которой порождало песню, грезу вновь пробудившейся во мне юности — более подлин-

ную, чем сама действительность, и еще невесть что, — столь нужная мне Мета... Я строил самые дерзкие планы, призванные, само собой, бросить нас в объятия друг друга, соединить навек, — и все они казались мне реальными и осуществимыми — если только их одобрит Мета; возможно, я и жил лишь оттого, что жила она, — остался жить; а если так...

Я был тот же — Ауримас Глуоснис, спотыкавшийся и вставший сам собой, и в то же время другой, не похожий на прежнего — сильнее того и искушеннее; кто это сказал, что жизнь не имеет смысла; прежний Ауримас? Но он не видел Меты, во всяком случае, той, которую вижу я; или смотрел иными глазами; надо было одолжить ему мои... Я был готов — в этих снах или наваждении — ворваться к Грикштасам среди ночи и похитить ее, умыкнуть прямо из постели; как в сказках — если только она согласится; я уже нес ее, горячую и дрожащую, пронизанную сном и тайными желаниями, закутанную в белое покрывало, нес на руках, — сквозь огонь, сквозь дым, облачный туман, сквозь грозы и воды — в сновидениях; я жил с ней под монотонно гудящими и гремучими водопадами, в сумрачных горных ущельях, в лесных дебрях, кишащих диковинным зверьем, своими ладонями я согревал ее слабые плечи на одиноком маяке в бушующем морском просторе — отрезанный от всего мира безбрежной водной стихией; проезжал тысячи километров, куда-то в бескрайнюю даль, через тысячи туннелей — тум-тум-тум; через тысячи войн — с ней; я трясся в самых смрадных товарных вагонах и, блаженный, сияющий, лучезарный, — словно князь Монако в раззолоченных апартаментах, — ибо рядом со мной — всегда и навек — ныне и присно — теплая, податливая, уютная, доверчиво положив свою душистую головку мне на плечо, дремала Мета Вайсвидайте, дочь профессора, сверкающий на ладони алмаз, который я нашел — или который (не все ли равно) своим сверканием завлек меня; и, похищенная, взятая с боем, взлелеянная в весенних снах, она спала у меня на плече, и я, боясь ее разбудить, плыл через безбрежные моря, на верблюдах мотался по выжженным солнцем пустыням, продирался через джунгли, блуждал в саваннах, где кишели змеи и разбегались во все стороны крупные рябые птицы, на собачьих упряжках я мчался по ослепительно белым ледяным полям, я взбирался по склонам огнедышащих вулканов, нырял на морское дно — и все вместе с нею, с Метой, которая грелась, прикорнув у меня на плече...

Я боялся ее разбудить, и б о т о т, к о м у д о с т а н е т с я... я все еще видел Старика, оставившего мальчика и погнавшегося за мной — через моря и горы, через таежные дебри и дикие заросли джунглей; Старика с окладистой бородой и маслеными, похотливо горящими глазками; видел Даубараса и Жебриса, видел... Дальше я и думать боялся, потому что там уже хрипел Грикштас, швырнувший в угол таблетки, — взъерошенный, всклокоченный, напряженно моргающий близорукими глазами Йонис Грикштас, который в с е з н а е т; это обжигало мне глотку, точно капля спирта, упавшая на рану, — стоило лишь вспомнить; как и я, сойдя с картины и остановившись за моей вздрагивающей спиной, он смотрел на улыбающуюся, трогательно сомкнувшую веки, созданную лишь для ласки и любви свою Мету такими полными скорби глазами, что против своего желания я опять видел кладбище, куда Грикштас смотрел тогда, у парапета; мне делалось дурно.

Бежать, думал я, тысячу раз взвесив и обдумав все, что только мог; теперь-то уж точно; дальше так жить я не могу, не умею, не способен; одна особь мужского пола оказалась явно лишней на этой земле, хотя никто, разумеется, в этом не был виновен; в том-то и суть этого абсурда — никто не был виновен, и все страдали; почему-то вспомнился Печорин. Да, это не герой нашего времени, помнится, писал я в каком-то сочинении на курсах; это индивидуалист, из-за женщины — или из-за пустого честолюбия — готовый пустить пулю в лоб товарищу; герой нашего времени должен... Нет, бежать только бежать мог я — как из того зала, когда разгорелся спор о Матросове и Борисе; бежать и спасти тем самым честь всех нас — Грикштаса, мою и ее; по крайней мере, у меня будет эта иллюзия — что честь спасена; бежать и...

— Ну, это ты загнул, — заулыбался Гарункштис, когда я в порыве откровенности поведал ему свои сомнения; возможно, это была совсем излишняя откровенность, но разве мог я влачить это бремя сам; Мике проводил из университета Марго и остался ночевать у меня — благо диван широк; он и сам, как я видел, хотел поговорить по душам; случай выдался как нельзя более удобный. — Бежать из-за бабы? Да еще такой..

— Какой? — спросил я, краснея и обмирая; подобного равнодушия я, право, не ожидал.

— Ну из-за такой... как бы тебе помягче... кошечки... этакой всеобщей...

— Всеобщей? Ты так считаешь? Кошечки?

— И ты так считаешь, Ауримас, — ответил Мике, возможно, и глазом не моргнув (было темно); вспыхнул огонек сигареты. — Только скрываешь это от самого себя.

— Что скрываю?

— То, что знаешь. Как страус голову под крыло прячешь.

— А ты... может, пробовал?

— Голову прятать?

— Не придуривайся... Ты-то пробовал, коль скоро так рассуждаешь?

— А-а, — усмехнулся Мике, и снова вспыхнул огонек его сигареты; он сидел у окна, а я, заложив руки за спину, ходил по комнате; огня не зажигали. — За меня можешь быть спокойным. У меня, брат, другие координаты... другие кошечки... ну и крыши другие... К тому же древняя энциклопедия любви учит, что там, где живешь, или там, где работаешь... А тем более если речь идет о женах друзей или начальников, тут, Ауримас... никогда... да и недостойны они, в конце концов, этого...

Я хотел что-то возразить, но только глотнул воздух и сжал руками полы пиджака. Напрасно, подумал я, совершенно напрасно обмолвился я о Мете и заодно о своих планах; ничего он, простофиля, не понимает, а если и соображает кое-что, то... Для такого все девушки, подумал я, просто кошки на крышах... их гладят до тех пор, пока... Но то — все, а то... Я остановился как вкопанный.

— Мике, — сказал я и услышал, как мой хриплый голос дрогнул. — Если ты еще хоть слово о ней... хоть одно словечко... точно о какой-нибудь... вот этот огурец, учти...

Кулака моего он, понятно, разглядеть не мог, хотя и ответил не сразу — сначала открыл окно и выкинул окурок; дужкой метнулись искры.

— Знаю, — сказал он. — Марго проболталась.

— Марго?

— Они подруги.

— Ну и что же?

— Поцапались они из-за тебя. Не то сейчас, не то раньше.

— Из-за меня?

— Ну да: Марго тебе симпатизирует.

— Мне? Вот так новость!

— Не так чтобы очень веселая, — Мике хмыкнул в кулак. — Ты, как я вижу, еще зеленей зеленого... Не то

рассуждал бы умнее... Если две такие кошки сцепятся — крыша обвалится! Ого! Попадись им в лапки этакий мышонок с Крантялиса...

— У тебя в голове помутилось! — воскликнул я. — Завтра же беги в поликлинику. Только прямо с утра, поспеши! Не то от чрезмерного усердия в чужих делах, глядишь, и погибнет столь нужный нашему народу талант, мастер эпической прозы...

— Ишь ты! — Гарункштис в темноте блеснул зубами; потом что-то невнятно промычал. — Выходит, и на рабфаке кое-чему учат. Пора, наверное, и мне переменить мнение об этом учебном заведении...

— Повторяю: не опоздай! — буркнул я и сплюнул в то же открытое окно, куда Гарункштис выкинул окурок; тот еще дымился на дорожке, а Мике уже раскуривал следующую сигарету.

— Да ты не ершись, тоже мне, — примирительно заговорил он. — Я тебе как мужчина мужчине. Как друг. Но раз уж ты...

— Да что я? Упомянул о Мете... и о редакторе... но вовсе не потому, что мне все это легко...

— А мне, по-твоему, легко? Черта с два. Вот хотя бы сегодня, когда... да стоит ли с тобой...

— Говори, говори.

— Что говорить?

— Договаривай, что начал.

— Что начал, то и кончил, Ауримас. Словом, трудно не трудно, а если надо... если во что бы то ни стало надо...

Он собирался еще что-то сказать, но я не поддержал разговор, и он отвернулся к окну, громко пыхнул сигаретой; я разделся.

— Ложился бы и ты, — предложил я, забираясь под одеяло. — Или пойдешь стучаться к Марго? Желать ей спокойных снов?

— Думаешь, стоит? А если она поджидает совсем другого? Которого видит чаще и, понятное дело, вблизи...

— Дурак! Всюду тебе мерещится март... коты да кошки...

Я лег и еще отвернулся к стене, давая понять, что больше нам говорить как будто не о чем; кто тебе стелет постель — уж не Марго ли, вспомнились слова Сонаты, но они представились мне нереальными, будто произнесенными в сновидении, которое я когда-то увидел; но перед глазами у меня стояла Мета, хотя голос был голосом Сонаты — а может, Старика: и б о т о т, к о м у д о с т а н е т с я — ч т о? — п е р о с и н е й п т и-

цы; все голоса уходили во тьму и копошились там — то выступая из мрака, то снова погружаясь во тьму — как и мое сознание; вертелись и переплетались между собой одни и те же, старые и какие-то совсем новые картины, хотя там и не было меня; гудели трубы, стучали капли — где-то очень высоко, хотя я и не видел где; что-то гремело — далеко, в прошлом; тогда, в дождь, — зудела в ушах мелодия, желтая, точно сон, который мне снился; постель, я, скорчившийся мальчишка, — тот самый, тот, голубоглазый; он зажмурился, и не видно, какого цвета у него глаза; рот полуоткрыт — точно сон сморил его на полуслове; откуда он здесь? Оттуда, откуда все: из прошлого, — шепчет кто-то невидимый; или из этой ночи, из действительности; как две капли воды похожей на сон — не все ли равно; все равно — когда гудят, завывают трубы, когда стучат крупные, набрякшие капли, все едино, когда... О, да не щиплись ты! — выкрикиваю я вдруг и просыпаюсь; не щиплись, дурак! Но, может, я только думаю, что просыпаюсь, потому что щиплю себя в бедро я сам — и мне ничуть не больно; чую запах табака, чихаю; вроде бы зябко мне, познабливает; вытягиваю руку... И вдруг отдергиваю ее, точно обжегшись, хотя и тянулся-то всего лишь к одеялу; натыкаюсь на что-то чужое и холодное... Это Старик, Старик, Старик!.. И тут я вижу Мету.

Она, она — моя Мета — лежит между мной и мальчиком, который по-прежнему спит, безмятежно склонившись головой на обнаженное плечо Меты, щекой по-детски приникнув к ее легким, душистым волосам; защипало ноздри. И я — господи, и я тоже! — ощущаю тепло своим боком, непривычное и трепетное тепло, которого я ждал, по которому тосковал и которого боялся (да, боялся); и я — о, и я тоже! — чувствую ее плечо, тоже обнаженное, гладкое и ароматное и чуть подрагивающее, манящее прильнуть к нему щекой или даже губами; о, как мне хочется поцеловать это нагое плечико Меты, белеющее прямо перед моим лицом, как хочется обнять ее! Я, кажется, имею право — обнять Мету, подумал я, она сама дала мне это право — тогда, в дождь — а то и раньше; чем я хуже других, хуже всех? И я, Глуоснис с Крантялиса, имею, черт подери, это право — обнять свою Мету, положить ладонь под ее нагие плечи, приподнять их и вновь окунуть в мягкую пуховую подушку; имею или нет? имею; обнять, привлечь к себе — совсем близко — и стиснуть рукой это пульсирующее уютным теплом плечико; ду-

мается, что имею! И еще сомневаюсь! Могу сомневаться! Умора!

Я протягиваю руку и вздрагиваю всем телом, ощутив ледяной холод остова — проклятый Старик! Он, он, провонявший табаком, в красной линялой, пропитанной потом рубахе, со спутанной неряшливой бородой, не дает мне обнять Мету, он прямо-таки сдирает одеяло — со всех нас; вот откуда холод... Мы сразу просыпаемся — все одновременно: я, Мета и мальчуган, который раскрывает большие, словно яблоки, синие, полные удивления глаза; все садимся. Мы голым-голы, в ужасе замечаю я, но молчу, выжидая, что будет дальше; я вижу ее голой — голой — голой твержу про себя; теперь я вижу голой — е е; как прекрасна она — нагая!..

Но Мета не видит меня и по-прежнему сидит, чуть наклонив вперед свою милую головку, свесив на глаза белокурые волнистые волосы, — гибкая, душистая, обхватив руками колени, — и от этого еще более нагая; но меня не замечает и, наверное, не знает, что я рядом с ней, на той же картине — в той же постели; она глядит на одного лишь Старика, содравшего с нас одеяло и оставившего нас нагими — как Адама и Еву; смотрит, точно зачарованная или погруженная в сон... Не бейте, не бейте ребят! — вдруг выкрикнула она таким чужим, вовсе незнакомым мне голосом, я вздрогнул; это добрые мальчики! — Добрые? То есть кто? Вот эти ворюги?.. — яростно шипит Старик и, резко откидывая бороду, тяжелым почерневшим кулаком наотмашь бьет мальчика по лицу — мирно сидящего мальчика — поддай дай дай — за что — за то самое — за красивые глаза, балда... Он бьет не спеша, примериваясь, обоими кулачищами вместе, при каждом ударе встряхивая своей великанской бородищей, распустив толстые, маслено блестящие губы и разбрызгивая слюну сквозь редкие пожелтевшие зубы; грохает кулаками, точно молотами, размеренно и свирепо — кряхтя и сопя, раздувая похотливо дрожащие ноздри, не отрываясь — и совершенно беззвучно — колошматит колошматит колошматит — без малейшего звука — точно пустой мешок или предмет из резины, точно месит тесто; меня сковал ужас... Я знаю: надо вскочить и схватить Старика за грудки, за его аршинную бороду, которая мотается перед моим носом, точно загаженный конский хвост; вскочить, цапнуть Старика за бороду, за рубаху или за бакены, шлепнуть оземь и растоптать ногами — измолотить до крови — его самого — как тесто — как резину — пока не испустит дух прямо в бороду — дохнет

свой последний, распоследний раз — и перестанет двигаться — махать кулаками; понимаю, знаю, хочу, — а не в силах не только подняться с постели сам, но даже шевельнуть рукой — такая она тяжелая и больная... За что ты его? — крикнул я, собрав все силы, но и сам не расслышал — не говоря уже о Старике; а он все бьет — беззвучно, бесшумно, без хряска, — размахивает своими каучуковыми кулаками — так и месит мальчика, который сидит на постели, уронив руки и свесив вперед голову — поддай дай дай, — точно пузырь, который хоть и качается, и дрожит под ударами, но не ощущает боли — много, видимо, досталось, если уже не ощущает; и за что? За то самое, говорит Мета — а я-то думал, ее здесь нет, думал, что она растаяла в серой дымке; все за то самое... за что и все... за красивые глаза... Глаза? Глаза? Глаза? — вскрикивает Старик и тут кидается ко мне; ворюга, ворюга! Ты ты ты украл мое перо — ты! Ты ты ты! Я весь съеживаюсь, вжимаюсь сам в себя, вдавливаю себя в матрац, а он, Старик, знай заносит да заносит свой кулак — огромный, как арбуз, тяжелый, как камень, ты ты ты — плюется в меня словами — ты; Глуосниха померла — ты жив, ты украл перо; она умерла — ты уплатишь; плати, плати — ма-а-ма!.. И снова я вижу мальчика — на лугах моего детства — на песчаных откосах у Немана — босого, в одной рубашонке, с жесткими черными волосами, глазами, горящими, как уголья; за бороду, Ауримас, слышу я ее голос, это Крантялис — не бойся, не туннель и не Верхние Шанчяй; и не Зеленая Гора, не Дубовая роща; хватай Старика за бороду! Я вскрикиваю и снова кидаюсь на Старика — погоди ты у меня! — но — о́, ужас! — мои руки тоже стали резиновыми, и пальцы, закоченевшие и тупые, они хватают только воздух; они ничуть не гнутся, вот так штука; и я снова вижу Мету...

Мальчик исчез, пропал Старик, передо мной вновь Мета Вайсвидайте, которую я было потерял в драке со Стариком; та, которую я видел до войны; она стояла посреди огромного сизого поля (ни деревьев, ни зданий, ни облаков) и играла с самоварами; в жизни своей я не видывал подобной игры. Я остановился, потрясенный; это было неожиданно, это было необыкновенно: самовары сияли, в глаза било сверкание их начищенных медных боков — словно молния (в серой мгле); а она, Мета, схватив по самовару в руку, вертелась на месте, точно юла, точно желтая бабочка вокруг голубого цветка, трепеща двумя лазурными, вплетенными в косы цвета спелой ржи лентами — крылышка-

ми; она кружилась, позабыв все на свете, творя какой-то безмолвный обряд, и настолько сосредоточенно, словно не было на свете ничего важнее того, чем она занималась сейчас; струились длинные, едва не касающиеся земли волосы. И бегемоты — двое жирных, серых, с жирными, лоснящимися боками бегемотов, глупо разинув тупые квадратные пасти, — изо всех сил, исходя яростью, гнались за сверкающими медью самоварами; игра диковинная даже для сновидения. Что ты делаешь? — спросил я, подходя ближе; Мета остановилась и улыбнулась мне; самовары тоже перестали вращаться и тут же утратили блеск; бегемоты, как загнанные собаки, шлепнулись тупыми жирными задами на серую, как они сами, траву; свесив из квадратных серых пастей удивительно собачьи языки, они уставились на меня своими крохотными глазками и, казалось, улыбались вместе с Метой, ожидая, что скажет им этот ничуть не нужный здесь человек, ворвавшийся в сновидение и перебивший их игру; что скажу я; улыбались как люди, хотя серые их межглазья были довольно сумрачно наморщены; отчего-то они на меня злились. Что ты делаешь здесь, Мета? — произнес я как можно ласковей, глядя больше на бегемотов (они были ужасны), нежели на нее; на лбу у Меты тоже обозначилась морщинка. Что делаю? Шьто тиеляю? — переспросила она с тем мягким акцентом, который когда-то поднял меня с рельсов — там, в Агрызе; поист, литофес, шьто тиеляю? Не видишь, что ли? Ослеп? Я играю с бегемотами, а бегемоты играют с самоварами. А шьто, тебе обязательно все знать? Много будешь знать, скоро состаришься... будешь бить? Бей, бей — все на свете, если, по-твоему, черепки — счастье... бей все, Ауримас, только не мешай мне играть с бегемотами, а бегемотам с самоварами... так оно есть... так будет... и не задувай, не гаси свечу... покамест не гаси... ибо тот, кому достанется — —

XXXVIII

Впоследствии он и сам удивлялся: как это он не хватился Мике — едва лишь очнулся; и тем не менее он не вспомнил о Мике вплоть до той минуты, когда, возвращаясь по коридору мимо понуривших головы божеств в свою комнату, услышал негромкий стук; возможно, это легонько хлопнула створка окна. Возможно, так как, едва проснувшись (люди, люди, мне нужна Мета!), Ауримас первым делом распахнул окно, чтобы

впустить в комнату мягкую влажную прохладу (на улице бушевал ветер); а то и сама Марго стукнула... Ничуть не стесняясь, заспанная, она проплывала иной раз по темному коридору в ванную или еще куда-нибудь (человек есть человек) в длинной ночной сорочке, едва не задевая Ауримаса теплыми, ленивыми бедрами; что ж, живя под одной крышей...

Поэтому он замер, полагая, что это опять Марго, и подался ближе к стене; и тут вспыхнул свет. Он полыхнул так внезапно — пронзая сон, от которого Ауримас пробуждался, и так слепяще, что Ауримас в ужасе закрыл лицо ладонями; скрипнула дверь. Но Ауримас уже стоял возле двери, которая снова скрипнула и приотворилась; теперь он увидел Мике.

Мике? Здесь? По спине скользнули мурашки, и Ауримас застыл, превратился в соляной столб, осознав, что это не сон: Гарункштис в кабинете профессора, ведь если бы то был сон... Да, пошарил рядом, проснувшись, воскликнул — к о м у д а ч т о д о с т а н е т с я; Мике не было; Ауримас с сожалением думал о том, что Мета только приснилась... Он чуть не заныл, подумав, как было бы хорошо, будь она рядом, как только что, с минуту назад, окутанная тою же самой тьмой, что и он, — теми ее снами; пронзенная тою же весенней тревогой; на черта мне Мике с его поучениями, на черта бегемоты; люди, люди, мне нужна...

Но сон кончился; кому достанется, что — отдавалось эхо; но это было не где-то в другом месте, не вдали; а в безмолвии, внутри; босой, в одной рубахе, подошвами ощущая холод скользкого пола, стоял Глуоснис против профессорского кабинета — того самого, куда Маргарите и той воспрещалось заходить, — и через приоткрытую дверь заглядывал внутрь; там находился Мике. Ауримас отлично помнил, что Мике вечером улегся рядом с ним и в постели выкурил сигарету, из-за чего Ауримасу пришлось отвернуться; как же и когда Мике очутился здесь? И сколько сейчас может быть времени? Одетый, в шапке, будто он только что из города, Гарункштис стоял боком к двери и, держа в руках, близко, у самых глаз, читал какие-то бумаги; его губы едва заметно шевелились. Сердце тревожно сжалось, точно и он, Ауримас, был в этой комнате вместе с Мике или был с ним в сговоре; сна как не бывало. "Мике, ты что?" — захотелось крикнуть, но он сдержал себя, понимая, до чего было бы глупо выдать свое присутствие здесь; он даже несколько посторонился. И Мике, будто почуяв нечто, опустил руку с бумагами вниз

и насторожился, точно почуявший преследователя хищный зверь с добычей; Ауримас затаил дыхание. Ах так, шевельнулся, кинул бумаги обратно на стол, где они, очевидно, и находились раньше, да еще прижал пепельницей, чтобы ветер не разметал; сейчас пойдет к двери... Э, нет, пока еще не пойдет; еще чуть-чуть прислушавшись, оглянувшись (Ауримас шмыгнул в темноту за дверью), Гарункштис протянул руку и, взяв за подставку тяжелую настольную лампу, придвинул ее ближе, потом... Ну, конечно же, ящик, Мике выдвинул ящик письменного стола и склонился над ним; это как-никак забавно; зашуршали перебираемые листы. Мике работал! Теперь Ауримас видел только его спину, сгорбленную, обращенную к двери, и руки, по локоть погруженные в ящики, и слышал лишь глухое, прерывистое сопение, сливавшееся с завыванием ветра за окном; Мике работал. Он, очевидно, неплохо знал ящики профессора Вимбутаса, если так смело, почти не глядя, запихивал назад эти зеленые папки (на лекциях профессор вынимал из них какие-то листочки) и вынимал лишь отдельные бумажки; вынимал и клал на стол, рядом с лампой на мраморной подставке; что за четкость, что за точность в движениях! Ящик — стол — ящик; ящик — стол...

Та-ак! Мике расправляет плечи, вскидывает голову повыше, руки на миг застывают на полпути между ящиком и лицом; та-ак! Он еще раз подносит ближе к глазам стопку бумаг, только что извлеченную из ящика, выпрямляется и, держа в одной руке листки, другой вытирает потный лоб...

Нашел? Что? И чего ему искать в профессорских ящиках? Гарункштис знает все, мил человек, промелькнуло вдруг; запершило в горле, защекотало в носу; ты, мил человек, и не представляешь, как много я знаю... И тут Ауримас почувствовал, что ему не удержаться...

— На здоровье, — услышал он в ответ на свое звонкое чиханье; это было глупо, вовсе бессмысленно, как и все, что довелось увидеть в эту ночь, к тому же неожиданно, как гром с ясного неба; а может, и впрямь грянул гром. Может, ибо Ауримас уже больше ничего не видел и не слышал — только этот глуховатый голос Мике, который взрывом навис между ними, только тускло блеснувшие глаза; свет вспыхнул и погас. Зашуршала бумага — где-то близ самого уха; не глядя, ощупью, Ауримас нашел руки Гарункштиса, схватил и с силой потянул к себе.

— Отдай! — проговорил строго, но тихо, пуще всего на свете боясь, как бы не проснулись Вимбутасы (за стеной — Марго); это вылилось бы в сущую трагедию. — Положи на место.

— Молчи... ты! — прошипел Мике. — Тебе-то что? Молчи!

— Отдай!

— Скажешь, твое?

— Живо!

— Убирайся! — Мике дернул руки; Ауримас качнулся к нему, но устоял на ногах и не выпустил его рук, только еще крепче сжал немеющие пальцы.

— Мике, говорю тебе...

— И я говорю: иди ты спать... И не лапай меня со сна, я не девка... А ну-ка...

И он снова потянул руки — теперь сильней и снова, понятно, вместе с Ауримасом; тот и не думал отступать.

— Трясешь? — Ауримас изо всех сил дернул руки; Мике тихонько взвизгнул. — Собственного тестя?

— Ага... интересуюсь приданым...

— И чего же тебе тут надо?

— Как раз того, чего не надо тебе, — отвечал Мике, пытаясь освободить свои руки. — Пусти, тогда скажу... — Было заметно, что перспектива долгого разговора его не прельщает — здесь, в такой обстановке, при выдвинутых и разворошенных ящиках. — Чего надо мне, того не надо тебе — ясно? Разве грешно проявить интерес к бумажкам своих родственников?

— Не заливай! Среди ночи, в спящем доме...

— А ты когда предлагаешь? Среди бела дня? А ну пусти!

— Пока не скажешь, что ты ищешь здесь...

— Затонувший клад. Сокровище Серебряного озера. Доволен?

— А поточнее?

— Вчерашний день, — Мике напрягся изо всех сил и по-стариковски закряхтел. — Прошлогодний снег... А теперь — сгинь! Сгинь с моих глаз! Живенько!

— Что ж, сейчас я Марго... Может, она...

— Марго? О да, тут только ее одной...

— Марго! Марго!

— Молчи ты... идиот! — Мике сжал свои пальцы в кулак; это ему удалось; он даже вытащил левую руку — бумаги снова зашуршали. — С тебя станется, честное слово! Такой осел и впрямь готов поднять весь дом

на ноги!.. Быстро отпусти руку, слышишь? Не дави, не казенная!

— Зову профессора. Сейчас же. Мике, я тебе прямо говорю — я крикну...

— Профессора? Смех! — осклабился Мике, и опять в темноте сверкнули зубы. — Он крикнет! А жить где будешь, а ? У Меты? В одной постельке с ней и с ее кривым...

— Мике! Устрою скандал!

— Только попробуй, — произнес Мике неожиданно вполне спокойно, — ты только попробуй шуметь, мой дорогой... Думаешь, тебе поверят, что я один, на свой страх и риск... Когда увидят здесь нас обоих...

— Ну, тогда... Ма-ар-го-о-о!

— Пусти, бегемот...

— Бегемот?!

— А то кто же... небось не друг...

И тут Ауримас впрямь несколько ослабил руку; итак, Мике сказал...

— Бегемот?!

— Зараза ты!

— Вор!

— У!

Мике неожиданно крепко и ловко ударил Ауримаса коленом в живот; потемнело в глазах; Ауримас скорчился в три погибели, но и сейчас он не выпускал эту натянутую, словно звенящая струна, руку Гарункштиса и повлек ее за собой — куда-то к профессорскому столу, к отверстым ящикам; что-то с грохотом упало на пол.

— Ай! — завопил Мике и подпрыгнул; что-то, видимо, упало ему на ногу; возможно, то была мраморная лампа Вимбутаса; раздумывать было некогда. — Дерьмо! Дворник при Мете! Теперь готов переметнуться, а? К Марго теперь лезешь, лауреат кислых щей! На́ тебе, на! На — за все! На-а!

В глазах снова потемнело — теперь надолго; Ауримас застонал и отпустил Мике; тот вскочил на подоконник — гибким прыжком нашкодившего кота; снова стукнула створка окна.

И рванулась прохлада — вспыхнул свет...

На пороге стояла в ночной сорочке, со спутанными волосами Марго.

— Мне послышалось, как будто... — проговорила она, глядя не столько на растерянного, все еще оглушенного Ауримаса, сколько на открытое окно, за которым только что скрылся Мике, и на кисейную занавес-

ку, которую в окоеме трепал ветер. — Мне, Ауримас, послышалось, будто здесь... в кабинете... кто-то меня...

— Тебе правда послышалось, Маргарита, — Ауримас тоже бросил взгляд на окно и обомлел; там, на подоконнике, ветер подкидывал одинокий лист бумаги; ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ МОЛОДЫМ — было написано там крупным почерком профессора — и таким толстым пером, что читать можно было издалека; ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ МОЛОДЫМ с красной правкой "Литуаники" Грикштаса; где же остальные листы? А вот и они — на полу, у ног, рядом с упавшей со стола лампой...

Глуоснис наклонился и подобрал листки.

— Ты никого не видела, Маргарита, — он тронул ее за руку; девушка вздрогнула. — Тут никого не было. Совсем.

— А ветер... Как хлопнуло окно, — она быстро заморгала. — До смерти напугалась... Чуть было не побежала к тебе.

— Ко мне?

— Такой страшный ветер... — она медленно провела ладонями по груди; пальцы скользнули по упругим, темнеющим под легкой тканью сорочки бугоркам. — Когда так хлопают окнами... спать девушке... Да что с тобой, Аурис? У тебя такое лицо...

— Ветер гуляет по окнам, Маргарита, — он отвернулся, шагнул к стене и выключил электричество. — Ступай ложись. Окна я закрою...

Но она продолжала стоять, точно белая, размытая тень; это его озадачило.

— Да пойди, пойди, Маргарита, — он легонько подтолкнул ее, норовя пройти сам; повеяло близостью женщины; недавним сном. — Видишь ведь — все в порядке.

— В порядке? Но ты меня звал?..

— Тебя?

— Да... Или мне только послышалось, Аурис?..

— Верно, Маргарита... послышалось...

— Во сне, — созналась она. — Ты мне, Аурис, часто снишься... и почти всегда под утро...

— Ах, да спи ты, спи, Маргарита, — облегченно вздохнул Ауримас; не видела! Она ничего не видела, не заметила, Маргарита Вимбутайте, — ведь она ничего об этом не говорит; не видела, как Мике выскочил через окно, — прикидывается, что не видела... ведь если бы она заметила... если бы проболталась, что видела... если бы хоть единым словом... или намеком... тогда... — Ты ангел, Маргарита! — воскликнул он. — Особенно в та-

ком наряде... — Подхватив ее за талию, несмотря на колющую боль в пояснице, он довольно браво подкинул ее вверх; вскинулись волосы и легкая ткань сорочки. — Но если, бедовая девчонка, ты что-то видела... то есть во сне, конечно... тогда, касаточка...

— Только тебя, — сонно пролепетала она и обвила руками его шею; Ауримас прямо-таки посадил ее на пол. — Ауримас, только тебя одного... Ты учти: госпожа Мета не единственная дама в нашем городе... и не одна она может и умеет любить... и не только она имеет право... не только Мета и Соната... эта расфуфыренная красотка с танцплощадки... Хотя знай, Даубарас...

— Ах, да подите вы все к черту! — воскликнул он. — Все до одного и все до одной! — повернулся и, кое-как миновав забитый книгами коридор, закрылся у себя в комнате.

Ветер утихал. Светало. Ауримас поймал себя на том, что стоит посреди комнаты в рубахе и трусах — такой, каким его вышибло из сновидения... Он взял полотенце, смочил его водой из графина, несколько минут постоял, прижимая его к левому глазу, потом оделся и неторопливо начал собирать вещи.

XXXIX

Пригородный на Крантялис отправлялся через полчаса, но у платформы уже попыхивал вильнюсский. Я поставил чемодан и присел на скамью. Я был пуст, как опорожненное ведро. Сух, как старая бочка. И торопиться вроде было некуда, а свежий воздух для моей разгоряченной и многострадальной головы...

— Стало быть, в Вильнюс?

— В Вильнюс, — ответил я с опаской; передо мной стояла Соната. — В Вильнюс, да-да.

— Вот как, — ответила она и поставила на скамью небольшой спортивный чемоданчик; лицо у нее было бледное и тревожное. — Вот как, значит... Я тебя искала...

"Опять?" — хотелось спросить, но я воздержался: меня насторожила ее бледность.

Сейчас начнет лезть в душу, подумал я, стараясь прикинуть, сколько же времени я не видел ее; к своему удивлению, я был вынужден признаться, что около двух недель... Две недели! А мне-то казалось, что никак не меньше полугода.

— А что случилось? — спросил я, не ожидая ее рас-

спросов; как никогда не хотелось пускаться в объяснения.

— Да ничего особенного, — сказала она и грустновато улыбнулась. — Вчера арестовали моих.

— Твоих? Обоих?

— Да. Вчера вечером. Говорят, повезут в Вильнюс.

"А за что?" — чуть не выкрикнул я, но тут вспомнил прокурора Раудиса и закусил губу; об этом говорить не хотелось. "Поменьше наведывайтесь к Лейшисам, ясно?.. Было бы обидно, если бы это дело..." — "Дело? Вы говорите..." — "И еще: всегда надо знать, откуда что берешь. Что и откуда. Что и откуда..."

Та-ак. Платья, вина, бифштексы... Откуда? Ужины с крахмальными салфетками на коленях... Откуда все это? Зарплата? Но работала одна Лейшене, а остальные... "Плеврит... какая уж тут работа при такой болезни..." Посмотрим, Валерий Лейшис, посмотрим, не такой уж ты тяжкий больной... а то и вовсе... Да и пива, думаю... теперь...

Почему-то было не жаль Лейшисов, нисколько, хотя это было с моей стороны неблагородно; черная неблагодарность; я и сам удивлялся тому, что мне их не жаль; я даже не знал, за что они арестованы и будут ли их судить; но Соната вызывала жалость — особенно это ее внезапно побледневшее лицо, и какая же она все-таки красивая, красивая даже сейчас (несколько парней, точно по команде, пожирали ее глазами на расстоянии); а ведь она меня искала; что я могу для нее сделать?

— Я хотела, чтобы ты проводил меня, — она глядела в упор, ее глаза вопрошали. — Пойми сам, теперь, когда нет мамы с папой... всюду одна... Из-за них я и еду... может, там мне скажут, за что их...

— А может, ты и сама знаешь, а, Соната?

— Знаю? Откуда мне знать? Не за политику, это мне сказали. И что повезут в Вильнюс. Что они там. А о деньгах они мне никогда... никогда и ничего...

Заверещал свисток дежурного; ему ответил кондуктор из последнего вагона.

— Бегом! — я схватил оба чемодана; мой был тяжелее. — Быстрее! Вот в этот, средний. Бегом!

— Погоди. Можно и в хвостовой. Меньше народу.

— Не-а. Там этот... видишь? Кондуктор... Я не рассчитал, Соната, и билет взял только до Крантялиса. Но если судьба будет к нам благосклонна...

Она ничего не ответила, покорно засеменила следом.

Мы ехали молча, разглядывая попутчиков, посма-

тривая в окно; говорить было вроде бы не о чем. Под глазом у меня красовался фонарь, виски ломило, чувствовал я себя преотвратительно и уже почти сожалел, что так бездумно пустился в путь; что меня ждет там? И что скажет мне Грикштас? Как раз сегодня моя очередь делать месячный обзор печати, введенный Грикштасом, "чтобы мозги не протухли"; моим оппонентом должен был выступить Гарункштис. Вот вам и обзор!.. Ну ладно... Я стиснул зубы и довольно злобно, будто во всем виновата она, глянул на Сонату, но та даже не почувствовала; я отвернулся к окну, надвинул на глаза кепку и попытался задремать...

Проснулся я уже близ Вильнюса, за окном было мглисто, как и в Каунасе, — только здесь в этой палевой дымке тумана то и дело слышалось монотонное цоканье копыт о булыжную мостовую, раздавались ленивые окрики извозчиков; синий ветхий автобус поволок нас в центр.

— Куда же ты теперь? — спросил я, вручая ей чемоданчик; мы стояли на тротуаре возле дощатого ресторана "Мечта", в котором мне довелось побывать сразу по возвращении из России, — подавали цепеллины[1]; сейчас на двери висел внушительных размеров ржавый замок; пешеходы обходили нас.

— А ты? — вопросом ответила она.

— В Союз писателей, — ответил я первое, что пришло в голову. — Там совещание молодых.

— Молодых?

— Да. С двенадцати.

Не знаю, почему я солгал ей, сболтнув первое, что стукнуло в голову; я так и видел у себя перед глазами костлявое лицо прокурора Раудиса и ничуть не желал идти с Сонатой — идти т у д а; вдруг ее родители на Лукишках? Скорее всего, там они и находятся, потому что если н е з а п о л и т и к у, значит, нахапали как следует, т а м так просто не окажешься; ну, а если это недоразумение...

— Обидно, — по лицу Сонаты скользнула тень; она смотрела себе под ноги. — А я думала...

— Что думала?

— Что ты как свой... или в память о нашей старой дружбе...

— В память?

— Ну да... если за эти две недели ты не нашел времени даже поинтересоваться...

---

[1] Литовское национальное блюдо.

— Ох, Соната, и зачем все это! Поверь, от меня пользы... И потом, у меня совещание... и велено...

— Ну, если велено, — она опять посмотрела на меня — долгим, жалостным взглядом. — Если уж тебе, Ауримас, велено...

— Значит, в полпятого, на вокзале, — сказал я и часто-часто заморгал, ощутив в горле странное пощипывание. — А... вдруг что-нибудь сможет Даубарас? Как ты думаешь?.. В память о старой дружбе...

Это было глупо — так разговаривать, знаю, это было даже постыдно — в такой момент, хотя Даубарас действительно мог бы помочь гораздо больше, чем я; но я все никак не мог простить Сонате ту встречу в гостинице, когда по велению того же Даубараса она разыскала меня и оставила одного в его апартаментах — в кресле со стертой плюшевой обивкой; о, как шваркнул Грикштас свои таблетки!..

— Даубарас? — она остановилась и возвела глаза кверху, точно что-то читала там — поверх развалин краснокирпичного дома в мавританском стиле. — Даубарас... А он... не на совещании?

— Думаю, что нет, — улыбнулся я. — По-моему, он тебя ждет. Ведь ты позвонила ему вчера, правда? Позвонила?

— Дурак, — она резко отвернулась от меня. — Боже мой, какой ты все-таки дурак! — И ушла, бойко (может, от злости) постукивая каблуками модных кремовых туфелек и беззаботно помахивая чемоданчиком; я свернул к скверу.

Вот оно что, думал я, сидя на лавочке под развесистой, но еще не одетой листьями акацией; приехал... И зачем? Кто тебя ждет здесь, в этом городе? Кому ты нужен? "В Союз писателей... Совещание молодых..." Болван! Больно ты им нужен там; гений... И вообще — ты только подумай: как все это произошло? Как ты дошел до этого? Докатился? А может, ты все еще не веришь, что это — падение? Тогда еще раз: болван! Да еще какой — ведь каждый, кому не лень, может пинать тебя ногами, сыпать оплеухи... захочет лягнуть в чувствительное место — пожалуйста!..

Я встряхнулся, вспоминая минувшую ночь, — когда застиг в кабинете Мике, — и осторожно потрогал скулу: н-да, ничего не скажешь; колет, дергает, Мике постарался, все тело ноет, горит, точно его лупцевали дубинками через мокрое одеяло... ах ты, чертов Мике!.. Так ведь можно и совсем... Конечно, и ему не слишком приятно — схватили за руку, как завзятого воришку, — хо-

тя пострадал опять-таки я один... Ведь я опять остался без крова, как и раньше, да и без работы, чего доброго; уже одно то, что не показываюсь в редакции на летучках... Но разве мог я смотреть в глаза Грикштасу — сегодня; они были белыми и слюдянистыми, точно подернутые ледком; о, если только из-за Меты... Да из-за чего еще, Грикштас, из-за чего, если не из-за нее; и Даубарас из-за нее, и Жебрис — эти два бегемота; что ты делаешь; играю; я играю с бегемотами, а бегемоты играют с самоварами; литофес, поист, шьто тиеляю?..

У меня так больно сжалось сердце, что я встал и, волоча свой неказистый, облупленный чемоданишко, побрел по совсем уже разогретой полуденной улице. Прошел ее всю от Кафедральной площади до Зверинского моста, постоял над рекой — там ловили сыртей, на обратном пути меня занесло в кинотеатр — будку с островерхой крышей, дощатую, хоть и немалых размеров, там на полу, словно под музыку, довольно лихо отплясывали блохи, — вышел, перекусил в тесной, затхловатой чайной и пешком, не расставаясь с чемоданом, вернулся на вокзал; часы показывали четыре.

Сонаты еще не было видно, хотя локомотив уже пыхтел и фыркал — как вволю поевшая овса лошадь; я притулился к столбу.

Мимо спешили люди, поодиночке и группами проходили солдаты, толкались дети, я стоял и без интереса смотрел на пеструю бурлящую толпу, куда-то стремящуюся мимо меня; я никуда не спешил. Но я ничуть не сожалел, что съездил, путешествие меня как бы отрезвило; жизнь снова показалась мне не такой уж бессмысленной и страшной.

Что ж, Грикштас меня простит, думал я, озираясь,— знакомых вроде и не видно, а жить можно и на Крантялисе... автобус каждый час... Наконец, сейчас, когда бабушка работает, я и без зарплаты у Грикштаса...

Без зарплаты? На Крантялисе, без зарплаты? Я снова пал духом и помрачнел; перспектива возвращения на Крантялис меня не радовала...

— Глуоснис? — кто-то тронул меня за плечо; я испуганно съежился. — Ты? Ауримас?

Передо мной стоял высокий чернобровый парень с прямыми плечами и медовыми глазами дрозда; быстрый взгляд этих глаз кольнул меня в лицо.

— Ты? — он протянул руку, указывая на мою скулу, которая, как на грех, опять заныла. — Да кто же это тебя в столице так расписал...

— А, сам... — ответил я, узнавая Юозайтиса; только его мне сегодня не хватало — редактора Юозайтиса; вот и он, долгожданный; он был с портфелем, в защитной дорожной куртке. — И вовсе не в столице... Упал и...

— Упал? — Юозайтис оглядел меня всего — с головы до чемодана, поставленного у ног; явно не поверил; но расспрашивать перестал; я сказал:

— Каждому случается упасть, правда? Так что ничего тут смешного нет, товарищ редактор... Ну, совсем ничего.

Нет, вы только подумайте! Юозайтис! Что ж, повстречались в марийских лесах, валили сосны, прокладывали ту ледовую дорогу — скажите на милость!.. Делились последним куском — как и все, разок или два смотались в деревню поплясать с русскими девушками... Редактор! Персона. Фигура. "Юозайтис, брат, фигура" — уж не Даубараса ли это слова? Нет, не его — Грикштаса... "Юозайтис — фигура, и если бы ты поговорил с ним..." Поговорить?

— Упасть — неважно, — точно старый человек, покачал головой Юозайтис. — То есть важно, но... Важнее подняться. И быстро. Чтобы не растоптали. Вот что важно... И может быть, мы, присуждая тебе премию... должны были подумать... должны были подумать... Как своего автора... отстоять и уберечь...

— От чего?

— От таких критиков... которые своих...

— Ох, да не говорите!.. — воскликнул я. — Не хочу! Не хочу и слышать больше!

— Работаешь?

— Не-а... — снова солгал я — будто дергал меня кто-то за язык; не знаю, зачем я это сделал, раньше со мной такого не случалось; неужели я уже стал считать, что ложь меня убережет надежнее, чем правда, или же просто мной руководило чисто детское упрямство или желание поскорей покончить с этим неприятным для меня разговором; кроме того, сегодня-то уж я точно... вернее — с сегодняшней ночи... — Я, видишь ли, рабфак.

— Рабфак?

— Ага. Светлое грядущее нации.

И усмехнулся. Негромко, себе под нос; может, впервые за весь день я по-настоящему, с удовольствием засмеялся, хотя повода для веселья не было ни малейшего. Просто хотелось изображать из себя беззаботного весельчака, хотя на душе у меня, сознаюсь, кошки скребли; да перед кем это я? Перед Юозайтисом? Раз-

деваться догола? Объясняться? Но ведь он, кажется, знает все — и все знают... А если он з н а е т, то...

Загудел паровоз. На втором пути. Юозайтис забеспокоился.

— Какая жалость, нет, какая жалость!.. — он подал мне руку. — Командировка... — Словно невзначай он еще раз глянул на мою скулу; видимо, та и впрямь выглядела внушительно. — Похлебали бы пивка... вспомнили бы леса марийские... все бы обговорили... Вообще-то меня давно подмывает переманить тебя в Вильнюс... к нам в редакцию...

— Ну, знаете, при моей репутации... вам бы...

— Насчет штатов? — Юозайтис сделал вид, что недослышал. — Слава богу, хватит и штатов, и столов... Помнишь, когда-то... когда мы с тобой работали в лесу, ты говорил...

— С тех пор многое переменилось, товарищ редактор.

— Редактор?

— А как еще?.. Мне до вас — как руке до макушки вон той сосны...

— Брось ты... останемся друзьями...

Я ничего не отвечал.

— После того, как мы получили твоего "Солдата", — он пристальней вгляделся в мое лицо, — я понял, что ты уже никуда больше...

— "Солдата?"

— Новеллу, вот именно. Фронтовую твою новеллу. Она изумительна, слышишь?.. И пусть потом эта статья... этот недоступный трезвому уму вздор... я в тебя, братишка, все равно... и деньги эти в кассе... гонорар...

— Ах, будьте здоровы... До свидания! — простонал я, будто чем-то жестким огрели меня по лицу: гонорар! Боже мой, — он мне напомнил... и он... — Прощайте, прощайте!.. Там ваш поезд... А это вот — наш. Мой. Прощайте!

Появилась Соната. Запыхавшись, бежала она по перрону, размахивая своим спортивным чемоданчиком; в другой руке она несла, прижимая к груди, букет пунцовых тюльпанов. Мне показалось: она улыбается; это меня почему-то возмутило.

— Ого! — воскликнул я, когда Соната, вся сияя, приблизилась ко мне. — Оказывается, там дарят цветы!

— Где — т а м? — улыбка слиняла с ее лица.

— Там, где ты была. На Лукишках.

— На Лукишках? Ауримас, а тебе не кажется, что ты...

— Разве ты не оттуда?

— А тебе еще интересно? — она вскинула голову, волосы красиво взметнулись и снова легли, обрамляя шею, повязанную песочной шелковой косынкой; щеки горели — от спешки или от злости, не разберешь; или оттого, что она несла такие прекрасные тюльпаны — одна на весь перрон с цветами. — Интересно, да?

— Что ж... сколь скоро мы вместе прибыли...

— Нет, не оттуда... От самого товарища... э...

— Даубараса?

— Нет уж... — она смерила меня снисходительным взглядом; ясно, у кого научилась. — Почему обязательно от него? Нас ведь все знают... Лейшисов... В гостинице, ты учти, не один только Даубарас... И скажу тебе: напрасно ты меня не проводил, потому что там... и тебе...

— Мне? А что мне?

— То, что интересовались...

— Мной?

— И тобой, да... И я считаю, что для твоего же блага было бы лучше, если бы ты...

И эта! Гляньте-ка, и эта поучает, все: важно, Аурис, не то, что важно, а то, что...

— А ты? — спросил я, желая поскорей покончить с этим делом. — Ты что-нибудь успела? Добилась?

— Сама не знаю, — она пожала плечами и поднесла к лицу букет — кроваво-красные тюльпаны. — Выяснится в четверг... сказали опять приехать... Только обязательно вдвоем, так как товарищ... э... товарищ в этот четверг... в три часа... после обеда... приглашает нас с тобой...

— Ого! Приглашает!.. Тогда, может, и разговор об этом, Соната, до четверга отложить, а?

Она ничего не ответила и юркнула в первый же вагон; я последовал за ней. Приглашает? Меня? Уж мне-то, полагаю, там не станут дарить цветочки, отнюдь, подумал я, проталкиваясь через толпу в конце вагона; поезд был переполнен. Но Сонате сегодня везло — она вся сияла, а солидный гражданин в шляпе поднялся, взял со скамьи свой портфель с металлической монограммой и учтиво предложил ей сесть; она поблагодарила его улыбкой и тут же села, цветы положила себе на колени; я встал рядом...

— Может, все-таки зайдешь? — сказала она, когда мы, уже под вечер, пешком дотащились до улицы Донелайтиса и остановились возле дома Лейшисов; окна подернулись сумраком. — Ведь ты... разве я не ви-

жу... — она глазами показала на мой чемодан, с которым я весь день был неразлучен.

— Видишь? Ты видишь? Ах, как это меня волнует! — обиженно заворчал я; вы только подумайте, какая сообразительная, сразу смекнула! Но, милая барышня, что-что, а на эту тему я с тобой, пожалуй... — Ты, Соната, как-то все удивительно быстро...

— Но как же иначе, Ауримас? — она погладила меня по руке; я невольно отстранился. — Я не слепая... знаю, что профессорские дочки — создания капризные... своенравные... и не всегда будут стелить тебе постель, правда? Оба мы, Ауримас, в беде, но оба что-то из себя изображаем... хотя...

— Хотя? — словно эхо, откликнулся я.

— Хотя я теперь все же не та, что была... не доверчивая овца, Ауримас... Что же мы встали? Пойдем... — она опять тронула меня за руку. — Дома у нас, конечно, не бог весть что, но стакан чаю найдется... В память о нашей старой дружбе... или любви... — Она засмеялась похожим на кашель сухим отрывистым смешком. — Этой давней, нелепой любви... эх! Надеюсь, кухня Лейшисов еще не опечатана... и постели... подушки и одеяла...

— Ну, что ты... — я испугался — ее холодного, чуть ли не делового тона, так напоминающего Лейшене, беспристрастного тона, которым она излагала такие, не совсем обычные в моем представлении, новости. — Может, я все-таки как-нибудь до Крантялиса... до ''именья'' Глуоснисов...

— До Крантялиса? — Она чуть помедлила, потом взглянула на меня; я увидел в ее глазах хорошо знакомые мне зеленые огоньки. — Говоришь, до Крантялиса... А если сегодня, Ауримас, последний раз? Последний для нас с тобой...

— Последний? — я ощутил холодок в груди; это слово всегда пугало меня: п о с л е д н и й; однако мы ведь уговаривались — в четверг... — Неужели ты думаешь... они... и тебя тоже...

— Меня? — дрогнул ее голос, у меня больно заныло сердце — так надрывно дрогнул ее голос. — Почему же, Ауримас, меня? Меня?.. — рука с цветами поникла. — Ты... ты с ума сошел! Меня...

И вдруг она расхохоталась — да так громко, что люди, ожидавшие автобуса на противоположной стороне улицы, как по команде оглянулись и удивленно, даже осуждающе уставились на нас. Я повернулся к ним.

Там, среди прочих, на остановке была и Мета; сжимая в руках коричневую лакированную сумочку, во

все глаза смотрела на нас с Сонатой. Она даже подалась на шаг-два вперед, в нашу сторону, но неожиданно резко остановилась и, чуть покачнувшись, отступила назад, к людям. У меня мелькнуло: а ведь глаза у нее сегодня такие же тускловато-мутные, как у Йониса Грикштаса — —

XL

Их, только эти холодно блестящие глаза, видел он, стоя там, на истоптанном множеством ног пригорке, куда примчался прямо с экзамена; накрапывал дождь. С поднятым воротником, уронив мокрые волосы на вспухшую щеку, оглушенный и разбитый, Ауримас теснился в толпе, пуще всего боялся, как бы Мета не увидела его; прямая и отрешенная, стояла она рядом с большим коричневым гробом (Грикштас уместился бы и в меньшем) вместе со всеми и в то же время одна, окруженная доступным лишь ей одной безмолвием, скорбная и, как всегда, прекрасная; и смотрела она не на Грикштаса — лежащего в гробу увечного своего мужа, а куда-то поверх него, на деревья; может, она и впрямь видела меня? Я говорю: может, так как тогда она шагнула ко мне, видимо желая что-то сказать, и застыла, замерла посреди улицы, увидав Сонату, и вернулась назад, где стояла прежде; вдруг она искала меня? Ведь Грикштас умер в то утро, когда мы с Сонатой ездили в Вильнюс, умер по пути на службу, рухнул недалеко от татарской мечети, упал, и все, — так сказали в редакции, куда я все-таки зашел; летучка, понятно, не состоялась — не было ни Грикштаса, ни Гарункштиса; потом все занялись хлопотами в связи с похоронами — все, кроме Ауримаса и того же Гарункштиса; сейчас Грикштаса предадут земле.

Ах, это было глупо — думать о Грикштасе и смотреть на Мету, которая так тихо, сжимая в руке платок, стояла у гроба, — но что он мог с собой поделать, если среди всей толпы видел и различал только ее одну. Отчего так спокойна? Почему не рыдает, не падает на гроб, который так жутко стоит рядом с бурым песчаным холмиком, почему не обвивает его своими точеными руками, не прижимается лицом, не орошает слезами; кого она ждет — меня?

Я здесь, я здесь — мог бы выкрикнуть я; я с тобой, Мета; не все ли равно, что ты видела нас, что рассердилась; я здесь!.. Я могу окликнуть тебя по имени — если хочешь, могу подойти, встать рядом, могу... Могу могу могу — колотилась в груди большая птица, раненая и

сбившаяся с пути, могу могу могу... Но губы не двигались, точно оледенели, ноги до боли вжимались в песок, рука не поднималась для жеста, точно к ней был подвешен груз; я здесь, вот он, я, — в один прыжок я мог бы подскочить к Мете, а стоял как вкопанный, стоял как истукан, как заклятый злою силой монах, не успевший сотворить крестное знамение; я мог, и однако — однако — —

Что сказал бы я ей? О чем бы заговорил? Выразил бы соболезнование? Утешил бы? Попросил бы прощения? Бросился бы на колени?

Да и что плохого я сделал, за что должен просить прощения; я даже к Даубарасу не пошел с Сонатой (хотя не сомневаюсь, что она была у него), проводил, и больше ничего, прогулялся, и когда Соната предложила зайти к ней, отказался наотрез, потому что... Потому что ты, Мета, появилась как раз в тот миг, когда я, возможно, усомнился и когда во мне вновь заговорила дурацкая прежняя жалость; Соната тоже была несчастлива. Но ты появилась и взглянула своими холодно блестящими — как у Грикштаса — глазами, которые — впервые за все время нашего знакомства — вызвали у меня непостижимый страх, мурашки поползли по всему телу; я пожал руку Сонате и ушел... Неужели я знал, что нет больше Грикштаса, у ж е н е т; неужели я мог это знать; может, ты хотела мне сказать... Но ты увидела Сонату, Мета, и ты... Нет, нет, я не забыл своих слов: бежим отсюда, Мета, хоть на край... куда угодно... но не забыл и того, полного отчаяния движения руки Грикштаса, с которым он швырнул наземь таблетки (целую горсть).

Но Грикштас умер, и было бы нечестно не проститься с ним; тем более что прощание происходило не в редакции, а дома, куда заглядывать Ауримас боялся, поскольку Мета...после того, как Мета позавчера...

Мета? Мета? Страшно, Глуоснис: думать о ней даже здесь; б е ж и м о т с ю д а, М е т а; и видеть лишь ее одну, когда здесь же... в нескольких шагах... возле ямы...

О-о! Ведь я боялся этой любви, Грикштас, знай; боялся как чумы, как исподволь подкрадывающейся болезни; боялся всегда — с того самого часа, когда увидел ту свечу, отбрасывающую зеленоватые блики, а то и еще раньше; я боялся, а она гналась за мной, шуршала белыми, как лен, волосами Ийи, развевалась лентой (нет, не черной) в волосах, лучилась твоей улыбкой, Мета; и, будучи с Даубарасом, ты шла ко

мне, и с Жебрисом, и с Грикштасом; ты забыла об этом стоике, Мета, но все равно ты была со мной — всюду — как воздух, как звезды, как вода; вдали или вблизи, одна или со всеми, но всегда со мной — своя, ощутимая, данная на всю жизнь; поверь, это так! Не хочешь — не верь, мне все равно, я жил для тебя; я звал тебя; я тебя ласкал, Мета, — хотя ты была далеко и не слышала моего голоса; я видел тебя в Казани, когда полы моей одежды примерзали к земле, видел в Агрызе; о, как я боялся тебя!

И сейчас я тебя боюсь, — твоих рук, твоего голоса, твоей походки, шелеста твоих волос и твоих глаз, Мета; ты видела меня с Сонатой — видела нагим, и ты всегда знаешь чуть больше, чем надо, — вот почему я и боюсь тебя; ты всегда знала — чуть больше, хоть и не поднаторела в латыни; Columba streptopelia turtur; мы с тобою заживем, точно пара голубков JV 598, а если ты, мальчик, полагаешь, что черепки к счастью — —

Ах, черепки, черепки; Мета, все черепки, и только, черепки, которых мы не в силах собрать, — я тебя боюсь; почему ты не кидаешься на гроб? Почему стоишь точно изваяние, чего ждешь? И кого выискиваешь своими холодно поблескивающими глазами? Кого ты найдешь? Где? Йониса больше нет, Мета! Праведника. Глупца. Обманутого мужа. Редактора. Только гроб. Только отверстая могила. И даже ты здесь уже ничем...

Он безотчетно съежился и опустил голову, таясь от взгляда Меты, стремительно скользящего поверх толпы; возможно, она высматривала как раз его, Аурима-са; глаза эти могли нести лишь упрек или молчаливое презрение; вновь она видела меня таким, каков я есть, видела голым; а если так...

— А, сосед, давно не видались!

Я чуть не застонал при звуке этого голоса. И словно очнулся — от сна среди крестов, от наваждения, от сонмища образов и мыслей.

— И ты здесь? Откуда?

Это было чересчур — Матас Гаучас, которого я не видел добрых полгода, после той ночи, когда... и которого я боялся, как черт креста; которого я так старательно избегал (я большой, мне добавка); неужели и он тоже... Неужели и он чем-то виноват, подумал я, виноват, что нет Грикштаса, что он весь уместился в коричневом ящике, рядом с которым стоит Мета и высматривает в толпе меня; неужели виновны все, собравшиеся здесь, под роняющими слезы деревьями?

Но он был здесь, со всеми, — словно мало ему было

тех смертей под Орлом, он был со всеми и в то же время один, как и Мета, которую на миг я позабыл; огромный, на целую голову выше других; над слегка вздернутой верхней губой топорщатся жесткие черные усы; с двухметровой высоты он глядел на меня — маленького и скорчившегося, чужого для себя и других, готового в любой момент кинуться в первый же проулок и там по-детски выплакаться (и откуда же ты, Ауримас, взялся?..)

Я избегал его. Это я знал так же точно, как и то, что Грикштас умер и что Мета видела меня с Сонатой — и видела голым; может быть, я вернусь на Крантялис, а может, поеду в Вильнюс — с Сонатой, которая станет ждать меня на вокзале — в четверг; Юозайтис, понимаете ли, обещал... Говорю: может быть, потому что ничего не знаю наверняка; вся моя жизнь вдруг представилась мне похожей на мяч, который гоняют невидимые игроки, она начала принадлежать мне и в то же время не мне — другим, кто менял ее по своему усмотрению и прихоти — точно как картины на стене той ночью; вдруг она показалась мне средоточием непонятных, запутанных уравнений, раскиданных в беспорядке, и я заметался среди них, не зная, за что ухватиться — как извлечь корень (только что сдавал математику); нередко я хватался лишь за воздух, дуновение ветерка. Более того: все, что происходило вокруг меня в последние недели, казалось мне малоубедительным и похожим на сон, который к тому же снился не мне, а кому-то другому; другому снился сон, а видел его я — видел сон другого человека; именно потому он не был для меня таким мучительным, таким тяжелым, каким мог и должен был быть; потомки простят. Но были в этом чужом сне и проблески, которые относились ко мне одному, были всплески сознания, которые иглами впивались в окровавленную живую плоть, терзали и язвили меня всего; все становилось так ясно, что дух захватывало. Таким проблеском был и Гаучас, возникший здесь из небытия и задавший вопрос, откуда я здесь, — точно постороннему; большой и четкий, стоя ко мне лицом, он смотрел на меня сверху вниз, и тщетно пытался я скрыться от него хотя бы в мыслях; и мне все было ясно, еще яснее, чем в действительности; я чуть не выругался.

"Все. Провал. Гибель фантазера, — мелькнули применительно к себе самому чьи-то чужие слова, — хотя я и не пытался ломать себе голову, где и когда я их слышал, — а то и придурка; твоя игра окончена".

"Да что он знает обо мне, этот Гаучас? — подумал я, будто в настоящий момент не было ничего важнее — что знает Гаучас; шелестел дождь, капли падали с ветвей деревьев, гулко гремели о крышку горсти рыжего песка — когда же его опустили в могилу, этот гроб? — кто-то плакал. — О той ночи, когда... когда, быть может, как Грикштаса... и меня... могли... меня, Ауримаса... меня..."

Я закрыл глаза и слегка потянул ноздрями воздух — он и впрямь был приторным, чуть едким, он напоминал резкий сыромятный дух, зловоние сточных вод той ночи; я едва не чихнул; откуда же?

— Из ямы, — ответил я, как уже отвечал однажды, причем сам себе. — Из реки.

— Из реки? — Гаучас снова взглянул на меня. — Ты правда вымок. Промок до нитки. И впрямь похоже...

— Ладно, хватит! — воскликнул я. — Все мы такие! Все! И все хотим жить!

Конечно, вышло слишком громко, кто-то оглянулся и с удивлением пожал плечами (прокурор Раудис?); кто-то ткнул кулаком в бок (парнишка с длинной шеей?); но я сказал правду. Черт побери, какую явную правду сказал я сейчас, уже без малейшего страха (да чего мне бояться, чего?), глядя на Гаучаса, явившегося сюда из самого Любаваса и, точно столб (точно рок), вознесшегося над людскими головами; мне добавка, я большой! И я тоже большой, человече, когда того хочу; я могу быть большим; я хочу жить!.. Вот именно, тогда, в дождь, я... слышите! это неправда! Я жить хочу... быть... сейчас... тогда... вечно... хочу смотреть в живые глаза Грикштаса... засыпьте, завалите эту гнусную яму! Я хочу... прошу... требую... слышите: я!..

И тут вдруг я ощутил какой-то страшный дурман, непонятной лихостью ударило в виски, подлым злорадством, — оттого что не я, Ауримас Глуоснис, лег в эту яму среди крестов, не меня уложили в ящик, куда, словно вздох за вздохом, падал песок — горсть за горстью, и не обо мне перешептываются тихо люди; наконец не я оставляю все другим... и дождь, и Мету, и все... и Мету, и...

Не я! Не я! Не я! Не я!

Это было странное, непонятное мне чувство — внезапное, как ослепление, как гром с ясного неба, и точно такое же ненужное и страшное, — высвободившаяся радость плотоядного животного; но она потрясала своей бесстыдной ясностью, и можно было подумать, что все это сон, а не явь, хотя даже для сна это было

чересчур жестоко; и так низменно, так подло; было бы лучше совсем...

Увы!.. Он стоял все на том же, истоптанном множеством ног песчаном бугорке ("на чьих-то костях"), под серыми, ненастными каплями, такой чужой для себя самого и ненужный никому другому, ужас ледяной цепочкой скользнул по спине; и Гаучаса этого лучше бы вовсе...

Но тот не позволял забыть о нем (я большой...) и по-прежнему высился рядом, боком ко мне, огромный как столб, страдающий, как совесть, уронив широкую, как лопата, левую руку, — солдат Гаучас, и насквозь прошивал тебя серыми, точно орловские тучи, глазами, и сверлил, продирался внутрь — все видя и вспоминая все от самого начала (когда я был в России... и когда, Ауримас, ты...)

Ага! — я чуть не застонал, теснимый и раздираемый изнутри; да ведь он и меня видит всего насквозь — таким, каков я есть; раздевает и видит мою наготу; вот зачем он пришел сюда! Чтобы вспомнить маму, Костаса с его проклятой гитарой, мальчика, которого преследовал Старик, — Казань — примерзшую к земле шинель — дыру в легких — больницу — тебя, Ийя, — — Гаучас снова напомнил мне Ийю, легкую, точно пушинка, с воздушными, светлыми волосами — так удивительно похожую на Мету и в то же время совсем другую — сказочную; напомнил Солдата, окопавшегося в ослепительно белых снегах, поднявшего автомат черным дулом кверху — к рушащемуся прямо над касками небу; и безусого комсомольца, без памяти бегущего прочь от Старика, осененного свастикой, — множество дней; тум-тум тум-тум тум-тум — — он напомнил мне самого меня; оборванного, еле волочащего ноги, изголодавшегося, но сберегшего комсомольскую кассу; меня и не меня; что ж, Ауримас, тогда и я другой, — что ж, Грикштас...

Мысль оборвалась от внезапного крика — кто-то в самом деле пал на свежую могилу; Ауримас безотчетно кинулся туда, где загудели голоса и где кто-то с пронзительным воплем — не дам, слышите, не дам! — рыдал и корчился на буром песчаном холмике; в этот миг я сам себя не узнал. Но то не была Мета, ее-то я увидел раньше, чем услышал голос — так хорошо знакомый, что я устыдился, как я мог спутать, и увидел, как поднимали невысокую смуглую девчушку; Юта; кто-то толкнул меня в бок.

— Пойдем, — я не сразу опознал голос Гаучаса; он был каким-то изменившимся, хриплым. — Пойдем, — повторил он снова и подтолкнул меня; я будто проснулся; нет, не другой! К сожалению, не кто-то другой, а я, Ауримас Глуоснис, вижу этот сон, от которого меня будит Гаучас; эту явь, очнувшись от которой... — Нам здесь уже нечего делать...

— Нам? — я взглянул на него. — Почему нам? Почему? — спросил я, хотя голоса своего не расслышал — так шумело в висках. — Почему — нам? — Почему — нечего? Если такой золотой человек... такой мужественный... как товарищ Грикштас... который мне...

— Потому что человека надо уважать живого, — стальные глаза Гаучаса впились в меня — вонзились, как в дерево; меня бросило в жар. — И любить. И беречь. Если он настоящий. Если человек. А мертвому, Ауримас... во сырой земле...

— Но если слишком поздно увидишь? — вырвалось у меня. Он знает, этот человек! Всегда он все знает! А если знает, то... — Уже тогда, когда человека больше нет... И если я... сам того не желая... каким-то непонятным, неведомым мне образом...

— Чего это — не желая?

— Если бы я не сказал ему кое-чего... так ужасно, так гнусно не сказал бы... может, он бы...

— Вот оно что! — Гаучас покачал головой. — Тут я тебе скажу: кабы я не знал, что мы с тобой в одном окопе... из одного котелка... может, и поверил бы... а так...

И снова ткнул меня чем-то жестким, кажется, нечаянно; я обернулся... И тут вся кровь кинулась мне в лицо: правая рука Гаучаса, в белых гипсовых тисках, висела на перевязи на груди, а я только сейчас заметил.

— Его окопы в бабьих юбках, папаша, в объятиях каунасских дамочек... Окопаться там, надо полагать, куда удобнее и теплее, чем, скажем...

— В объятиях? — Гаучас повернулся на голос; сверкнули бинты. — Что еще за объятия? — глянул на меня; лоб нахмурился, помрачнел.

— Что за объятия? Барыни-сударыни Грикштене — вот как! Госпожи редакторши! Каждый уличный мальчишка в Каунасе вам скажет, что этот субчик... глубокоуважаемый лауреат Глуоснис... и эта самая многоуважаемая и высоконравственная особа...

Дальше я не слышал — я увидел Гаруникштиса. Он стоял совсем рядом с нами, у сосны, непринужденно

согнув в колене ногу в вызывающе добротном сапоге, и, зажимая мясистыми, посиневшими губами папиросу, изредка посасывал ее; возможно, он еще что-то сказал. А может, и нет, понятия не имею, может, и умолк; только поднял руки к лицу и съежился, хотя и не успел вынуть изо рта папиросу. Даже убрать с лица иронию, видел я. Я весь напрягся, точно струна, глубоко вдохнул и, не обращая внимания на людей, изо всех сил, наотмашь, ударил его по лицу...

XLI

— ...Перо или смерть? — крикнул Старик, тряся мальчика за полы; он уже нагнал его, ухватил толстыми маслеными пальцами и тряс, как тряпку. — Что? Что? Что?

— Хочешь знать? Очень хочешь?

— Говори быстро, сучий хвост... не то я сейчас...

— Мета.

Пальцы Старика расслабились, губа отвисла, открылись крупные бурые клыки; он даже склонил набок подернутое щетиной, с вислыми баками лицо и выставил огромное, заросшее желтоватыми волосами ухо — будто не расслышал, а то и вовсе не слышал; мальчик кинулся прочь.

— Мета? Мета? Ме-ета? — Старик простер вперед руки и стал ловить воздух перед собой. — Ты, кажется, назвал имя... которое даже я... Старик...

— Как слышал, — мальчик не мигая глядел на него красивыми большими глазами; я заметил, что они голубые, и почему-то обрадовался — как будто мне не все равно. — Как слышал, Старик: Мета... И если ты думаешь, что только тебе одному... только тебе да тебе...

— Мета? — повторил Старик, выпучив глаза; большущие, точно яблоки, блестящие, они так и горели злобой. — Но женщина... мертвому... гм... умершему...

— Умершему? Ого! Мерт-во-му?! — мальчик так весело расхохотался, что мне сделалось отчего-то не по себе. — Так знай же, подлый Старик: изрыгай ты хоть самое адское пламя... запугивай как можешь... я никогда... до самого последнего мига... я, Старик, до последнего мига жизни своей...

— Значит, выбрал... — прошипел Старик. — Ладно. Если смерть, то... — Он поднял руку; вскинулись линялые лохмотья рубахи; глаза багрово зажглись. — Ты

украл мое перо... понял?.. Мета!.. И поэтому ты, чурбан, сейчас же... сию же минуту...

Сверкнул металл — сквозь лохмотья линялых рукавов — Мальчик замер — — — — — — — — — — — — —

XLII

О, глупец! Этот Старик распоследний глупец, глупец, если он думает заполучить Мету! Глупец! Глупец! Тысячу раз глупец...

Задыхаясь, шаря руками во тьме, он вскарабкался на гору, перебежал улицу и юркнул через калитку во двор; здесь. Ему все время было ясно, что он окажется именно здесь, хотя он и направлялся как бы в противоположную сторону; здесь. Приходила? Соната? Зачем? А-а, четверг. Договорились встретиться на перроне и, конечно, встретятся, зачем бегать на Крантялис? Что-то послышалось сквозь сон, что-то и когда-то, что-то привиделось, но вдруг это было во сне? И бабушкин голос: который ты у нее по счету, детка, — и запах, идущий от раненного под Любавасом Гаучаса, и высокий, с поперечной складкой лоб Бержиниса, и движение руки, и брезгливая гримаса; не нужны хулиганы? А мне трусы; мы квиты. И карьеристы. Аурималу в день рождения — Соната; не нужна и авторучка, отдаст на вокзале — не надо мне ничего чужого; мне бы только...

Он поднял руку, нащупал в темноте кнопку звонка и несколько раз кряду энергично нажал; потом он долго яростно нажимал на кнопку, словно этот разнесчастный звонок один был повинен в его внезапном решении: забрать Мету; может быть, это последняя возможность. Последняя, ведь Старик в самом деле подстерегает ее и ждет, когда другие уймутся; только он один и может обрадоваться нашей дурацкой размолвке. А вдруг и не было никакой размолвки и все уладится? Должно уладиться... Он придет туда, куда все время рвался... придет и скажет: пора. Мы с тобою заживем, Мета, словно пара голубков. Так будет. Потому что ты моя, только моя. Потому что все остальное кануло во мрак, покрылось пылью. И осталось только это. Эта жажда. Этот аромат. И теснящая боль в сердце. Сон... Мираж... Бред... Все это ты, Мета... Который по счету?.. Да хоть сотый... Для себя... я... у тебя... первый... И всегда буду первым, и всегда единственным... и последним. Он скажет ей, что видел на кладбище и до того — когда

разглядывал эти сменяющие одна другую цветные и серые картины, и про бегемотов, играющих с самоварами; что думал он о Мете с того самого дня, когда... Нет, не с того, когда Мета отказалась бежать из Каунаса — и послала к нему Ийю, а с того, когда увидел ее в первый раз — с белыми, оттопыренными вперед ладонями; а может, это было тогда, в дождь, когда сквозь мятущиеся зеленовато-шелковые блики свечи он ощутил взлелеянный в детских снах аромат ее волос и понял, что будет жить, что снова будет жить, хотя проклятый Старик еще долго — —

Он перестал звонить и несколько минут выжидал, вдруг услышит шаги (столько времени он терзал звонок, и глухой бы проснулся), но там, за дверью, было до того неприветливо тихо, будто он, Йонис Грикштас, все еще находился там; ее нет? Где же ей еще быть, как не дома? Сейчас? Среди ночи?

Стало не по себе. Он еще несколько раз нажал на кнопку звонка, хотя не слишком надеялся, что откроют, потом — уже машинально — толкнул дверь. И — о, чудо — дверь открылась, едва лишь он надавил на прохладный чугунный шар, прибитый вместо ручки, он чуть было не упал в коридоре; повеяло Метой. Именно ею, как тогда, осенью, когда она вошла со свечой, отбрасывающей зеленоватые отсветы, и встала у дивана; когда она видела меня голым; он протянул руку, отыскивая выключатель, но вдруг отдернул пальцы от стены, точно его ударило током; и скорчился в три погибели, услышав голос Меты, плывущий откуда-то издалека — из детства; он толкнул дверь...

— Мета! — чуть не заорал он во весь голос, бегом вбегая в комнату, где по-прежнему стоял тот пестрый диван, на котором он лежал тогда, разговаривая с Ийей. — Я здесь, Мета, я пришел... И если ты хочешь, Мета, мы уже навсегда... Пора! Я люблю тебя, Мета! Мета, я тебя люблю, хотя...

И вдруг он встал на пороге, словно ослепленный, простертые вперед руки бессильно упали: Мета была не одна. Кутаясь все в тот же тонкий, светло-зеленый шелковый халат — словно в струи тумана, — она стояла спиной к стене и смотрела на столик, где, как и когда-то давно, теплились две-три свечи; здесь же, сцепив на столе руки, потупившись, сидел Казис Даубарас; они не сразу увидели Ауримаса. И даже когда увидели, ничуть не растерялись, словно так и должно было быть, словно все заранее было предусмотрено в этом романе: стоик. Тот же самый маленький, взъерошенный,

встревоженный ночной темнотою стоик с Крантялиса снова маячил на пороге. Но он был стоик и улыбался — даже истекая кровью, даже чувствуя, как глаза застилает туманом; прищурившись и глуповато осклабившись, глядел он на них — на Казиса и Мету, двоих голубков, воркующих о делах, известных им одним: помогай им бог!

Это сон, сказка, это наваждение, Ауримас, — шептало что-то внутри. Наваждение? Казис Даубарас — наваждение? И Мета у стены, и он, стоик с Крантялиса, после стольких лет снова перешагнувший порог ее дома и... Он даже глянул на раздвижную дверь за спиной у Даубараса, как и когда-то, в надежде увидеть там Грикштаса — на том кожаном топчане. Не было Грикштаса; нет, не наваждение; Грикштаса, мил человек, нету, его никогда не будет, — только ты, Даубарас да Мета — все та же троица; снова троица; он, Мета и Даубарас — студент Казис Даубарас — представитель Даубарас, вновь очутившийся здесь, у Меты, и вновь, быть может...

И тут Ауримас осознал все отчаяние своего положения.

— Мета, — сказал он сквозь зубы, пытаясь не глядеть на Даубараса. А может, это говорил кто-то другой — прежний Ауримас; с т о и к. — М-мета... — повторил он, с ужасом чувствуя, что заикается — как и тогда, в детстве, — от испуга или волнения; и снова он увидел Яську, Юзьку и Ваську — там, на горе; и ночь, и непонятной, дикой яростью горящие глаза; поддай дай дай — вдруг расслышал он; дай; за то самое; за красивые глаза, балда. — М-ме-та... Я п-при-нес т-тебе...

— Ты тут?!

— Да, тут, — ответил кто-то, и снова Ауримас не понял, кто; может, он, а может, кто-то другой. — Да, тут. Я принес тебе письмо. От Даубараса. От Казиса Даубараса. Вот.

Чуть ли не рывком рванул из-за пазухи потертый конверт и протянул его Мете. Она хотела было взять письмо, но вдруг закрыла лицо руками и резко отвернулась... Скрипнул стул рядом со столиком...

Дурак дурак дурак! — застучало сердце, словно вдогонку письму, которое он прямо кинул Мете под ноги; что ты наделал, дурак... Хо-хо! Свинья ты неумытая! — раздался голос — словно молния в ночи, Ауримас даже не задумался — чей именно. Хо-хо! Тебя, братец, надо бы и не так еще... а прямо как какого-нибудь... с позволения сказать... самого мелкотравчато-

го... Слова ножами вонзались в сердце, кидались, как огонь на керосин, но сожалеть и то уже было поздно; и смеяться, и досадовать, и, разумеется, объясняться из-за чего-либо с Даубарасом; он только скрипнул зубами, сжал кулаки (ногти больно впились в ладони) и, резко повернувшись, в панике выскочил наружу; его настиг гулкий звук захлопнувшейся двери — — — — — — — — — — — — — — — — —

— Ну, теперь торопись... сейчас!.. — услышал он, мчась по темной, окутанной туманом улице. — Теперь можешь... есть смысл...

— Смысл? — он оглянулся: стоял он в Дубовой роще, один, близ туннеля; вспыхивали красные огни. — Смысл? — это Ауримас, знаю, тот Ауримас, — но почему голосом Даубараса? — Не дождешься. Никогда. Никогда — — — дурачок, — услышал он снова — шуршащий в тумане голос; деревянные божества, скромно зажав уши, казалось, сокрушались, глохли от этого шороха. — Кто тебе сказал, что все плохо, дурачок... да разве тебе одна Мета... не одна... Мике нет и, клянусь, никогда уже не будет, а тебя мой старикан...

— Старикан?

— Он любит тебя, я знаю.

— Меня все профессора любят. Или любили. Одному я даже сколотил голубятню... А вот дочки их...

— Ах, замолчи! И если наконец ты здесь... если пробил час несчастной дурочки Марго... тогда... ах, ты, косолапый медвежонок с Крантялиса... тсс... тсс...

Сонаты еще не было, и он обрадовался, и даже потер руки — они были свободны и легки, точно пух; он подошел к кассе.

— К Гаучасу, — сказал он, протягивая червонец, и когда кассирша, крупная заспанная тетенька, приставила палец к виску и выразительно покрутила им, глядя на столь диковинного пассажира, он поправился:

— В Любавас.

— В Любавас? — переспросила кассирша, словно обрадовавшись чему-то; кажется, нормальный... — Это правда?.. В Любавас?

— Туда.

— Туда?

— Туда.

И тогда грянул выстрел; я скорчился. Сжался в комок, словно стреляли в меня. И он в самом деле выстрелил в меня — Старик в линялой красной рубахе, с пеной на губах, с горящими злобой глазами — этот страшный Старик моего детства; выстрелил, и пуля прошла навылет. Боже мой — навылет — насквозь через мальчика; она разорвала рубашку — разлетелись лоскутья — кожу — прошила ребра — словно на вертел нанизала легкие — и упала на принеманский песок; шлепнулась, как слива; зашипела, испаряясь, влага. Мальчик нагнулся, глянул своими голубыми глазами и взял пулю. Она была горячая, и он стал перекидывать ее с ладони на ладонь, пока она слегка не остыла, а потом положил в карман. "На память", — прошептали губы. Повернулся и ушел, оставив Старика — с разинутым ртом и с дымящимся пугачом в руке — повернулся и ушел — и ушел — и ушел — —

Ушел и я. Сел и поехал. В Любавас. Или еще куда-нибудь. К Гаучасу, которого там уже не было. К Солдату. Где-то должна быть моя станция. Та гора, взойдя на которую, человек — — — — — — — — — — — — — — —

1976 г.

ПОСТИЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА

Сначала несколько биографических подробностей. Право же, не лишних, поскольку они многое объясняют в творческом пути художника.

Альфонсас Беляускас стал комсомольцем в 1939 году, будучи учеником каунасской гимназии. Я хотел бы подчеркнуть эту дату, поскольку она существенна. Тогда на литовской земле еще держалась опиравшаяся на крайне правую реакцию диктатура президента Сметоны. Были попраны демократические свободы, запрещена коммунистическая партия. И комсомольская организация тоже действовала в подполье.

Так что поступок шестнадцатилетнего гимназиста был актом сознательного политического выбора. И к этому решению его привел весь предшествующий жизненный опыт. Не столь уж малый, как может показаться на первый взгляд: трудное детство на каунасской окраине, необходимость с тринадцати лет зарабатывать на хлеб и учебу, классовые университеты на стройке и на стекольном заводе Рабиновичюса.

Сыграла свою роль и сама обстановка в гимназии. Ведь литературным кружком, который посещал юный Альфонсас, руководила здесь замечательная поэтесса Саломея Нерис. Вокруг нее группировались такие будущие мастера, как Э. Межелайтис, К. Марукас, Вл. Мозурюнас. Все они были охвачены жаждой перемен, грезили о революции, о социализме.

Вот так и получилось, что общественная деятельность изначально слилась для А. Беляускаса с творческой. Слилась сразу и навсегда.

А дальше были незабываемые, волнующие дни свержения буржуазного режима, красные флаги на улицах, романтика первого советского года, становившиеся реальностью планы учебы, приобщения к журналистике. Планы, нарушенные войной.

Вместе со своими товарищами по эвакуации А. Беляускас рубил сосны в марийских лесах, прокладывал ледовую дорогу для вывозки бревен, добивался отправки на фронт. А потом были и солдатская служба, и возвращение в родную Литву, и работа на посту первого секретаря Каунасского горкома комсомола.

Я воссоздаю этот биографический пунктир, потому что он проступает во всем творчестве писателя. Не прямо, конечно, а в судьбах героев, в особом авторском пристрастии к эпохе исторического перелома в жизни нации. Эпохе, с которой так или иначе связаны все его книги.

В самом деле: роман "Она любила Паулиса", выросший из ранней повести "Рабочая улица", воскрешает мрачные времена фашистской оккупации; роман "Мы еще встретимся, Вильма" рассказывает о молодых литовцах, эвакуированных на восток, "Цветут розы алые" и "Тогда, в дождь" переносят нас в освобожденный от захватчиков Каунас. И даже такие книги, как "Каунасский роман" и "Спокойные времена", повествующие о начале шестидесятых и конце семидесятых годов, тоже уходят корнями своих нравственных конфликтов в ту же военную и послевоенную пору.

Однако не только хронология событий сближает произведения А. Беляускаса. Они родственны по географии действия — почти всегда Каунас, его парадная, сверкающая витринами Аллея свободы, его дымные заводские предместья. Они родственны по возрасту, по душевному складу главных героев. Во всяком случае, анкетные данные открывают впечатляющую картину совпадений.

Социальное происхождение? Из рабочей семьи. Место жительства? Пролетарская окраина, чаще всего — далекий Крантялис. Образование? Среднее или незаконченное среднее. Кто сколько успел до войны. Послужной список? Лесосека, завод, фронт. Занимаемая должность? Работник горкома комсомола. Мечты? Стать писателем. Да, да, именно писателем. Не больше и не меньше. Вопреки ироническим улыбкам скептиков. Наперекор незаконченному среднему.

Судите сами: грезит о профессии репортера (пока репортера) юный Саулюс Юозайтис ("Мы еще встретимся, Вильма"), уходит в литературу комсомольский вожак Витас Чепонис ("Цветут розы алые"), отважно штурмует врата искусства вчерашний горкомовец Ауримас Глуоснис (дилогия "Тогда, в дождь" и "Спокойные времена").

Откуда эта неистовая, всесокрушающая тяга к столь экзотическому для обитателей Крантялиса призванию? Она — от биографии самого автора, от давних, еще довоенных проб пера. От занятий в кружке Саломеи Нерис. И еще — от возникшей в те же годы упрямой решимости доказать им, буржуазным интеллектуалам, им, самонадеянно объявившим культуру своей заповедной вотчиной, право рабочего человека на творчество.

Этот традиционный для А. Беляускаса герой приносит в его прозу свою искренность и свой максимализм, свою экзальтацию и свои претензии. Он, этот герой, может идти напролом, попадать впросак, ошибаться и оступаться. Но он же готов нести на своих плечах и груз ответственности за новую действительность. Еще бы, ведь он осознает себя полномочным ее представителем, выступает от имени комсомола.

"Сама жизнь, само время, — отмечал писатель, — не позволяли только наблюдать события и их ход, а властно требовали нашего вмешательства в их развитие. Нашему поколению не так уж часто приходилось декларировать свои идеи (хотя кое-кто и убежден в обратном); нам самим надо было выходить на баррикады, чтобы бороться с капитализмом, фашизмом, буржуазными националистами. Нам суждено было не только наблюдать, но

и творить человеческие судьбы.., и наша собственная судьба не составляет исключения"

Наверное, под таким признанием автора запросто подписа лись бы и многие его герои. Тут их опыт, их кредо, их чувства.

В каждом своем произведении писатель настойчиво возвращается к эпохе революционных преобразований в Литве. Возвращается затем, чтобы дорисовать, дополнить портрет времени, выявить новые оттенки тогдашних конфликтов. Опасность повторений? Что ж, она и впрямь караулит прозаика. И далеко не всегда ему удается победить инерцию, сойти с привычных сюжетных, психологических троп. Но несомненно при этом и другое: желание проникнуть в более глубокие пласты проблематики.

Он постоянен, А. Беляускас, и в своих тематических пристрастиях, и в своем гражданственном темпераменте. Недаром его герои ищут духовную опору в морали рабочего человека, коммуниста, борца. Недаром они так требовательно судят себя за любое отступление от общественного долга. И не случайно такую роль в их судьбах играет политика.

Политика в романах писателя — это ось, нерв, водораздел Да и как иначе? Ведь революция вторглась в жизнь каждого литовца, разделила людей на сторонников и противников Советской власти, привела к резкой поляризации позиций.

Мотивы разлома, раскола особенно ярко окрашивают про изведения А. Беляускаса, созданные в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. Все здесь построено на контрастах, на противостоянии.

Богатые особняки Каунаса — и его убогие, нищие лачуги.

Патриоты, поднявшиеся против фашистов, — и добровольные пособники оккупантов.

Комсомольцы, восстанавливающие разрушенные города, — и укрывшиеся в лесах националистические бандиты.

Идейное, политическое размежевание подчас разрывает даже семейные, родственные, дружеские узы. Дети против родителей. Брат против брата. Сосед против соседа. Подобные кол лизии, варьируясь, переходят из книги в книгу.

Кадровый рабочий Пятрас Гинетис вместе с партизанами спасает оборудование кирпичного завода от вывоза в Германию, а его брат Бонифаций усердно заискивает перед немецкими властями в тщетной надежде разбогатеть ("Рабочая улица", 1956)

Герой романа "Цветут розы алые" (1958) Витас Чепонис становится одним из вожаков каунасской молодежи, а его двоюродный брат Зигмас Жабунас — террористом, убивающим комсомольцев из-за угла. Еще более впечатляюща в том же произведении картина распада семьи крупного буржуазного чиновника Адомаса Гирчиса. Сам Адомас, удравший на запад, выступает по зарубежному радио с антисоветскими проповедями. Его жена, Анна, с трудом маскирует свою неприязнь к социализму. Старшая дочь, Аста, тяготится ложью, опутавшей дом, мечется между привязанностью к родителям и симпатией к Витасу Чепонису. А младшая, Раса, уже открыто бросает вызов прошлому и вступает в комсомол.

Тот же кризис семьи возникает и в романе "Мы еще встретимся, Вильма" (1962). Отец героини, немец по происхождению, еще перед войной перебирается из Каунаса в свой обожаемый третий рейх ("Национальные идеалы немцев вечны и святы"), Вильма же наперекор родительской воле, угрозам и увещеваниям остается в Советской Литве, которую считает своей подлинной Родиной ("Я ненавижу фашизм! Я ненавижу Гитлера. Я — комсомолка, и, поверь, уже никто на свете...").

Ранняя проза А. Беляускаса предельно насыщена спорами о нации, о будущем Литвы, о революции, о задачах искусства. Так, Зигмас Жабунас яростно доказывает своему брату Витасу: "Литовцы могут ставить в пример только литовский порядок... Нашему характеру чужды разные там революции. Наша нация всегда была сильна своим единством". Поэт Пиюс Даумантас витийствует в салонах о служении чистому искусству, о том, что поэзия должна "стоять над политикой, журналистикой, земными страстями и житейской грязью".

И сама логика истории выносит свой приговор различным концепциям, подтверждая или опровергая их. Эта логика неумолимо разоблачает мифы о надклассовом единстве, о гармонии интересов богатых и бедных. Она заставляет Зигмаса Жабунаса перейти от псевдопатриотической риторики к расправам над своими же соотечественниками. И она же влечет Пиюса Даумантаса от нейтралистских деклараций к сопротивлению новым идеям, новому обществу.

Развернувшаяся на литовской земле социальная битва неотвратимо вовлекает в свой водоворот каждого, подчас вопреки его воле и желанию. Или — или. За или против. С теми или с этими. Середины нет. Рекламировавший свою аполитичность Бонифаций Гинётис ("Рабочая улица") кончает доносами на товарищей по заводу. Старый рабочий Жабунас ("Цветут розы алые"), который упрямо держался над схваткой, все-таки вынужден принять решение и с болью в сердце осудить своего сына Зигмаса, ставшего убийцей.

Писатель уверенно воссоздает это вторжение политических страстей во все сферы тогдашней жизни, это тесное переплетение общественного и личного. Даже комсомольский секретарь Витас Чепонис, и тот не без растерянности вынужден признать: "Думал, что классовая борьба существует где-то вне круга его близких, за гранью того, что связано с его личной жизнью. Он ошибся. Оказалось, что разглядеть линии классовой борьбы на деле куда труднее, они глубоко скрыты от глаз... Эти линии проходили здесь, рядом, через людские сердца, красной чертой рассекая их пополам..."

Правда, и в повести "Рабочая улица", и в романе "Цветут розы алые" еще отчетливы черты иллюстративности, прямолинейной назидательности. Остро намеченные конфликты порой разрешаются излишне быстро, в духе безоговорочного торжества светлого над темным. Угрюмой подозрительности догматика Дакниса всякий раз успешно противостоит мудрая проницательность секретаря горкома Янушиса. По всем статьям компрометирует себя карьерист Левандрайтис. Заслуженное возмездие

неотвратимо настигает отщепенцев Зигмаса Жабунаса и Адомаса Гирчиса. Впрочем, не один А. Беляускас испытал в те годы воздействие принципов нормативности.

Первый роман литовского писателя тяготеет к эпической панораме. И широта охвата действительности влечет за собой обилие персонажей. В поле зрения автора коммунисты и комсомольцы, руководители фабрики и рядовые рабочие, сторонники народной власти и ее враги. Крупным планом выделены то заседания партийного бюро, то молодежные воскресники, то конспиративные встречи националистов, то эпизоды наводнения. Семейные сцены чередуются с производственными, лирические интонации — с обличительными, сатирическими. Увы, множественность сюжетных линий нередко приводит к рыхлости повествовательной структуры, к перечислительности, информационной скорописи.

Однако уже в этой книге ясно различимы контуры будущей прозы А. Беляускаса, подступы к иной проблематике, к более сложному психологическому анализу.

От Витаса Чепониса тянется прямая нить к Саулюсу Юозайтису ("Мы еще встретимся, Вильма"), Сигитасу Селису ("Каунасский роман"), Ауримасу Глуоснису ("Тогда, в дождь", "Спокойные времена").

И точно так же отзовутся в других героинях душевные муки Асты Гирчите, ее усилия вырваться из оков прошлого.

Своим эмоциональным колоритом, своей доверительностью роман "Цветут розы алые" обязан прежде всего образу комсомольца Витаса Чепониса. Его искренности, его романтической окрыленности.

Герой книги попадает в Каунас сразу же после изгнания оккупантов. Казалось бы, самое горькое, самое тяжелое в его жизни теперь уже позади. Наконец-то он "вернулся в родной город, о котором столько мечтал, ради которого столько вынес, в город, который казался далекой сказкой!.. Ну не счастье ли это?"

Даже неустроенность, разруха ничуть не мешают ощущению долгожданного праздника. Ведь все это лишь временные трудности, которые вскоре будут преодолены. Как уверяет директор бумажной фабрики Кальвялис, "обождите годик-два — столы будут ломиться от еды. Есть кому на хлеб заработать". И Витас Чепонис вполне солидарен с ним. Как не сомневается он и в другом — в том, что люди быстро изменятся к лучшему, преобразятся духовно. Нужно только "уметь поговорить с ними, объяснить, что будущее зависит от них самих, и они станут другими — перестанут ворчать по мелочам и примутся единодушно залечивать раны, нанесенные фашистской оккупацией. Литовцы по натуре трудолюбивы, и если у них будет большая цель, они во что бы то ни стало ее добьются".

А. Беляускас и М. Слуцкис в своих произведениях середины пятидесятых годов едва ли не первыми ввели в литовскую литературу молодого героя этого типа. Мечтателя, идеалиста, бессребреника, возвышенные стремления которого неумолимо сталкиваются с грозной, суровой повседневностью.

Вот и в романе "Цветут розы алые" эта реальность развеивает радужные иллюзии Витаса Чепониса. Вместо правил она сплошь и рядом предлагает исключения, вместо прямых линий — изломанные. Зигмас Жабунас, выросший в семье рабочего, становится закоренелым антисоветчиком. Председатель горисполкома Дакнис, который во времена Сметоны прошел через тюремный ад, теперь козыряет былыми заслугами, чтобы прикрыть ими свою бесцеремонность. И любовь к Асте Гирчите приносит не столько счастье, сколько боль. Ибо традиции воспитания лишают Асту самостоятельности, делают ее зависимой от родительской воли, вынуждают отступать перед диктатом буржуазно-мещанских норм. Так сама действительность усложняет и переживания, и взгляды героя: "Нет, мало разгромить фашистов, мало отнять у капиталиста фабрику, ой как этого мало! Может, еще важнее освободить человеческую душу, в которую вьелась пыль тяжелого прошлого".

Витас Чепонис многое преодолевает в процессе духовной эволюции. Ту же юношескую восторженность, например, тот же поверхностный оптимизм, ту же склонность к упрощениям. И все-таки он остается при этом цельной натурой, человеком действия. "И вообще, — признавался однажды писатель, — меня привлекают героические личности, люди —борцы, упрямо идущие к своей цели".

Характер Саулюса Юозайтиса из романа "Мы еще встретимся, Вильма" при всем его очевидном родстве с Чепонисом уже не столь монолитен.

В новом произведении А. Беляускас по-прежнему внимателен к динамике становления личности. Однако временные рамки на этот раз сдвинуты от конца войны к ее началу. И сама обстановка рождает здесь драматизм психологических состояний. Одно дело — предчувствие близкой победы, последние залпы, другое — первые выстрелы, горечь отступления, муки неизвестности.

Однако изменилось не только время действия — иной стала тональность книги. Объективное, эпическое изображение событий уступило место их субъективному воспроизведению, рассказу от первого лица. Автор словно бы передоверил функции повествователя своему персонажу, оставил читателя наедине с ним. Мы постигаем происходящее глазами Саулюса, следуем за его выводами и комментариями.

Аналогичная стилевая переакцентировка совершалась тогда и в других работах литовских художников. Достаточно вспомнить "Проданные годы" Ю. Балтушиса, "Сосну, которая смеялась" Ю. Марцинкявичюса. Почти одновременно с романом А. Беляускаса создавалась и "Лестница в небо" М. Слуцкиса.

Собственно говоря, предощущение исповеди разлито уже в романе "Цветут розы алые". Особенно в лирических монологах Витаса Чепониса. Не случайно и то, что автор, стараясь передать живую пульсацию чувства, вводит в текст дневниковые записи Асты Гирчите: " Здесь Аста говорит со своим сердцем. Здесь она откровенна. Со своим сердцем можно быть откровенной!"

Прощаясь со своей любимой, Витас даже просит ее подарить этот дневник. И, получив отказ, замечает упрямо: "Ты ошиба-

ешься, Аста. Воспоминания нужны. Не мне, но нужны. И я создам их, напишу!"

Героиня нового произведения Вильма Густайте по собственной воле оставляет Саулюсу Юозайтису свой дневник: "Из этого дневника (или записок, не знаю) ты узнаешь то, что я вряд ли решилась бы сказать тебе на словах".

Но таким сплошным дневником является и весь роман. Дневником молодого литовца, его рассказом о пережитом, его честной, порой беспощадной к собственным слабостям исповедью. Оно так, писателю далеко не всегда удается выдержать естественность интонации, и тогда в тексте возникают объяснения, передающие размах событий, восстанавливающие эпический фон: "Я не знал, что в то самое время, когда я боролся со своими печальными... мыслями.., — миллионы парней... со всех концов необъятной советской земли двигались на запад. Я не знал, что... защитники Брестской крепости ни на шаг не отступили со своих позиций, что советская подводная лодка вдруг всплыла перед Палангским молом и посеяла своим огнем панику среди движущихся по Лиепайскому шоссе гитлеровских колонн". Они еще не редки здесь, факты стилевой разноголосицы. Факты, свидетельствующие о том, сколь трудно рождалась новая художественная структура.

Действие романа "Мы еще встретимся, Вильма" охватывает июнь — декабрь сорок первого года, самые тяжелые нравственно месяцы войны. И развивается оно в двух перемежающихся, чередующихся планах: скитания Саулюса Юозайтиса по прифронтовым дорогам Литвы, России и его жизнь в глубоком советском тылу.

Планы эти различны и по характеру испытаний, и по колориту, по настроениям. В одном случае доминируют смятение, неопределенность, шквал вопросов, в другом — поиск ответов, подведение итогов.

Прибегая к повествованию от первого лица, писатель, несомненно, стремился усилить эффект достоверности. Стилевой эксперимент вел в глубь внутреннего мира личности, к первоистокам побуждений и чувств. И непосредственность впечатлений, эмоций по-своему открывала правду времени.

Первые же дни фашистского нашествия сломали не только привычный ритм жизни комсомольца Саулюса Юозайтиса, не только его планы ("Я должен был получить место в молодежной газете, мне уже было обещано это место"), события этих дней расшатали, опрокинули многие, казавшиеся незыблемыми догмы.

Рушились хрестоматийные, почерпнутые из книг представления о войне: "Окопы с одной стороны и окопы с другой"

Рушились оптимистические упования на то, что через пару недель "мы будем... глубоко на территории Германии".

Немцы находились еще на подступах к городу, а в Каунасе уже орудовали вылезшие из подполья "белоповязочники". И бывший владелец пекарни хромой Савукас открыто сводил счеты с красными, терроризировал семьи коммунистов, стращал Саулюса скорой расправой.

Так с романтических, залитых солнцем вершин, "прямо с праздника песни, наполненного цветами и улыбками" вчерашний школьник попадает в ад смерти. Отсюда психологический шок, вызывающий ощущение нереальности реального, размытости граней между сном и явью: "Где я — в Каунасе или не в Каунасе, в Литве или не в Литве?"

Писатель оставляет Саулюса один на один с подступающей опасностью, с противоречивыми, а то и с паническими слухами. Оставляет потрясенным, недоумевающим. Почему столь стремителен прорыв немцев? Почему каунасским комсомольцам не выдали оружия? Почему?.. Можно вспомнить, что в похожей ситуации оказался тогда и таллинский комсомолец Олев Соокаск из романа эстонца Пауля Куусберга "В разгаре лета". И его вопросы чуть ли не текстуально совпадают с вопросами молодого литовца.

Но Соокаск обращает свои "почему" к парторгу Руутхольму, к товарищам по истребительному батальону, он воюет, сражается рядом с ними. Саулюс же просто захвачен разношерстным потоком беженцев и вопрошает самого себя, пробивается к истине в одиночку: "Мне нужно, чтобы все было ясно. До конца." За этим горячим юношеским максимализмом, конечно же, кроется тоска по утраченной четкости понятий. И вместе с тем душевный кризис побуждает к самостоятельности анализа, к поиску надежных ориентиров.

Неистовый разгул стихии, сумятица отступления, казалось бы, подтверждают слова перепуганного инструктора Микаса Роюса о том, что "перед лицом этих титанических катаклизмов человечества какая-то отдельная человеческая личность...". Туманная недоговорка скрывает тут философию, оправдывающую шкурный расчет, готовность уклониться от борьбы. Недаром Микас Роюс допускает для себя возможность капитуляции, дезертирства. Для Саулюса такой альтернативы не существует. Даже в мыслях, даже в подсознании. Психологические потрясения, разрушившие привычные схемы, не затронули существа убеждений героя, его идеалы. И аргументами, опровергающими проповедь Роюса, становятся в романе судьбы и поступки людей. Это и моральная бескомпромиссность Костаса, и мужество Вильмы Густайте, которая вопреки ее немецкому происхождению упрямо добивалась призыва в Красную Армию, и душевная щедрость русской женщины Полины Осиповны, и самоотверженность солдат, шедших под пули. Из своей беженской одиссеи Саулюс выносит ощущение неоплатного долга перед теми, кто погибал в первых сражениях, чтобы другие могли уцелеть. Долга непосредственного, личного: война идет "за меня! За меня пал тот боец на Немане, за меня едет сражаться усатый старшина... Они едут сражаться, а я..."

А. Бучис в своей книге "Роман и современность" точно заметил, что "на протяжении всего повествования активный в своем развитии характер остается пассивным в своем действенном проявлении". Что ж, с такой оценкой нельзя не согласиться. Действительно, Саулюс Юозайтис — натура искренняя, импульсивная, тонко чувствующая. Но выступает он все-таки по преи-

муществу в роли наблюдателя, комментатора, придирчивого аналитика. Особенно в тех главах, которые рисуют будни эвакуации, жизнь лесного поселка, строительство дороги. Недаром исповедальное начало звучит здесь более приглушенно. Внимание героя как бы переключается на других людей, на перипетии быта, на производственные подробности, на внешний фон вообще. И тогда опять возникают черты традиционного, разветвленного по коллизиям, многофигурного романа. Они по-своему интересны, образы Костаса, Игнаса, латышей, Полины Осиповны, вороватого бригадира Григорьева. Однако портреты эти все же эскизны, лишены подлинной проблемной весомости.

Тем не менее само развитие характера, пусть и не столь отчетливое, как прежде, продолжается. Герой А. Беляускаса учится зорче различать добро и зло, истину и фальшь, бескорыстие и приспособленчество, старается разгадать мотивы поведения Вильмы, инструктора Роюса. И постепенно накапливающийся опыт изменяет отношение юноши к самому себе. Исчезает претензия на избранность, исключительность: "Я не провидец. Я простой паренек из предместья. Заурядный. Совсем простой и совсем заурядный, хотя еще недавно мечтал о месте репортера молодежной газеты". Но вместе с тем возрастает и требовательность, взыскательность к самому себе, разжигающая внутренний конфликт. Конфликт, связанный с поиском своего места в жизни, во всенародной схватке с фашизмом. И строгий счет совести вынуждает Саулюса признать, что до сих пор он лишь плыл по течению событий, что его долг перед людьми, перед страной отнюдь не выполнен: "Я, глупый мальчишка из предместья, подражавший взрослым, умным людям, я, притворявшийся, будто разбираюсь в людях и войне... я ведь не просто чего-то не сделал, как думал до сих пор, я ничего не сделал; я жил кашей Полины Осиповны, русским хлебом, я не знаю даже своего настоящего места в этой войне... Я был подавлен? Да. Был растерян? Да. Но я был слишком спокоен. Я не имел права быть таким спокойным".

И самоосуждение влечет молодого литовца от патетической риторики к действию, к поступку, от разговоров о подвиге — к решению во что бы то ни стало пробиваться на фронт. Вслед за Вильмой, за своими товарищами.

Повествование от первого лица заметно изменило поэтику прозы А. Беляускаса. Но художественная структура романа "Мы еще встретимся, Вильма", так сказать, переходна. Здесь сохраняются и событийность, и сюжетная последовательность, и достаточно широкий объективный фон. И в то же время гораздо отчетливее, чем прежде, зазвучала исповедь героя. Исповедь, которая принесла с собой лирическую взволнованность и психологическую напряженность исследования.

Герой "Каунасского романа" (1965) Сигитас Селис тоже рассказывает о себе, о пережитом. Но рассказывает иначе, чем Юозайтис. Не столь обстоятельно. Не слишком строго придерживаясь хронологии фактов.

Речь Селиса сбивчива, прерывиста, порой сумбурна. Она легко перескакивает с предмета на предмет, управляется сиюми-

нутными импульсами. Любая деталь, любой эпизод способны вызвать поток ассоциаций, уводящий от настоящего или же, напротив, возвращающий к нему. "Ох, как надоел мне весь этот вечер! Осточертел! И кто упомнит, когда он начался?.. начался этот вечер лет десять — нет, тринадцать тому назад; а то и все пятнадцать; кто сказал, будто в Каунас я заявился сегодня, в полторого?"

Сюжет? Пожалуй, при определенном усилии можно реконструировать и его. Ответственный работник органов контроля Сигитас Селис едет из Вильнюса в Каунас, чтобы расследовать давнюю жалобу. Дело не очень трудное, однако же канительное и, самое главное, способное каким-то образом повлиять на служебное положение как самого Селиса, так и его начальника.

Время действия? Рубеж шестидесятых годов.

Срок? Каких-нибудь полтора-два дня, заполненных разговорами с работницей, подавшей жалобу, встречами со старыми знакомыми, беготней по городу.

Однако, вычленив внешнюю фабулу, мы не приблизимся к сути конфликта, не узнаем даже, чем конкретно завершилась командировка.

Ибо расследование жалобы — только фон для иного, куда более хлопотного расследования.

Ибо эти полтора-два дня дают герою возможность прокрутить в памяти всю свою жизнь.

Вполне вероятно, что за тринадцать или пятнадцать лет до нынешней поездки Сигитас Селис мог чуть ли не каждый день встречаться с героем другого романа — Витасом Чепонисом. Оба они тогда работали в каунасском горкоме. Один — секретарем, другой — заведующим отделом кадров. Оба ходили по одним и тем же коридорам, выступали на одних и тех же митингах, участвовали в одних и тех же заседаниях бюро.

Да и в биографиях этих молодых литовцев достаточно общего. Как и Чепонис, Сигитас Селис вырос на окраине. Как и он, недоучился в гимназии. Как и он, остался без отца. С того самого дня, как гестаповцы арестовали отца и угнали в Германию, Селис должен был сам заботиться о себе.

Однако только этими анкетными параллелями совпадения не исчерпываются.

Витас Чепонис влюбился в Асту Гирчите, дочь известного политического деятеля старой Литвы.

Сигитас Селис едва не женился на Геде Жельните, племяннице бывшего буржуазного министра, бывшего дипломата и спортсмена.

Против Чепониса была мать Асты, рассчитывавшая на выгодную партию для своей дочери, мечтавшая ввести в их респектабельный особняк человека своего круга, а не чужака.

Ну а Селиса гнал прочь дядя Геды, отставной министр Вебелюнас, который скрежетал зубами при слове "комсомолец" и считал, что "теперешняя жизнь — вроде миража,.. иллюзия и мираж".

И Чепонис, и Селис испытывали одинаковое презрение к этим бывшим, к их взглядам, манерам, привычкам.

Проходя возле дома Асты, Витас Чепонис насмешливо думал: "Кому ты нужен в этих виллах? Мечтатель!.."

И Сигитас Селис всей кожей ощущал, с какой откровенной враждебностью взирают на него окна роскошного дома господина Вебелюнаса, каким холодом веет от массивного письменного стола, от кожаного дивана.

Впрочем, Аста Гирчите еще не свободна в своих чувствах, в своем выборе. Долг примерной дочери сковывает, ограничивает ее, вынуждает к осторожности, компромиссам.

Геда Жельните воспринимает дом своего опекуна как ненавистный, постылый. Она хотела бы раз и навсегда порвать с его обитателями и даже берет у Сигитаса Селиса рекомендацию в комсомол.

На этом, пожалуй, заканчивается созвучие ситуаций и начинаются диссонансы.

Новый мир готов был принять под свое крыло Асту. Как принял он ее сестру Расу. И не имела особого значения социальная "анкета" девушек, то, что их отец, Адомас Гирчис, был одним из лидеров антисоветской эмиграции.

В отличие от Асты Геда Жельните постоянно встречается с настороженностью. Ей то и дело напоминают, что дядя заседал в буржуазном правительстве, а отец до самой своей смерти был директором крупнейшего в литовской столице почтамта. К тому же экс-министр Вебелюнас и после войны не слишком таил свои политические симпатии. Так что рекомендация в комсомол, которую написал Сигитас Селис, дорого обошлась заведующему отделом кадров: "Рекомендуешь в комсомол племянницу фашистского министра... воспитанницу... подопечную этого махрового националиста, а может, и не просто подопечную..." Сама любовь к такой девушке граничила в глазах перестраховщиков с притуплением бдительности, идейной беспечностью и близорукостью.

"...И о любви, конечно: о трудной любви двадцатого столетия..." Эта строка из эпиграфа предвещает не только лирическую тональность книги, но и ее драматизм.

Любовь Асты и Витаса Чепониса все-таки осталась кратковременным романтическим увлечением.

Саулюс Юозайтис, хотя его и называют пылким Ромео, никак не оправдывает этой аттестации. Он по-мальчишески вспыльчив, капризен, ревнив. И только.

В "Каунасском романе" любовь Сигитаса и Геды неподдельна, истинна. Оттого она и воздействует на судьбу молодых героев, сама становится их судьбой. Интимное, личное пропитывается здесь воздухом эпохи. По меткому наблюдению М. Слуцкиса, А. Беляускас "смотрит на любовь как на отражение сложных общественных отношений, как на отражение борьбы старого и нового в острый момент послевоенного строительства социалистической Литвы".

Автобиографическое повествование в романе "Мы еще встретимся, Вильма" было достаточно широко распахнуто во внешний мир. Саулюс Юозайтис охотно рассказывал здесь о том, что видел на дорогах войны и в таежном поселке. В "Каунасском ро-

мане" объективный, "эпический" элемент словно бы растворен в субъективном, психологическом. Голос сердца? Стенограмма чувств? Да, конечно. Но и пристрастный самоанализ тоже. Исповедуясь, герой критически контролирует свои суждения, порой воспринимает себя как постороннего: "Я, должно быть, просто прочитал книгу — о человеке по имени Сигитас, по фамилии Селис, который взял да и бросил Каунас, переехал в другой город, вроде бы в Вильнюс; человек этот был весьма юн, неопытен и полон иллюзий..." Для подобного самоотстранения есть свои веские причины. Ведь теперь, на рубеже шестидесятых годов, Сигитас иначе оценивает то, что совершилось тринадцать или пятнадцать лет назад, по-другому смотрит на того двадцатилетнего юношу, который полюбил Геду, произносил пылкие клятвы и не сумел защитить ту, что была дороже всех на свете.

Внутренний монолог в модернистской литературе обычно становится средством отказа от постижения социальной, политической реальности, ухода от нее в таинственные лабиринты психики. А. Беляускас использует поэтику потока сознания в диаметрально противоположных целях. Как раз для исследования разветвленных капилляров, соединяющих личность и общество, внутренний мир человека с окружающей средой. В одном из своих интервью писатель говорил о чувстве широты жизни, которое "многих прозаиков неизбежно направляет к эпосу, к широким историческим обобщениям. Наше поколение прозаиков вместе со своим народом перешагнуло порог двух эпох. Разве это само по себе уже не предрасполагает к эпосу?" Этот эпический масштаб измерения зримо присутствует в "Каунасском романе". Не потому ли, в частности, Сигитас Селис воспроизводит здесь разные точки зрения. Как выгодные, так и невыгодные для себя. Не потому ли он и тогда, тринадцать или пятнадцать лет назад, особенно чутко прислушивался к сварщику Марюсу, оглядывался на его мнение: "Мне кажется, Марюс все мои намерения знает наперед, они известны ему раньше, чем мне". И непреклонность парторга Гродиса, она тоже противостоит шараханьям, конъюнктурным расчетам, деляческой суете.

Два хронологических рубежа соотнесены, сопоставлены в книге А. Беляускаса. Первые послевоенные годы и канун шестидесятых. И нынешний, повзрослевший Сигитас Селис словно бы отчитывается перед своей молодостью. Отчитывается, печально констатируя неутешительные итоги: разлад со своей совестью, с прежними друзьями, видимость семьи, механическое функционирование на службе.

А ведь тогда, после победы, собственное будущее представлялось совсем иным. Праздничным, полным вдохновения. Оно было неотделимо от увлеченной, азартной работы, творчества и, само собой, от Геды Жельните: "Никто и ничто на свете не разлучит нас. Вместе и в огонь, и в воду..."

Нет, она вовсе не была безмятежной, безоблачной, юность героя. Эти штурмовые дни в горкоме комсомола. Эта вечная, не дающая передышки гонка: "Приемы, исключения, персональные дела, комиссии, бюро, заседания, телефонные звонки, беготня по заводам, учреждениям, школам; споры, разносы, наставления..."

А еще это брюзжание обывателей, эта злоба экс-министра Вебелюнаса, который еще не смирился с поражением, еще ждал перемен. Но над разрухой, над спешкой, напряжением торжествовала уверенность в грядущем счастье.

Так что же, крах иллюзий? Однако трактовка этого слова у А. Беляускаса далеко не однозначна. Едва ли не самый фанатичный враг иллюзий — сумрачный, угрюмый, ожесточенный начальник Селиса. Его излюбленный лозунг таков: "Будь оптимистом, только не строй иллюзий. Иллюзий терпеть не могу. Ненавижу. Они мне жить мешают". И погрязший в махинациях Ричардас Бубнялис, тот тоже снисходительно поучает: "Мы с тобой, Селис, уже не комсомольцы романтической эры... что поделаешь... жизнь есть жизнь... И не стоит рассусоливать — почему да отчего". Подобная трезвость, подобный "реализм" сродни приземленности, бескрылости. Конечно, иллюзии — спутник наивности. Но они же и выражение романтической устремленности к идеалу. И Сигитас Селис, отрекшийся от своих юношеских мечтаний, испытывает духовное опустошение.

Внутренний стержень романа не столько развенчание иллюзий, сколько проверка прочности убеждений, способности индивида согласовать с ним свою жизнь.

Разумеется, не вина Сигитаса Селиса, что его любимую сочли сообщницей Вебелюнаса, заставили расплачиваться за чужие грехи. Но только ли Геду ударило черное крыло несправедливости? Разве не пострадал вместе с ней и сам Селис? Пришлось распрощаться с комсомольскими курсами, которые открывали такие заманчивые перспективы, и с надеждами на вступление в партию. "Разве все зависит от самого человека? От отдельно взятой особи? — философствовал герой. — Скажешь, я не хотел, чтобы все было, как надо? Чтобы жизнь была как сад, как цветущий луг, а? Чтобы ни грязи, ни слез, ни обмана... только солнце, цветы, улыбки..."

Действительно, от отдельной личности, от ее намерений зависит далеко не все. Однако в излияниях Селиса явно сквозят интонации Микаса Роюса из романа "Мы еще встретимся, Вильма". А он, инструктор Роюс, сомневаясь в возможности человека повлиять на ход исторических событий, проповедовал освобождение от ответственности за них. Ибо одно дело — не все зависит, а другое — не зависит ничего. Пафос "Каунасского романа" обращен как раз против настроений обреченности, приспособленчества.

Сама совесть Сигитаса Селиса, окидывавшего взглядом свое прошлое, не соглашалась с тем, что тогда, тринадцать или пятнадцать лет назад, не было альтернатив.

Он мог бы взять Геду под защиту, когда она наконец-то отважилась уйти от деспотичного Вебелюнаса, когда она неприкаянно бродила по городу, думая о крыше над головой. Мог бы... Но не захотел взваливать на свои плечи бремя забот, побоялся, что Геда помешает учиться на комсомольских курсах. И в ответ на невысказанную мольбу девушки мямлил невнятно: "Вот отучусь, тогда мы с тобой... Потом, конечно, я вернусь в Каунас, как же иначе; получу работу, квартиру, мы отправимся в загс, и наши дни будут лучезарны и прекрасны..."

Он мог бы поселить Геду у своей матери, мог бы увезти в Вильнюс, мог бы...

И позже, когда демагоги кричали о политической слепоте, о неразборчивых симпатиях, он мог и обязан был вступиться за доброе имя любимой. Но, ошеломленный, испуганный, он жалел в тот момент самого себя, с раздражением и обидой думал о той, что вовлекла в унизительную передрягу: "Это она виновата, она — Геда... что за наваждение, откуда и зачем; да, она, только она одна; это из-за нее на меня свалилась такая беда, такой позор".

На протяжении романа вспыхивает то более, то менее интенсивный спор двух "я" героя. Спор, который влечет за собой изнурительный душевный конфликт. Одно из этих "я" олицетворяет чистое, честное, романтическое начало, другое — эгоистическое, осторожное, торгашеское. В своих заметках о книге М. Слуцкис говорил, что "нам трудно мириться с нерешительностью и постыдным отступлением Сигитаса, когда он оставляет Геду без помощи. Даже мелькает мысль, что автор не совсем доказал, не совсем "подготовил" эти черты его характера" Это и так и не так. Так, поскольку А. Беляускас не акцентирует инкубационный период болезни. Не так, поскольку этот период все же существует. Двадцатилетний Сигитас Селис слишком увлечен собой, своей работой, своими планами, чтобы беспокоиться, например, о матери, одиноко живущей на окраине, или о своем друге Марюсе Мачюлисе. И даже Геда нужна ему как зеркало, в котором отражаются его чувства, его надежды, его восторг. Она скрыта до поры до времени, эта эгоистическая потенция. Но экстремальная ситуация обнажает ее. Именно второе "я" стало поспешно искать лазейку для отступления, капитулировало перед обстоятельствами.

Однако, предав Геду, герой предал и самого себя. И неспроста его последующая жизнь вылилась в череду уступок. Казалось бы, женитьба на энергичной, пробивной Альбине Даргужайте, покровительство могущественного тестя ограждали от невзгод, обеспечивали вожделенную карьеру. Только выгоды, увы, оказались мнимыми. Расплатой за брак без любви стала смерть дочери. Расплатой за измену призванию — растворение в служебной рутине, исполнительское послушание. И в итоге — утрата своего лица, аморфность, парадоксальное ощущение банкротства при формальном процветании: "Однажды поскользнувшись да еще усердно подталкиваемый, я катился все ниже и ниже, проваливаясь в узкий бетонный колодец... Даргужайте нагнала меня и спрятала от дождя —вниз; ее папаша устроил на работу — вниз; при встрече со старыми друзьями отворачивался — вниз, вниз..."

Конечно, терзания нынешнего, очутившегося в тупике Сигитаса Селиса не искупают его ошибок. Да и писателя занимает не столько проблема искупления, сколько процесс духовного самоочищения, активизации требовательного морального чувства. Встряска, разбившая оцепенение, вызвана внешними причинами — новая встреча с Гедой, смерть дочери, перемены в общественном климате. Но внешние причины потому и сыграли

роль детонатора, что они совпали с внутренними — с крепнувшим недовольством собой, с признанием своей несостоятельности, с протестом против следования чужой воле: "Я всегда был усердным службистом... я выполнял и выполнял порученное... выписка верна, верна, верна... выписки, все время выписки, копии... а подпись его — Главного".

Шаг за шагом исповедь героя превращается в его суд над собой. Суд, подвергающий придирчивой проверке доводы самозащиты, оправдательные аргументы, в изобилии поставляемые вторым "я". Вина обстоятельств? Но Марюс Мачюлис и в тех условиях стоял на своем. Но парторг Гродис, рекомендовавший его в партию, не отступился от своей подписи, не побоялся защищать ее перед членами бюро: "Я не думаю, что на этом следует поставить точку. Есть еще общее собрание, товарищи"

А. Беляускас возвращает своего героя к исходным рубежам. К тем идеалам молодости, за пренебрежение которыми он столь дорого заплатил и без которых, как оказалось, невозможно исцеление души. И в отказе Сигитаса Селиса от заманчивой должности, намеченной его покровителями, сказывается жажда подлинного, а не мнимого самоутверждения, решимость строить будущее не по чужому, а по собственному чертежу. А. Бучис справедливо заметил однажды, что писатель не избежал соблазна форсировать перестройку характера, "особенно в финале романа, когда Селис идиллически решает возвратиться в пригород, к матери, к Марюсу, вернуться на стройку... Странно, что после стольких горьких мыслей и воспоминаний герою предлагается еще один иллюзорный выход, хотя очевидно, что Селис уже не может стать таким простым, каким он был вчера". Они и впрямь не слишком-то убеждают, патетические слова героя о волнующих сполохах электросварки, о рабочем комбинезоне. Убеждает другое — искренность исповеди, честность самоанализа, выстраданное Селисом убеждение, что нельзя механически отсечь прошлое, но можно и должно разобраться в нем, "где-то поставить точку и открыть новую, чистую страницу".

"Каунасский роман" принадлежит к числу тех произведений, которые в середине шестидесятых годов вызвали всесоюзное внимание к литовской прозе. Со страниц книги к читателю пришел герой, который без утайки рассказывал о себе, о своих заблуждениях, который не поучал, а приглашал к соразмышлению, делился опытом пережитого. И сама манера повествования способствовала выявлению правды чувств, внутренних связей между субъективным миром личности и объективной действительностью.

Более десяти лет отделяют "Каунасский роман" А. Беляускаса от его следующей работы "Тогда, в дождь" (1976). За эти годы в республике появились такие замечательные художественные полотна, как "Потерянный кров" Й. Авижюса, "Проданные годы" (вторая книга) Ю. Балтушиса, "Три дня в августе" В. Бубниса, "Жажда" М. Слуцкиса, и другие. Заметно изменился сам стилевой ландшафт литовской литературы. С публикацией "Потерянного крова" словно обрел второе дыхание традиционный панорамный роман. Любопытные результаты при-

несло обращение к поэтике гротеска и мифа. Естественно, что за то же десятилетие несколько иным стал и тематический спектр. Возрос, например, интерес писателей к жизни города, к мироощущению сегодняшнего горожанина, к нравственным, психологическим коллизиям, вызванным стремительной урбанизацией. Отчетливее, чем прежде, зазвучали мотивы истории. Как отдаленной, так и сравнительно недавней.

Однако А. Беляускас и теперь остался верен себе. Своей манере и своему герою.

Да, роман "Тогда, в дождь" опять воскрешает будни послевоенного Каунаса.

И биография Ауримаса Глуосниса перекликается, если не совпадает, с биографиями его литературных предшественников.

Как и Витас Чепонис ("Цветут розы алые"), он вырос на Крантялисе и рано остался без родителей.

Как и Саулюс Юозайтис ("Мы еще встретимся, Вильма"), валил лес в тайге под Агрызом и прокладывал, наверное, ту же самую ледовую трассу.

Как и Сигитас Селис ("Каунасский роман"), пришел после войны в горком комсомола.

Перечень подобных сходств нетрудно продолжить. Дядя Чепониса работал на бумажной фабрике. Туда же устраивается сторожем и бабушка Глуосниса. Сигитаса Селиса строго прорабатывали за связь с сомнительными элементами. Такое же предостережение получает и Глуоснис.

И не случайно Юозайтис и Чепонис тоже упоминаются в романе. Причем Юозайтис выступает здесь в амплуа редактора журнала. Не будем гадать, тот ли это Юозайтис или его однофамилец, но, как мы помним, юный Саулюс бредил профессией репортера, рвался в газету.

При такой плотности совпадений особое значение приобретают нюансы, отличия.

Если раньше писатель лишь бегло перелистывал фронтовые страницы, то теперь они даны подробнее, детальнее. Бои под Орлом, ранение, дружба с солдатом Гаучасом.

Если раньше герои А. Беляускаса только мечтали о творчестве, то Ауримас Глуоснис уже пробует свои силы в прозе. Пора комсомольской работы для него уже осталась позади. И не столько он сожалеет об уходе из горкома, сколько бабушка. Да и то по житейским, меркантильным соображениям: была твердая зарплата, полагались хорошие продуктовые карточки, иной раз перепадали из буфета пайки.

Разговоры об искусстве, о миссии художника возникали еще в романе "Цветут розы алые". Но там они были на дальнем плане, на периферии сюжета.

Ныне этот план стал основным, центральным. И соответственно сместились смысловые акценты. Повествование ведет нас из аудиторий университета на рабфак, из редакции газеты в секцию молодых писателей. Текст романа насыщен отголосками реальных критических дискуссий, состязаниями в эрудиции, ссылками на Шпенглера и Фрейда, Достоевского и Горация, Пруста и Ремарка.

А. Беляускас рисует каунасскую творческую среду в ее тогдашней пестроте, в разнообразии течений, тенденций, позиций.

Так, доцент Шапкус представительствует здесь от лица буржуазной интеллектуальной элиты. За ним ее претензии на избранность, на духовную монополию, ее презрение к массе: "Неужели вы полагаете, что масса, а не вдохновенная творческая личность создала "Сикстинскую мадонну"? "Девятую симфонию"? Написала "Идиота"?"

Мике Гарункштис и Казис Даубарас — те, напротив, кичатся своим радикализмом. Они щеголяют лозунгами вульгарного социологизма, демонстративным отрицанием традиций, пренебрежением к художественной форме.

А между этими крайностями профессор Вимбутас, возражающий против упрощенных критериев, против спекуляции на актуальности, терпеливо разъясняющий своим слушателям значение классики, пользу ямбов и хореев.

За эстетической разноголосицей встают в романе А. Беляускаса столь же характерные для той поры картины разноголосицы идейной. Ведь молодая советская литература Литвы обретала авторитет в борьбе с буржуазными теориями искусства, с концепциями национальной исключительности, с тиранией салонных мнений и богемных нравов. Но это с одной стороны. А с другой — ей приходилось отбивать атаки конъюнктурщиков, рядившихся в тогу ортодоксов, изживать иллюстративность, схематизм. Оттого отвлеченные, академические дебаты о психологии, о стиле внезапно выявляют в романе свой политический подтекст. Оттого вокруг произведений молодых авторов завариваются яростные баталии. К тому же столкновения принципов, как это нередко бывает, осложнялись конфликтами честолюбий, притязаний на лидерство, закулисными интригами. И Ауримас Глуоснис, напечатавший свой первый рассказ, быстро теряет ориентировку, безуспешно пытаясь отличить друзей от врагов, честные критические отзывы от ловкой демагогии: "Все здесь было переплетено, перепутано и свито в один плотный клубок, скаталось в ком закономерностей и случайностей..."

По обилию персонажей роман "Тогда, в дождь" напоминает "Цветут розы алые". Кого только не встретишь среди них — газетчики, литераторы, комсомольские активисты, демобилизованные фронтовики, обитатели рабочей окраины, студенты, представители околотворческой богемы. Но ранняя книга А. Беляускаса включала в себя несколько планов и вполне автономных сюжетных линий. Ныне же эпическая по размаху структура введена в русло внутреннего монолога, в горячечную, нервную исповедь Глуосниса. И надо сказать, что писателю не всегда удается избежать при этом художественных потерь. Иные его персонажи становятся просто рупорами общественных настроений, знаками тогдашней расстановки сил. Они сливаются с должностями, служебными функциями, социальными ролями, утрачивая индивидуальную неповторимость, личностную проблематику, динамику саморазвития.

В статье "Диалог с самим собой" А. Беляускас говорил о

том, что каждая книга должна быть интересна "не только темой, фабулой, сюжетом, воспроизводимыми в ней событиями, но прежде всего — глубоким изображением внутренней жизни, проникновением в ту сферу жизни индивида, которая до сих пор была как бы "спрятана" от читателя, — в мир сознания и подсознания".

"Тогда, в дождь" являет собой методичную, тщательную реализацию этой программной, творческой установки, этого "прежде всего". Как и в "Каунасском романе", писатель снова развертывает внутренний монолог героя. Как и там, растворяет сюжет в импульсивном, сумбурном потоке сознания. Хронологическая цепь нарочито разорвана, а звенья ее переставлены, перепутаны. Вчерашние впечатления набегают на сегодняшние, подтверждая или опровергая их. Иногда временные интервалы и вовсе не ощутимы. Особенно в сценах бреда едва не утонувшего Ауримаса, в смутных видениях, рожденных полусном-полуявью: "Воспоминания о былом... я воспринимал сейчас как самую подлинную реальность (ибо действительность казалась сном)". И тогда Ийя превращается в Мету, лавочник —в Старика и т. д. Не скрою, что такое наложение образов, взаимопроникновение ассоциаций порой затрудняет (и без нужды) постижение текста, делает его излишне туманным, загадочным, требующим усилий для расшифровки намеков и символов.

Хотя стилевой облик произведения родствен "Каунасскому роману", было бы неверно упрекать писателя в дублировании полюбившейся модели. Сигитас Селис, как мы помним, жил в двух временных измерениях. Он оценивал свои послевоенные метания глазами повзрослевшего, подошедшего к рубежу зрелости человека, возвращался к своему прошлому с багажом духовного опыта, накопленного за тринадцать или пятнадцать лет. Ауримас Глуоснис лишен этого несомненного преимущества. Он ведет, так сказать, прямую трансляцию из своей эпохи, репортаж о самом себе. До итогов ли тут, если перед нами быстро развивающийся процесс, если все с пылу с жару, если доминирует непосредственная реакция, а дистанция между поступками и осмыслением их практически равна нулю.

Такая манера чревата, разумеется, своими опасностями. Уже потому лишь, что она ставит нас в зависимость от мировосприятия и эмоций рассказчика, его симпатий и антипатий. Ведь Ауримас — это и главный источник информации, и главный ее интерпретатор. Правда, сложная система оптических линз, существующая в романе, позволяет повысить коэффициент объективности, так или иначе скорректировать субъективную трактовку. А. Беляускас постоянно чередует главы от первого лица с главами, в которых господствует несобственно прямая речь, широко использует диалоги, вводит чуть ли не стенограммы дискуссий. Да и сам Глуоснис нередко испытывает потребность отнестись к себе непредвзято, критически, словно к иной личности: "И все же я попытался взглянуть на себя со стороны, и насколько можно беспристрастней, хотя это и было трудно, если не сказать — невозможно; я постарался и увидел долговязого, взлохмаченного паренька с лихорадочно горящими глазами,

слегка покрасневшим от мороза носом, насупленными бровями... над правым ухом под прядью волос притаился шрам — еще один орловский подарочек; паренек стремительно летел по улице, хотя я подозревал, что его подгоняют не столько дела, которых, работаешь ты или учишься, все равно уйма, — сколько мысли, бурлящие в голове"

Короче говоря, монополия персонажа на освещение и истолкование жизни все-таки несколько урезана. В лирической стихии повествования есть свои эпические просветы. И другое имеет немаловажное значение: молчаливая апелляция писателя к нашим представлениям о социальных, классовых проблемах послевоенной поры, к нашей способности самостоятельно ориентироваться в обстановке, критически контролировать исповедь героя.

Так что же происходит в романе с бывшим фронтовиком, бывшим горкомовцем, а ныне рабфаковцем и начинающим литератором Ауримасом Глуоснисом? Сама по себе фабула книги проста, отчетлива. Первая же новелла Ауримаса (образ солдата Гаучаса, окопные дни и ночи, ожидание боя) принесла ее творцу и лавры, и тернии. Причем почти одновременно. Сначала пришло известие о почетной премии на конкурсе, а затем свежеиспеченного лауреата подвергли уничтожающей, разносной критике за искажение правды, за приземленность, за то, что его персонажи будто бы лишены светлых чувств и высоких гражданских помыслов.

И Ауримас, уже возомнивший себя на Олимпе, уже изведавший вкус торжества, был низвергнут в пропасть. Да что там низвергнут! Растоптан, заклеймен, как клеветник, двурушник, "умственный недомерок", потрафляющий буржуазной публике. И предъявлялись эти грозные обвинения не кому-нибудь, а ему, человеку, прошедшему фронт, комсомольскому активисту, которому националисты слали подметные письма, стращая расправой: "С такими, как ты, мальчик, разговор может быть один и только один".

Отсюда моральный надлом, растерянность, шок: "Скрыться. Исчезнуть. Сгинуть напрочь" Отсюда взвинченность внутреннего монолога, чересполосица объяснений, оправданий, споров с собой и другими.

А. Беляускас строит повествование на резких колебаниях эмоциональных температур, на переходах от восторгов к отчаянию и наоборот.

Вот, например, характерная, психологическая метаморфоза.

Глуоснис, выступающий перед студентами университета с лекцией о войне, о светлом будущем. И тот же Глуоснис, переместившийся из президиума на галерку, с трибуны в толпу. Уже не ответственный работник горкома, а желторотый рабфаковец: "Теперь вы узнаете, что вас просвещал лектор, не окончивший даже гимназии".

Или другой контраст, не менее болезненный.

Ночные бдения над стопкой бумаги, витания в облаках фантазии — и утреннее возвращение к обыденности. От романтических образов — к мыслям о хлебе, о деньгах, неоплаченных счетах за электричество, к бабушкиным жалобам на старость,

усталость: "Ауримас чуял, как в грезу опять вторгается действительность — просачивается сквозь все окна и двери; как-никак есть надо каждый день".

Эти психологические качели создают нервный ритм романа. И за ними угадывается брожение души героя, еще не познавшей самое себя, мечущейся от полюса к полюсу.

Тяга к творчеству — генератор внутреннего конфликта Ауримаса Глуосниса. Она заставляет менять образ жизни, рисковать благополучием, поступаться синицей в руках ради журавля в небе. Правда, фрагменты конкурсного рассказа не дают сколько-нибудь внятного представления о силе таланта, его художественных возможностях. Да и самого героя пока не слишком волнует, что он скажет людям о времени, о них самих. Его писательское влечение имеет скорее оттенок упрямого вызова. Вызова прошлому, державшему поколение Глуоснисов в черном теле, вызова кичливым сыновьям лавочника, эстетствующему доценту Шапкусу, который ехидничал над гениями с Крантялиса, всем тем, кто сомневался в способностях рабочего парня.

Нет, не случайно молодой рабфаковец уподобляет себя Мартину Идену. Роман Джека Лондона словно бы дает ему модель поведения, пример настойчивости, фанатической одержимости, пробивающей любые преграды. Жизнь духа и обыденное бытие Ауримаса находятся в состоянии раздора, раскалывающего надвое противоборства. Дух — это высокие материи, это белокурая эстонка Ийя, мелькнувшая и растаявшая в дыму войны, это полет "в безбрежную даль, куда не заглядывал еще никто из рода Глуоснисов". А обыденность — она и есть обыденность. Обуза, оковы, тормоз. Медичка Соната, предостерегавшая от дурмана искусства, ее меркантильные родители, озабоченные выгодной партией для единственной дочери, убогое жилище в Крантялисе, бабушка со своими причитаниями о долгах. А еще — враждебность университетских снобов. А еще — интриги могущественного Даубараса. И эти нелепые чудовищные обвинения в клевете. И этот недоверчивый, пронизывающий насквозь взгляд прокурора Рудиса. Повседневность едва ли не на каждом шагу ставила подножку мечте, третировала ее, пригибала к быту. Жизнь представлялась Ауримасу то "средоточием непонятных, запутанных уравнений", то угрюмой стеной, вставшей "между ним и его грезами. Серое житье. Серая судьба. Жесткая, словно камень. Крепкая как антрацит... Учеба? Литература? Будущее? Красивые слова! И правильные слова. Возвышенные! Но и они отскакивают от той же серой стены"

Обиды каунасского Мартина Идена во многом справедливы. Во многом, но далеко не во всем. Ибо его собственная позиция тоже небезупречна. Ибо свой талант, свою устремленную в будущее миссию художника он рассматривает как некую привилегию, как право на льготу и как оправдание своей сегодняшней неразборчивости. Ведь он, Ауримас, и бабушкину доброту эксплуатирует, и хлебосольством презираемых родителей Сонаты пользуется, и, наведываясь к Сонате, про Мету, жену редактора Грикштаса, не забывает. Аж запутывается в своих симпатиях:

"Сонату я тоже любил.., любил я и Мету Вайсвидайте..." Литовский критик П. Браженас вполне резонно заметил: "Эмоциональное отношение Ауримаса к окружающим никогда не отличалось чуткостью: мало его волновала судьба без карточек оставшейся бабушки, без угрызений совести встречался он с женой редактора Грикштаса, трусливо сбежал от Сонаты". Временами этот любовно-бытовой и околотворческий антураж становится в романе самодовлеющим. И тогда сам герой тоже мельчает. Сокрушаясь о себе, он отстраняется от участия в судьбе близких. Такое впечатление, что мир словно бы задолжал Глуоснису. За трудное детство, за сиротскую долю, за пропахшую пороховой гарью юность, за препятствия на пути в искусство. И эти претензии к людям, к действительности отнюдь не всегда подкрепляются требовательностью к самому себе, щедрой самоотдачей. Не потому ли в "Спокойных временах" Ауримас будет обвинять во всех грехах жену и дочь, забыв о своей вине и своем долге перед ними. Но не станем вторгаться в проблематику второй части дилогии — вернемся к первой.

Густая сеть противоречий послевоенной поры постепенно окружает, опутывает героя романа. Конечно, классовое сознание помогает ему безошибочно различать идейных врагов. Его не удивляют ни злоба бывшего лавочника, ни анонимки с угрозами, ни обструкции националистов. Атаки с этого фланга привычны и потому не застают врасплох. Куда болезненнее удары от своих, выпады проработочной критики. Слишком крепка была уверенность, что свои-то возрадуются писателю с Крантялиса, что пролетарское происхождение, фронтовые заслуги автоматически гарантируют если не признание, то хотя бы поддержку. И слишком мучительным оказался кризис безудержно оптимистических упований. Вплоть до апатии, до надрыва: "У всех нас, наверное, есть своя сказка, и каждому его сказка представляется безумно красивой. Но сказки, знаете ли, вещь коварная. Даже самые распрекрасные, они имеют конец... Вот и моя сказочка кончилась".

Но, как и в "Каунасском романе", писатель выступает безусловным противником скептицизма, отступничества от идеала, от мечты. Да, испытания, искушения, стычки с неласковым бытом. Казис Даубарас, предлагающий разгромить в газете строптивого профессора Вимбутаса: "Так, мой дорогой, делают себе имя". Соната Лейшите, умоляющая бежать от литературных штормов в тихую семейную гавань. Сын лавочника, многозначительно напоминающий, что старые долги не забыты. С каждым сюжетным поворотом А. Беляускас усиливает психологические перегрузки. Действительность против романтики? Разрушение "сказки"? Не в этом пафос. Романтика учится постигать действительность, воспринимать ее во всей сложности, в переплетении тенденций.

Совестью Сигитаса Селиса был неподкупный сварщик Марюс. Ауримас Глуоснис мысленно отчитывается перед солдатом Гаучасом, перед редактором газеты Грикштасом. Спорит с ними, порой умышленно провоцирует на возражения, но и

прислушивается тоже. Потому что нуждается в их оценках, в их суде.

Как в годы войны, так и теперь Гаучас остается на передовой. Чувство долга ведет его то на возрождаемую из руин фабрику, то в захолустный Любавас, где подняли голову бандиты, ополчившиеся против колхозов.

И выдержка редактора Грикштаса, она тоже от убежденности.

Ауримас мог принять газетный разнос за вселенскую катастрофу, впасть в транс, ретироваться с поля боя. Грикштас считает такое бегство постыдным, потому что оно "недостойно пули, которая прошила тебе легкие. Недостойно Орловщины. И Гаучаса..." Какой бы запутанной ни была конъюнктура, он защищает ленинское понимание задач искусства. Защищает и от буржуазных проповедников аполитичности, и от вульгаризаторов, насаждавших примитивизм, и от тех, кто по молодости, по неведению атаковал лирику, психологизм.

Ауримас мог, поддавшись обиде, твердить об относительности правды, кокетничать разочарованностью, щеголять циническими откровениями. Моральные критерии Грикштаса неподвластны коррозии: "Подумай, что ты несешь, человек! Если нет правых, то, выходит, нет и заблуждающихся. Нет подлецов. Все одинаково хороши, да?"

Эти беседы с редактором возвращают взбудораженного, растерявшегося Ауримаса от частного к общему, от забот о себе к мыслям о времени.

Именно такие люди, как Грикштас и Гаучас, определяют в романе систему духовных ориентиров. Тех ориентиров, которые были особенно необходимы в атмосфере социальной, политической ломки, ожесточенных идеологических конфликтов.

Иждивенческим представлениям о прогрессе, который будто бы совершается сам собой и столь же автоматически обеспечивает счастье и процветание, А. Беляускас противопоставляет концепцию сознательной, активной борьбы за социалистическое преобразование общества. Борьбы, которая требует от индивида воли, стойкости, принципиальности и вместе с тем любви к человеку. Неспроста суровый, аскетичный Грикштас озадачивает молодого писателя неожиданным вопросом, открыто ли его сердце для любви: "Любви к простой, обыденной жизни. Любви к человеку — открыто ли? Ведь это, может быть, куда важнее всех твоих речей".

В отличие от своего литературного предшественника Сигитаса Селиса герой романа "Тогда, в дождь" сумел в те суматошные дни справиться с внутренним кризисом, устоять перед соблазном разъедающих совесть компромиссов. Тот романтический огонек, который едва не задохнулся под пеплом быта, разгорается вновь. И в охваченный тревогой, осаждаемый бандитами Любавас, Ауримаса влечет пример его друга Гаучаса, ставшего народным защитником, потребность быть рядом с ним и с такими, как он.

"Каунасский роман" завершался словами Селиса, обращенными к покойной дочери: "Твой отец будет человеком, Гедре".

Ауримас Глуоснис уже не столь категоричен в заверениях. А может быть, сказывается предусмотрительность самого автора. Ведь он-то хорошо знает, что его герою еще предстоит долгий, тернистый путь преодоления, что на смену нынешним конфликтам придут другие. Те, что составят содержание романа "Спокойные времена", посвященного уже нашим сегодняшним будням.

* * *

Альфонсас Беляускас вошел в литовскую литературу со своей темой. Все его творчество обращено к жизни того поколения, которое утверждало в республике власть Советов, мужало, обогащалось духовным опытом в ходе строительства социализма. Его книги привлекают внимание своим глубинным социальным пафосом, нравственной взыскательностью к личности, проницательным психологическим анализом.

Как и всякий истинный художник, А. Беляускас меняется от произведения к произведению. Он неустанно совершенствует свою исследовательскую манеру, идет от одного стилевого эксперимента к другому. И с его именем прочно связаны авторитет и достижения школы внутреннего монолога. Словом, широкий интерес к романам писателя вполне закономерен. Это прозаик самобытный, ищущий, пристально вглядывающийся в сложные коллизии и ведущие тенденции нашей эпохи.

Леонид ТЕРАКОПЯН

СОДЕРЖАНИЕ

ТОГДА, В ДОЖДЬ. Роман 5

ПОСТИЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА. *Послесловие* Л. Теракопяна 377

Беляускас А. П.

Б43 Тогда, в дождь.— М.: Известия, 1985. — 400 с., илл.

Глубокое проникновение в суть проблем сложного послевоенного времени нашло отражение в новом романе А. Беляускаса "Тогда, в дождь", повествующем о буднях освобожденного от захватчиков Каунаса.

Б $\frac{4702360000-028}{074(02)-85}$ – 69 – 85 подписное

ББК 84 Лит. 7
С (Лит.) 2

Альфонсас Пятрович БЕЛЯУСКАС

ТОГДА, В ДОЖДЬ

Приложение к журналу "Дружба народов"

Оформление "Библиотеки" **Ю. Алексеевой**

Редактор **Н. Гайдукова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Т. Авдеева**

ИБ № 909

Сдано в набор 08.10.84. Подписано в печать 25.03.85. А 04936. Формат 84×108 1/32. Бумага книжно-журнальная. Набрано на машинах ИБМ "Композер". Гарнитура "Сенчури". Печать высокая (с фотополимерных форм). Печ. л. 12,5. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,00. Уч.-изд. л. 24,03. Тираж 275.000 экз. Заказ 1482.

Цена 1 руб. 80 коп.

Издательство "Известия Советов народных депутатов СССР".
103791 ГСП. Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография
"Известий Советов народных депутатов СССР"
имени И. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская пл., 5.

Scan Kreyder - 22.02.2018 - STERLITAMAK